

Н О В Ы Й  
М И Р

2

Н О В Ы Й  
М И Р

1970

2



1970

# НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVI

№ 2

Февраль, 1970 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр |
|--|-----|
| МАКСИМ ТАНК — Две весны, стихи. Перевел с белорусского Яков Хелемский                        | 3   |
| ЕЛИЗАВЕТА ДРАБКИНА — Сестра, очерк   | 6   |
| ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ — Из книги «Древо познания», стихи. Перевел с украинского Яков Хелемский | 68  |
| П. АНТОКОЛЬСКИЙ — После поэмы, стихи   | 71  |
| ФЕДОР АБРАМОВ — Деревянные кони, рассказ; Из рассказов Олены Даниловны                       | 73  |
| КАИСЫН КУЛИЕВ — Из лирики. Перевел с балкарского О. Чухонцев                                 | 100 |
| ЛЕОНИД ВОЛЫНСКИЙ — Болгарские записные книжки. Предисловие Виктора Некрасова                 | 102 |
| Н. КУЗЬМИН — Наши с Федей ночные полеты  | 118 |

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| А. ПОВНИКОВ — В небе Ленинграда | 134 |
|---------------------------------|-----|

### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

|  |     |
|--|-----|
| ВСЕВОЛОД ОВЧИШНИКОВ — Ветка сакуры (Рассказ о том, что за люди японцы) | 173 |
|--|-----|

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

|   |     |
|---|-----|
| ИРИНА СОЛОВЬЕВА — Заметки о стиле Вс. Иванова (К 75-летию со дня рождения писателя) | 224 |
|---|-----|

(См на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

|   | Стр. |
|---|------|
| <b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>  |      |
| <i>Литература и искусство</i>   |      |
| Ст. <b>Рассадин</b> . «Мальчик пристально глядывается вдаль». — <b>З. Паперный</b> . Прочная память. — <b>Ник. Атаров</b> . Москва, Москва... — <b>М. Коган</b> . Трагедия великого мореплавателя. — <b>С. Сивоконь</b> . Под глянцевой обложкой. — <b>В. Седельник</b> . Игра и жизнь.   | 237  |
| <i>Политика и наука</i>   |      |
| <b>Е. Гнедин</b> . Революционер-дипломат ленинской школы. — <b>Л. Леонтьев</b> . Проблемы хозяйственной реформы. — <b>Вл. Фокин</b> . «Строго по шнуру...» — <b>М. Волков</b> . Судьбы русской газеты. — <b>А. Ястребицкая</b> . Удивительный учебник. — <b>Ан. Васильев</b> . Кибернетика: успехи и проблемы.  | 256  |
| КОРОТКО О КНИГАХ — <b>Т. Смирнов</b> . — <b>А. Бирман</b> . Самая интересная наука. ♦ <b>И. Данченко</b> . — <b>Тамара Каленова</b> . Не хочу в рюкзаке. ♦ <b>А. Михайлов</b> . — <b>В. А. Жамин</b> . Экономика образования. ♦ <b>И. Ярославцев</b> . — <b>Б. Н. Двинянинов</b> . Меч и лира. ♦ <b>Л. Левицкий</b> . — <b>Анатолий Жигулин</b> . Поле боя ♦ <b>Н. Рабкина</b> . — <b>Грановский Тимофей Николаевич</b> . ♦ <b>А. Майкапар</b> . — <b>Бруно Вальтер</b> . Тема с вариациями. ♦ <b>А. Черняк</b> . — <b>В. В. Налимов</b> и <b>З. М. Мульченко</b> . Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса. ♦ <b>А. Обертынский</b> . — <b>А. Урбан</b> . Возвышение человека. Заметки о современной поэзии. ♦ <b>А. Я. — И. И. Гордеев</b> , <b>Е. Д. Глинок</b> . Санаторий «Воробьево». ♦ <b>Ф. Левин</b> . — <b>Шейла Барнфорд</b> . Невероятное путешествие. ♦ <b>М. Байтальский</b> . — «Что такое? Кто такой?» ♦ <b>Вл. Кирзов</b> . — <b>Б. Шоу</b> . Пьесы. ♦ <b>Е. Третьяков</b> . — <b>Мейрин Митчелл</b> . Эль-Кано. Первый кругосветный мореплаватель. ♦ <b>И. Романов</b> . — <b>Н. И. Сахаров</b> . Шахматная литература СССР | 277  |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ   | 287  |



---

МАКСИМ ТАНК

★

## ДВЕ ВЕСНЫ

*С белорусского*

I

Еще не было в ту весну  
Обтянутой кумачом трибуны,  
Со стаканом воды для оратора,  
С микрофоном, который способен  
Даже слабому шепоту,  
Даже комариному писку  
Придать громогласность и басовитость.

Еще не успели,  
Как положено, выбрать президиум  
И вручить председателю  
Всемогущий звонок,  
Унимающий штормы.

Еще не успели  
Подготовить проект резолюции,  
Отредактировать ее  
Штыками винтовок,  
Проголосовать за нее  
Стволами «Авроры».

Но был Владимир Ленин,  
Был броневик,  
На который он поднялся,  
Как на ступеньку лестницы,  
Ведущей в завтрашний день.  
И была многоязыкая Россия,  
Склоненная над сохой,  
Над горном кузнечным,  
Над апрельским суглинком,  
Над фабричным станком.  
Была Россия,  
Перетянутая пулеметными лентами,  
Солдатскими ремнями,  
Окровавленными бинтами фронтов.

И она ждала его слова,  
 Как земля —  
 Всеосвежающего весеннего ливня.  
 Пролетели десятилетия.  
 Но и сегодня,  
 Прикоснувшись памятью к этой трибуне,  
 К броневой нержавеющей стали,  
 Мы слышим:  
 — Да здравствует социалистическая революция!  
 Мы слышим ответ всенародный:  
 — Ленин!  
 Мы слышим эхо «Интернационала»  
 И шум знамен, развернутых ветром.

## И

После ночей,  
 Проведенных с пером в руке,  
 Которое с трудом попевало  
 За молниями  
 Неукротимых мыслей,  
 Озарявших грядущее  
 После обысков,  
 Осторожных стен,  
 Ссылки;

(Умолкнет ли в сердце и в памяти  
 Шум сибирской тайги?)

После долгих лет ностальгии,  
 Которая комкала сны  
 В наплывах лондонского тумана,  
 В парижской сутолоке,  
 В швейцарской глуши, ослеплявшей снегами Альп,  
 И так отравляла дни  
 Ожиданьем вестей из России,  
 Что в краковской чайной  
 Прогорклым казался хлеб;

(Неужели пережитое  
 Всегда возвращается к нам?)

После октябрьской ночи,  
 После первых побед  
 И первых декретов,  
 После вылазок белогвардейских  
 И вражеских пуль, что прошли  
 На волосок от его сердца —  
 Сердца Революции;

После всего этого  
 Сколько дел еще остается —  
 Повседневных, насущных, срочных!

За окном приоткрытым — весна  
 С гремящими фронтами,

С незасеянными полями,  
Безголосыми паровозами,  
Безжизненными заводами,  
Но уже овеянная  
Первомайскими флагами,  
Планами электрификации,  
Мечтами:  
«Мы наш, мы новый мир построим!»  
Пора.  
Отложив незаконченную статью.  
Надев поношенную свою кепку,  
Вместе со всеми  
Он выходит  
На субботник.

*Перевел Яков Хелемский.*



---

---

ЕЛИЗАВЕТА ДРАБКИНА

★

## СЕСТРА

*Очерк*

**А**нна Ильинична Ульянова, по мужу Елизарова, была старшей из детей в семье Марии Александровны и Ильи Николаевича Ульяновых. Она родилась в 1864 году и умерла в 1935-м, прожив более долгую жизнь, чем все ее братья и сестры. На ее глазах они росли, становились подростками, молодыми людьми, зрелыми борцами-революционерами. Она видела, как формировались их характеры, убеждения, как складывалась жизнь. Ближе, чем кто-либо другой, была она брату Александру. Перед ней прошла вся жизнь Владимира Ильича. В ее семье прожила много лет и умерла мать, Мария Александровна.

Но Анна Ильинична была не просто и не только свидетельницей, она была соучастницей великого революционного подвига своей семьи и революционного дела своего времени. Хотя Александр и не посвятил ее в тайну готовившегося 1 марта 1887 года покушения, но у них с братом были общие товарищи и друзья, она жила в кругу тех идей, которыми жил и во имя которых погиб Александр Ульянов. Арестованная по его делу, она отбывала ссылку в селе Кокушкино, неподалеку от Казани. Полгода спустя туда же был сослан брат Владимир, и они прожили в самом тесном общении несколько лет — сперва в Кокушкине, а потом в Казани, Алакаевке и Самаре, — которые, по словам Анны Ильиничны, были «самыми важными, пожалуй, годами в жизни Владимира Ильича: в это время складывалась и окончательно оформилась его революционная физиономия».

На протяжении всей последующей своей жизни Анна Ильинична была активной деятельницей революционного марксистского движения, принимала участие в работе созданного Лениным «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», была членом Московского комитета РСДРП, агентом «Искры». С момента раскола РСДРП сделалась большевичкой. Вела подпольную работу в России, занималась транспортировкой нелегальной партийной литературы, состояла членом редакции большевистской газеты «Вперед», сотрудничала в «Правде», стала первым редактором журнала «Работница». В годы первой мировой войны через нее осуществлялась связь между российскими партийными организациями и заграничными большевистскими центрами. Не раз бывала арестована.

.. Ведя обширную подпольную работу, Анна Ильинична в то же время постоянно поддерживала переписку с братьями и сестрой, которые то сидели в тюрьмах, то находились в «местах отдаленных», то жили в революционной эмиграции. Она носила им передачи, выполняла поручения

«на волю» и «с воли», доставала книги, неприметными значками накалывала в них зашифрованные сообщения, писала «химией» записки и ухитрялась припрятывать их в швах и корешках книжных переплетов. И сверх всего этого работала для заработка, чтоб помогать семье, — занималась переводами, корректурой, давала уроки.

В 1917 году у нее в небольшой квартире на Широкой улице жили по возвращении в Россию Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская. После событий 3—5 июля на эту квартиру явились вооруженные наемники Временного правительства и, предъявив ордер на арест В. И. Ульянова (Ленина), учинили обыск, который скорее можно было назвать погромом.

После победы Октября Анна Ильинична работала в Наркомпросе в области охраны детства, а затем была одним из создателей Истпарта и журнала «Пролетарская революция», положивших научную основу изучения истории нашей партии.

Сказанного достаточно, чтобы понять живой интерес к ее личности каждого, кто хочет поближе узнать семью Ульяновых во всей ее особенности и неповторимости.

Однако это не все, далеко не все.

Жизнь Анны Ильиничны представляла собой как бы неразрывное единство двух начал:

первое из них — с а м а э т а ж и з н ь, наполненная богатым содержанием; жизнь, насыщенная эпохальными событиями трех российских революций;

второе — запечатленная Анной Ильиничной история ее семьи. Ведь Анна Ильинична была не только деятельной участницей всей этой истории, но и летописцем семьи Ульяновых. Крупицу за крупицей собирала она все, относящееся к брату Александру и его трагической гибели. Ей принадлежит воспоминания о Владимире Ильиче — одни из первых, вышедших в свет, ярко воссоздающие его облик, особенно в годы детства и юности. Ее рассказы об отце, о матери, о жизни семьи Ульяновых в Нижнем Новгороде и в Симбирске представляют собой ценнейший, а порой и единственный источник, по которому мы можем воссоздать образ этих людей.

Наряду со способностями серьезного исследователя Анна Ильинична обладала также тем, что в старину называли «легким пером». Каждый ее рассказ представляет собою увлекательно-страстное изображение прошлого, которое доступно только его современнику, обладающему к тому же талантом тонкой наблюдательности и литературным даром.

Если собрать воедино все, что ею написано, мы увидим перед собой как бы повесть о семье Ульяновых, — повесть, полностью удовлетворяющую тем высоким требованиям, которые предъявляла сама Анна Ильинична к произведениям очевидцев и участников событий минувшего времени: в них, писала она, люди, принадлежавшие к славной плеяде тогдашних революционеров, должны вставать «так выпукло, как будто бы мы всех их знали, так жизненно, как будто бы они только что оставили нашу комнату, а душа наша была только что в самом дружеском общении с ними. Это идеал биографа».

Образ самой Анны Ильиничны мало освещен в нашей литературе. И так как жизнь ее тесно переплетена с жизнью братьев и источников для создания ее образа служат те исторические документы, на основе которых мы воссоздаем их историю, читатель неизбежно встретит в нашем рассказе уже знакомые ему факты и знакомые цитаты. Но иначе писать об Анне Ильиничне невозможно.



### Глава первая

Из далекой глубины десятилетий перед нашим мысленным взором возникают запомнившиеся девочке Ане длинный-длинный гимназический коридор, квартира из идущих в ряд комнат, площадь перед зданием гимназии, бассейн посреди площади и окружающие его бочки водовозов, мелькающие в их руках черпаки с деревянными ручками. Аллеи, спускающиеся по крутому склону к Волге. Тонкая фигура матери. Маленький брат Саша. Случай, едва не кончившийся трагически: Саша, зангравшись, сорвался с откоса и маленьким комочком покатился вниз, а мать от страха закрыла глаза рукой.

Любимая игра: в зальце и столовой расставлены стулья, одновременно изображающие и тройку и сани. Саша — за кучера. Он увлеченно размахивает кнутиком, Аня сидит рядом с матерью сзади. Мать описывает восхищенным детям дорогу, по которой они «едут»: лес, отягченные снегом ветви деревьев, дорожные встречи.

Первые уроки грамоты, которые давала мать: наклеив на картон нарезанные из бумаги буквы, она учила Аню складывать их в слова. Саша играл рядом. И вдруг оказалось, что он тоже знает буквы, складывает слова, читает не хуже Ани.

На дошедшей до нас старинной фотографии мы видим шестилетнюю девочку в сапожках и выглядывающих по тогдашней моде из-под платья кружевных панталончиках. Рядом с ней — кудрявый темноглазый мальчик, одетый в просторную белую рубашку. Дети напряжены — быть может, испуганы непривычной обстановкой; быть может, ждут появления загадочной «птички», которая, как заверяли фотографы того времени, должна была вылететь из фотоаппарата.

Но вот другая фотография, сделанная четыре года спустя. Ане около десяти лет, Саше — восемь. Она сидит, он стоит рядом, положив руку на ее плечо. В той доверчивости, с какой лежит эта детская рука, чувствуется неразлучная дружба, соединявшая брата и сестру. Лица детей не по годам сосредоточены и серьезны. И, что всего примечательнее, Аня держит раскрытую книгу. Надо знать Россию того времени, чтоб понять, насколько характеризует облик семьи книга в руках ребенка, а тем более — девочки!

Впрочем, для того, кто знаком с этой семьей по воспоминаниям современников, и в частности Анны Ильиничны, тут нет ничего неожиданного. Она посвящает своим родителям не много страниц, написанных к тому же предельно сжато и лаконично. Эти краткие заметки дополняются отдельными замечаниями, рассыпанными по страницам ее воспоминаний.

Перед нами встает образ отца, который был, по ее определению, «педагогом в душе», человеком, все думы и чувства которого принадлежали русскому просвещению. Чуждая всякому приукрашиванию исторической истины, Анна Ильинична показывает отца таким, каким он был — с иллюзиями, воспитанными в нем эпохой так называемых «великих реформ», с мечтами о преобразовании России при помощи мирной культурной работы. Он, отец, не был никогда революционером, писала Анна Ильинична в своих воспоминаниях, но в душе его жила верность чему-то вроде клятвы, заключавшейся в словах любимой им песни на стихи Плещеева: «Будем мы питать до гроба вражду к бичам страны родной».

А рядом с отцом — мать. Мать в самом высоком значении этого слова. Женщина глубокого ума и редких душевных качеств, отдавшая детям со всей щедростью материнского сердца все богатства своего незаурядного ума и благородной души.

Осенью 1869 года Илья Николаевич покинул Нижний Новгород и спокойную деятельность учителя математики и физики в нижегородской гимназии, сменив ее на хлопотливую должность инспектора, а затем директора народных училищ в Симбирской губернии. Он поступил так потому, что видел в этом свой долг народного учителя: новая должность открывала перед ним широкое поле деятельности на поприще народного просвещения.

Симбирск был в то время заштатным, захолустным городком, не связанным с внешним миром железной дорогой; веками его истории обычно служили пожары: это событие было, мол, до такого-то пожара, а это — после того, другого. Хотя ко времени отрочества и юности молодых Ульяновых прошло около трех десятилетий с тех пор, как описал его в «Обрыве» Гончаров, но город оставался прежним. «Над городом,— писал Гончаров,— лежало оцепенение покоя, штиль на душе... Это не город, а кладбище... Он не то умер, не то уснул или задумался. Растворенные окна зияли, как разверстые, но не говорящие уста; нет дыхания, не бьется пульс. Куда же убежала жизнь? Где глаза и язык у этого лежащего тела?..»

И в этом-то городе с его обывательской одурью, городе, который породил на свет божий образ Обломова, выросла семья Марии Александровны и Ильи Николаевича Ульяновых, все молодое поколение которой стало революционерами и которая дала человечеству такого гиганта революционной мысли, страсти и дела, как Владимир Ильич Ленин!

Раздвигая завесу прошлого и глядя на прожитую жизнь, Анна Ильинична не случайно уделила много внимания годам детства и отрочества своих сестер и братьев: она вообще придавала этой поре важнейшую роль в формировании человеческой личности.

«Я считаю,— писала она полвека спустя,— что пора детства имеет огромное, решающее значение для всей последующей жизни. А затем, в детских поступках и проявлениях, когда человек не научился еще подчинять свои действия влияниям ума и рассудка, когда он непосредствен, чужд всякой приспособляемости, натура его видна, как в зеркале. И поэтому отражение некоторых ребяческих поступков детского периода может иногда дать для познания взрослого человека больше, чем иные сознательные и обдуманые поступки его,— во всяком случае может многое дополнить. Недаром так дороги эти проявления для чуткой матери, воспитательницы; недаром жены познают иногда к своему удивлению в детях те или иные, не вполне для них ясные свойства ума и характера своих мужей...»

Словно бы тихо и ровно идет жизнь семьи Ульяновых. Словно бы не происходит в ней никаких особых событий. Долгие осенние и зимние вечера. Столовая, большой стол, самовар. Няня со своим бесконечным чулком. Шестеро детей, по возрасту и характеру разбившиеся на три естественно сложившиеся пары: Аня и Саша, Володя и Оля, «мелюзга» — Маняша и Митя. Обычные в такой большой семье шутки; дразнилки, птичье щебетанье младших — и смех по неизвестному поводу; собака Гарсонка, которую няня зовет Кальсонкой; какая-то выдуманная собственными усилиями таинственная игра в «брыкаски». Мечтательная Аня, сосредоточенный и задумчивый Саша, звонкая хохотунья Оля, озерной Володя, распеваящий свою любимую песню:

Богачу-ду-ра-ку  
И с казной не спится,  
Бедняк гол, как сокол,  
Поет, веселится.

Отца часто нет дома: он в губернии, объезжает старые школы, воюет за сооружение новых. Вернувшись в Симбирск, все свободное время проводит в семье, рассказывает о своих поездках, о стычках с помещиками, не желающими отпускать средства на народное образование, о том, как трудно преодолеть недоверие и подозрительность крестьян, привыкших видеть во всяком деле тайный подвох.

Словно бы тихо и ровно идет эта жизнь. Но ничто не может оградить ее от «впечатлений бытия»: тут и рассказы отца о всяких несправедливостях, и бледные лица арестантов, глядящих сквозь решетки тюрьмы, которая находится совсем рядом с их домом.

И книги. Книги, которые читают сперва старшие, потом средние и младшие. Благородный Айвенго (в тогдашнем переводе его звали «Иван-гоэ»). Столь любимый Сашей Пушкин. И, разумеется, Некрасов!

Выдь на Волгу...

Да, выдь на Волгу!

С высокого обрыва, прозванного «Венцом», видны заволжские дали — тонкая голубоватая тень бесконечных лесов, подернутые туманом прибрежные пески, золотые на солнце поля. Проплывают пароходы, буксиры тащат баржи, тянутся вереницей плоты, баркасы, шхуны, лодки. Сквозь певучую тишину доносится протяжная песня, из-за речного поворота возникает длинная серо-коричневая человеческая цепь — это бурлаки тянут бичеву.

Не студен-холоден ветерок поносит,  
То поносит ветерок по чистому полю, в зеленой дубраве.  
Был и лес-то, дубравушка, лес-то расшумелся,  
Во бую, во шуму, ох! Ничего не слышно, ничего не слышно,  
Только слышен один голос человеческий, голос человеческий...

Но Волга, Рылеев, Некрасов, «Русские женщины» — это Сенатская площадь, охваченная восстанием, это декабристы, интерес к которым — по словам Анны Ильиничны — жил в семье Ульяновых. Декабристы, о которых Герцен вдохновенно воскликнул, что сказание о них «становится больше и больше торжественным прологом, от которого все мы считаем нашу героическую генеалогию. Что за титаны, что за гиганты и что за поэтические и сочувственные личности!».

Словно бы ровно и тихо идет жизнь семьи Ульяновых. И так же словно бы неприметно рождается человеческое чудо.

Это чудо — старший сын, старший из братьев. Это — Саша, Александр Ульянов.

Все, кто знал Александра Ульянова во время его такой короткой жизни, в один голос говорят о нем как о человеке поистине необыкновенном.

Внешне замкнутый и немногословный, он принадлежал к числу тех натур, у которых мягкость и даже женственная нежность к близким людям, к товарищам естественно сочеталась с никому не покоряющейся силой закаленной стальной пружины, когда речь шла о принципах жизни.

Влияние его на братьев и сестер было огромным. Не говоря уж о «мелюзге»; одного его слова было достаточно, чтоб утихомирить шумную непоседу Олю. Даже независимый и порой по-мальчишечьи резкий Володя стремился во всем поступать, «как Саша».

Но особо велико было место, которое занимал Александр в душе Ани. Щемящая, пронзительная любовь к нему прошла через всю ее жизнь до последнего вздоха. С детства чуткая и восприимчивая, она, хотя брат был на два года ее младше, относилась к нему как к старшему. В семье они составляли старшую пару. И дело тут не только в возрастной близости, но прежде всего в общности характеров, духовного облика: оба сдержанные, оба глубоко уходящие в себя, оба с необыкновенно острым восприятием окружающего.

Но было еще одно, что сделало чувство Анны Ильиничны к Александру Ильичу предельно острым и напряженным: она — одна из всей семьи — жила в Петербурге в те роковые месяцы, когда он вступил на путь, приведший его к гибели. Как ни молода была она, как ни неопытна, но любящим своим сердцем она чувствовала нависшую над ним опасность. И сколько бы она ни жила, ее не покидала подспудная мысль: «А что, если бы... быть может... быть может...» И в своем воображении она как бы прятала его под крыло и уводила от смертельной угрозы. Но увы! Трагическая реальность безжалостно разрушала иллюзию: Саши нет, Саша погиб, Саша кончил жизнь на эшафоте.

Высшим своим долгом она почитала сделать все, чтоб разобраться до конца в деле 1 марта 1887 года, — деле, которое такие знатоки русских политических процессов, как Гернет и Щеголев, считали одним из самых засекреченных в истории российского судопроизводства, — а вместе с этим увековечить в памяти потомков образ брата и его однодельцев.

Шли годы. Старшие дети Ульяновых вступили в пору юности, средние стали подростками, младшие еще только готовились к поступлению в гимназию. Все серьезней и вдумчивей становился Саша, все тверже укреплялось решение Ани сделаться народной учительницей. Оля отдавалась занятиям музыкой. Все отчетливее мужал и крепнул характер Володи.

С годами приходило созревание души, развитие духовных возможностей и умственных интересов — бурное, пламенное, всеобъемлющее.

Разница в четыре года — много это или мало? Очень много в раннем детстве. Гораздо меньше, когда одному из детей восемь лет, а другому двенадцать. Еще меньше между тринадцатилетним подростком и семнадцатилетним юношей.

Чем дальше идут годы, тем больше становится близость и взаимопонимание между Александром и Владимиром Ульяновыми. Шахматы, книги, дальние прогулки, самозабвенные разговоры и споры.

Воспоминания Анны Ильиничны высвечивают то одного, то другого из ее близких — отца, мать, младших детей, братьев Александра и Владимира. Скупее всего говорит она о себе, да и то по большей части мимоходом, рассказывая о ком-нибудь другом.

Она рисует себя болезненным, капризным ребенком, застенчивым и робким. Тут есть, вероятно, доля правды, но еще больше щепетильной скромности и стремления показывать не себя, а дорогих ей людей. То немногое, что мы знаем об Анне Ильиничне, свидетельствует о характере вдумчивом, мечтательном, склонном к самопожертвованию и безоглядной преданности делу и людям.

Достигнув отрочества, она (одна во всей семье) начинает писать стихи — поэтически слабые, но трогательные в своей наивности и стремлении выразить владеющее ею благородное чувство любви к роду.

Старшая среди детей, она первую оканчивает гимназию. Впереди — Петербург, Вестужевские высшие женские курсы. Но она решает подождать Сашу и поехать в Петербург вместе с ним.

А пока — читает, учится, чтоб восполнить пробелы в образовании, которые оставляла после себя тогдашняя средняя школа вообще, а женская — в особенности.

Последняя длинная осень, последняя долгая зима. И последнее лето в любимом всей семьей Кокушкине, навсегда оставившем в душе Анны Ильиничны воспоминание о детстве, как о самой милой и мечтательной поре ее жизни.

Это было то поэтическое время «детства с двумя-тремя годами юности», о котором Герцен говорит, что это — «самая настоящая, самая изящная, самая и а ш а часть жизни», — писала впоследствии Анна Ильинична.

Человек, которому дорога русская природа с ее тихим очарованием, не мог не влюбиться в Кокушкино, в его тенистый парк, заброшенный пруд, отражавший летнее вечернее небо, в поля и перелески, да же в обветшалый старинный дом со скрипящими половицами и сверчками, поющими на печи.

Рассказывая о том далеком времени, двоюродный брат молодых Ульяновых, Н. Веретенников, приводит слова крестьянки из соседнего села: «Смотрю я на вашу деревнюшку и думаю, что за чуда такая, кака она маленька, да кака развеселая», вероятно, разумея под этим ее красивое, нешаблонное расположение.

Летом там бывало на редкость хорошо. Съезжались двоюродные братья и сестры. Гуляли, купались, качались на качелях, отправлялись с крестьянскими ребятами в ночное, катались на лодке, бродили по лесам с ружьишками, попросту болтали и шалили.

К сожалению, до нас дошли преимущественно рассказы о немудрящих радостях деревенского приволья. Та духовная жизнь, которая расцветала в летние месяцы, не стесненные гимназическими шорами, в дошедших до нас мемуарах почти не показана.

Почему так получилось? Прежде всего потому, что авторами этих воспоминаний в большинстве своем были «люди без общественной жилки», как говорила о них Анна Ильинична. К тому же свои воспоминания они писали десятки лет спустя, когда многое забылось. Да и книги их в основном были предназначены для детей, что, несомненно, сказалось на характере воспоминаний.

Что же касается Анны Ильиничны, то она была целиком захвачена сложной задачей, которая перед ней стояла: восстановить облик членов своей семьи, и в особенности старших двух братьев, во всем своеобразии и неповторимости. Сделать это было очень нелегко: подготовленные ею биографии Александра Ильича Ульянова и Владимира Ильича Ленина были первыми по-настоящему написанными книгами этого рода.

Ко всему надо добавить и то, что, стремясь в своей работе к чеканной сжатости и лаконизму, Анна Ильинична нередко опускала подробности, которые ослабляли рельефное выражение ее мыслей. А споры, которые разгорались порой в Кокушкине, представлялись ей в свете трагических событий будущего простым брожением юношеских умов.

Но это было не так, далеко не так. Интеллектуальное формирование молодого поколения Ульяновых происходило в эпоху, когда над миром проносились революционные грозы: освободительная борьба в Италии, война Севера и Юга в Соединенных Штатах, Парижская Коммуна, народные движения в Центральной и Южной Америке — таков далеко не полный перечень крупнейших событий двух десятилетий, отзвуки и впечатления которых были еще так сильны в годы отрочества и юности

Анны, Александра, Ольги, Владимира Ульяновых. И главное — общий фон небывалого общественного подъема и революционного брожения в самой России.

Все это отражалось — и не могло не отразиться — уже в ранних детских играх и Саши, и Ани, и Оли, и Володи Ульяновых. Армиями их самодельных солдатиков командовали Гарибальди и Авраам Линкольн, генералы Грант и Шерман, испанские стрелки, боровшиеся против Наполеона Бонапарта. При этом участники игры были мало озабочены исторической достоверностью разыгрываемых ими событий: американцы могли драться с испанцами, а Гарибальди воевать против рабовладельцев-южан.

А вместе с переложенными на музыку стихами поэтов-декабристов и петрашевцев, которые дети слышали чуть ли не с колыбели, с Пушкиным, Лермонтовым и Некрасовым, а потом с Белинским, Герценом, Писаревым, Добролюбовым и Чернышевским, в их жизнь входили освободительные идеи, которые владели умами передовой части русского общества.

«Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты». В истории русской передовой общественной мысли были периоды, когда литература, литературные пристрастия и мнения были главным или даже единственным ее выразителем.

Такой была литература шестидесятых и семидесятых годов прошлого века.

Новая книга Салтыкова-Щедрина, новая поэма Некрасова, новый роман Тургенева были общественным событием. Двенадцатого числа каждого месяца — дня выхода «Отечественных записок» — ждала вся мыслящая Россия.

Поэтому для познания внутреннего мира Анны Ильиничны в высшей степени важны ее литературные увлечения, особенно если учесть скудость ее самопризнаний и почти полное отсутствие материалов о ее внутренней жизни.

Она разделяет литературные мнения своей семьи. В то же время она, пожалуй больше всех остальных, любит обличительные стихи поэтов «Искры» (Курочкина, Жулева и других). В своих симпатиях и антипатиях к литературным героям она тверда, порой вступает в спор даже с непререкаемым для нее авторитетом Саши. Так, прочитав в тринадцать лет «Войну и мир», она попадает под обаяние Андрея Болконского, к которому Саша относился пренебрежительно, и защищает Долохова. Ей нравился Нежданов из тургеневской «Нови», Саша относился к нему отрицательно.

Годы идут быстро. Рядом с чисто художественными произведениями возникает и растет интерес к литературной критике и публицистике. Как и все их поколение, Анна и Александр переживают пору страстного увлечения Писаревым с его неумолимым рационализмом, под которым скрывался возвышенный и бескорыстный идеал служения правде, народу, человечеству.

В притивовес сторонникам Писарева, выдвигавшим на первый план естественные науки и «развитой эгоизм», его противники утверждали, что на естественных науках, на анатомии лягушки далеко не уедешь: есть другие, более важные проблемы, ждущие своего решения. Нужны история и другие гуманитарные знания. Главное есть народ, живущий впроголодь, трудовой народ, рабочий люд, замученный трудом и нуждой. Этот народ держит на себе все величественное здание цивилизации, и он, он один, позволяет нам, интеллигенции, заниматься и лягушками, и их кишками, и всем тому подобным. И есть наш неоплаченный долг перед народом, перед великой армией тружеников.

Идеи, убеждения у старших детей Ульяновых складывались сразу, на едином дыхании, без переходов, без постепенности, как буря, как вихрь. Оставаясь незабываемыми в своей основе, они обогащались впечатлениями от новой книги или живой жизни с ее разлитой по всей России нищетой и горем, от одного вида завязанной в тряпицу копейки, этой, по замечательному выражению А. Ф. Кони, «медной слезы» русского народа.

Теплый, тихий летний вечер. В полупрозрачном сумраке отчетливо слышится далекие мычание стада, переключив голосов, скрип колес. На ступеньках веранды сидят Аня, Саша, их двоюродная сестра, Володя, который хоть и много младше остальных, принимает участие в разговоре на равных, нередко поражая острой неожиданной мыслью и необычным в таком возрасте пониманием сущности дела.

Тема — вопросы, которые волновали молодежь того времени: что этично и что не этично? Вправе ли человек эксплуатировать другого человека? Оправдывает ли цель средства, при помощи которых она осуществляется? Что представляли собой люди Великой французской революции? А декабристы? Что такое искусство — духовная необходимость или барская блажь? («Сапожник, мол, выше Шекспира».) Какое совершенствование принесет больше обществу: совершенствование общества в целом или же отдельных «критически мыслящих» личностей? И через все эти споры, парадоксы, сверканье мечей проходят извечные вопросы, которыми жила русская общественная мысль: кто виноват, с чего начать, что делать?

Именно так: «Что же делать?» Вопрос вопросов, от которого не уйти.

Как ни медлителен с точки зрения сегодняшнего дня исторический процесс того времени, но на общем фоне многовековой истории России девятнадцатый век предстает исполненным бурного движения: Отечественная война, поход в Европу, декабристы, свинцовая ночь николаевского царствования, крестьянские волнения, народничество и народолюбие — чуть ли не каждое десятилетие приносит что-то новое, неожиданное, небывалое.

Огромного нарастания события достигают во второй половине семидесятых и начале восьмидесятых годов — именно тогда, когда молодое поколение Ульяновых вступило в пору отрочества и юности и жадно вглядывалось в раскрывающуюся перед ним жизнь.

Вспоминая те дни, один из деятелей «Народной воли», Тан-Богораз, писал: «Было это в 1878 году — феерическое время. Сановников уже убивали, а царя Александра II собирались взорвать. На эдакую страшную силу, как русская полиция, нашелся отпор — молодежь отдавалась революции — душой и телом. Не все, разумеется, — избранные. Ни одно поколение потом не горело столь жертвенно...»

Эти героические юноши и девушки создали тайную организацию — Исполнительный комитет партии «Народная воля», взявшую на себя право карать преступников, действующих против народа, свободы, совести и чести.

На протяжении ряда лет велась трагическая борьба между Исполнительным комитетом «Народной воли» и российским самодержавием. Каждый месяц, а порой и каждая неделя приносили известия о политических процессах, казнях и каторжных приговорах, выносимых царскими судами. И так же почти каждый месяц, каждую неделю появлялись сообщения о бомбах, брошенных в сановников и губернаторов, жандармов и провокаторов, о смельчаках, которые нападали на них, вооруженные лишь кинжалами или револьверами устаревшей системы.

«Жестокости правительства требуют ответа,— писал Степняк-Кравчинский, автор прокламации, обращенной Исполнительным комитетом «Народной воли» к шефу жандармов Мезенцеву.— Он будет дан. Ждите нас!»

Степняк выполнил данное им обещание: среди бела дня он подошел на оживленнейшей улице Петербурга к Мезенцеву и заколол его кинжалом.

Мы, коммунисты, отвергаем путь борьбы, избранный народовольцами. Мы не признаем индивидуального террора. Путь к освобождению трудящихся мы видим в классовой борьбе пролетариата, в сплочении масс под знаменами коммунистической партии. Но мы никогда не забудем о революционном подвиге народовольцев, их героизме, их мужестве.

«Почти все в ранней юности восторженно преклонялись перед героями террора,— писал В. И. Ленин.— Отказ от обаятельного впечатления этой геройской традиции стоил борьбы, сопровождался разрывом с людьми, которые во что бы то ни стало хотели остаться верными «Народной воле» и которых молодые социал-демократы высоко уважали».

Вести о казнях и судебных процессах, о беззаветной смелости участников «Народной воли» доходили до Симбирска и Кокушкина и не могли не вызвать живейшего отклика в семье Ульяновых. Такая семья не могла не жить тревожениями эпохи. Правда, Анна Ильинична вспоминает лишь один разговор, происходивший с глазу на глаз между Ильей Николаевичем и Александром Ильичем после убийства Александра II. Но совершенно очевидно, что разговоры о цареубийстве, при всей их опасности, не могли не происходить в народе, и даже между детьми и подростками. Не будем пытаться восстановить эти разговоры: мы их не знаем. Но последующая история младшего поколения Ульяновых достаточно выразительна, чтоб мы могли составить мнение о том, на чьей стороне были они в борьбе, волновавшей всю передовую Россию.

В учебе, чтении, самовоспитании прошли еще два года. Саша окончил гимназию. Впереди были столица, университет, студенчество, широкие горизонты, новые товарищи, новый мир. Будущее, которое казалось бесконечным.

## *Глава вторая*

В литературе середины прошлого века сложился традиционный зачин романа, посвященного судьбе молодого человека того времени: поезд подъезжает к Петербургу, герой глядит в окно; он видит серое, пасмурное небо, серые дома, серые крыши, серую даль, мокрые мостовые, серый безрадостный город; по улице бредут усталые прохожие, извозчик нахохлился на козлах, поглядывая на свою облезлую лошаденку; кругом тоска, серая тоска.

Литература, разумеется, отражает то, что происходит в подлинной действительности. Но думается мне, что, когда девятнадцатилетняя Анна и семнадцатилетний Александр Ульяновы приехали в Петербург, их настроение вряд ли полностью совпадало с установившейся литературной традицией. Слишком велико было их стремление к знанию, слишком сильно было стремление получше подготовить себя к служению родному народу.

Александр Ильич уехал из Симбирска в конце августа 1883 года, следом за ним в начале сентября уехала Анна Ильинична.



Александр сперва остановился на Петербургской стороне, у хозяйки, к которой у него было письмо из Симбирска. Туда же к нему приехала сестра Анна. Он поступил в университет, она — на Бестужевские курсы.

Молодые Ульяновы приехали в Петербург в то время, когда весь город был глубоко взбудоражен: только что в Париже умер Иван Сергеевич Тургенев. Согласно его последней воле, он должен был быть похоронен на Лигераторских мостках Волкова кладбища в Петербурге, рядом с Белинским. 27 сентября гроб с его телом прибывал в Петербург.

Никогда Россия не видала таких похорон, такой открытой скорби о скончавшемся писателе. С самого утра 27 сентября громадные толпы стояли вдоль улиц, по которым должен был проследовать траурный corteж, растянувшийся на две с половиной версты.

Как ни велика была похоронная процессия, она была с обеих сторон сжата кольцом казаков: ведь хоронили неодобряемого правительством, неудобного ему писателя. Полицейские наводняли и улицы и кладбище, куда пропустили очень немногих.

Среди тех, кто заполнял в этот день петербургские улицы, были Анна и Александр Ульяновы. Они пытались прорваться на кладбище, но полицейские их оттеснили. Потом они слышали со слов тех, кому удалось присутствовать при погребении, какое тягостное настроение там было.

В этот же день в Петербурге был распространен листок, напечатанный в одной из последних сохранившихся типографий «Народной воли», посвященный памяти Тургенева, и впервые опубликовано его стихотворение в прозе «Порог».

Вы его помните?

«Я вижу громадное здание.

В передней стене узкая дверь раскрыта настежь; за дверью — угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка... Русская девушка.

Морозом дышит та непроглядная мгла; и вместе с ледянищей струей выносится из глубины здания медлительный, глухой голос.

— О ты, что желаешь переступить этот порог,— знаешь ли ты, что тебя ожидает?..

Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть?..

Отчуждение, полное одиночество?..

...Ты готова на жертву?..

На безымянную жертву? Ты погибнешь — и никто... никто не будет даже знать, чью память почтить!

— ...Знаю и это. И все-таки я хочу войти».

Прочли ли этот подпольный листок, узнали ли уже тогда это стихотворение темноглазые юноша и девушка, которые бродили в тот день по улицам огромного, незнакомого им города, или же они познакомились с ним не тогда, а потом?

Это нам неизвестно.

Но с той прозорливостью, которая отличает истинные произведения искусства, великий писатель, голько что ушедший из жизни, словно предрек им тот путь, на который им предстояло вступить.

Однако не только он, не он один.

Когда сейчас вчитываешься в воспоминания Анны Ильиничны о том, что она переживала в канун ареста и гибели брата, чувствуешь, как немолимо стучаются те впечатления бытия, которые не могли не толкнуть

его на неравный бой. И в этом нашем ощущении нет никакой мистики. Так, именно так должна была сложиться судьба такого человека, каким был Александр Ульянов, в тогдашней России, где только вчера были казнены на Семеновском плацу герои «Народной воли»; России, в которой полицейский кулак был занесен над каждым проявлением независимой мысли; где журналистика превратилась в поле, усеянное костями раздавленных, уничтоженных, задушенных цензурой газет, книг и журналов; где каждый шаг русской революции со времен декабристов был, как верстовыми столбами, отмечен рядами виселиц.

И понимаешь, почему брат и сестра, попав впервые в жизни на художественную выставку, сильнее всего были взволнованы картинами Верещагина, выражавшими на великом языке искусства страстный протест против войны: картиной «На Шипке все спокойно» с фигурой часового, заметаемого снегом. И другой — панихидой над полем, усеянным трупами павших.

И понимаешь также, что из всех осмотров достопримечательностей Петербурга наибольшее впечатление осталось у них от осмотра Петропавловской крепости.

Тупоголовое начальство каждое воскресенье открывало ворота крепости, полагая, по недостатку сообразительности, что главным желанием посетителей было поклонение могилам русских императоров. Но брат и сестра Ульяновы стремились к иному. Для них Петропавловская крепость была русской Бастилией, в которой томились и закончили свой земной путь борцы за великое дело свободы.

Пройдя через мостик, Александр и Анна оказались в крепости, погруженной в зловещее молчание, нарушаемое только бряцанием оружия и окликарами караула. «Это было первое для нас дуновение тюрьмы, — писала впоследствии Анна Ильинична. — Для Саши это было первое, в тот раз добровольное, посещение крепости, безвозвратно поглотившей его три с половиной года спустя».

Они вышли из крепостных ворот и оглянулись. Было часа четыре дня, над Невой нависли низкие тучи, моросил дождь, подхлестываемый резкими порывами ветра. Подавленные, шли они вдоль решетки Летнего сада. Грудь словно сдавило камнем. Взглядывая на Сашу, Анна шла рядом с ним, чувствуя, как глубоко переживает он все, что они только что видели.

«Тоска за его страдания и какая-то неоформленная, но чрезвычайно мучительная жуть за него, как предчувствием, сжала сердце, — писала она. — Я мало помню в своей жизни таких острых, мучительно гнетущих настроений. Это происходило, вероятно, и потому, что то были первые ощущения юношеской души — души, не привыкшей еще к страданиям. Не потому ли запечатлелось так ясно до сих пор выражение лица Саши, такое сосредоточенно-мрачное, как я никогда дотоле его не видела, — так ясно, что я могла бы и теперь передать его, если бы умела рисовать: эти плотно сжатые губы, эти сдвинутые брови, это непередаваемое выражение страдания в глубоких глазах».

Трудно далась им обоим первая зима в Петербурге. Оба они часто болели, иногда гяжело. Правда, у Саши была большая отрада: целые дни проводил он в старинном здании «Двенадцати коллегий» — Петербургского университета, слушал в маленьких, замкнутых аудиториях лекции лучших ученых того времени, работал над препаратами в лаборатории, проводил вечера в большой аудитории, которую прозвали тогда «Зал для игры в мяч», в старом здании университета. Там все сидели за длинным столом, освещенным зелеными лампами. Тени скрадывали углы. было как-то по-особому уютно и разговаривать, и думать, и просто молчать.

У Анны Ильиничны процесс приспособления к петербургской жизни протекал нелегко. Больше всего ей мешала природная застенчивость. Очень способная, успевавшая изучить ко времени своего поступления на курсы французский, немецкий и английский, овладевшая уже началами итальянского и болгарского, она обладала обширными для своего возраста знаниями. Память у нее была исключительная: свои любимые поэтические произведения — «Железную дорогу», «Мцыри», «Евгения Онегина», шиллеровскую «Орлеанскую деву» — она знала наизусть. Знала она наизусть и целые страницы Белинского, Писарева, Добролюбова.

Бестужевские высшие женские курсы, говоря словами одной из их слушательниц — народолюбки Ивановской, были основаны на строго демократических началах и пропускали через свою лабораторию все свежее, живое, там же на курсах объединявшееся в кружки, чтобы впоследствии или тотчас же уйти в революцию. И вот над курсами нависла угроза: правительство намеревалось их закрыть. Такая же угроза нависла и над любимейшим журналом передовых людей того времени — над «Отечественными записками», редактируемыми Салтыковым-Щедриным.

Бестужевские курсы удалось отстоять благодаря энергичным хлопотам директрисы курсов Н. В. Стасовой (сестры известного критика В. В. Стасова и Д. В. Стасова, отца одной из старейших коммунисток Е. Д. Стасовой). Но в апреле 1884 года в газетах появилось «Правительственное сообщение о том, что «некоторые органы» периодической печати «несут на себе тяжкую ответственность за удручающие общество события последних лет». Они, эти органы печати, гласило «сообщение», проповедовали «теории, находившиеся в противоречии с основными началами государственного и общественного строя», причем «проповедь эта, обращенная к незрелым умам, не оставалась бесплодной». Обвиняя «журналы и газеты известного оттенка», и в частности редакцию «Отечественных записок», в прямой связи с Исполнительным комитетом «Народной воли», а также во «внесении смуты в сознание известной части общества», правительство заявляло, что оно «не может допустить в дальнейшем существование органа печати, который не только открывает свои страницы распространению вредных идей, но и имеет ближайшими своими сотрудниками лиц, принадлежащих к составу тайных обществ», а посему постановляло: «Прекратить вовсе издание «Отечественных записок».

Прогрессивная часть русского общества, а особенно молодежь, с острой болью восприняла запрещение «Отечественных записок». Салтыков-Щедрин потерял трибуну, с которой он выступал с грозными обличениями власть и деньги имеющих.

«Мы ощущали очень горестно, что наш любимый писатель вынужденно умолк, что орган его закрыт, но чем могли мы в то время выразить ему сочувствие? — вспоминала потом Анна Ильинична. — Все формы общественного проявления были тогда закрыты; единственно признанным было принесение приветствия в традиционный день именин».

Так и порешили.

В канун 7 ноября 1885 года к Анне Ильиничне пришел товарищ Саши, студент Военно-медицинской академии, с предложением организовать на Бестужевских курсах депутацию к Щедрину, который болен и чувствует себя одиноким и всеми забытым. Такие же депутации должны были прийти к Щедрину и от других высших учебных заведений.

Застенчивость Анны Ильиничны как рукой сняло. Она тотчас бросала проект адреса, на следующий же день собрала сходку курсисток, на которой он был принят. Вместе со всей делегацией курсов Анна Ильинична отправилась на квартиру к Щедрину. Увидеть его им не

пришлось — он был болен, — и девушки лишь услышали тяжелый стон из его комнаты. А на следующий день начальница курсов Н. В. Стасова вызвала к себе Анну Ильиничну и, затворившись с ней в пустой аудитории, рассказала, что она видела Щедрина и он выразил благодарность курсисткам за их адрес, который показался ему самым прочувствованным из всех, им полученных, и понравился ему больше остальных.

Когда Анна Ильинична рассказала Саше о посещении Щедрина и разговоре со Стасовой, он спросил:

— Это ты написала адрес?

Да, его написала она. И то, что это сделала именно она, то, что она возглавила сходку и была избрана в делегацию, свидетельствует о том, как несправедлива она к себе, когда так мало рассказывает о своей внутренней жизни и изображает себя замкнутой, застенчивой провинциалкой.

Это подтверждается также и тем, что и в следующем, 1886 году она была вновь избрана в состав делегации, посетившей Щедрина в день его именин. На этот раз в делегацию был избран также и Александр Ильич.

Щедрин вышел к студентам. Был он хмурый, худой и желтый, с отросшей бородой, одет в поношенный домашний костюм. Поблагодарив за внимание, за адрес, он пожал всем руки. Когда очередь дошла до Александра Ильича, он так крепко пожал руку Щедрина, что тот, приведя этим Александра Ильича в крайнее смущение, вскрикнул: «Ой-ой! Нельзя же так сильно. Я старенький, мне больно!»

Но кто мог подумать, что через полгода — ровно день в день через полгода — Александр Ильич — такой полный жизни и непочатых сил — взойдет по ступеням эшафота!

Первые три года студенчества брат и сестра Ульяновы жили неподалеку друг от друга и старались быть вместе каждую свободную минуту. По старой симбирской привычке они усаживались с книгами у зажженной керосиновой лампы и проводили целые вечера, лишь изредка обмениваясь небольшими замечаниями. Но стоило Александру Ильичу чуть шевельнуться или поднять голову — он видел устремленный на него пристальный, полный нежности взгляд старшей сестры.

Они полюбили Петербург, хоть и был он вначале чужим и неприветливым, полюбили его снежную тишину, широкие улицы, робкую зелень, белые ночи, когда так хочется бродить вдоль набережных Невы.

Летом они уезжали в Кокушкино. Как это всегда бывает, поразились тому, насколько выросли младшие дети. Особенно Володя. Когда они уезжали в Петербург впервые, он был угловатым подростком, еще совсем мальчиком. Теперь они увидели в нем юношескую порывистость, склонность к самоутверждению, резкость и крайность суждений, упрямство, неуступчивость, обостренную принципиальность, ненависть к полурешениям и полумерам, отвращение к скептицизму, мечту о высоком идеале, порой маскируемую внешней грубоватостью.

В начале 1886 года на семью Ульяновых обрушилось тяжелое горе: скоропостижно скончался Илья Николаевич. Это произошло как раз тогда, когда Анна Ильинична приехала в Симбирск на рождественские каникулы.

Хоронил его весь город, вся губерния: весть о его смерти прокатилась по всей учительской России. Когда сейчас читаешь посвященные ему некрологи, не можешь не почувствовать их неказенность, рожденную светлой личностью покойного.

Анна Ильинична хотела остаться после смерти отца с матерью. Но Мария Александровна настояла, чтобы она уехала в Петербург, где Саша был теперь один, и продолжала образование.

Она поехала. Но всю весну тосковала и болела. Как ни принуждала себя, не могла по-настоящему работать: слишком терзало горе. Не смогла собрать силы, чтоб сдать два последних экзамена. Мучилась бессонницей. Болела изнуряющей лихорадкой, приступы которой повторялись через две-три недели.

Лето 1886 года было последним летом, в которое Александр Ильич приезжал домой. Потрясенная внезапной смертью отца, Анна Ильинична в каком-то предчувствии рокового будущего дорожила каждой минутой, проведенной с Александром.

Александр Ильич в то лето особенно много читал. Круг его чтения был широк: и естественные науки, и книги, посвященные проблемам истории и общественной жизни. Жил он, как обычно это бывало летом, вместе с братом Владимиром. Никогда близость братьев, основанная и на общности и на различии характеров, не была, пожалуй, столь живой, непринужденной, взаимообогащающей.

Анне Ильиничне запомнился такой случай: братья сосредоточенно играли в шахматы в комнате на первом этаже, окно которой было загнуто сеткой. К окну подбежала девочка лет двенадцати и крикнула: «Сидят, как каторжники за решеткой...» Братья быстро обернулись к окну.

«Настоящей решетки они еще не знали,— пишет об этом Анна Ильинична,— но, должно быть, они уже чувствовали ее сами как что-то неминуемое и совершенно неизбежное в те времена».

Уже в первые два года пребывания в Петербурге брат и сестра Ульяновы, конечно, знали, что народовольческие организации существуют. Уйдя в глубокое подполье, они напоминали о себе взрывами бомб, револьверными выстрелами, листовками и прокламациями, напечатанными в нелегальных типографиях. О существовании тайных революционных организаций невольно пробалтывалось и само правительство, хотя бы в том же сообщении о закрытии «Отечественных записок».

Но это были последние трагические усилия обреченной на гибель «Народной воли». Все более надвигалась ночь реакции. Арест следовал за арестом. Кто был повешен, кто отправлен на каторгу, кто навеки замурован в тюрьме или крепости. Еще недавно грозный и неуловимый, Исполнительный комитет «Народной воли» реально более не существовал.

Однако причины гибели «Народной воли» были глубже. О них говорит в своей книге «Запечатленный труд» Вера Фигнер, с мнением которой согласна Анна Ильинична Ульянова.

Предстояла новая борьба, поиски новых путей. И на грани этих двух эпох во весь свой рост подиялась героическая фигура Александра Ульянова.

Как удачно сказал один из участников революционного движения того времени, «Народная воля» построилась в истории, будто каменная дуга, давшая две яркие вспышки: 1 марта 1881 года и 1 марта 1887 года.

Поверхностному наблюдателю жизнь брата и сестры Ульяновых по их приезде в Петербург осенью 1886 года показалась бы мало отличающейся от той, которой они жили в предыдущие годы. Александр Ильич по-прежнему напряженно занимался естественными науками. Он уже проявлял себя как подающий большие надежды молодой ученый и получил за свою научную работу о кольчатых червях золотую медаль с надписью: «Преусневшему». Анна Ильинична по-прежнему училась на курсах, часто болела, но продолжала занятия.

Но даже на поверхности их жизни проглядывало и нечто новое. Они стали жить врозь. Реже встречались. Были не так откровенны между собой, как прежде. У Александра Ильича появился новый круг друзей и интересов, в который он не вводил сестру. Она не столько знала об этом, сколько чувствовала своею любящей душой.

Раздумывая впоследствии об этих месяцах, Анна Ильинична писала: «Саша, как видно из ряда воспоминаний моих и других товарищей, не принадлежал ни к какой партии летом 1886 года. Несомненно, что путь революционера был уже намечен им для себя, но он только знакомился тем летом с «Капиталом» Маркса, изучал русскую действительность...» Пока же, пишет она, Александр Ильич «шел по дороге к революционному марксизму, который еще пытался примирить с народовольчеством, как большинство революционеров того времени, но к которому пришел бы окончательно».

Приехав в Петербург, Александр Ильич поселился вместе со своим товарищем математиком Чеботаревым в сравнительно большой квартире, которую посещало много студенческого народа. Весь стиль жизни этой квартиры, по меткому наблюдению Анны Ильиничны, доказывает, что определенного намерения заняться террором у Александра Ильича тогда не было. «При подобном намерении,— пишет она,— таких квартир не снимают».

Для Анны Ильиничны эти месяцы прошли в непрерывных терзаниях: она не могла понять, почему Саша от нее отдалился, новые друзья его нередко внушали ей чувство недоверия и тревоги.

Только однажды почувствовала она прежнюю близость со столь дорогим ей братом: это было во время знаменитой добролюбовской демонстрации, в которой она принимала участие,— первой в ее жизни демонстрации.

Демонстрация состоялась 17 ноября 1886 года, в день двадцатипятилетия смерти писателя-революционера. О том, что она готовится, Анна Ильинична узнала заранее.

Вместе с Сашей она поехала на конке к Волкову кладбищу. Собравшаяся там студенческая толпа все возрастала. Ворота кладбища были заперты, во дворах соседних домов прятались отряды городских. После длительных переговоров полицейские позволили пройти на кладбище делегатам с венками. Остальные — в их числе Анна и Александр Ульяновы, не расстававшиеся ни на миг,— продолжали стоять перед воротами.

Когда делегаты вернулись, все собравшиеся сплоченно двинулись в город. Недалеко от Невского они увидели казаков, скачущих на них с шашками наголо. Казаки стали теснить демонстрантов к полицейскому участку.

— Что же теперь делать? — спросили подошедшие к Александру Ульянову его друзья-студенты.

— Идти вперед! — отвечал тот.

Четыре десятилетия спустя, вспоминая эту минуту, Анна Ильинична писала: «...Его нахмуренное лицо приняло выражение какой-то железной решимости, жутью прошедшей по моим жилам».

Тут же началась полицейская расправа. Как пишет Анна Ильинична, «в более активных натурах она вызвала горячий протест, стремление к отпущению, стремление показать правительству, что не все склоняют так покорно головы, что нельзя так безнаказанно оскорблять чувство человеческого достоинства, что этому будет, должен быть положен предел, чего бы это ни стоило,— что если нужны жертвы, найдутся и жертвы... Такой активной, полной протеста натурой был брат, Александр Ильич».

После добролюбовской демонстрации Анна Ильинична стала чаще бывать на квартире брата. Сидя вместе с несколькими товарищами в большой комнате за круглым столом, она надписывала адреса на конвертах, в которых рассылались обращения к обществу по поводу расправы с демонстрацией. Потом разносила эти письма и бросала их в почтовые ящики. И чувствовала все время, что рядом с ней происходит нечто таинственное и непонятное, к чему она не имеет доступа.

То в квартире Саши появлялся новый, незнакомый Анне Ильиничне человек и они, уединившись, тихонько беседовали о чем-то. То Саша поспешно уносил со своей квартиры какой-то тщательно завернутый в бумагу предмет, по форме напоминающий ружье. В ответ на свои вопросы она слышала односложные и уклончивые объяснения. Когда она входила в комнату, происходивший там разговор тотчас же обрывался.

Все это наполняло Анну Ильиничну смутным беспокойством. Но она была, по ее собственному признанию, так далека от мысли, что в квартире Саши может готовиться террористический акт, да и сам Саша проявлял такое спокойствие, что неясная тревога тонула в других впечатлениях.

В конце января 1887 года сожитель Александра Ильича Чеботарев переехал на другую квартиру. Анна Ильинична лишь много позже узнала, что сделал он это по просьбе Александра Ильича, который сказал ему: «Участие мое в одном серьезном деле может вас скомпрометировать».

В феврале то, что Анна Ильинична называет в своих воспоминаниях «нервной беготней», прекратилось. Казалось, что Александр Ильич полностью ушел в науку. Правда, он предупредил как-то Анну Ильиничну, что она получит предназначенную для него телеграмму. Телеграмма эта пришла. Странная телеграмма, отправленная из Вильны, с незнакомой подписью «Петров» и загадочным текстом: «Сестра опасно больна». Пришла она ночью, и утром Анна Ильинична побежала к брату.

Сорок лет спустя — так сильно было впечатление — она с удивительной тонкостью и психологическими подробностями восстановила их встречу.

«Помню, как сейчас,— писала она,— его спокойный, все еще погруженный в интенсивную научную работу взор, когда он вышел ко мне; помню сменивший это выражение проблеск тревоги и напряженное, углубленное чтение телеграммы. Мне оно показалось страшно долгим для трех коротких слов, составлявших ее содержание; меня поразила та значительность, которой слова эти отобразились на его лице, та перемена взгляда и всего настроения,— точно человек отрывается от одного берега и плывет к другому. Такой смены настроений я на его спокойном лице ни разу — ни раньше, ни позже — не видала».

Телеграмма «Сестра опасно больна» означала, что из Вильны в Петербург выехал человек, который везет азотную кислоту и стрихнин для готовившегося покушения на царя.

Словно спугнутый разговором с сестрой, спросившей, что же означает эта телеграмма, Александр Ильич снова ушел в себя, и на лице его выступило что-то отчужденное, неуловимо отделявшее их в последнее время друг от друга. И еще раз, подойдя вплотную к разгадке, она ничего не разгадала.

Неизвестность ее мучила. Особенно пугали ее неожиданные, незнакомые прежде поступки брата: то, что он однажды не ночевал у себя; что, как проговорился один из новых его друзей, Саша что-то гектографирует или печатает. Она боялась спрашивать брата, но все же

изредка, не выдержав, задавала ему вопросы. И всегда, словно на скалу, наталкивалась на его твердое молчание.

Чувствуя, что брату грозит неведомая ей беда, она металась, проговаривая о нем с близкими друзьями, не спала ночей.

Сидеть над книгами у нее не хватало сил. В пятницу 27 февраля она решила поехать в Волкову деревню, чтоб послушать там урок учителя народной школы. Но слушала невнимательно и быстро ушла. Ее потянуло на Волково кладбище — в то время она и думать не могла, что здесь суждено покоиться ее сестре, матери, мужу и ей самой. Вся в слезах долго бродила среди могил. На обратном пути заплуталась. С трудом найдя дорогу, вышла на Петербургскую сторону. И вдруг увидела Сашу.

— Откуда ты? — спросил он.

Узнав, что с кладбища, удивился, что-то пробормотал и пошел своим путем.

Это была их последняя встреча.

В воскресенье 1 марта она хотела зайти к нему с утра — накануне не застала его дома, — но узнала, что он уже ушел. Весь день бродила по городу. Погода стояла весенняя, солнечная, а тревога за брата ее не покидала.

Вечером она снова побежала к нему, уверенная, что на этот раз непременно его застанет. Подходя к дому, увидела, что окна его квартиры ярко освещены. Очень обрадовалась этому: значит, он дома и она сейчас его увидит. Поднялась по лестнице. Позвонила. Дверь резко распахнулась. Два дюжих полицейских схватили ее под руки и потащили внутрь.

В комнате все было вверх дном. Шел обыск — первый из многочисленных обысков, которые она видела на своем веку. Она спросила, что случилось, но ей не ответили.

Ничего не зная, ни о чем не догадываясь, она не понимала всей серьезности происходящего. И уж никак не приходило ей на ум, что и она сама будет арестована. Но полицейские повели ее на квартиру, где она жила. Там снова обыск. Больше всего поразили Анну Ильиничну те предосторожности, с которыми была забрана хранившаяся в ящике комода инфузурная земля, привезенная Сашей из Кокушкина.

Дальше ее ждал обычный в таких случаях путь: охранное отделение на Гороховой улице, а сутки спустя — «предварилка», как именовали тогда «Дом предварительного заключения».

И тут для Анны Ильиничны потянулись дни и ночи, ночи и дни, заполненные только одним: что же произошло? Почему арестован Саша? Что его ждет?

Пристав, который вез ее на извозчике из охранки в «предварилку», ругал студентов, что они, мол, снова бунтуют, и назвал имя Генералова, который, по его, пристава, словам, бросил бомбу в царя, но был схвачен, а теперь-де сажает всех его знакомых. Навсегда запомнился ей леденящий страх, который она испытала, услышав имя Генералова: ведь это был знакомый Саши, она не раз видала его на Сашинной квартире!

Она даже не заметила, как извозчик подъехал к «предварилке», как скрипя на ржавых петлях, растворились ворота тюрьмы, как длинным коридором, где так гулко звенят шпоры, ее провели в одиночную камеру. «...Напряженно разматывая в своем мозгу клубок минувших событий, встреч, разговоров, всего неясного для меня в поведении Саши, я стала понимать с ужасом, леденившим мне душу, что тут дело не в одном знакомстве, а в активном участии. Первый же допрос утвердил меня в этом мнении...»



Вскоре приехала в Петербург Мария Александровна, которая добилась разрешения на свидание с арестованной дочерью, а потом и с сыном. Грустная, но владевшая собой, она несколько успокоила всем своим видом Аню. На вопрос об Александре Ильиче она лишь сказала: «Молись о нем». Но Аня не поняла смысла этих слов.

Перед ней неотступно стоял Саша. Она вспоминала каждый его шаг, каждое слово, каждый поступок, его лицо в последние дни перед арестом.

Отныне до конца своей жизни Анна Ильинична делала все, чтоб собрать о Саше все, что только возможно, записать рассказы тех, кто его встречал.

Никто не знает, сколько тягчайших минут пережила она, когда уже после революции раскрыла протоколы допросов брата, производившихся в Петропавловской крепости жандармским ротмистром Лютовым; когда она прочла написанную знакомым почерком программу террористической фракции партии «Народная воля»; и боль при чтении строго секретного «Стенографического отчета по делу 1 марта 1887 года»; и чувства, испытанные ею, когда ей стали известны имена предателей и их показания, которые привели к гибели Александра Ильича и его товарищей; и гордость за брата, за его мужество, за бесстрашное поведение его и на суде и в Шлиссельбурге, у подножья эшафота.

Со скрупулезной тщательностью собрала она листок за листком все, что нашла о деле брата, и в труднейших условиях издала «Стенографический отчет» и сборник воспоминаний об Александре Ильиче и его деле.

Благодаря ее самоотверженному труду мы можем воссоздать образ Александра Ильича Ульянова, доказавшего своей жизнью и смертью, что он принадлежит к плеяде революционных борцов, которые, как сказал он в речи на суде, «настолько преданы своим идеям и настолько сочувствуют несчастьям своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело».

Вскоре после казни Александра Ильича Ульянова Дмитрий Иванович Менделеев, обращаясь к студентам Петербургского университета, с глубоким горем сказал: «Эти проклятые социальные вопросы, это ненужное, по моему мнению, увлечение революцией,— сколько оно отнимает великих дарований. Два талантливейших моих ученика, которые, несомненно, были бы славою русской науки—Кибальчич и Ульянов—пожраны этим чудовищем».

Прав ли был великий русский ученый? Что выше — наука или политическая борьба? И какой долг священнее: борьба ли за свободу или же поиск научной истины?

Было бы неверно давать на эти вопросы плоские, однозначные ответы. Но если подойти к ним со всей той серьезностью и глубиной, каких они заслуживают, согласиться с мнением Д. И. Менделеева невозможно. Ибо чем была бы Россия, какой была бы судьба народа русского, если б в мраке ночи небо не прорезали яркой молнией Радницев и декабристы, Пушкин и Лермонтов, Белинский и Добролюбов, Герцен и Чернышевский, герои «Народной воли» и Александр Ульянов?

Разве мало было в России гениев и талантов? Разве не сверкают их имена вечной славой? Но лишь тогда, когда было свергнуто «самодержавие, единодержавие и однорожие», наука, замкнутая в тесных стенах университетов и лабораторий, вышла на великие просторы мысли и действия.

К великим людям прошлого можно подойти с меркой одних только идей. Многое из того, во имя чего они шли на костер, было иллюзией или заблуждением. Но осталось нетленным главное — нравственное величие

героев и высокие человеческие идеалы, которыми они перекликаются через века, границы, континенты.

К этим людям — и в их славном ряду бессмертных имен к Александру Ильичу Ульянову — можно полностью отнести прекрасные слова Гёте, которые любила Анна Ильинична: «Wer für das Beste seiner Zeit gelebt, der hat gelebt für alle Zeiten». — «Тот, кто жил для лучших идеалов своего времени, тот жил для всех времен».

### *Глава третья*

Анна Ильинична была освобождена из тюрьмы 11 мая, на третий день после казни брата. Она подлежала высылке «в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции на пять лет», о чем уже был поставлен в известность иркутский губернатор, и по прибытии в Иркутск отправлена «в определенные пункты с учреждением там гласного полицейского надзора». Местом ссылки был определен город Киренск Иркутской губернии.

У ворот тюрьмы Анну Ильиничну поджидал дальний родственник семьи, Песковский. Он рассказал всю правду о судьбе брата. Волна отчаяния пронизала ее. Песковский просил ее совладать с собой ради матери. Она старалась, но, по воспоминаниям ее, скорее мать была ей поддержкой, чем она — поддержкой матери.

Несколько дней спустя в департаменте полиции Анне Ильиничне вручили последнее полученное ею письмо брата. Он просил у нее прощения за горе, которое причинил ей и матери.

«Будь здорова и спокойна, насколько это только возможно, — писал он, — от всей души желаю тебе всякого счастья. Прощай, дорогая моя, крепко обнимаю и целую тебя...»

Мария Александровна словно окаменела. Без стога, без звука несла свое горе. Заботилась об Ане. Хлопотала, чтоб Восточную Сибирь ей заменили ссылкой в места не столь отдаленные. Добилась этого: министерство внутренних дел вынесло решение о «смягчении наказания» и высылке Анны Ильиничны под гласный надзор полиции в деревню Кокушкино, Лаишевского уезда, Казанской губернии, где жили ее тетки.

Путь в Симбирск мать и дочь совершили вместе. Вспоминая о возвращении Марии Александровны, няня рассказывала: «Не позвонила, не постучала. Тихо вошла через черный ход. Маленькие дети так и облепили мать».

Прошло всего два с половиной месяца с того страшного дня, когда в гимназию, во время уроков, прибежала запыхавшаяся девушка и сказала, что друг семьи Ульяновых, В. В. Кашкадамова, немедленно вызывает Володю Ульянова к себе. Ничего не зная, не подозревая возможности несчастья, раздумывавшийся юноша вбежал к ней в комнату.

Утром этого дня В. В. Кашкадамова получила из Петербурга письмо от родственницы М. А. Ульяновой — Песковской, которая сообщила об аресте Александра и Анны Ульяновых и просила подготовить к этому известию Марию Александровну.

Потрясенная письмом, В. В. Кашкадамова решила прежде всего посоветоваться с Владимиром, как со старшим в семье. Зная твердость его характера, она тут же протянула ему письмо. Володя прочел его, задумался и медленно произнес: «Да, дело серьезное» — и, помолчав, вышел.

Через полчаса к В. В. Кашкадамовой пришла Мария Александровна. Произнесла одно только слово:

— Письмо!

В. В. Кашкадамова молча подала ей письмо. Сохраняя полное самообладание, Мария Александровна быстро прочла его и сказала:

— Сегодня я еду в Петербург. Навещайте детей.

В тот же день Мария Александровна уехала. Старшим в семье остался Володя.

Не много есть в истории людей, чье отрочество оборвалось бы так внезапно, так трагически, как это было у Володи Ульянова.

Давно ли он, быстрый, веселый, ловкий, неистощимый на выдумку, озорной и в то же время не по летам развитый, начитанный и вдумчивый, носился во главе шумной мальчишеской ватаги, далеко заплывал на Волге, брал лодку и в бурную, ветреную погоду гнал ее по волнам, читал ночи напролет, поражал всех необыкновенной памятью и широкой эрудицией, бегал взапуски с младшей сестрой Олей, мастерил игрушки и придумывал всяческие игры для «мелюзги», сооружал коляску для котенка, самозабвенно сражался для шахматы, а потом запоем читал, читал и читал.

Внезапная смерть отца потрясла его. Он повзрослел, посерьезнел. Однако остался тем же полуподростком-полуюношей.

Теперь было иное. Теперь было неизбежное горе. Теперь он встал лицом к лицу перед самыми сложными вопросами жизни.

Как и Аня — даже больше, чем она, — он не подозревал об участии старшего брата в революционной борьбе, а тем паче в терроре. Арест его и сестры был для Владимира полной неожиданностью.

Оставшись в Симбирске главой семьи, приняв на свои юные плечи все бремя забот о доме, о меньших, окруженный стеной обывательской злобы и сплетен, он, как и все Ульяновы, сумел держаться выше мерзостей так называемого «симбирского общества» и ничем не обнаружить чувства, переполнявшие его душу.

Внешне жизнь в доме Ульяновых текла, как обычно. Дети ходили в гимназию, готовили уроки. Сам Володя усиленно занимался: весной его ждали экзамены на аттестат зрелости. Успокоил мать, которая во время следствия по делу Александра Ильича приехала на несколько дней в Симбирск, чтобы убедиться, что дома все в порядке.

Да, внешне в доме Ульяновых жизнь текла, как обычно. Но вот Володя оставался один с младшими детьми.

«Так и стоит перед глазами его расстроенное, печальное лицо... — вспоминала много лет спустя младшая сестра Владимира Ильича Мария. — ...Я была слишком мала, чтобы понять весь ужас происшедшего, и меня, как это ни странно, больше поразил вид Владимира Ильича, через его печаль, через его горестные слова о брате я начала усваивать все значение случившегося».

Экзамены на аттестат зрелости начались 5 мая. В самый разгар их Симбирск облетело известие о казни Александра Ильича. Правительственное сообщение о раскрытии «заговора злоумышленников», суде, приговоре, казни было расклеено на всех городских столбах.

Но Владимир Ильич со свойственной ему несгибаемой нравственной силой продолжал сдавать экзамен за экзаменом. Сдавал их даже в тот день, когда стало известно о казни Александра Ильича; даже в тот, когда к симбирской пристани подошел пароход и с него сошла сопровождаемая старшей дочерью Мария Александровна, одетая в глубокий траур.

В этих условиях Владимир Ульянов сдал экзамены первым, самым лучшим. Был награжден золотой медалью.

Думается мне, что именно тогда, в трудную, трагическую весну 1887 года, во Владимире Ильиче сложились навсегда те черты ума, характера и воли, благодаря которым он стал Л е н и н ы м!

Как ни впечатляет сила воли, проявленная в этих тягчайших обстоятельствах Владимиром Ульяновым, главным, основным, что раскрылось в нем и для него, было другое. То, о чем так хорошо сказала Н. К. Крупская.

«Судьба брата имела, несомненно, глубокое влияние на Владимира Ильича, — говорила она. — Большую роль при этом сыграло то, что Владимир Ильич к этому времени уже о многом самостоятельно думал, решал уже для себя вопрос о необходимости революционной борьбы.

Если бы это было иначе, судьба брата, вероятно, причинила бы ему только глубокое горе или в лучшем случае вызвала бы в нем решимость и стремление идти по пути брата. При данных условиях судьба брата обострила лишь работу его мысли, выработала в нем необычайную трезвость, умение глядеть правде в глаза, не давать себя ни на минуту увлечь фразой, иллюзией, выработала в нем величайшую честность в подходе ко всем вопросам».

Так молодой Ленин predetermined свой жизненный путь. И не только свой, но и всей семьи Ульяновых — в том числе и старшей своей сестры Анны.

На семейном совете было принято решение продать дом, рояль, мебель, имущество и уехать из Симбирска, жизнь в котором стала невыносимой.

Первой уехала Анна Ильинична: ее торопило и жандармское предписание, по которому она «определялась на жительство» в Кокушкине, да и не хотелось оставаться среди обывательской сплетничающей черни. Следом за ней в конце июня приехали, распродав почти все, Мария Александровна, Владимир и другие члены семьи. Ближе к осени они уехали в Казань.

Анна Ильинична осталась в Кокушкине.

Как не похоже было для нее теперешнее Кокушкино, понурившееся в октябрьском тумане, на Кокушкино времен ее детства и юности! Холодные ветры сдули с деревьев последнюю листву, по небу неслись серые дождевые тучи. Только шорох дождя и дальние клики улетающих птичьих стай нарушали безмолвие. И не было, не было, не было Саши. Не было ни теперь, не было навек.

Порой Анна Ильинична целыми днями напролет сидела недвижная, опустив руки на колени, без воли, без сил. Порой ею словно овладевала лихорадка, и с утра до вечерней зари она бродила в лесу по опавшим листьям. И без конца разматывала и перематывала все тот же клубок воспоминаний.

Ее преследовало чувство вины. То проклятое «если бы», которое — осуществись оно — повернуло бы все иначе. «Если бы» она прямо спросила Сашу... «Если бы» сказала ему о своих тревогах... «Если бы» догадалась о том, что происходит...

В туманной мгле возникало безвозвратное прошлое. Вот дуб, еще сохранивший остатки ржаво-бурой листвы. А вдруг совершится невозможное! Вдруг, как это было всего год назад, появится высокая тонкая фигура Саши, и они пойдут вместе, рука об руку, и будут снова и снова говорить о своем, о том, о чем они могут говорить только друг с другом!

В архивах сохранилось несколько писем Анны Ильиничны подруге, написанных в то грустное время.

«Моя судьба складывается с внешней стороны довольно ладно,— пишет Анна Ильинична,— мое наказание — ссылка в деревню родных — комедия: чего бы много я могла желать на лето?» Ее угнетает вынужденное безделье, она ищет себе занятие, мастерит какие-то абажуры, томится. В письме она приводит посмертно опубликованное стихотворение Надсона:

Надо жить! Вот они, роковые слова!  
Вот она, роковая задача!  
Кто над ней не трудился, тоскуя и плача,  
Чья над ней не ломилась от дум голова!

Больше всего ее тревожит мысль, что от безделья она может прерваться, говоря ее собственными словами, «в паразита». Занимается английским языком, чтоб не позабыть его. Совершенствует свое знание итальянского. Выучилась у проходившей через Кокушкино кружевницы плести кружева, чтоб обучить этому местных девушек для заработка в зимние месяцы.

При всем своем тяжелом настроении, она сохраняет чувство юмора. Высмеивает местного исправника, которому вздумалось отдать ей на воспитание сына, притом полным пансионером.

Единственная надежда ее — литературная работа. Еще при жизни Саши она писала стихи и небольшие рассказы, которые он похвалил. В тюрьме ее потянуло к стихотворчеству. В Кокушкине она написала несколько сказок и стихотворений, которые послала в детский журнал.

Оберегая свою приятельницу, ни единым словом не вспоминает она Сашу и его трагическую судьбу. Ей очень тяжело. «Как бы мне хотелось иногда побыть с Вами, отвести немного душу! — восклицает она. — ...Во мне идет это время какая-то ломка, которую я сама плохо понимаю. Чем кончится это? Жить так, по инерции, часто слишком тяжело...»

Особенно тяжело стало ей поздней осенью, когда подули северные ветры и она осталась одна в холодном сумраке ноябрьских ночей.

Наступил декабрь. Лед сковал реки, на землю лег снег, в зимней тишине лишь попискивали синицы, перелетая с ветки на ветку, да деловито постукивал по коре деревьев дятел. И вдруг эти однообразные звуки прервал все приближавшийся звон колокольчика.

Анна Ильинична, накинув платок, выбежала на крыльцо. Подкатила санная кибитка, и из нее выпрыгнул весь обсыпанный снегом, одетый в овчинный полушубочек Володя. А следом за ним — младшие брат и сестра и Мария Александровна.

Они приехали потому, что Владимир Ильич, поступивший осенью в Казанский университет, был арестован за участие в студенческих беспорядках и отправлен в ссылку в Кокушкино.

Владимир Ильич поселился во флигеле, где стоял книжный шкаф его покойного дяди, человека начитанного и образованного. В старых журналах было много статей по общественным вопросам, которые Владимир Ильич жадно читал. Он много бродил по лесам, охотился, думал.

То было время, когда революционное движение попало в тяжелую полосу. «Старое,— пишет Анна Ильинична,— уже умерло или отмирало, а новое не пришло ему на смену... Молодежь того времени стояла на перепутье. Вера в народвольтерское движение гасла, новой еще не на чем было укрепиться».

Владимир Ильич был весь захвачен поисками новых путей. При свете оплывающих свечей делал выписки, конспекты, обсуждал с сест-

рой прочитанное. В напряженной внутренней борьбе формировалось его мирозерцание, формировалась его глубокая и острая мысль и самоотверженная человечность.

«Кажется, никогда потом в моей жизни, даже в тюрьме в Петербурге и в Сибири, я не читал столько, как в год после моей высылки в деревню из Казани,— говорил Владимир Ильич.— Это было чтение заповсем с раннего утра до позднего часа».

Особенно сильное впечатление в ту зиму, проведенную в Кокушкине, произвели на него два титана русской мысли — Чернышевский и Салтыков-Щедрин.

Неутомимый летописец трех десятилетий, последовавших за так называемыми «великими реформами» шестидесятых годов, Салтыков-Щедрин воссоздавал сложный и многообразный процесс, в котором дореформенная Русь приспособлялась к новым, буржуазно-капиталистическим порядкам. В его произведениях вырисовывалась яркая картина того, как время «веяния радостных ожиданий» сменилось вскоре «веянием горестных утрат», затем не сдерживаемым никакими ограничениями ураганом «веяния хищничества», а в начале восьмидесятых годов — какой-то хранимой с надписью на воротах «Галиматя» и веянием, единственное возможное название которому: «веяние сапогов всмятку».

В беспощадных сатирических обличениях Салтыкова-Щедрина выступала тогдашняя Россия. История должна утешать, горестно раздумывал великий сатирик. «Что до меня лично, я чувствую только одно: история сдирает с меня кожу».

Не менее впечатляющим было для молодого Ленина глубокое знакомство с произведениями Чернышевского, которому он посвятил много зимних вечеров. Чернышевский его тогда «всега перепахал», говорил он потом. И не случайно одному из основополагающих своих произведений Ленин дал название известного всей читающей России романа Чернышевского «Что делать?».

Анна Ильинична была все время с братом. С огромным интересом наблюдала за его умственным и духовным ростом. Поражалась тому, как быстро он мужал. Невольно сравнивала его с Александром, столь непохожим и в то же время схожим. Отыскивала общие для них обоих черты и старалась определить их различия.

Будущее представлялось пока туманно. Ясно было одно — ее ждет работа. К ней надо готовить все свои силы.

Примерно за год до ареста и гибели Саша в жизнь Анны Ильиничны вошел новый человек — Марк Тимофеевич Елизаров.

Знакомство с ним произошло как бы «по цепочке»: сперва его узнал Саша, встретившись в студенческом землячестве, потом Саша познакомил с ним сестру.

Скрытная, как всегда, там, где это касается ее самой, Анна Ильинична почти не рассказывает о Марке Тимофеевиче. Впервые она упоминает о нем лишь в связи с добролюбовской демонстрацией и даже в переписке с приятельницей его имя называет больше чем через год по приезде в Кокушкино.

Уже к моменту ареста Анны Ильиничны родные и друзья смотрели на Марка Тимофеевича и на нее как на жениха и невесту. В прошении на имя директора департамента полиции Дурново Мария Александровна, ходатайствуя о замене для Анны Ильиничны ссылки в Восточную Сибирь, называет Самару, как не особенно отдаленную от местожительства жениха ее дочери. И сам Марк Тимофеевич, обращаясь к тому же Дурново, телеграфирует: «Умоляю выслать мою невесту Анну Ульянову».

в Симбирскую или Самарскую губернию. Спасите. Действительный студент Елизаров».

Марк Тимофеевич Елизаров не случайно вошел дорогим и полноправным другом в семью Ульяновых: был он личностью весьма и весьма незаурядной.

Сын крепостного крестьянина, только что получившего волю, он родился в 1863 году в деревне Бестужевке Самарской губернии, с детства проявил выдающиеся способности, кончил деревенскую школу, затем гимназию и в 1882 году, девятнадцати лет от роду, поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Благодаря высокому успехам он был освобожден от платы за учение.

Наряду с математическими он обладал исключительными способностями к игре в шахматы. Будучи лишь любителем, выиграл во время сеансов одновременной игры партии у самых сильных шахматистов того времени — прославленного Михаила Чигорина и чемпиона мира Эммануила Ласкера.

Его массивная фигура с красиво сформированной головой и крупными чертами лица производила впечатление чего-то очень прочного и устойчивого. Недаром жена Дмитрия Ильича Ульянова, Антонина Ивановна Нещеретова, вспоминая Марка Тимофеевича, вспоминая Анну Ильиничну, с которой в 1904 году она сидела в Киевской тюрьме, писала: «Спокойный, уравновешенный, умудренный большим жизненным опытом, Марк Тимофеевич дополнял в жизни порывистую, быстро загорающуюся Анну Ильиничну...»

Людям, прошедшим такой нелегкий жизненный путь, как Марк Тимофеевич, прозрит опасность превратить свое продвижение в самоцель. С ним ничего подобного не произошло. Арестованный по делу 1 марта 1887 года, к которому он не имел никакого отношения, он не отрекся от своей любви, открыто признал Анну Ильиничну своей невестой и отныне разделял все нелегкие испытания, которые выпали на долю семьи Ульяновых.

Осенью 1888 года власть предрержащие разрешили Анне Ильиничне провести четыре месяца в Казани: она болела и нуждалась в лечении. Как писала она все той же подруге Наденьке, там она «ожила и оценила культурную жизнь, уют». Беспокоило ее душевное состояние Владимира. «Брат тоскует... его и за границу не пустили и вообще косятся очень... Не знаю, что будет». Несколько времени спустя Владимиру Ильичу дано было разрешение переехать в Казань, однако в восстановлении в университете отказано.

Анна Ильинична продолжала жить в Кокушкине одна. Но к весне Мария Александровна добилась для нее разрешения переехать вместе со всей семьей на хутор Алакаевка Самарской губернии. Туда же приехал и Марк Тимофеевич.

По какому-то стечению обстоятельств — быть может, случайному, но, быть может, и нет — Алакаевка, в которой поселилась семья Ульяновых, была местом весьма необычным, связанным с давней революционной традицией: ее прежним владельцем был золотопромышленник К. М. Серебряков, известный в свое время крупными пожертвованиями на революционные цели; еще в семидесятые годы он находился под наблюдением печально известного Третьего отделения. Жил он неподалеку от Алакаевки, в имении Сколково, ставшем приютом для многих революционеров. В Сколковской школе одно время учительствовал Глеб Успенский и работало несколько человек, привлекавшихся по процессу 193-х, а также сестра Веры Ивановны Засулич.

За приезжими в Сколково шла неусыпная слежка, особенно усилив-

шаяся после покушения Соловьева, пытавшегося убить Александра II. Перед отъездом в Петербург Соловьев работал одно время в Сколкове кузнецом.

Тотчас после того, как Марк Тимофеевич помог Марии Александровне купить у Серебрякова небольшой хутор и участок земли, самарский губернатор послал об этом секретное донесение в департамент полиции. Такое же секретное донесение было направлено начальником самарского губернского жандармского управления, сообщавшим 23 июня 1889 года, что «4 минувшего мая прибыла состоящая под гласным надзором полиции... Анна Ульянова на хутор при дер. Алакаево... Вместе с ней прибыли ее мать, сестры Ольга и Марья, брат Владимир, состоящий под негласным надзором полиции, и бывший студент, сын крестьянина Марк Тимофеевич Елизаров, человек сомнительной политической благонадежности».

Анна Ильинична Ульянова отныне связала свою жизнь с Марком Тимофеевичем Елизаровым. Чтоб обвенчаться, она, как состоящая под гласным надзором полиции, должна была подать прошение, в котором, говоря словами рапорта уездного исправника, — «заявить о желании выйти в замужество за действительного студента С.-Петербургского университета Марка Тимофеевича Елизарова». Ходатайство было удовлетворено. В конце июля состоялась свадьба.

Венчались они в сельской церкви. Свадьба была очень скромной. Шафером невесты был Владимир Ильич. Присутствовавшая на свадьбе племянница Марка Тимофеевича рассказывала:

— Свадебный «поезд» в церковь состоял из нескольких подвод. На передней ехал жених, Марк Тимофеевич, со своим братом и Владимиром Ильичем, на последней — невеста, Анна Ильинична, а с нею моя мать Анна Ивановна и я. Мария Александровна оставалась дома, так как мать не должна была присутствовать на венчании дочери. Из церкви свадебный «поезд» прибыл в деревню Алакаевку, где жили Ульяновы и где их встретила Мария Александровна.

Несколько дней семья Ульяновых провела в давно не испытанном ею простодушном веселье. Потом «молодые» решили съездить к родителям Марка Тимофеевича, жившим совсем неподалеку, причем Анна Ильинична поехала «самоволкой». Но не тут-то было: уездный исправник тотчас спохватился и отдал предписание «об розыске ее и водворении к матери в деревню Алакаевку».

На зиму вся семья переехала в Самару. Анне Ильиничне потребовалась для этого санкция министерства внутренних дел.

В Самаре семья Ульяновых-Елизаровых продолжала оставаться под неусыпным надзором — гласным, а больше негласным, причем в надзоре этом участвовали все органы полицейского государства.

Так, попечитель Казанского учебного округа П. Масленников в рапорте (разумеется, секретном) министру народного просвещения графу Делянову, увековечившему себя своим мракобесием, «почтительнейше представлял» данные о «негласных мероприятиях», связанных с «чрезвычайно интересовавшим его» «негласным обстоятельством».

«Обстоятельство» это состояло в том, что «вдова директора училищ Симбирской губернии, Ульянова, выселившаяся из Симбирска вследствие тяжелых семейных несчастий — смерти мужа и смертной казни сына, виновного в политическом преступлении, переселилась в Казань для воспитания своего младшего сына вместе с остальной своею семьею, состоящею, между прочим, из совершенно взрослой дочери, прикосновенной отчасти к делу своего казненного брата, и сына, исключенного из Казанского университета за беспорядки, бывшие в декабре месяце 1887 года».



Анна Ильинична и Владимир Ильич особенно привлекают внимание доносчика. «Связи, которые имела дочь Ульянова, и знакомства ее исключенного из университета брата заставляли желать выезда из университетского города семьи Ульяновых», — пишет Масленников. Поэтому он дал согласие на перевод пятнадцатилетнего Мити Ульянова в Самарскую гимназию, но послал следом за ним поручение директору гимназии установить за ним «особое наблюдение и тщательно следить за его отношениями с товарищами» и ежемесячно сообщать «результаты наблюдений над домашней и общественной жизнью гимназиста Ульянова, поручив возможно частое посещение его квартиры благонадежному классному наставнику».

В жизни Владимира Ильича самарский период, длившийся для него четыре с лишним года, занимает важное место. «Он был посвящен изучению марксизма», — пишет Анна Ильинична, — Владимир Ильич перечитал за это время все основные сочинения Маркса и Энгельса на русском и иностранных языках и реферировал некоторые из них для кружка молодежи, организовавшегося вокруг него в Самаре. Это была все более юная, менее определенная и начитанная, чем Владимир Ильич, публика, так что Владимир Ильич считался в ее среде теоретиком и авторитетом...»

Снова, как это было, когда мы описывали молодость Анны Ильиничны, мы как бы уходим от героини нашего повествования и сосредотачиваем внимание сперва на Александре, теперь на Владимире Ульянове.

Но иначе быть не может. Слишком крупными фигурами были оба брата, слишком велико было их влияние на окружающих, и прежде всего на членов семьи, чтоб можно было отделить их судьбу от судьбы сестры.

В том, что они дали Анне Ильиничне, оба брата взаимно обогащали один другого. Понимая всю условность такого определения, мы могли бы сказать, что Александр сделал Анну Ильиничну революционеркой, Владимир — марксисткой.

Поэтому годы жизни в Кокушкине, Алакаевке и Самаре были плодотворны и для нее и для брата.

Несмотря на ряд ходатайств, Владимиру Ильичу так и не было дозволено восстановиться в университете. Просьбы разрешить ему выехать для завершения образования за границу также наталкивались на категорические отказы. Лишь после трехлетних хлопот Мария Александровна добилась того, что его допустили сдать экзамены экстерном, разом за весь университетский курс.

В полтора года он подготовился к экзаменам и блестяще их сдал при Петербургском университете. А два года спустя окончательно уехал в Петербург.

Было это осенью 1893 года, ровно через десять лет после того, как впервые уехал в Петербург Александр Ильич. Могла ли мать, могла ли сестра, которые постоянно думали о Саше, не обратить внимания на это совпадение?

В семье Ульяновых умели скрывать тревогу и сдерживать стон. Но трагедия оставалась трагедией.

Владимир Ильич ехал из Самары по Волге. По пути он заехал в Нижний Новгород, встретился там с группой нижегородских марксистов. Рассказ об этой встрече одного из них — Сергея Ивановича Мицкевича — представляет чрезвычайный интерес.

«Осенью 1893 года,— говорит Мицкевич,— мне пришлось познакомиться с Владимиром Ильичем Ульяновым; он тогда еще не был известен под именем Ленина... Ильич расспрашивал о марксистской работе в Нижнем и Москве. Мне сказал, что в Москву переезжает его сестра Анна Ильинична со своим мужем Марком Тимофеевичем Елизаровым, посоветовал познакомиться с ними и указал, как их найти в Москве...

В беседе нашей с Ильичем мы касались многих вопросов: мы рассказали ему о наших знакомых марксистах в Москве и Нижнем, о нашей начавшейся работе среди рабочих, говорили о перспективах этой работы. Помню, что Ильич особенно подчеркивал необходимость создания прочных организаций, установления связей между городами. Для поддержания постоянной связи между Петербургом и Москвой он и дал мне адрес своей сестры в Москве, к которой он собирался время от времени приезжать и тогда видаться с москвичами.

Было у всех нас приподнятое настроение: нас, марксистов, было тогда еще очень мало в России, но мы предчувствовали, что будущее принадлежит нам...»

Ближайшие же годы показали всю правоту этого предчувствия!

### *Глава четвертая*

Переезд Анны Ильиничны и всей семьи Ульяновых в Москву внешне выглядел как чисто семейное дело: срок ссылки Анны Ильиничны кончился, Марк Тимофеевич получил хорошее место в Управлении Московско-Курской железной дороги, младшие дети нуждались в продолжении образования. Естественно, что из захолустной в те времена Самары семья перебралась во вторую столицу.

Истинная причина переезда, как видно из разговора Владимира Ильича с Мицкевичем, была иной. Как ни беден биографический материал, которым мы располагаем для изучения жизни Анны Ильиничны вообще и московского периода в частности, мы можем с полной уверенностью утверждать, что она к моменту переезда в Москву была политической и теоретически подготовленной марксисткой, столь же последовательной и непреклонной в своих убеждениях, как и ее брат. Естественно поэтому, что в Москве она быстро установила связи с марксистским революционным подпольем и приняла участие в его работе.

В Москву на зимние каникулы в январе 1894 года приехал Владимир Ильич. Однажды он попал на вечеринку, под видом которой происходил диспут между народниками и марксистами. На ней он, не зная о том, столкнулся с одним из столпов тогдашнего народничества В. П. Воронцовым и блистательно разбил все его аргументы. Выступление Ленина, писала Анна Ильинична, «разъяснило молодым марксистам многое, оно дало им опору, толкнуло их вперед».

Приезд Владимира Ильича в Москву и его схватка с В. П. Воронцовым стали быстро известны московскому охранному отделению. Как доносил присутствовавший на собрании тайный соглядатай, защиту взглядов марксизма «принял на себя некто Ульянов (якобы брат повешенного), который и провел эту защиту с полным знанием дела».

Таков один из первых, но далеко не последних доносов о революционной деятельности семьи Ульяновых в Москве.

Во главе московского охранного отделения в то время стоял С. Ф. Зубатов — охранник и монархист по вдохновению и убеждению. Будучи на много голов выше своих коллег, он рано понял смертельную

опасность, которую представляют собой якобы «мирные» марксисты для защищаемых им устоев царской России.

Основную свою надежду в борьбе против революции Зубатов возлагал на тайную агентуру. Вместе со своим помощником В. Меньшиковым он подготовил группу великолепно обученных агентов наружного наблюдения, способных определять «неблагонадежных» буквально «верхним чутьем», по малейшим приметам. Но, как ни дорожил Зубатов наружной агентурой, сердце его было отдано агентуре внутренней. Говоря о ней, он поднимался на подлинные вершины полицейского пафоса.

«Вы, господа,— восклицал он в речи, обращенной к жандармским офицерам,— должны смотреть на сотрудника, как на любимую женщину, с которой вы находитесь в нелегальной связи. Берегите ее как зеницу ока. Один неосторожный шаг — и вы ее опозорите. Помните: провал сотрудника для вас лишь некоторый ущерб по службе, для него же это смерть гражданская, а часто и физическая. Проникнитесь этим, помните это, относитесь к этим людям так, как я советую. И они поймут вас, доверятся вам и будут работать честно и самоотверженно. Штучников гоните прочь, это — продажные шкуры, с ними нельзя работать».

С помощью разветвленной агентуры московское охранное отделение провело ряд успешных «ликвидаций» первых марксистских организаций. В конце 1894 года и в июне и августе 1895 года были разгромлены в три приема сравнительно долго существовавшие группы социал-демократов. В июле 1896 года — «Московский рабочий союз», три месяца спустя — «Рабочий союз», вслед за ним группа Батурина, в 1897 году — вновь созданный «Рабочий союз».

«Провалы следовали за провалами... — пишет С. И. Мицкевич. — Ни одной группе не удавалось укрепиться хотя бы сколько-нибудь прочно. Шесть месяцев считалось уже большим сроком для существования группы... Прав был покойный Бауман, работавший в Москве, когда говорил, что история рабочего движения в Москве есть история провалов...»

Провалы эти были не случайны. Зубатов располагал в Москве крупнейшим агентом-provokatorом. Нежность Зубатова к этому агенту можно измерить той кличкой, которая была у него в московской охране — «Мамочка», а роль его как provokatora второй его кличкой — «Туз».

Этот агент — Анна Егоровна Серебрякова.

Представьте себе уютную, теплую комнату. Обеденный стол, на котором постоянно кипит самовар. Белоснежная скатерть. Сытная, вкусная еда. И милая, заботливая, радушная хозяйка дома. Так хорошо чувствуешь себя здесь, особенно после того, как весь день, уходя от шпиков, промотаешься на своих на двоих по холодной зимней Москве, отмахав добрых два десятка верст. Все располагает к доверию, к тому, чтоб со всей откровенностью отвечать на участливые вопросы хозяйки. Не устал ли ты? Где и как провел день? Есть ли где ночевать? Не нужно ли связать тебя с кем-нибудь из подпольщиков? Ах, не нужно, ты уже связан, а с кем?

Хозяйка спрашивает, а попутно рассказывает, что она-де сегодня тоже устала — носила передачи в Бутырки и на Таганку. Да, много, очень много сидит там народу. Добро бы все получали передачи, а то ведь есть люди, которые не называют себя, им тоже надо бы кое-что принести, да кто они?

Если среди всего этого уюта устраивается какое-нибудь нелегальное совещание, хозяйка не сидит, не слушает. Она только время от времени заходит в комнату.

Кто мог бы подумать, что эта добрейшая, приветливейшая дама тщательно запоминает все увиденное, услышанное, выпрошенное, чтоб

тут же передать Зубатову? Кто мог представить себе, что она, дабы укрепить свое положение, втянула в революционное движение родного сына, заведомо зная, что настанет момент, когда она собственноручно напишет на него донос?

Но как ни ловка была Анна Егоровна Серебрякова, нашлись все же люди, которым она показалась подозрительной. Одной из первых усумнилась в ней Анна Ильинична Елизарова.

По приезду в Москву Анна Ильинична, как и другие члены семьи, деятельно включилась в работу московских марксистов. Сначала Анна Ильинична занималась преимущественно переводами и популярной литературой. Перевела драму Гауптмана «Ткачи», изданную на гектографе (в революционном подполье, по-видимому, существовало несколько переводов этой драмы, ходивших в рукописном или гектографированном виде по рукам). Сделала популярное переложение книги Дементьева «Фабрика, что она дает населению и что она у него берет». Книга эта представляла собой итог статистического обследования фабрик и заводов Московской губернии. В ней были отобразены условия труда, заработка и быта московских рабочих. На богатом фактическом материале она показывала, что — вопреки тому, что утверждали на сей счет народники, — в России существует рабочий класс, состоящий из наемных рабочих, живущих целиком на заработную плату, причем многие рабочие работают на фабриках уже во втором и третьем поколении. Книга Дементьева давала пропагандистам огромный материал. Анна Ильинична сделала из нее небольшую, насыщенную фактами брошюру, которая распространилась в рукописи.

Большое место в работе Анны Ильиничны занимала переписка и личные встречи с Владимиром Ильичем. Под видом семейных отношений осуществлялась связь петербургской марксистской организации с московской.

Владимир Ильич не раз приезжал в Москву. Лето 1894 года он прожил у Елизаровых в Кузьминках, которые были тогда дачным поселком. Там он закончил «Друзей народа» и передал для печатания на гектографе А. А. Ганшину.

Совершенно естественно, что квартира Елизаровых сделалась центром притяжения для московского революционного подполья. А также и то, что она попала в поле зрения московской охранки, ибо — как остроумно отмечал старый народоволец П. В. Анненков — в России избежать полицейского надзора «мыслящему человеку было так же трудно, как младенцу самовольным образом избежать крещения».

Получив в 1899 году от начальника московского жандармского управления К. Ф. Шрамма запрос о семье Ульяновых, Зубатов писал, подводя итоги того, что было известно охранке: семья эта имеет «революционные традиции», все члены ее «отличаются крайне вредным направлением... братья ее: Александр — казнен в 1887 году за участие в террористическом заговоре, Владимир — сослан в Сибирь за государственное преступление, и Дмитрий — недавно подчинен гласному надзору полиции за пропаганду социал-демократических идей, а сестра Анна, состоящая, как и муж ее Марк Тимофеевич Елизаров, под негласным надзором полиции, ведет постоянные сношения с заграничными деятелями».

На протяжении девяностых годов Анна Ильинична не раз отлучалась из Москвы: после ареста Владимира Ильича она несколько месяцев прожила в Петербурге, хлопотала по его делу, пыталась взять его на поруки, носила передачи, снабжала книгами, вела с ним переписку. Это

та самая переписка «химией», а попросту молоком, налитым в «чернильницы» из хлебного мякиша, по поводу которых Владимир Ильич шутил, что он съел за день шесть своих «чернильниц».

Мы рассказываем обо всем этом так бегло, на ходу, потому, что речь идет о широко известных фактах. Так же широко известна переписка, которую вела Анна Ильинична с братом, когда тот был в сибирской ссылке, в Шушенском. До нас дошли по преимуществу письма относительно присылки книг и устройства литературных дел. Если б не внимательнейшая помощь и забота Анны Ильиничны, ссылка оказалась бы для Владимира Ильича много тяжелее и в материальном, а главное — в моральном отношении.

Вспоминая эту переписку, Анна Ильинична рассказывала:

«Все более интересное, не только партийное или нелегальное, я, ездившая время от времени в Петербург, выдавая людей, приезжавших оттуда, из других городов, из-за границы, описывала Ильичу на наших «weiß auf weiß» («белым на белом», то есть молоком, или химией, на бумаге) на листах каталогов, ненужных книг, последних страничках журналов, иногда даже неразрезанных, чтобы еще больше отдалить подозрение в возможности каких-либо шифрованных сообщений. Ни разу за все три года ссылки Ильича ни одно из таких писем не пропало, не обратило на себя внимание. Никто, кроме самых близких людей, не знал, каким образом идет переписка. Все имена, кроме того, шифровались. Помню, что я описывала стачки московской и близлежащих губерний. Рабочие поднимались тогда по провинциям еще туго — каждая стачка была событием. Многие залегли в памяти. Так, на одной небольшой текстильной фабрике рабочие возмутились плутнями хозяина, тем, что он пускал в ход при перемерке сдельной работы аршин в семнадцать вершков, и торжественно обрезали его. Большой подъем вызвала у меня стачка и в Гусе-Хрустальном. Помню, что я писала по поводу нее: «Шевелится вся мужицкая Русь», и что Ильич с особенным удовольствием откликнулся на это письмо».

Было среди этих писем одно, связанное с событием, которое Анна Ильинична называет «самым крупным, пожалуй, политическим фактом 1899 года», — с документом, который Анна Ильинична сама нечаянно «окрестила».

Дело было так: в один из ее приездов в Петербург близкая к петербургским марксистским кругам А. М. Калмыкова передала ей нечто вроде манифеста, в котором излагались идеи небольшой группы лиц, призывавших к пересмотру учения Маркса. Анна Ильинична переписала его химическими чернилами и переслала в Шушенское Владимиру Ильичу, озаглавив его «Кредо», «Символ веры», — название, под которым он вошел в историю.

«Моя совершенно отрицательная оценка этого писания, как измышления досужих литераторов, отголоски которого я в жизни не видала не только вокруг себя, в Москве, но даже в питерской «Рабочей мысли», — вероятно, несколько еще возросла в процессе той кропотливой и неблагодарной работы, которую представляло собой химическое переписывание», — иронизировала она впоследствии.

Зиму 1897/1898 года она прожила в Москве. После очередного полицейского разгрома Московская социал-демократическая организация, как это было уже не раз, возродилась вновь, подобно Фениксу из пепла. Анна Ильинична стала членом Московского комитета РСДРП.

В эту самую зиму она и познакомилась с Серебряковой.

Четверть века спустя Анна Серебрякова предстала перед судом московского трибунала. На вид жалкая, согбенная, почти слепая, она защищалась с яростью хищного животного, пойманного охотниками.

Суд над Серебряковой изобиловал тяжелыми минутами. Самой трагической из них была скоростижная смерть тут же в зале суда Николая Николасвича Авдеева, не выдержавшего картины провокаций, которые привели к гибели его ближайших друзей и стоили ему самому многих лет тюрьмы.

Один за одним проходили перед судом свидетели обвинения. И вот перед столом свидетелей появилась Анна Ильинична Елизарова.

«Показания А. И. Елизаровой. Свидетельница познакомилась с Серебряковой в январе 1897 года. Бывала на журфиксах у Серебряковой, эти журфиксы ей не нравились.

В эту же зиму Серебрякова предлагала свидетельнице вести два кружка молодежи. Свидетельница отказалась. Через некоторое время Серебрякова предложила ей для занятий другой кружок. Свидетельница отказалась и на этот раз.

Свидетельница тогда же заметила, что Серебрякова всегда желала очень много знать и выражала недовольство, когда не получала ответы на свои вопросы.

Недоверие, которое возбуждала в свидетельнице Серебрякова, было столь глубоким, что, когда в 1898 году свидетельница вместе с А. Луначарским и М. Владимирским образовали Московский комитет партии, решено было Серебряковой об этом не говорить».

Но Серебрякова знала уже достаточно, чтоб Зубатов мог приступить к «ликвидации». Весь состав Московского комитета РСДРП был арестован. Повезло лишь Анне Ильиничне: незадолго до ареста она уехала вместе с матерью за границу.

Это была не первая ее заграничная поездка: по поручению Ленина она уже побывала за рубежом летом 1897 года, познакомилась с членами группы «Освобождение труда», привезла им привет от Владимира Ильича. Ей запомнился интерес, с которым они о нем расспрашивали, как они просили передать ему, что никто в России не пишет так хорошо для рабочих, как он. Об этой встрече она написала Владимиру Ильичу — разумеется, «химией», как и все подобные письма. Он ответил тем же способом, что одобрительный отзыв «стариков», то есть Плеханова и Аксельрода, для него ценнее всего, что он мог бы себе представить.

Все письма Владимира Ильича того времени проникнуты глубоким уважением, которое питал он к основателям группы «Освобождение труда». Еще до этого, вернувшись из-за границы в 1895 году, Владимир Ильич много рассказывал о них Анне Ильиничне и советовал съездить за границу, познакомиться с ними.

Анна Ильинична уезжала от «стариков» в самом радужном настроении. Тем неожиданнее был для нее конфликт, который произошел почти на ее глазах между Плехановым и Лениным три года спустя. Для нее, как и для Владимира Ильича, это был первый такой конфликт в их политической жизни, и он оставил после себя глубокую, долго незаживавшую душевную рану.

Мы знаем о нем, об этом драматическом столкновении, по письму В. И. Ленина: «Как чуть не потухла «Искра». Читавший это письмо никогда его не забудет.

Скорбными, исполненными горечи и гнева словами Ленин рассказывает, как оказался под ударом и едва не рухнул взлелеянный им еще в годы сибирской ссылки план издания общерусской газеты. Ленин переживает это с особенной болью потому, что причина конфликта — «гене-

ральство» Плеханова, человека, на которого он смотрел до того глазами влюбленной юности «Никогда, никогда в моей жизни,— писал Ленин,— я не относился ни к одному человеку с таким искренним уважением и почтением... мы были раньше влюблены в Плеханова: не будь этой влюбленности, относись мы к нему хладнокровнее, ровнее, смотри мы на него немного более со стороны,— мы иначе бы повели себя с ним и не испытали бы такого, в буквальном смысле слова, краха, такой «нравственной бани»...»

Письмо Ленина о том, как чуть было не потухла «Искра», было обнаружено и опубликовано уже после смерти Владимира Ильича. О конфликте, происшедшем у колыбели «Искры», до этого знали лишь немногие — и в их числе Анна Ильинична. Она была вместе с братом в Швейцарии. В роковые последние дни августа 1900 года они условились встретиться и допоздна бродили под ночным небом, вновь и вновь переживая случившееся.

Прошло почти полвека — и события далекого прошлого снова воскресли перед Анной Ильиничной. Она рассказала о них в обширной статье, посвященной письму Ленина.

«Это — его запись и по свежей памяти, через неделю после происшедшего первого раскола с Плехановым, первого резкого разочарования в нем, пережитого очень глубоко Владимиром Ильичем,— писала она.— Это разочарование не только в корне изменило отношение Владимира Ильича к признанному вождю и учителю, но... явилось переломным моментом в жизни Владимира Ильича. Много бурь было в жизни Владимира Ильича. Эта первая буря разногласий между близкими сторонниками и соратниками была одна из наиболее глубоких. На поверхности она не отразилась, на ней царил «мертвый штиль». Никому, за исключением самых близких лиц, решено было не говорить об этой встряске, но, как в море при кажущемся затишье качка бывает иногда особенно сильной, так же сильна была эта встряска в душе Владимира Ильича».

Как некогда это было с братом Александром, Анна Ильинична любящим взором наблюдает за каждым душевным движением Владимира Ильича, старается проникнуть в глубины его внутреннего мира.

«Этот урок заставил, несомненно, Владимира Ильича стать более настороженным по отношению ко всем людям,— отмечает она.— И влюбленная юность получает от предмета своей любви горькое наставление: «Надо держать против каждого камень за пазухой». И обидно становится за ту глубину дружественных чувств, веры в лучшие свойства человека, которые были разрушены и оскорблены.

Что нанесло Владимиру Ильичу наибольшую боль? Прежде всего стремление Плеханова утвердить свое *едино*редакторство, вместо *соредакторства*, которое должно существовать при коллективной работе. Подобное возвышение собственной личности было совершенно чуждо Владимиру Ильичу. Затем — двуличие Плеханова, говорившего одно, а делавшего другое — и это против своих же товарищей!»

«Ну, а раз человек, с которым мы хотим вести близкое общее дело, становясь в интимнейшие с ним отношения, раз такой человек пускает в ход по отношению к товарищам шахматный ход,— пишет Владимир Ильич,— тут уже нечего сомневаться в том, что это человек нехороший, именно нехороший, что в нем сильны мотивы личного, мелкого самолюбия и тщеславия...»

По справедливому замечанию Анны Ильиничны, письмо Ленина о том, как чуть не потухла «Искра», для многих и многих открывает новые черты Владимира Ильича. «И как трогательно и юно звучит — это «человек нехороший!» — восклицает она.

Анна Ильинична рассматривает письмо Ленина не только по его существу, но и по его форме. Отмечает, что глубоко искренние переживания изложены, как и всегда у Ленина, со «сжатостью и силой». Подчеркивает, что ленинское письмо дает возможность познать и почувствовать Владимира Ильича лучше и глубже, чем «многие и многие статьи о нем и биографические очерки».

Примерно тогда же, когда в руки Анны Ильиничны попало письмо Ленина, она познакомилась и с впервые опубликованными материалами дискуссии о программе партии, происходившей накануне II съезда.

В то время (в 1903 году) Анна Ильинична жила в России. И так как искровская группа, ревностно охранявшая перед всеми иными группировками и течениями партии видимость своего единства, тщательно скрывала свои внутренние разногласия, только теперь, четверть века спустя, когда почти никого из участников полемики уже не было в живых, удалось проникнуть в ту атмосферу, в которой подготавливался проект программы. Только теперь стала известна та большая и нервная борьба, которую выдержал Владимир Ильич, отстаивая перед Плехановым свои взгляды и в интересах единства, когда не было иного выхода, уступая Плеханову.

Непосвященному может с первого взгляда показаться, что спор велся вокруг мелочей — стилистического блеска, филигранной отделки формулировок. Но когда глядишь на эту полемику сквозь призму дальнейшей истории партии, видишь, как вырисовываются в ней контуры глубоких разногласий, приведших к расколу партии на два крыла — революционное и оппортунистическое.

Уже самый подход к целям и назначению партийной программы у Ленина и его оппонентов принципиально различен. Плеханов и поддерживающая его «старая часть» редакции озабочена главным образом «европеизацией» программы, изяществом построений, «дефинициями», по определению Ленина. Основным недостатком проекта Плеханова Ленин считает то, что «это не программа борющейся партии, а программа для учащих, учебник».

Как говорит о том Анна Ильинична, Владимир Ильич видит, что к массам — а это для него главное — идти с таким проектом нельзя, ибо «им надо говорить понятным, боевым, чеканным языком, особенно от лица боевой политической партии».

С характерной для нее широтой ума и талантом Анна Ильинична, тщательно проанализировав частные расхождения, поднимается до обобщения образа Владимира Ильича. Нарисованный ее рукой, он и поныне остается одним из самых проникновенных в нашей Лениниане.

«Если взять для сравнения музыкальные инструменты.— писала она,— то Плеханов стремился все время переложить аккорды программы русской социал-демократической партии на более утонченный струнный инструмент, а Ленин, как барабанщик, идущий во главе боевого отряда, страстно протестовал против этих попыток. Пусть более грубые звуки, но зато более яркие, боевые и понятные широким массам. Ему указывают на диссонансы, удивляются его упорству в нежелании исправить их, а он досадливо отмахивается и как бы хочет сказать: «Ах, пустяки какие! Да неужели вы не видите, что так за нами гораздо больше массы идут».

Анна Ильинична была вместе с братом во всей этой борьбе. Как хорошо, что так случилось: ему необходимо было тогда чувствовать рядом с собою близкого, понимающего друга, а разделявшая с ним всю



его жизнь Надежда Константиновна томилась в далекой уфимской ссылке.

На глазах Анны Ильиничны рождалась «Искра». Она принимала участие в подготовке ее первых номеров. Делала любую, пусть самую кропотливую, самую скучную и неблагодарную работу. В Париже и Берлине работала в группах содействия «Искре».

Вместе с тем она старалась взять как можно больше от заграничной жизни — набраться впечатлений, отшлифовать столь необходимое для нее как для переводчика знание иностранных языков.

Как вспоминает жена Дмитрия Ильича, Антонина Ивановна, Анна Ильинична обладала тонким эстетическим чувством, любила театр, лирическую поэзию, любила самую жизнь, ценила ее красоту и временами отдавалась влечениям своей художественной натуры, чтобы, когда призвет долг, с еще большим энтузиазмом служить затем революционному делу.

Часть времени она прожила в Швейцарии, часть — в Мюнхене, часть — в Париже. Много путешествовала. Пользовалась при этом по преимуществу поездами местного назначения: так было дешевле, да и давало возможность больше увидеть и познакомиться со спутниками по купе, поговорить с ними об их жизни.

Ушел безвозвратно девятнадцатый век, наступил новый, двадцатый. Повсюду чувствовалось необычайное возбуждение. Люди размышляли над итогами минувшего века, задумывались над тем, что несет им грядущий.

Готовился к встрече первого Нового года нового века и шумный, веселый город Мюнхен, город упитанных мещан и пестрой богемы. Вдали от городского шума, в домике на окраине, над столом склонился Ленин. Перед ним лежала стопка бумаги. Быстрым, словно летящим почерком он писал передовую статью для первого номера «Искры». «Перед нами, — писал он, — стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее...»

### *Глава пятая*

Со второй половины девяностых годов вся семья Ульяновых вела активную революционную работу — кто пропагандистом, кто организатором, связным, литератором, разносчиком листовок и прокламаций. Полиция не спускала с нее глаз. обыск следовал за обыском, арест за арестом. Почти постоянно кто-нибудь из семьи находился в заключении, а порой одновременно и двое и трое, причем в разных тюрьмах и даже в разных городах. Мария Александровна носила передачи и хлопотала об облегчении участи детей. В различных полицейских канцеляриях она проводила, пожалуй, больше времени, чем у себя дома.

Анна Ильинична после поездки за границу в 1895 году работала в Москве. Несмотря на полицейскую слежку и постоянные обыски, благополучно «продержалась» около полутора лет. В этом ей помогли уже выработавшиеся за годы подполья конспиративные навыки, а также знаменитый столик, стоявший в ее квартире. Столик этот, как рассказывает Анна Ильинична, был изготовлен в 1900 году. Первоначальная идея его принадлежала Владимиру Ильичу. Еще осенью 1893 года, в самом начале нелегальной работы, Владимир Ильич пришел к выводу, что каждый подпольщик должен иметь у себя какой-нибудь тайник для нелегальной литературы. Например, говорил он, круглый стол с выдолбленной ножкой.

В 1894—1895 годах он заказал через рабочих, состоявших в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса», такой столик. Его единственная толстая ножка заканчивалась отверстием, в которое была ввинчена точеная пуговица. Отвернув пуговицу, можно было засунуть в ножку довольно большой сверток. Первый свой экзамен столик выдержал в ночь ареста Владимира Ильича 9 декабря 1895 года. Полиция не проникла в его тайну, и ничего нелегального у Владимира Ильича поэтому взято не было. После того, как Владимира Ильича увезли в тюрьму, Надежда Константиновна забрала столик к себе. Во время ее ареста столик снова оправдал себя. Потом мать Надежды Константиновны перевезла его к Анне Ильиничне, и та, отвинтив пуговицу, извлекла объяснение к программе социал-демократической партии, которое Владимир Ильич прислал из тюрьмы, переписав его молоком между книжных строк.

Надежда Константиновна к моменту своего ареста не успела расшифровать и переписать до конца это объяснение. Работу продолжала Анна Ильинична. Каждой ночью она укладывала в ножку стола результаты своей работы. Так поступила Анна Ильинична и с последним свертком переписанного. Но тут ей сообщили о начавшихся в Петербурге арестах. Она успела все передать по адресу, и они с Марией Александровной уехали в Москву, бросив столик. Правда, он уже дал трещину от частого пользования, но с утратой его они словно потеряли старого друга.

Надо было делать новый. И Марк Тимофеевич придумал улучшенную конструкцию, устроив тайник в шахматном столике. Его не надо было каждый раз переворачивать, как первый, достаточно было выдвинуть один ящикек. Дело шло при этом так быстро, что иногда они запрятывали нелегальные материалы уже после ночного звонка, оповещавшего об очередном обыске. Но обычно все запрятывалось еще до прихода полиции, и в потайном ящике постоянно что-нибудь да хранилось.

Этот столик исколесил вместе с семьей Ульяновых-Елизаровых почти всю Россию: побывал в Самаре, Киеве, Петербурге, Саратове, Вологде, снова в Петербурге, снова в Москве. С 1901 года, когда были арестованы Марк Тимофеевич и Мария Ильинична, и до февраля 1917 года, когда в самый канун революции была арестована Анна Ильинична, ни разу, ни при одном обыске, которому подвергалась семья Ульяновых, столик не выдал себя. Жандармы, проводившие обыск, иногда спрашивали о содержимом его ящичков. Тогда им приносили ключи, и, порывшись в ящиках, наполненных шахматами, жандармы задвигали их и переходили к столам, в которых лежали совершенно невинные рукописи и книги.

В 1904 году в столике хранился архив Центрального Комитета партии, избранного на II съезде. Если бы не столик, то при аресте Марии Ильиничны не только попали бы в руки жандармов секретнейшие партийные документы, но сама Мария Ильинична наверняка была бы осуждена на каторгу. Но так как столик уберег тайну, а шпионских показаний против сестер Ульяновых не было, обе они были освобождены из тюрьмы.

В последнюю перед революцией зиму 1916/1917 года на квартире Анны Ильиничны было три обыска. Но столик, как и всегда, не вызвал никаких подозрений. Между тем в нем были спрятаны подпольные листовки Петербургского Комитета партии, призывавшие к борьбе против войны, а также заграничные партийные газеты и переписанные с тайнописи письма Владимира Ильича сестре и товарищам по партии и черновики ответных писем.

«Поистине, столик заслужил себе пенсию!» — воскликнула Анна Ильинична, передавая его в Музей революции.

Осенью 1903 года Анна Ильинична перебралась в Киев. Там в то время находился почти весь российский состав Центрального Комитета партии. Была она связана и с Киевским комитетом РСДРП. Там, в Киеве, она была арестована. Около полугода она просидела в Лукьяновке. В то время в киевских тюрьмах по воле царских властей собралась почти вся семья Ульяновых: и Мария Ильинична, и жена Дмитрия Ильича, Антонина Ивановна, и ее сестра; сам Дмитрий Ильич сидел в Киевской крепости. А за тюремными стенами жила заботившаяся обо всех, да еще и о многих других арестованных Мария Александровна.

«Трудовой день Анны Ильиничны в тюрьме обычно начинался и кончался заботами о товарищах по заключению, с которыми она делилась последним,— пишет в своих воспоминаниях Антонина Ивановна.— ...Сидя в тюрьме, Анна Ильинична продолжала дело установления и укрепления связей между товарищами, находившимися на воле, информировала их о положении дел, часто нагружала свою мать тюремными поручениями, которые Мария Александровна выполняла с исключительной аккуратностью и быстротой. Ловкость Марии Александровны, когда она получала и прятала записки в присутствии жандарма, была изумительной».

Создать дело, которое привело бы к осуждению всех Ульяновых, жандармам так и не удалось. По одному их выпустили из тюрьмы. Черед Анны Ильиничны настал в июле 1904 года. Марк Тимофеевич к этому времени работал в Управлении Николаевской железной дороги — оно тогда находилось в Петербурге. Поскольку Анне Ильиничне, как состоявшей под надзором полиции, было отказано в праве жительства в столице, они поселились в поселке Саблино, в получасе езды от Петербурга. Вскоре к ним в Саблино приехали Мария Александровна и Мария Ильинична. Это было уже в конце 1904 года, незадолго до великих событий, потрясших Россию.

Чуткое ухо Ленина давно слышало отдаленные раскаты приближающейся революции. Он внимал им подобно крестьянину, который в пору засухи ловит каждый звук, надеясь услышать звон дождевых капель. Теперь раскаты приближающейся революционной бури слышали все. Месяц за месяцем все выше подымалась волна стачечной борьбы. Все чаще стачки перерастали из чисто экономических в политические. Все шире и массовее становился размах движения.

Но в Петербурге происходило нечто странное. Откуда-то появилась фигура до того никому не ведомого попа Гапона. Во всех концах города, и прежде всего в рабочих районах, неподалеку от крупнейших заводов столицы, возникли одно за другим отделения какого-то «Собрания русских фабрично-заводских рабочих». В этих отделениях совершенно открыто, на глазах у полиции, рабочие рассказывали о своей тяжелой доле, говорили, что так жить они больше не могут.

Что это означало? Почему было разрешено?

За несколько лет до этого нечто подобное происходило в Москве. Там идея и организация движения принадлежала уже известному нам начальнику московского охранного отделения Зубатову. Подолгу беседуя с рабочими, арестованными за революционную деятельность, он всячески убеждал их, что напрасно они идут в революцию: царь, мол, хорош, а все беды проистекают от жадности фабрикантов и заводчиков. А посему не надо подыматься против царя, против полиции: те сами готовы помочь рабочим. А борьбу надо вести только против **хозяев**.

Кое-кого Зубатову удалось уговорить, но вообще затея его провалилась, и он сам был уволен в отставку.

Гапону повезло больше. Его проповедь, повторявшая идеи Зубатова, упала, как уголек на сухостойный лес. Хотя было очевидно, что снова повторяется такая же полицейская провокация, как в Москве, хотя окруженный таинственным ореолом Гапон явно заманивал рабочих в какую-то ловушку, ничто не могло остановить разгоряченные, словно загипнотизированные массы. Из вечера в вечер у помещений гапоновского «Собрания» в свете уходящих вдаль тускло мерцающих фонарей видно было море человеческих голов. Толпа благоговейно, «как в церкви», слушала слова, доносившиеся сквозь растворенные окна. Несмотря на мороз, многие стояли без шапок. «Все недоразумения между собой фабриканты и рабочие должны решать поровну», — доносилось изнутри. «Поровну, поровну», — подхватывала толпа. «Чем так жить, не лучше ли сойти в могилу?» — «В могилу! В могилу!» И тут раздался призыв Гапона: со всеми своими бедами идти просить помощи к царю.

Вести о том, что происходит в Петербурге, в тот же день доходили до Саблина, где в то время жила Анна Ильинична.

О Гапоне она была уже наслышана раньше. Как и все петербургские большевики, считала подозрительной и темной личностью этого «странного» попа, причастного к зубатовщине. Но узнав о его огромном, «электризирующем» влиянии на массы, решила составить себе о нем непосредственное впечатление.

Вечером 8 января Анна Ильинична поехала в Петербург и отправилась за Нарвскую заставу, где гапоновцы особенно широко развернули свою деятельность.

У ворот большого двора, ведущего к отделению «Собрания», она увидела объявление, что 9 января, в воскресенье, будет происходить «шествие с петицией». Поблизости прохаживался городской. Объявление он не срывал. Двор был полон рабочих. Настроение было торжественное, даже праздничное. Они передавали друг другу слова Гапона: «Говорил: пойдем к отцу нашему и скажем ему, как мучают нас обдиралы. Скажем ему: царь наш, отец наш, прими нас, мы пришли к тебе, помоги нам, детям твоим. Мы знаем, что ты рад жизнь отдать за нас и только живешь для нас, но ты ничего не знаешь, как бьют и мучают нас, как мы голодаем, как всегда измучены и притом невежественны, подобно скотам, почти что все неграмотны...»

Все они были убеждены, что царь к ним выйдет, поговорит, поможет.

У Анны Ильиничны защемило сердце.

— Вас к царю не пустят, — пыталась она доказать рабочим. — Все кончится арестами и нагайками.

Ее доводы разбивались, как о стену. Анна Ильинична ушла с тяжелым чувством, полная тревоги за то, что будет завтра. В Петербургском комитете партии она узнала, что большевики решили участвовать в шествии и быть с народом, разделив его судьбу.

Поздним вечером возвращалась Анна Ильинична к друзьям, у которых остановилась. Ночь была тихая, тревожная. На всех мостах и переходах по льду через Неву стояли воинские пикеты, горели костры, дымилась походные кухни. Солдаты были возбуждены: им дан был приказ стрелять по сигнальному рожку. Над крышами домов плыла огромная кроваво-красная луна.

Петербург не спал. Ждал утра. Верующие молились, обращая свои молитвы к богу, к царю, к «батюшке Гапону».

Анна Ильинична не сомкнула всю ночь глаз. Едва забрезжил слабый зимний рассвет, побежала туда, где собиралась процессия Петербургской стороны. Повсюду по углам уже выстроились войска в полной боевой готовности.

Мне довелось слышать воспоминания Анны Ильиничны, выступавшей на собрании, посвященном пятидесятилетию Кровавого воскресенья.

— Столько лет прошло, много видела я страшного,— сказала она.— Но это был, может, самый страшный день в моей жизни.

Да, столько лет прошло, столько пережито, но и сегодня не можешь не испытывать боли и трепета, когда думаешь об этом дне, когда читаешь рассказы тех, кто был тогда на улицах Петербурга, видишь охваченную слепым экстазом толпу, матерей с грудными детьми, сверкающие на солнце иконы, весело прыгающих ребятишек, истовые лица взрослых, поблескивающие казацьи пики, слышишь пение «Отче наш» и «Боже, царя храни», сигнал рожка, первые сухие залпы.

— Это, наверно, холостые! — воскликнула Анна Ильинична, которая не могла представить себе, что эти легкие звуки были началом расстрела безоружных людей.

— Какое «холостые»! — крикнула бежавшая женщина.— Подле меня один упал, а у другого рукав весь в крови.

Все же ряды шествия продолжали двигаться. Но послышались новые залпы. Толпа шарахнулась, проклиная, взывая о мщении.

Повсюду в городе шла стрельба. Рабочие в порыве бешеного гнева рвали на себе пиджаки, рубахи и с открытой грудью шли на штыки. Молча падали, когда солдаты открывали огонь, снова поднимались и пробивались дальше, к Зимнему дворцу, где их ждали новые залпы, снег был усеян убитыми и ранеными и среди них много детей, сбитых пулями с деревьев, на которые они забирались, чтобы «поглядеть на царя». На Дворцовой площади была масса войск, пехоты и конницы. Дворец был окружен пушками. Казаки с саблями наголо, пиками наперевес налетали на безоружных людей.

Мне как-то не поверилось, когда я прочла об этом впервые, но это подтверждают многие очевидцы: как бы в довершение фантастической картины, которую в тот день представлял собою восставший Петербург, на затянутом белесоватой мглой небе мутно-красное солнце дважды отразилось в облаках, и казалось, что в небе плывут три солнца. Потом засветилась небывалая в это время года яркая зимняя радуга, а когда она потускнела и скрылась, поднялась снежная буря, в которой продолжали греметь ружейные залпы.

До поздней ночи улицы были полны. Электричество не горело. Лишь подожженные газетные киоски оранжево-красным пламенем освещали Невский. Народ двигался порывисто, угрюмо. В темноте раздавались выкрики, слышались восклицания: «У нас нет больше царя!», «Долой царя!», «Долой самодержавие!» К вечеру в рабочих районах стали строить баррикады.

«Величайшие исторические события происходят в России,— писал Ленин по поводу событий 9 января.— Пролетариат восстал против царизма».

И обращался со страстным призывом:

«Да здравствует революция!

Да здравствует восставший пролетариат!»

Отныне главной задачей партии стали организация масс и подготовка вооруженного восстания.

Анна Ильинична почти все время проводила в Петербурге. Она ведала всем финансовым хозяйством Петербургского комитета партии. Для революционной работы и выпуска нелегальной литературы нужны были деньги. Надо было иметь деньги и для того, чтоб хоть как-то обеспечить жизнь работников партии, перешедших на нелегальное положение. Они были предельно скромны, берегли каждый грош, но без помощи партии не могли бы существовать.

Финансовая работа Анны Ильиничны состояла не столько в учете расходующих сумм, сколько в добыче средств — и путем сборов, и устройством концертов, и продажей партийной литературы.

К этому надо добавить еще и лежавшую на ней транспортировку по нелегальным каналам партийной литературы, в частности большевистских газет «Вперед» и «Пролетарий». И при этом она умудрялась найти время и силы для перевода революционных изданий, рассчитанных на широкий круг читателей: «Революция 1848 года в Германии» В. Либкнехта, «Раздел добычи» Паннекука.

Осенью 1905 года из-за границы приехал Владимир Ильич. Тут появились и новые заботы, и новые дела. Теперь Анна Ильинична еще теснее связалась с большевистской печатью и партийным издательством «Вперед».

И тогда же, осенью, большое место в ее работе и жизни заняли дела, связанные с революционной деятельностью Марка Тимофеевича Елизарова.

Уже около года Марк Тимофеевич работал на Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороге. Когда вместе с общим подъемом революционного движения в стране в него втянулись железнодорожные рабочие, Марк Тимофеевич оказался в центре событий Петербургского железнодорожного узла.

Весной 1905 года он был избран на первый съезд железнодорожных рабочих и служащих, а затем — в постоянное Организационное бюро. Занялся выработкой пенсионного устава для железнодорожников, основанного на демократических принципах, и завоевал себе этим огромную популярность среди рабочих железных дорог. В октябре 1905 года был одним из руководителей всеобщей забастовки железнодорожников, которой, собственно, началась всероссийская политическая стачка.

Эти бурные события заполнили весь 1905 год. В 1906 году, когда правительство, подавив декабрьское вооруженное восстание, перешло в наступление по всему фронту, Марк Тимофеевич был арестован.

Премьер-министр С. Ю. Витте, до которого дошел протест Марка Тимофеевича против ареста, запросил о нем департамент полиции. «Елизаров, — ответил департамент, — очевидно, принадлежит к числу крупных и влиятельных в своей среде деятелей, стремящихся противопоставить государственной власти сильную организацию железнодорожных служащих».

Так как прямых материалов против Марка Тимофеевича у департамента полиции не было (и на этот раз выручил шахматный столик!), после трехмесячного заключения Марк Тимофеевич был выслан из Петербурга с запрещением служить на железных дорогах. Он выбрал местом ссылки Сызрань.

Положение Анны Ильиничны весьма трудно: Марк Тимофеевич всегда был опорой семьи, а сейчас его не стало, братья и сестра были целиком поглощены революционной работой, на руках у нее была мать, нуждавшаяся в уходе и внимании. Все бремя семейных забот легло на ее плечи. Но как ни трудно ей было, она не прекратила свою революционную деятельность. По дошедшим до нас письмам Марии Ильи-

ничны мы знаем, что работа велась непрерывно. «Книги (видимо, посланные Анной Ильиничной.— *Е. Д.*) доставили всего несколько дней тому назад — 2430 экз. в обложках и 780 в папках,— пишет она сестре в январе 1907 года.— В Самару книги давно отправлены». В другом письме она упоминает об издании докладов на V съезде партии, состоявшемся в Лондоне в мае 1907 года.

Важнейшим партийным делом Анны Ильиничны на ряд лет становится забота об издании работ В. И. Ленина, в частности его книги «Материализм и эмпириокритицизм». В хранящихся в архиве ее письмах к Владимиру Ильичу она рассказывает о том, как ходила по этому поводу в издательство «Знание» к Пятницкому, рекомендует отдать книгу в это издательство, грустит, что Владимир Ильич, у которого она только что побывала в Париже, плохо выглядит, хочет послать ему денег.

«Книгу твою я читаю,— пишет она два месяца спустя.— Чем дальше, тем она интереснее».

Она скрупулезно занимается изданием «Материализма»: ведет переговоры с издательствами, делает тщательную корректуру, посылает Владимиру Ильичу гранки, верстку и чистые листы. Одновременно следит за изданием сборника «Памяти Маркса», который вышел в 1908 году и для которого Владимир Ильич дал статью «Марксизм и ревизионизм». В издательстве «Зерна» (во главе которого стоял старый большевик М. Кедров) с ее помощью был подготовлен трехтомник работ Ленина. Удалось выпустить лишь первый том, который тотчас был конфискован, и первую часть второго. Но часть тиража М. Кедров спас от уничтожения.

Тем временем Марк Тимофеевич стал работать в газете «Сызранское утро» и сделался ее фактическим редактором. Ему удалось сделать ее популярным органом, широко распространявшимся среди крестьян.

Работа Марка Тимофеевича в Сызрани была оборвана огромным пожаром, опустошившим город. Он перебрался в Самару, работал в газете «Самарская лука», превратил ее редакцию в штаб большевистской организации. Во время выборов во Вторую думу был выставлен кандидатом от социал-демократов — большевиков. Однако реакция, всюду развернувшаяся после разгона Второй думы, а также отсутствие заработка вынудили его уехать в Нерчинск. Но и в этом далеком краю он смог служить на строительстве железной дороги только неофициально. Это заставило его перейти на службу в страховое общество «Саламандра», принадлежащее частным лицам.

Семья Ульяновых переживала большие материальные затруднения, к тому же все болели. Тревожила судьба Владимира Ильича. Летом 1907 года Анна Ильинична побывала у него в Финляндии. Он тогда словно бы отдохнул и несколько отошел после тяжелых месяцев поражения революции 1905—1906 годов, но к зиме обстановка стала тревожной, ему пришлось покинуть Финляндию, чтоб спастись от неминуемого ареста. Хорошо, что мать не знала тогда, как он уходил по зыбкому льду Ботнического залива, подламывающемуся под ногами.

Вместе с Надеждой Константиновной Владимир Ильич поселился в Женеве, потом переехал в Париж.

Анна Ильинична не раз ездила за границу к Владимиру Ильичу. Поездки эти были связаны с партийными делами и с изданием книг Владимира Ильича. По его же поручению Анна Ильинична ездила за границу, чтобы разыскать партийные документы («женевскую корзину»), упорно собирала и приводила в порядок партийные архивы.

Побывал за границей у Владимира Ильича, Надежды Константиновны и Марк Тимофеевич, некоторое время прожил с ними Мария

Ильинична. В 1910 году к нему ездила на свидание в Стокгольм Мария Александровна с младшей дочерью. Впечатления, оставленные у тех, кто его видел, несомненно, отразились в отзыве, написанном Анной Ильиничной полтора десятилетия спустя по поводу впервые опубликованной переписки Ленина с Горьким.

Письма Владимира Ильича, писала Анна Ильинична, «раскрывают переживания Владимира Ильича в эпоху реакции 1908—1911 годов. В оболочке личной переписки выступает вся стойкость Владимира Ильича в трудное время второй эмиграции, когда он, по его собственному выражению, попал в Женеву, как в могилу. Из этой могилы он неустанно завязывает вновь разорванные нити, обличает одних, одобряет других, все с той же энергией, с той же верой в конечную победу и с тем же мужеством. Письма эти являются ценным добавлением к его книге «Материализм и эмпириокритицизм», борьбой против религиозных предрассудков в форме дружеской переписки. Масса ценных мыслей разбросана в них. Очень характерна также для Владимира Ильича способность возиться так с человеком, которого он считает полезным для пролетарского дела, класть столько терпения, труда для переубеждения его...

Все освещается, как зарей, радостным чувством того нового подъема, который вызвал легальную печать — «Правду», «Мысль», «Просвещение»...

День за днем, год за годом... Сколько нескончаемых переездов с квартиры на квартиру, из города в город! Атмосфера бесконечных волнений за каждого члена семьи...

В 1912 году семья Елизаровых-Ульяновых переезжает в Саратов. Обе сестры связываются с местной партийной организацией, налаживают переписку с границей, помогают организации ряда забастовок, в частности забастовок протеста против ленского расстрела.

Полиция приставила к семье Ульяновых специального шпика — Крылова. В ночь с 7 на 8 мая все трое Ульяновых, а также ряд работников саратовской партийной организации были арестованы. Снова для Марии Александровны начались передачи, хождения на свидания, хлопоты в жандармском управлении.

Письма сестер из тюрьмы полны оптимизма. Они перлюстрировались администрацией тюрьмы, подвергались проверке химикалиями, передавались адресату, перекрещенные двумя желтыми полосами и проштампованные тюремной печатью.

Примерно за год до начала первой мировой войны семья Елизаровых, после всяческих передраг, арестов и высылки, поселилась в Петербурге. Мария Ильинична в это время отбывала ссылку в Вологде, Дмитрий Ильич работал врачом под Москвой, Мария Александровна жила с Анной Ильиничной.

То было время, когда особенно велика стала роль легальной большевистской печати. Анна Ильинична, жаловавшаяся до переезда в Питер на то, что она совсем «избездельничалась», с головой ушла в работу в «Правде», в издательстве «Просвещение». Ее усилиями в «Правде» была создана страничка женщины-работницы и помещалось много статей о положении пролетарок.

В 1914 году впервые в России широко отмечался Международный женский день — в предыдущие годы в этот день устраивались лишь лекции и рефераты. В той атмосфере общего революционного подъема, в которой жил рабочий Питер, решено было превратить Женский день в праздник всего петербургского пролетариата. Тогда же зародилась идея об издании нового массового журнала «Работница».



Материал для первого номера был полностью подготовлен. Но провокатор Малиновский выдал редакционную коллегия, и она была арестована во время заседания, а вместе с нею и все статьи и заметки, которые должны были войти в первый номер. Произошло это меньше чем за неделю до 8 марта.

Однако Анна Ильинична, которая по счастливой случайности не присутствовала на заседании, спасла положение. Трудно себе даже представить, как она смогла это сделать, но за несколько дней были заново написаны статьи, подготовлена обложка, номер сдан в набор, вычитан корректорами, отпечатан в типографии и доставлен в рабочие районы. Он был в руках участников собраний, посвященных Женскому дню, в руках манифестантов, вышедших на улицы с требованием политической свободы.

Анна Ильинична оставалась бессменным редактором «Работницы» вплоть до того, как на седьмом номере журналу, говоря словами Анны Ильиничны, «пришлось умереть насильственной смертью», чтоб «возродиться лишь после нашей победоносной революции».

Хотя журнал был легальным, но переписку о нем с Владимиром Ильичем Анна Ильинична предусмотрительно вела инкогнито, как бы от лица мужчины, подписываясь «Андрей».

Вот образец такого ее письма, отправленного в январе 1914 года: «Дорогой друг! Журналы, какие были, Вам отправлены. (Речь идет о журнале «Просвещение» за 1913 год.— *Е. Д.*)

Книжка «Просвещение» должна была выйти 25-го. Теперь задержится на несколько дней из-за Ваших статей. Повторяю свою постоянную просьбу присылать статьи раньше, не задерживать №№. Статья об учительском съезде (Н. К. Крупской.— *Е. Д.*) идет целиком в № 1, статья о тов. «Х» также (за подписью К. Ц. под названием «Дело», журнал «Просвещение», № 1).

«Итоги и перспективы» идут половиной (Вы еще пишете: больше ничего не ждите для № (!!)). Да как же мы можем ждать?! в самом конце книги. Статья чуть-чуть успела — днем позже, и листы были бы напечатаны, и пошла бы о рабочем движении <...> Очень просим друзей давать материал пораньше. Еще раз напоминаем, что книга может выйти не раньше, как через неделю после посылки Ваших статей, и что нельзя же выпустить ее не в том месяце, какой стоит на номере. Пожалуйста, посылайте тотчас же материалы на 2-й номер <...>

Относительно женского журнальчика я писал уже, что, по-моему, нельзя начинать его без гроша, нельзя рассчитывать на пожертвования рабочих, ибо публика и так завалена поборами и жаль отрывать от ежедневной газеты...

Поднимал вопрос на редакционном собрании «Просвещения» об ассигновании 25 руб., но об этом не приходится и говорить <...> Не лучше ли при таких материальных условиях повременить с женским журналом, начать его сначала в виде, напр., еженедельных приложений для женщин работниц в ежедневной газете? Это только моя мысль, я не успел еще предложить ее здесь на обсуждение, но, мне кажется, это целесообразно: не будет лишних расходов на помещение, экспедицию и т. п. ... Обдумайте это и сообщите свое мнение...»

Или другое письмо, от 14 марта 1914 года:

«Работница» второй номер выходит на днях.

Не лучше ли этот адрес, чем прежний?

Дайте для меня одного какой-нибудь адрес. Этот, по которому я пишу, был в пользовании бывшего коллеги и потому, верно, неудобен уже. Спешите со статьями к апрельскому №».

Читаешь это письмо и видишь, как сочетаются и подпольная работа в нелегальной партии, и журнал, и использование всех легальных возможностей!

Война перевернула всю жизнь России. Перевернула она и жизнь семьи Ульяновых.

Владимира Ильича и Надежду Константиновну она застала в Галиции, неподалеку от русской границы. Там Владимир Ильич был арестован австрийскими властями, пытавшимися обвинить его в шпионаже в пользу царской России.

Заметка об аресте Ленина промелькнула в газетах. К тревоге за брата для Анны Ильиничны добавлялся страх, что об его аресте узнает Мария Александровна.

Но вот в тягостном мраке тех дней мелькнула радостная весть: Владимира Ильича освободили из тюрьмы и он благополучно добрался до Швейцарии. А вслед за этим — тщательно зашифрованная записка, написанная «химией» и доставленная тайком через фронты и границы: мы объявляем войну войне; война империалистическая должна превратиться в войну гражданскую; мир хижинам — война дворцам. Все за борьбу... все за работу!

Нет нужды объяснять, какими опасностями грозила интернационалистская работа в то военное время. Но Анна Ильинична взяла на себя один из наиболее опасных участков этой работы — переписку с иностранными центрами партии, в которой она подписывалась именем «Джемс».

Вспоминая об этом периоде своей переписки с Владимиром Ильичем, Анна Ильинична писала:

«...Не прекращавшаяся все время войны, до ареста адресата летом 1916 года, химическая переписка его (Ленина.— Е. Д.) с пишушей эти строки, конечно, не могла сохраниться по своему конспиративному характеру. Письма эти прогревались, оригиналы их, занимавшие иногда большое количество страниц книги, тщательно уничтожались, а переписанные в расшифрованном виде копии читались или передавались членам организации, которые в свою очередь по ознакомлении заботливо уничтожали их».

Служба Марка Тимофеевича была связана с постоянными разъездами. Все заботы о доме, о тяжело больной матери, о мальчишке Горе, которого взяли на воспитание Елизаровы, о находившейся в ссылке Марии Ильиничне лежали на Анне Ильиничне.

Особенно тревожило здоровье Марии Александровны. Она очень ослабела, почти все время лежала, сильно тосковала по младшей дочери. Летом 1916 года, когда вся семья жила на даче, она совсем слегла. По свидетельству Анны Ильиничны, которая была при ней безотлучно во время этой тяжелой болезни, да и весь последний год почти не отходила от нее, Мария Александровна ее попросила: «Дай мне что-нибудь, ну облатку, ты знаешь, что я хочу еще пожить с вами», а за два дня до смерти спросила: «Куда же папа наш ушел?» В день смерти была очень ласкова, обрадовалась цветку, который принесла ей Анна Ильинична, днем спокойно заснула и во сне умерла.

Дети потеряли мать, потеряли друга. «Той твердости, с которой она переносила свои тяжелые несчастья, удивлялись все, кто ее знал,— писала Анна Ильинична,— тем более чувствовали это дети. Несчастье с потерей старшего брата было из ряда вон выходящим, и все же оно не подавило ее, она выказала так много силы воли, что, скрывая, по возможности, свои слезы и тоску, заботилась, как прежде, еще больше, чем

прежде, о детях, потому что после смерти мужа ей одной приходилось заботиться о них. Она старалась, по мере возможности, не омрачать их молодую жизнь, давать им строить свое будущее, свое счастье. И она понимала их революционные стремления.

Эти заботы были так удивительны, пример, который она показывала детям, был так прекрасен, что и им хотелось еще больше, чем прежде, скрасить ее жизнь, облегчать ее горе».

Какой большой душой должна была обладать Мария Александровна, чтоб вызвать такое преклонение своих детей!

А неделю спустя после ее похорон Анну Ильиничну арестовали!

Снова обыск, тюрьма, железные засовы, зарешеченное оконце под потолком. Снова допросы, «вещественные доказательства», очные ставки.

«Жена отставного коллежского секретаря Анна Ильинична Елизарова, — докладывал глава петербургской охранки, — по агентурным сведениям за 1915 год получала из-за границы журнал «Социал-демократ» и распространяла его среди интеллигенции. Видную роль играла среди ленинцев, входила в литературную комиссию, которая заведовала книжным магазином «Правда». В течение последних лет неоднократно наблюдалась в сношениях с членами с.-д. организаций... В 1914 году поддерживала переписку с Владимиром Ульяновым и его женою Надеждой Крупской по делам партийного характера. В ночь на 21 июля с. г. у Елизаровой при обыске обнаружено: 1 прокламация РСДРП, 4 номера журнала «Вопросы страхования», большое число рукописей с разными пометками...»

Но ни одного письма Ленина, ни одной его записочки не нашли. Хорошо работала Анна Ильинична!

Арест Анны Ильиничны был тяжелым ударом для партии. «Устранение Джемса, — писал А. Г. Шляпникову В. И. Ленин, — делает положение критическим и ставит опять на очередь вопрос об общем плане работы... Самое больное место теперь: слабость связи между нами и руководящими рабочими в России!! Никакой переписки!! Никого, кроме Джемса, а теперь и его нет!!»

Первоначально Анне Ильиничне грозила высылка из Петрограда. Но Марк Тимофеевич пустил в ход все свои связи и, указывая на ее болезнь, добился того, что ее освободили и разрешили остаться дома. Разумеется, она продолжала свою подпольную работу. И разумеется, полиция держала ее под своим неусыпным наблюдением. Не успело пройти месяца после того, как она вернулась из тюрьмы, а в квартиру на Широкой улице уже нагрянули с обыском. Ничего обнаружено не было. Но два месяца спустя полиция вновь явилась с обыском и на этот раз арестовала Анну Ильиничну.

Февральская революция застала ее в тюрьме. Освободил ее восставший народ.

И понеслась, закипела новая жизнь, жизнь после революции — взбаламученный Петроград, митинги, собрания, восстановление партийных организаций, разгромленных в канун Февраля, возобновление выхода «Правды», секретарем которой она стала.

И хлопоты о Владимире Ильиче, застрявшем в Швейцарии, откуда его не выпускали правительства Антанты. Тревога, тревога за брата. А в апреле радостное известие: удалось проехать через Германию. В ближайшие дни будут в Петрограде.

Где они поселятся? Разумеется, на Широкой улице, у Елизаровых. Надо приготовить комнату. Надо наладить быт. А времени в обрез.

Незабываемая встреча, которую устроил Ленину революционный Петроград. Броневик, откуда Ленин произнес речь, закончив ее словами: «Да здравствует социалистическая революция!» Ночное заседание в особняке Кшесинской. Первая встреча Ленина с партийными работниками Петрограда. Его знаменитые «Апрельские тезисы».

Полные бурных событий весна и лето семнадцатого года. Апрельские события. Первый съезд Советов. Возглас Ленина: «Есть такая партия!» — партия большевиков, готовая взять власть и повести Россию по пути мира и социальных преобразований. Рост большевистского влияния. Травля большевиков. Июльские дни. Гнусная фальшивка, сфабрикованная провокатором Алексинским, чтоб скомпрометировать Ленина, представить его как якобы германского шпиона.

Ночь на 5 июля. Поздний приход Владимира Ильича. А на заре осторожный стук. Это — Свердлов. Сохраняя внешнее спокойствие, он говорит, что тотчас после ухода Ленина из «Правды» в редакцию ворвалась контрреволюционная банда, которая искала Ленина и, не найдя, разгромила помещение редакции. Большевистский ЦК и Петроградский комитет оставили особняк Кшесинской, на который также был совершен налет. С минуты на минуту разъяренные контрреволюционеры могут явиться сюда, на Широкую, чтобы захватить Владимира Ильича. Надо немедленно уходить.

И они явились, явились на следующий день. Обыскали все, простукивали стены, поднимали половицы. Составили протокол обыска, точно копирующий своим стилем подобные же протоколы царского времени:

«Дверь прибывшим открыла проживающая в этой квартире Надежда Константиновна Ульянова. По предъявлении г-же Ульяновой... приказания главнокомандующего ей был задан вопрос, находится ли в квартире муж ее Владимир Ильич Ленин (Ульянов). Г-жа Ульянова заявила, что муж ее уже не возвращается домой с 5 июля с. г. ... После этого же Ульяновой было предложено предъявить все документы ее мужа... После тщательного обыска из документов и переписки Ленина было отобрано следующее... При обыске присутствовали М. Елизаров, Мария Ильинична Ульянова, Анна Ильинична Елизарова».

И снова тревога, тревога за брата, за партию, за революцию.

Владимир Ильич скрывается в Разливе. За квартирой Елизаровых вновь учрежден тщательный надзор. Шпики Временного правительства не столь опытные, но еще более ретивы, чем царские: за поимку Ленина обещана щедрая награда.

События несутся непрерывной чередой. VI съезд партии. Главная задача ближайших месяцев — подготовка вооруженного восстания. Попытка контрреволюционного переворота, предпринятая генералом Корниловым. Владимир Ильич покидает Разлив. Он уезжает в Финляндию. Оттуда нелегально возвращается в Петроград. Из глубокого подполья обращается к партии: промедление с вооруженным восстанием смерти подобно!

И Октябрь, незабываемый Октябрь семнадцатого года. Победа пролетарской революции. Вся власть в руках Советов!

### *Глава шестая*

После установления советской власти Анна Ильинична избрала своим поприщем работу по охране детей: она заведовала отделом охраны детства Народного комиссариата социального обеспечения, а затем Народного комиссариата просвещения.

Кому-то, быть может, покажется странным, что она, человек, который всю свою сознательную жизнь занимался партийной работой, находившийся в самом центре партийной жизни,— предпочла ей такую, казалось бы «беспартийную», далекую от политики и власти сферу деятельности. Но так же поступила и Надежда Константиновна Крупская. Вернувшись из эмиграции в Россию, она еще до Октябрьского переворота стала работать на Выборгской стороне, заведовала там культурно-просветительным отделом районной управы. А после Октября целиком занялась работой в Народном комиссариате просвещения.

Почему же они так поступили?

Мне думается, что причин тому несколько. Первая и главная из них — важность работы по народному просвещению и охране детства.

Революция всколыхнула широчайшие народные низы, которые на протяжении столетий были, по выражению Ленина, «ограблены в смысле образования, света и знания». Теперь народ потянулся к грамоте, к знанию. Приобщение к культуре означало приобщение к революции.

«Живешь ты в Москве, горя не знаешь,— писал Надежде Константиновне деревенский мальчонка,— а у нас в деревне всякая случайность случается. Родители рассуждают так: мы неученые прожили, и ты, бог даст, проживешь». Другой мальчонка писал ей, что он не желает жить так, как жили его родители: они надеялись на бога, а он надеется на советскую власть: «Пусть она на десяти аршинах удержится, а потом все равно распространится по всему миру».

Но, кроме просвещения детей, зачастую их надо было просто спасать. Ведь все несчастья, что обрушивались в годы гражданской войны — и голод, и холод, и болезни, и общая нужда,— прежде всего обрушивались на детей, порождали безотцовщину и беспризорность. И советская власть должна была уберечь детей от гибели.

Большой интерес в связи с этим представляют идеи, которыми руководствовались дошкольные организации в то время, когда их возглавляла Анна Ильинична: «Дошкольное воспитание детей есть один из насущнейших вопросов нашего времени... Свободная демократическая Россия в своем строительстве новой жизни должна в первую очередь позаботиться о слабейших из слабых — о детях, независимо от их социального положения. Общественное... воспитание детей должно начинаться с первого дня рождения ребенка... Раннее развитие в ребенке заложенных в нем общественных и трудовых наклонностей, всестороннее развитие физической организации, ума, воли, самостоятельности, без сомнения, послужат залогом для развития творческой личности».

Забота о детях, охрана детства были подлинно фронтом, подчас не менее трудным и опасным, чем все остальные фронты той великой эпохи. Уже одно это может объяснить, почему и Анна Ильинична и Надежда Константиновна выбрали для себя эту область работы.

Но не одно это.

Семья Ульяновых, как и семья Крупских, была семьей учителей. Выросшие в этих семьях девушки мечтали о том, чтоб стать учительницами и отдать этому делу всю свою жизнь.

Судьба сложилась так, что годы молодости они посвятили революции. Однако и тогда их не покидала мечта о педагогической деятельности. Воплощалась эта мечта в литературной работе: Надежда Константиновна планировала издание «Педагогического словаря» или «Педагогической энциклопедии», которые — по убеждению Ленина — заполнили бы «очень важный пробел в русской педагогической литературе» и были бы «очень полезной работой». Педагогические работы Надежды Константиновны, собранные вместе, составляют несколько книжных томов.

Анна Ильинична сосредоточивала свое внимание не на теоретической разработке проблем педагогики, а больше на художественной литературе. Еще в ранней молодости она пробовала свои силы, написав детский рассказ. Писала она рассказы и находясь в ссылке в Кокушкине. Кроме того, она занималась переводами детских произведений с иностранных языков — преимущественно с итальянского. Тут любимыми ее авторами были Эдмондо д'Амичис и Корделия — псевдоним Виргинии Тревс.

В архиве Анны Ильиничны сохранились письма, полученные ею в 1913—1914 годах от издательства «Посредник». Оно сообщает об издании ее книг. Так, книга «Школьные товарищи» вышла в то время седьмым (!) изданием. Там же печатались и другие ее детские книги («Летняя берлога», «Братишка медведя», «Лисья семья» и пр.), некоторые вторым и даже четвертым изданием.

Работа по охране детей требовала от Анны Ильиничны неимоверно напряжения сил. Каждый кусок хлеба добывался буквально с бою, надо было драться и за дрова, обувь, самую нехитрую одежку. Анной Ильиничной были подготовлены два декрета Совета Народных Комиссаров, подписанные В. И. Лениным, о мерах, которые должно принять, «ставя своею целью охрану детей и юношества от ряда заболеваний», связанных с недоеданием. Нельзя без душевной боли читать список продуктов, которые выделялись из скудных запасов голодающим детям и матерям, кормящим грудью: полфунта манной крупы в неделю, полфунта сахара, фунт жиров, три яйца в месяц. Но и это удавалось выдать далеко не всегда!

Однако главное было достигнуто: к детям было привлечено внимание всех организаций молодого Советского государства. В самые трудные, самые голодные дни наш народ отдавал детям последний кусок хлеба, единственную вязанку дров, делал для них все возможное и все невозможное.

В том, что охрана детства заняла в работе нашего государства такое место, огромная заслуга принадлежит Анне Ильиничне!

Между тем самой ей в то время было очень тяжело.

После Октябрьской революции Марк Тимофеевич был народным комиссаром путей сообщения первого состава Совета Народных Комиссаров. Работа вообще нелегкая. Условия того времени — разруха, массовая демобилизация, саботаж инженерского состава, начало гражданской войны — все это усиливало трудности в тысячу крат.

Один из ближайших соратников Марка Тимофеевича по Народному комиссариату путей сообщения, сменивший его потом на посту наркома, старый большевик В. И. Невский писал:

«Вспоминая теперь работу Марка Тимофеевича, приходится признать, что, пожалуй, никто, кроме него, в эти бурные месяцы октября, ноября и декабря 1917 года и не справился бы с той стихией, которая бушевала на железных дорогах...

Как сейчас помню его большую спокойную фигуру, его лицо с доброй улыбкой, слышу его спокойный голос среди хаоса звуков, человеческих голосов, выстрелов, криков, угроз, просьб и ругательств.

И тут же под этот шум и гам Марк Тимофеевич ведет разговоры с инженерами, приехавшими с фронта, с представителями Викжеля (Всемирно-русского исполнительного комитета железнодорожников. — *Е. Д.*), с рабочими делегациями, дает распоряжения по линии, отпускает деньги, выходит в зал держать речь перед съехавшимися делегациями рабочих и т. д. и т. п. А к нам идут вести самые мрачные, самые безотрадные:

немцы начали наступление, в Гомеле железнодорожники перешли к противнику, в Ставке наш комиссар оказался предателем, на дорогах Севера нет продовольствия, бегущие с фронта солдаты разобрали железнодорожный путь, сожгли и сровняли с землей несколько станций.

Нечеловеческая работа сразу же подорвала силы больного сердцем Марка Тимофеевича: к середине декабря он уже был так переутомлен, что иногда, как говорили мне потом, с ним делалось дурно».

Работа на посту наркома путей сообщения оказалась физически не по силам Марка Тимофеевича. По его личной просьбе он был от нее освобожден. Позднее он был введен в коллегию Наркомата торговли и промышленности. Весной 1919 года он поехал в Петроград по служебным делам, да и хотелось ему присутствовать на торжественном акте по случаю столетия Петербургского университета. Там, в Петрограде, Марк Тимофеевич заболел. Сначала предполагали, что это грипп (его называли тогда «испанкой»), но оказалось, что это был сыпной тиф. Анна Ильинична тотчас поехала к нему, но, как ни выхаживала, спасти его не удалось.

Владимир Ильич и Мария Ильинична приехали в Петроград, чтоб проводить Марка Тимофеевича в последний путь. Похоронили его на Волковом кладбище. На том самом Волковом кладбище, которое было неотрывно связано для семьи Ульяновых с образом брата Александра, где покоились вечным сном Ольга Ильинична и Мария Александровна Ульяновы, где сам молодой Марк Елизаров со своей будущей женой Анной Ильиничной принимал участие в добролюбовской демонстрации.

Похоронив Марка Тимофеевича, Анна Ильинична вернулась к своей «республике детей».

Детей надо было кормить, одевать, обувать, что, как уже говорилось, само по себе было в тогдашних условиях бесконечно трудно. Но не менее важно было учить и воспитывать из них граждан нового, социалистического общества.

Этому Анна Ильинична уделяла огромное внимание. Правда, она не оставила крупных педагогических исследований, ее идеи разбросаны иногда в небольших заметках, иногда в инструкциях по Наркомпросу, иногда в записях с раздумьями о воспитании ребят, о перегибах с «комплексами», о целях, задачах и методах работы с детьми.

«Трудовое и самостоятельное начало, свобода для творчества,— прообраз новой школы,— записывает Анна Ильинична в одной из таких заметок.— Детскими домами должно даваться широкое сознание социалистических начал, глубоких основ социализма и коммунизма в мировоззрении детей,— создать навык, понимание общественного труда.

Свобода заниматься тем, к чему влечет... Наблюдать не з а м е т н о — больше самостоятельности, в духе общественности, справедливости, сдержанности, мягкости, начала товарищества, дать дисциплину духа».

Много думает она об особенностях воспитания в детских домах, всячески подчеркивает, что не должно быть «казарменности, нервирующего шума», что воспитание должно происходить «на основах действенного социализма, свободного мышления, полной демократизации и высокой гуманности». Придает большое значение труду, но только такому, который дает и «осязательные результаты», а также детскому творчеству.

«Колонии,— пишет она,— имеют гораздо большее значение, чем клубы... Коллективный труд, естественные условия, общение с природой, выработка выносливости и находчивости... Общность интересов,

взаимное обслуживание, труд — цемент общественности. Ознакомление с жизнью окружающей среды...»

Все это — мысли, сохраняющие свою силу и поныне, это основы самой передовой, подлинно социалистической педагогики.

«Чтобы семена воспитания падали в душу ребенка,— пишет Анна Ильинична,— нужно, чтобы душа эта была открыта перед сеятелем. А открыть ее можно только ключом ласки и взаимного доверия, которое можно выковать лишь неподдельной любовью к детям и тесной взаимной жизнью с ними. Те педагоги, которые хотят и умеют отдать свою жизнь этому трудному и вместе с тем благородному делу, к которым сами собой поворачиваются, как подсолнечник к солнцу, расцветая улыбкой, детские головки, для нас неоценимы, хотя бы они не могли представить ни одного диплома. Люди с дипломами нужны тоже, но они должны группироваться вокруг той оси, которой является педагог «божьей милостью», мать в семье, матка в улье...»

Таким педагогам «божьей милостью», пишет Анна Ильинична, удаются задачи, которые справедливо считаются труднейшими в области педагогики. И тут же добавляет, что опасения за судьбу таких педагогов не напрасны: «Сколько таких, прямо неоценимых, педагогов отстраняются или не допускаются к делу воспитания из-за того, что у них нет дипломов, и заменяются людьми с дипломами, но не имеющими часто ничего, кроме диплома и апломба».

Все эти раздумья относятся, конечно, не к первым шагам советской педагогики, а к временам более поздним.

Ценнейшим источником для суждения о педагогических идеях Анны Ильиничны служат и рецензии, публиковавшиеся ею в выходивших с двадцатых годов советских общественно-политических и литературных журналах.

Придавая исключительно важное значение в формировании человеческой личности годам детства, Анна Ильинична внимательно приглядывается к воспоминаниям людей, чья жизнь представляет собой высокий образец человеческого духа, и стремится обрести в их судьбе уроки, которые можно применить в воспитании миллионов советских детей.

Пример тому — отзыв Анны Ильиничны о книге Веры Николаевны Фигнер «Запечатленный труд».

В этом отзыве, который может служить образцом того, как человек настоящей души умеет видеть ошибки другого человека и в то же время преклоняться перед ним за то, в чем тот достоин преклонения, Анна Ильинична писала:

«Очень интересны психологические отметки тех переживаний в детстве и в ранней юности, которые запоминались на всю жизнь, залегали в основу образования моральной личности. Таково воспоминание о первом стыде, испытанном Верой Николаевной ребенком, когда она свалила спорную вину на сестру, которая одна и потерпела наказание,— стыда, из которого получился урок на всю жизнь,— «вину брать на себя». Или позднее, когда в пятнадцать лет поэма «Саша» Некрасова заставила ее глубоко передумать людские отношения и сделать вывод, ставший ее девизом: «Согласовать слово с делом». Такие места дают больше пищи педагогам и психологам, чем многие длинные теоретические рассуждения».

Непосредственно к этим размышлениям примыкают рецензии Анны Ильиничны на книги для детей, публиковавшиеся на страницах первого научно-критического и библиографического журнала, выходившего в годы советской власти,— «Печать и революция».

Рецензии Анны Ильиничны публиковались из номера в номер на протяжении примерно полутора лет, в 1922—1923 годах, вплоть до того



времени, когда Анна Ильинична перешла на работу в журнал «Пролетарская революция» и посвятила себя истории партии и революционного движения в России. Учитывая, что в журнале «Печать и революция» публиковались также рецензии Н. К. Крупской и что журнал этот находился в фондах личной библиотеки Владимира Ильича Ленина, а также и то, что дело идет о времени, когда семья Ульяновых жила подолгу вместе в Горках, можно считать, что высказывания Анны Ильиничны по вопросам детской литературы были известны всей семье Ульяновых и разделялись этой семьей. Впрочем, самым важным мерилom тут служат сами идеи, которые она проводила и которые полностью совпадают с идеями В. И. Ленина.

Напомним также огромное место, которое занимала книга в детские и отроческие годы жизни семьи Ульяновых. «Отец получал всю новую детскую литературу, которая переживала тогда пору некоторого расцвета, журналы «Детское чтение», «Семья и школа» и др.,— писала в своих воспоминаниях Анна Ильинична. Кроме того, Ульяновы выписывали детский журнал «Родник», в котором сотрудничали В. Г. Короленко, В. М. Гаршин, Д. Н. Мамин-Сибиряк, К. М. Станюкович. Дети брали книги в симбирской городской библиотеке имени Карамзина. В воспоминаниях родных и близких назван ряд книг, читавшихся в семье Ульяновых: сборник Гербеля «Русские поэты», который читали, и перечитывали, и заучивали наизусть, уже упоминавшийся нами роман Вальтера Скотта «Айвенго», «Дурочку» Майкова, сказки Пушкина, сказку Вагнера «Колесо жизни», «Конька-Горбунка» Ершова, «Небесные светила» Фламариона. «Он (Володя) удивительно хорошо, сознательно читал,— вспоминал домашний учитель семьи Ульяновых В. А. Калашников.— Это их семейная традиция. Родители подбирали книги и руководили чтением детей. Страсть к чтению у Владимира Ильича сохранилась до конца. Через чтение дети очень рано получили разнообразные знания и общее развитие».

Такое понимание и отношение к детскому чтению сказывалось в рецензиях Анны Ильиничны на книги для детей и книги о детях. Большое место в этих рецензиях занимают проблемы общего подхода к формированию личности ребенка. Раздумывая над ними, Анна Ильинична обратила внимание на вышедшую тогда книгу Д. Дьюи «Школа и ребенок». Книга эта Анну Ильиничну не удовлетворила, о чем она пишет с присущим ей своеобразием: «Мы надеялись с помощью автора сделать шаг вперед, но останемся с приподнятой только ногой, а потому разочарованные». В то же время Анна Ильинична стремится извлечь из книги Дьюи все, что может дать пищу для правильных обобщений. «Исходные мысли книги Дьюи,— пишет она,— очень свежи, интересны и подчас глубоки. Так, Дьюи говорит: «Ребенок — это исходная точка, центр и конец всего... Все предметы преподавания должны служить его росту... Личность и характер важнее школьных предметов. Целью должно быть не знание или осведомление, а выявление личности».

Особый интерес Анны Ильиничны привлекает замечание Дьюи, что лет в десять у детей часто появляется сознательное требование поручить им «что-нибудь трудное». В этой черте она видит ценное качество детей. «Честь и слава педагогу, который сумеет использовать это требование и превратить его в нечто длительное, выковывающее волю»,— пишет она.

Настойчиво подчеркивает она важность выводов, которые следует сделать из наблюдения Дьюи. «Это — страшно важная проблема воспитания, стоящая теперь на очереди,— повторяет она,— так как у

нас уже довольно много педагогов, умеющих вызвать интерес к тому или иному предмету, но таких, которые, без насилия над волей ребенка, сумели бы поддержать в нем стремление работать «над чем-нибудь трудным», почти совсем нет».

Мы видим таким образом, что Анна Ильинична не просто излагает мысли Дьюи, но и вводит в свое изложение новую, очень важную мысль: важнейшее в воспитании — это поддержка в детях стремления работать «над чем-нибудь трудным», достигаемая без насилия над волей ребенка, то есть на единственно истинном педагогическом уровне.

То же уважение к личности ребенка и отношение к педагогическому процессу прежде всего как к воспитанию чувств лежит в основе рецензии Анны Ильиничны на книгу Я. Борина «Ласточка», вышедшую в Краснодаре и задуманную автором как первая книга для чтения после букваря. По словам автора, преимущественной задачей букваря является «развитие механизма чтения», который «на первых порах настолько труден, что учащийся оставляет в стороне внутренний смысл данного слова».

Анна Ильинична решительно протестует против подобной постановки вопроса. Не отрицая роли букваря в развитии механизма чтения, она утверждает, что «чтение должно быть сознательным с самого начала» и что «при умелом ведении его и надлежаще составленном букваре достигаются обе задачи». Таков, по ее мнению, букварь Льва Толстого, в котором «с первых же букв составляются понятные детям слова и фразы». Решительные ее возражения вызывает также склонность Я. Борина к использованию в качестве материала книги различных вариантов сказки про белого бычка. «У детей,— пишет она,— с самого начала имеются более серьезные требования к читаемому».

Чрезвычайно большое значение в воспитании молодого поколения играют, по ее мнению, естественные науки. Поэтому она проявляет особый интерес к детской литературе о жизни природы. Отрицательно оценивая «фальшивые робинзонады», примером которых служит книга Ноульса «Два месяца в лесах», она с глубоким уважением пишет об исполненных поэзии произведениях Э. Сетон-Томпсона и Лонга: «Их опыт жизнерадостен, они действительно любят природу, они живут с нею одной жизнью, всматриваются в ее краски, вслушиваются в ее звуки. Они прослеживают жизнь каждого маленького животного, они наслаждаются журчанием ручья или лесным шумом, они нагикаются постоянно на разные любопытные неожиданности, делают те или иные радостные открытия...»

К числу наиболее удачных рассказов Э. Сетон-Томпсона относит она рассказ «Джек, король Таллакский», в котором «перед нами проходит жизнь мощного индивидуума, внушающего уважение своей силой и сообразительностью, привязанность которого в детстве к воспитавшему его человеку трогает, а трагический конец — заточение в клетке — заставляет сильно переживать его ощущения». Анна Ильинична не боится одухотворения животных и природы и романтического к ним отношения. «Некоторая доля идеализации всегда не вредна в рассказе для юношества,— пишет она по поводу рассказов Э. Сетон-Томпсона,— а большую вдумчивость и интерес к жизни животных такой подход, несомненно, вызывает».

Так проблема познания снова предстает перед нами как проблема воспитания гуманизма, воспитания чувств.

Под этим же углом зрения подходит Анна Ильинична и к книгам об истории человека. Рецензируя «Приключения доисторического маль-

чика» д'Эрвильи, она пишет: «Умело... в центр жизни пещерного человека поставлена борьба за огонь. Мрачные и суровые перипетии этой борьбы, развивающие в первобытном человеке чувство коллективной ответственности, чувство долга, создают и в подрастающем ребенке сознание необходимости тех же обязанностей, того же твердого и непреклонного выполнения их. Он начинает уважать мужество и силу, неуклонное выполнение долга, коллективную ответственность».

Примечательна характеристика, которую дает Анна Ильинична «вождю», старейшине. Превыше всего ставит она «его заботы о младших, об общем благе», в чем видит «пример общественного и личного подражания, который нечувствительно впитывается детьми».

Отмечая присущую автору склонность к идеализации отдаленных времен, Анна Ильинична полагает, что это «не так дурно», ибо без фантазии все равно не обойдешься, «пусть же она уклоняется лучше в некоторое преувеличение духа коллективизма и выковываемого им чувства долга и ответственности, несомненно существовавшие в первобытной коммуне и являвшиеся элементом прогрессивным, в то время как звериный эгоизм каждой отдельной особи, оставляя ее беззащитной в борьбе с природой, вел к более быстрой гибели ее. Выжидали наиболее объединенные особи — это несомненно. В рассказе этот период выковывания первобытного общества выходит путем сгущения общественных чувств и высших свойств индивидуума более быстрым и одухотворенным, но общее направление его верно, то есть историческая правда сохранена...»

Поверхностному уму может показаться, что рецензирование случайно вышедших детских книг — занятие узкое и малоблагодарное. Анна Ильинична Елизарова показывает нам, как в руках настоящего человека, истинного ленинца, оно превращается в средство борьбы за воспитание тех самых высоких человеческих качеств, какими являются «общественные чувства и высшие свойства индивидуума».

### *Глава седьмая*

Охране детства Анна Ильинична отдала около четырех лет жизни. Но дело это требовало такой немислимой затраты всех сил, особенно в голодный двадцать первый год, что она дошла до предела усталости. Надо было менять работу.

Надо было менять работу и потому, что вместе с переходом к новой экономической политике и развертыванием идеологической борьбы встала во весь рост необходимость создать историю нашей партии.

Начинать все приходилось буквально на пустом месте. Имелась лишь одна небольшая книга — «История РСДРП» Н. Н. Батурина. Она никак не удовлетворяла требований, которые ставила жизнь. Существовал лишь один историко-революционный журнал — «Былое», который лишь в минимальной мере уделял внимание истории социал-демократии, а тем более нашей партии, и издавна находился в полном владении народнических и эсерских кругов. К тому же, как справедливо указывала в одной из своих статей Анна Ильинична, «Былое» еще до революции стремилось смаковать рассказы о провокаторах и продолжало эту традицию и после революции.

Правда, из этого правила бывали и исключения. Анна Ильинична относилась к этим исключениям с самым бережным вниманием. Пример тому — ее отзыв о статье О. В. Аптекмана «Две дорогие нам тени», по-

священной Г. В. Плеханову и М. А. Натансону. «Такие статьи,— писала она,— для нас бесценны. Личные воспоминания соратника юности сообщают много теплоты и живости образам этих двух выдающихся деятелей 70-х годов. Никакие научные исследования не могут дать того, что дает отображение человека в памяти его друзей, хотя бы через призму десятилетий».

И другой пример — ее оценка книг В. Н. Фигнер: «Воспоминания Веры Фигнер — это эпопея бескорыстного и героического движения лучшей части интеллигентной молодежи 70-х годов», «Это... заставляет относиться особенно бережно к тем воспоминаниям, которые только она могла дать...»

С той объективностью, с которой Анна Ильинична умела относиться к прежним соратникам даже после того, как связывающие ее с ними политические пути разошлись, она находила достойные их памяти слова: «Чем больше открывается для нас пошатнувшихся, павших, тем мощнее поднимаются фигуры непоколебимых, верных себе».

Тут к Анне Ильиничне полностью можно отнести слова о «рыцарском и чистом отношении к людям», сказанные ею о Vere Ивановне Засулич.

Впрочем, это относится не только к Анне Ильиничне, но и к Владимиру Ильичу и ко всей семье Ульяновых.

Создание истории партии с таким огромным и богатым опытом борьбы, как наша,— дело в высшей степени трудное. Средоточием этой работы была комиссия, учрежденная специальным решением Центрального Комитета партии, в выработке которого принимал непосредственное участие В. И. Ленин,— так называемый «Истпарт» с издаваемым им журналом «Пролетарская революция».

Научная разработка проблем партийной истории и создание архивов, собиране документов и выпуск журнала — все это должно было идти одновременно с широкой популяризацией партийного прошлого, с воспитанием в молодых членах партии любви к ее истории, с изданием ярко и красочно написанных воспоминаний, дающих правдивое описание событий во всем их богатстве и сложности.

«Мы пишем с вечно живом и вечно юном пролетариате, а не о мертвых приказах и канцеляриях, и мы зовем к себе всех живых, интересующихся историей пролетарской революции,— говорилось в обращении Истпарта, формулировавшем его задачи.— ...в истории конспиративно-го, подпольного периода нашей партии многое не нашло и не могло найти себе отражения в документах. Тут в особенности ценными являются всякого рода воспоминания, дающие тот психологический фон и ту связь, без которых имеющиеся в наших руках отдельные документы могут оказаться непонятыми или понятыми неправильно. Непосредственные свидетели возникновения документа могут лучше истолковать его букву, нежели люди, подходящие к документу через ряд лет, с настроениями и представлениями, которых не было ни у кого в ту минуту, когда документ возник... По одним воспоминаниям нельзя писать истории; но... без воспоминаний живых свидетелей происходившего писать историю крайне трудно. Такая история прежде всего рискует быть очень субъективной, ибо ее автор, вынужденный связывать разрозненные документы собственными домыслами и предположениями, неизбежно дает нечто вроде мемуаров не очевидца: т. е. мемуаров во всяком случае еще худшего сорта, чем обычные».

Партия звала к созданию ее истории всех, кто способен работать в этой области. Естественно, что Анна Ильинична оказалась в их числе

на посту члена Истпарта и члена редакционной коллегии его органа — журнала «Пролетарская революция».

На первых порах Истпарт состоял при Наркомпросе. Приступив к работе, Анна Ильинична увидела, что Наркомпрос, заваленный другими делами, совершенно не уделяет внимания Истпарту, и тот, как она выражалась, находится у Наркомпроса «где-то на отшибе, в хвосте архива», а в итоге бессилён выполнить свое основное дело — собирать и сохранять материалы для будущих историков нашей партии; архивы теряются и расхищаются, воспоминания никто не записывает, и они исчезают вместе со смертью мемуаристов.

Чтобы спасти Истпарт, Анна Ильинична предложила перевести его в Центральный Комитет партии. Одни товарищи поддержали ее точку зрения, другие — в том числе Владимир Ильич — высказались против такой реорганизации. Анна Ильинична решила пойти к нему, побеседовать на эту тему.

Беседа эта так характерна для Владимира Ильича, что заслуживает подробного о ней рассказа.

Выслушав доводы Анны Ильиничны в пользу передачи Истпарта в ЦК партии, Владимир Ильич сказал ей, что он остается при прежнем своем мнении: он против этой передачи, так как считает, что ЦК не должен распухать разными учреждениями, которые могут выполнять свои функции, являясь учреждениями не партийными, а советскими.

— Но,— прибавил он,— ведь не я один решаю в Оргбюро. Наоборот, я часто и не бываю там совсем, и 90 процентов дел проходит там без меня. Если вы считаете, что так лучше для работы, то идите туда и мотивируйте; может быть, с вашим мнением и согласятся. Вы работаете, вам виднее.

Точка зрения Анны Ильиничны восторжествовала.

Свою работу в Истпарте Анна Ильинична начала с дела брата, Александра Ильича.

Мы уже говорили, что это дело было засекречено, окружено тайной более всех остальных народовольческих дел. Прежде всего оставалось совершенно неизвестным, как узнали о готовившемся покушении жандармы, кто выдал участников заговора, почему были они арестованы еще до того, как успели бросить бомбы? Был ли среди участников дела предатель? Когда и как он всех выдал?

Не ясно было и многое другое: сколько времени существовала террористическая организация? Кто в нее входил? Кто был идейным вдохновителем?

На судебное заседание допущены были лишь близкие родственники. Их рассказы о слышанном были недостаточно связны и не давали ответа на все эти вопросы. Правда, кое-что прояснилось, когда после 1905 года из Шлиссельбурга вышли некоторые однодельцы Александра Ильича. Но и по их свидетельствам нельзя было сделать всех необходимых выводов: помимо всего прочего, было известно, что Александр Ильич стремился брать все на себя и просил остальных подсудимых, если им это понадобится, сваливать вину на него.

Анна Ильинична в эти годы делала все, чтобы как можно больше узнать о деле брата. Она переписывалась с сибирскими ссыльными, осужденными по делу 1 марта 1887 года. Будучи за границей, с помощью Веры Ивановны Засулич получила от соучастника дела Говорухи на воспоминания о 1 марта 1887 года, которые кое-что для нее прояснили, но еще больше затемнили. По тем вопросам, которые она задава-

ла Говорухину и о которых мы знаем потому, что письмо ее с этими вопросами было перлюстрировано охранкой, видно, как тщательно изучала она доступные ей воспоминания, рассказы и газетные сообщения.

Все это дало ей возможность написать об Александре Ильиче и его деле довольно большой очерк в сборнике «Галерея шлссельбургских узников», вышедшем в 1906 году. Но сведения, которыми она располагала, были неполными, и, главное, оставались неясными причины ареста брата и его товарищей.

Только теперь, получив в руки следственное дело и судебный отчет о нем, Анна Ильинична смогла разобраться в вопросах, мучивших ее столько лет. Только теперь узнала она о мальчишеской неосторожности одного из участников организации, который навел полицию на ее след, а также о предателях, выдавших всех в первые же часы после ареста.

«Моя работа в Истпарте началась с апреля 1921 года,— писала она.— Я никогда до того по истории или по архивам не работала, но здесь мне представлялась возможность осуществить соби́рание материала по делу брата, Александра Ильича...»

Параллельно с этим она составляла сборники воспоминаний о А. П. Скляренко и Н. Е. Федосееве — людях, сыгравших огромную роль в первых марксистских организациях в России.

В эти сборники включены также и воспоминания самой Анны Ильиничны, которые не только выдержали самую трудную из существующих проверок — проверку временем,— но звучат сегодня еще более интересно, чем тогда, когда были опубликованы впервые.

Предельно лаконичные, написанные прекрасным русским языком, без «красивостей», сдержанные, не сентиментальные, они полны точных наблюдений и метких характеристик.

Словно живые встают со страниц этих воспоминаний их герои — самолюбивый и застенчивый А. П. Скляренко, он был «незаконнорожденным» и на его характере, по мнению Анны Ильиничны, болезненно отразилось презрительное отношение к «незаконнорожденным» тогдашнего общества. И Н. Е. Федосеев с его искренней и чистой натурой, который те десять лет сознательной жизни, что ему суждено было прожить, буквально не жил, а горел.

Одним штрихом, одной фразой Анна Ильинична дает исчерпывающую характеристику человека, хотя бы на мгновение оказавшегося в поле зрения ее воспоминаний. Вот мать Н. Е. Федосеева, «саратовская землевладелица, которая отказалась от него в одну из перипетий его борьбы и заточения». Вот шпик, специально поселившийся в одном доме со Скляренко и забравшийся в его комнату. «Чем вы занимаетесь?» — спросил, накрыв его у себя, Скляренко. «Я... Я... портной», — заикаясь, ответил захваченный врасплох соглядатай. «А, портной, так вот мне брюки надо сшить. Беретесь?»

Несколько десятилетий спустя Анна Ильинична восстанавливает эту комическую сцену, как и запомнившуюся ей выразительность движения Скляренко. «Его, организатора масс по натуре, оратора на площадях, давили условия русской жизни, необходимость сдерживаться, сжиматься, залезать в подполье...» В ее памяти сохранилось воспоминание о том, как Скляренко побывал у нее на новой квартире. Там был очень длинный и узкий коридор. Выходя, он словно бы в ответ на вопрос, как ему понравилась квартира, широко раздвинул локти, как будто бы пытаясь раздвинуть эти чересчур тесно сшедшиеся стены. «Я часто думала потом,— писала она, еще и еще раз проявляя свой талант на-

блюдательности и обобщения, — что он весь вылился в этом жесте, что и из жизни он ушел с таким же досадливым жестом к тем бессмысленно узким стенам, которые рухнули только после его смерти...»

И другая характеристика, на этот раз относящаяся к Н. Е. Федосееву. Она называется его «одной из первых ласточек рабочего движения в России». Этот образ служит ей для того, чтоб дать общую картину условий, в которых рождалось рабочее движение в России, — капитальные стены, которыми окружало самодержавие несознательные, прижатые рабочие массы, и «первые ласточки», которые «разбили свои крылья и усеяли преждевременными трупами подножия этих стен!» С помощью этого же образа она очерчивает жизнь Н. Е. Федосеева, прошедшую в тюрьме и ссылке: «Краткий просвет, вылет на волю — каждый раз для того, чтобы опять и опять удариться в ненавистную стену и снова падать с подшибленными крыльями». К нему же она прибегала, описывая эпоху глухой реакции восьмидесятых годов, говоря о том, как «вступающей в жизнь молодежи было особенно трудно разворачивать свои крылья в то время». А рассказывая о владимирском периоде жизни Н. Е. Федосеева, только что вышедшего из тюрьмы и принявшего решение хотя бы недолго пожить спокойно, не вести подпольной работы, чтоб отдохнуть и пополнить свои знания, но тут же сорвавшего это свое решение, пишет: «...Он не был бы революционной ласточкой, если бы удержался на тех осторожных шагах, на которых остановилось бы большинство, если бы, несмотря на всю колоссальную трудность, почти невозможность пропаганды среди рабочих окрестных фабрик в условиях поднадзорного существования, он не попытался бы все-таки повести ее».

А потом — трагический конец Федосеева.

Когда этап, с которым он отправился в сибирскую ссылку, вышел из тюрьмы и был приведен на вокзал, Анна Ильинична и Мария Ильинична поджидали на платформе и добились, чтоб их пустили в вагон попрощаться с Федосеевым, с которым до того они были знакомы только по тайной переписке через тюремных надзирателей.

«Он произвел впечатление неотразимо привлекательной личности, — писала Анна Ильинична в своих воспоминаниях. — Особенно хороша была его раскрывавшая перед ним все сердца, прямо обаятельная улыбка! Мы провожали в этот момент не товарища, которого видели в первый раз в жизни, а близкого, дорогого, почти родного человека. Сколько нежности и чуткости было в его сильной натуре!»

Но прошло недолгое время — и Анна Ильинична узнала из письма Владимира Ильича о том, что Федосеев покончил жизнь самоубийством. Почему он это сделал? Была ли причиной лишь грязная склока, затеянная вокруг него одним из ссыльных? Или причина была глубже, в том, что, как писала Анна Ильинична, рана, нанесенная этой склокой, была так тяжела «измученному всем пережитым, представлявшему сплошной оголенный нерв организму Федосеева», что он «не согнулся, а сломался» в проклятых условиях тогдашней русской жизни. «И погибла высокоодаренная светлая личность, — завершает свои воспоминания Анна Ильинична. — И разбила свои крылья одна из самых ценных, первых наших ласточек».

В морозный январский день 1924 года на нашу партию, наш народ, на семью Ульяновых обрушилось величайшее горе: не стало Владимира Ильича Ленина.

Отныне рядом с проходящим через всю жизнь Анны Ильиничны лейтмотивом — жизнью брата Александра — возникла новая, столь же

дорогая для нее тема: история жизни ее второго брата, Владимира Ильича.

Анна Ильинична была автором воспоминаний о Владимире Ильиче, вышедших вскоре после его смерти. Поньне эти воспоминания продолжают привлекать внимание ученых-историков и самого широкого круга читателей. Если бы не они, как много невозстановимых и невозполнимых страниц истории семьи Ульяновых было бы безвозвратно утеряно!

Свои работы о Владимире Ильиче Анна Ильинична писала так, чтоб они оказались доступны и взрослым и детям, но в то же время были бы предельно точны и правдивы. Она дает характеристику родителей и семейной обстановки, описывает детство и отрочество Владимира Ильича, его дальнейшую жизнь: годы, в которые, как писала Анна Ильинична, «складывалась и оформлялась окончательно его революционная физиономия». Рассказав о начале революционной работы Владимира Ильича, его аресте, ссылке в Сибирь, Анна Ильинична заканчивает свои воспоминания на том, как тридцатилетний Владимир Ильич, вернувшись из ссылки, «взялся снова вплотную за революционную работу, но уже в несравненно более широком масштабе; за ту работу, которая сплотила революционный российский пролетариат и привела его к победе».

На этом, повторяем, заканчиваются последовательные воспоминания Анны Ильиничны о Владимире Ильиче. Но, кроме них, она оставила о нем два биографических очерка: один краткий, помещенный в словаре «Гранат», и другой более полный, вышедший отдельной брошюрой. Кроме того, ею написан ряд небольших заметок («Возвращение Ильича из ссылки и идея «Искры», «Третий арест Ильича, поездка в Уфу и отъезд за границу», «В. И. Ленин и самарская деревня» и другие), а также несколько рецензий на книги, посвященные Ленину, и иностранных разборов впервые опубликованных документов, автором которых был Владимир Ильич.

Один из таких разборов, в котором воспоминания самой Анны Ильиничны умело и тонко сочетаются с анализом подлинного исторического документа, мы уже приводили — это статья Анны Ильиничны, посвященная письму Ленина о том, «как чуть не потухла «Искра». К этой статье непосредственно примыкают заметки Анны Ильиничны о письмах Ленина к Горькому, а также о материалах по выработке программы РСДРП в 1903 году.

Значительный интерес представляет ее статья «Профессор-оппортунист о Ленине», посвященная книге участника «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» К. М. Тахтарева. Став «экономистом», К. М. Тахтарев примкнул затем к меньшевикам, но быстро отошел от практической партийной деятельности. Его книга «Рабочее движение в Петербурге (1893—1901 гг.)» была издана в Ленинграде в 1924 году. Наряду с общими воспоминаниями об этом периоде Тахтарев посвятил довольно много страниц В. И. Ленину, с которым встречался не только в Петербурге, но и позднее, в годы революционной эмиграции, в Лондоне.

Многое в книге Тахтарева вызвало справедливый протест Анны Ильиничны — об этом свидетельствует самое название ее статьи, напечатанной осенью того же 1924 года в журнале «Пролетарская революция». При этом она внимательно подбирает каждую ценную крупницу, которую можно найти в воспоминаниях Тахтарева.

«Мы считаем, — пишет она, определяя свое отношение к книге Тахтарева, — что для истории партии надо взять квинтэссенцию всех



трех статей Тахтарева — не стесняясь всеми его уколами из-за угла...» «Оставив в стороне освещение, которое придает событиям и личности Ленина автор, посмотрим на то, что, потушив это освещение, мы можем получить... А получить мы можем очень много биографического материала о Ленине».

Когда сличаешь написанное Тахтаревым со статьей Анны Ильиничны, видишь, как она не просто пересказывает, а словно бы обогащает воспоминания Тахтарева своим критическим, но в то же время бережным к ним отношением.

В этих воспоминаниях, пишет она, мы видим Ленина в самом начале его работы в Петербурге «ярким представителем социал-демократии, сознающим необходимость скорейшего объединения разрозненных кружков в единую политическую партию рабочего класса. Мы видим его непримиримым борцом со всякими,— в первую очередь экономическими, уклонами с этого пути, со всей свойственной ему прямолинейностью («не допускал различия между POSSИБИЛИЗМОМ и ОППОРТУНИЗМОМ...»). Мы видим, как он «с наружным спокойствием, но с крайним напряжением нервов» переносил борьбу на Втором съезде. В качестве близкого свидетеля и до некоторой степени пользовавшегося его врача Тахтарев видел, как он «был потрясен этой борьбой, которой он, по-видимому, никак не ожидал».

Мы видим его как товарища. «Он очень хорошо, по-товарищески встретил меня» (пишет Тахтарев, считавший вполне возможной иную встречу, «как человек, которого В. И., не без основания, мог считать одним из наиболее решительных своих противников»), как человека чрезвычайно прямого: «Я был ему в высшей степени благодарен за его прямоту, она мне очень понравилась, и мы простились по-товарищески».

Тахтарев показывает Владимира Ильича и в его личной жизни. Жил он чрезвычайно скромно, напряженно работал, но любил и повеселиться, когда представлялся случай.

«Владимир Ильич,— пишет Тахтарев, и Анна Ильинична приводит его слова,— обладал, несомненно, очень живой натурой, и ничто человеческое не было ему чуждо».

Особо подчеркивает Анна Ильинична те места книги Тахтарева, в которых тот касается направленных против Ленина обвинений в том, что он якобы стремился «руководствовать».

Вопреки им Тахтарев утверждает, что «в более близком кругу товарищей он не только избегал насилловать их решения, но даже старался не обнаруживать своего подавляющего влияния...», «относился к возражениям очень внимательно...», «держал себя очень просто, как равный с другими. Влияя на других часто почти неотразимо, он нередко нарочно стремился это замаскировать».

Так подходила Анна Ильинична к воспоминаниям о Ленине, принадлежащим его открытому политическому противнику.

Тем более бережно относилась она к тому, что писали о Владимире Ильиче его соратники, люди, которые отдали партии всю свою жизнь, для которых Ленин был самым дорогим, самым любимым человеком.

При этом Анна Ильинична ищет в воспоминаниях не риторику и не восхваления, которые, будучи назойливыми, дают обратный результат. Ей дороги подлинные черты подлинного образа.

Пример тому — ее отзыв о книге А. Шлихтера «Ильич, каким я его знал». «В ней,— пишет Анна Ильинична,— образ Ильича, его слова являются как бы блестящими металлами в больших кусках руды. Эта руда, т. е. обстановка, события тоже важны и интересны, ее тоже надо закрепить; в ней, как в рамке, понятнее слова и проявления Ильича».

Сколь бережлива Анна Ильинична ко всему, что восстанавливает правдивый образ Ленина, столь же непримирима она к халтуре, небрежности, спекуляции его памятью, фальши и искажению его облика.

Недобрым словом отмскает она воспоминания Назарьева, допустившего много неверного, придуманного. Не оставляет и камня на камне от статьи И. Леонова «Черточки для биографии Владимира Ильича», напечатанной в сборнике «У великой могилы».

«Владимир Ильич в Подольске не жил, а останавливался на пару дней два раза,— пишет она,— ...в доме бывшем Кедрова, где жили его мать, брат и сестры... Квартуру в доме Кедрова снимали вовсе не для него. О возможности спустить нелегальную литературу в реку или скрыться от преследования в лодке... никто, кроме автора заметки, не помышлял. Никакой революционной брошюры в доме Кедрова Владимир Ильич не написал, никакого отношения к Подольской подпольной организации не имел (а когда она основалась? из кого состояла?). Одним словом, автор показал незаурядный талант: из трех слов -- «Владимир Ильич», «Подольск» и «дом Кедрова» — состряпать целый рассказ, в котором ни слова нет искреннего, напомнив при этом известную грамматическую задачу: «как в слове еще и еще, состоящем из трех букв, сделать четыре ошибки?» (Ответ: написать ЪСЧО)».

Она напоминает авторам, что Надежда Константиновна уже в прошлом (1924) году указывала, что «совсем напрасно стараются причисать Владимира Ильича под какую-то ходячую добродетель, рисуют его каким-то аскетом, чем отнимают у него подлинные черты живого человека...».

Огромное негодование Анны Ильиничны вызывают «христианствующие» и «мужиковствующие» поэты типа Клюева, пытавшиеся изобразить Ленина в этаким «божественном», «русопяствующем» виде, умильнейшим, покрытым липкой славянофильской патокой.

А об отношении Анны Ильиничны ко всяческим низкопробным спекулянтам, превращавшим Ленина в «модную», «доходную» тему, и говорить не приходится. Такой отпор был дан Анной Ильиничной в ее статье «Против плагиата, литературной выдумки и вранья» — насколько я знаю, последней ее статье, опубликованной при ее жизни.

Статья эта -- о написанной Сергеем Спасским «Повести о старшем брате». Главный герой ее «Митя Лукьянов», в котором читатель без труда узнает Александра Ильича. Но много места уделено и «младшему брату» «Боре», лихо изображенному автором. Достаточно сказать, что в ночь казни брата этот самый «Боря» расставляет шахматы на доске, причем «площадь их (?) становится огромной, и бронированная ладья подхватывает Боря, и он стоит и говорит, сильно выкинув руку».

Показав беззащитность, с которой Спасский прибегает к плагиату и обворовывает воспоминания Анны Ильиничны, «накручивая на них,— как выражается Анна Ильинична,— свою психологию, спуская с узды свое якобы художественное творчество», в итоге чего «этот образ, который он тщится нарисовать», оказывается «не только совершенно далеким от действительности, но даже совершенно искаженным»,— Анна Ильинична излагает свое мнение о том, как писать о братьях Ульяновых.

Она говорит об этом резко, чеканно формулируя выношенные, придуманные формулы. Ее слова сохраняют свою силу поныне и могут быть приняты как руксводство к работе и действию каждым историком, каждым писателем, каждым артистом и художником, работающим над образом Ленина. В качестве образца халтуры Анна Ильинична приводит данное Спасским изображение матери «братьев Лукьяновых», «от-

рывающейся к мыслям о сыне от таза с вареньем и опять к пузырькам темной вишни», и рассказ Спасского о сотоварищах «старшего брата», выведенных под прозрачными именами «Шевелев» и «Поворухин», показанных «так чужо, так далеко от действительности, так неприятно сочиненно и выдуманно». А хуже всех — центральный образ, создавая который автор «распоясался вовсю».

Но как ни взволнована Анна Ильинична писаниями Спасского, ее пером движет не только гнев. Главное, что она хочет сказать — как должно рисовать образы революционеров, образы большевиков.

«Ведь недостаточно иметь бойкое перо беллетриста, чтобы рисовать всякие образы,— пишет она,— ...следует быть в уровень с образами, которые рисуешь, понимать стремления, быть в курсе тех общественных идей, на основе которых развертывались происшествия, развивались характеры, которые берешься изображать».

Так, именно так писала свои работы Анна Ильинична.

Жизненный путь ее закончился в 1935 году. За день до смерти, уже в полузабытьи, она громко и звучно декламировала стихи Гейне из «Buch der Lieder» — той самой книги, которую на прощальном свидании с матерью просил принести ему осужденный на казнь Александр Ильич Ульянов. То, что ею совершено, то, что ею написано, а в особенности ее воспоминания об Александре Ильиче Ульянове и Владимире Ильиче Ленине, будет жить всегда.

Ибо сверх всех прочих талантов, которыми должен обладать художник, для такой великой темы, как история нашей партии и биографии братьев Ульяновых, нужно обладать еще одним — талантом понимания и любви.

Большой человек, большая жизнь, прожитая на высоком накале действий и чувств.

Анна Ильинична Ульянова-Елизарова принадлежала к тому поколению молодых людей, которое, ступив в сознательную жизнь в эпоху безвременья, наступившего после гибели героической «Народной воли», стало искать и нашло новые пути борьбы — пролетарскую революцию.

Труден и славен был путь этих людей! Каким неисчерпаемым герпением, какой настойчивостью, какой поистине неизбывной верой в свое дело нужно было обладать, чтоб на протяжении долгих лет шаг за шагом двигаться к цели. Вести пропаганду, собирать людей, создавать кружки, организации, комитеты. Готовить забастовки, плести нити партийных связей, грубо разрываемые очередным полицейским налетом, жить в непрерывном напряжении, в постоянном ожидании ареста и обыска, изучать «географию» России по ее тюрьмам, выходить на волю, чтоб снова приняться за подпольную работу и быть вновь арестованным. И сквозь сетку повседневных неудач, провалов, разгромов партийных организаций видеть, как рабочее движение, несмотря ни на что, неуклонно идет вперед, как растет партия, как мужают и закаляются ее кадры, как сплываются они вокруг Ленина и обретают все большую поддержку масс.

Вместе с Коммунистической партией, вместе с рабочим классом, вместе с Лениным Анна Ильинична прошла этот славный путь, завершившийся победой Великой Октябрьской социалистической революции.

А после ее победы Анна Ильинична принимает деятельное участие в строительстве нового общества. Ее работа по охрану детства, при всей внешней скромности, подлинно героична. Созданные в последние пол-

тора десятилетия ее жизни историко-литературные произведения бесценны.

На многих фотографиях и кинокадрах тех лет мы видим Анну Ильиничну рядом с Владимиром Ильичем Лениным, Надеждой Константиновной Крупской, Марией Ильиничной Ульяновой. Она уже немолода и сильно изменилась по сравнению с девушкой в шапочке «гарibaldiйке», какой запечатлен ее облик на портрете времен студенчества. Но взгляните повнимательнее в ее глаза — вы увидите живой, пронзительный взгляд умного, глубокого, полного энергии человека. Присмотритесь к прекрасной линии лба, к тонкой улыбке, порой озаряющей ее лицо. И прочтите ее книги, письма, воспоминания. Вы почувствуете, что не даром с нею были так близки ее братья — Александр и Владимир, не даром она была поверенной их мыслей, другом, советчиком, соратницей, товарищем по борьбе.

Она была настоящей коммунисткой, настоящим человеком.



---

ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ

★

## ИЗ КНИГИ «ДРЕВО ПОЗНАНИЯ»

*С украинского*

### МАРТ

Март, снегами еще убеленный,  
Что тревожишь ты душу мою,  
Окликая с утра поименно  
Птиц, зимующих в дальнем краю?

Зашпаклеваны окна и двери,  
Но за влажным узором стекла  
В черных лунках, в неприбранном сквере  
Липы чувствуют близость тепла.

С неоттаявшей горки пологой  
На салазках подростки летят,  
Но у сверстницы их длинноногой  
Не по-детски туманится взгляд.

Что-то вешнее в снежном пейзаже,  
Затевают скворцы кутерьму.  
Да и старый поэт взбудоражен,  
За столом не сидится ему.

Нитка дыма табачного вьется —  
Потянуло опять закурить.  
Нарастает волнение. Рвется  
Размысленный привычная нить.

А всего-то в проеме оконном —  
Крыши, трубы, которых не счесть,  
И до вечера голуби стонут  
Да звенит проржавелая жесь.

### МЕРТВАЯ КНИГА

Так это ты? Я в давние года  
Не расставался с книгой твоею,  
Плененный ею, хоть была тогда  
Бедней обложка и печаль бледнее.

Ведь я не книгу — молнию в руках  
Держал в те дни, постигнув полной мерой  
Характер твой, открывшийся в строках,  
Чуть различимых на бумаге серой.

Твой стих был отзвуком моих тревог,  
В него и я вложил, казалось, душу.  
И верил я — ты для меня, как бог,  
Впервые создал небо, море, сушу.

Но что случилось? Кто из нас угас?  
Я современник твой, а не потомок.  
Молчи моя душа, когда сейчас  
Я открываю твой нарядный томик.

Все тот же ритм. Но в сердце холодок.  
Не греет ритм твоих великолепье.  
Какой был стих! Столбцы знакомых строк.  
Но сеется меж пальцев серый пепел.

Неужто пламень тех страниц померк  
И суждено им стать листвою осенней?  
Ужель то был холодный фейерверк,  
Мгновенное холодное свеченье?

Еще я слышу отдаленный гром,  
Но молнии былые не сверкают...  
Поэты, право, не виновны в том,  
Что книги, как и люди, умирают.

Одни, как прежде, в действии, в бою,  
Другие немые под покровом пыльным.  
Над мертвой книгой горестно стою.  
Как на погосте, над холмом могильным.

### ИСТОЧНИК

Ты видел обмеленье родника?  
Причины сразу и не сыщешь вроде,  
Но проступает дошный слой песка,  
Вода прозрачна, но уже мелка,  
Мерцающий источник на исходе.

Что там стряслось в прохладной глубине?  
Какая мощь незримая таится  
В крошечной мгле, на том первичном дне,  
Где влага и земля наедине,  
Где с капли начинается криница?

Быть может, это сдвиг пластов немых  
Остановил подземное течение,  
Нагромоздил плотину, чтоб родник,  
Свой новый путь найдя, опять возник  
И новое отпраздновал рождение?

Все то, что в тайнике произошло,  
Я выстрадал, как собственную повесть,  
Чтоб сердце, став прозрачным, как стекло,  
Певучесть и упорство обрело,  
К житейским испытаниям готовясь.

О мой источник чистый, не мелей.  
Недаром влага выход вновь пробил.  
Храни надежду, утоляй людей,  
Не исчерпалась в глубине твоей  
Извечная живительная сила.

\* \* \*

Пылай, не остывай, всей силою огня  
Ломай и гни строку, испытывая слово,  
Чтоб выковалась мысль, в стихе твоём звеня,  
Как под кузнечным молотом подкова.

Пускай она тебя испепелит дотла  
Та вспышка праздничной и ненасытной страсти.  
Вздыхни и отойди устало от стола,  
Как от горячей наковальни мастер.

*Перевел Яков Хелемский.*



---

П. АНТОКОЛЬСКИЙ

☆

## ПОСЛЕ ПОЭМЫ

*Памяти Зои Бажановой.*

1

Я был от тебя зависим,  
От песен твоих и писем.  
Я был с тобой связан вечно,  
С безудержной и беспечной,  
Как стрелка магнита с нордом,  
Как стон гитары с аккордом.

А ты — кем была ты, Чудо,  
Пришедшее ниоткуда,  
Расцветшее на мгновенье,  
Сегодня самозабвенье,  
А завтра — самосожженье...  
Что гибельней, что блаженней?

А ты — кем была ты, Зоя,  
В дыханье стужи и зноя,  
В летящем сквозь ночь вагоне,  
Ты, музыка, ты, погоня,  
В снопах огня городского,  
На гальке пляжа морского...

В отцовском доме, на сцене,—  
Где лучше, где драгоценней,  
Где ближе ко мне и краше,  
Вся искренность, вся бесстрашье,  
В двадцатом жившая веке,  
Навек смежившая веки.

2

Прости за то, что я так стар,  
Так нищ и одичал и сгорблен  
И все же выдержал удар  
И не задохся в душной скорби;

Прости за то, что не могу  
В земле с тобой соединиться,  
Что вечно бодрствует в мозгу  
Седая зимняя ленница,



Что труд мой спорится опять,  
А жизнь владычица лихая,  
Не отступает ни на пядь,  
Огнем жестоким полыхая;

Прости за тщетное «прости»,  
Оставшееся без ответа  
На том пределе, в том пути,  
Где нет ни воздуха, ни света.

з

Знаешь ты, что такое  
Жизни твоей крушеньё?  
Нет мне больше покоя,  
Нет ни в чем разрешенья, —

Есть открытость сквозная  
С полночи вплоть до полдня.  
Знаешь ты это?

— ЗНАЮ.

Помнишь об этом?

— ПОМНЮ.

Нет конца. Нет начала.  
Мир мой без вести выбыл.  
Что же ты замолчала?  
— ЭТО НЕ Я, А ГИБЕЛЬ.



---

ФЕДОР АБРАМОВ

★

## ДЕРЕВЯННЫЕ КОНИ

Рассказ

1

О приезде старой Милендьевны, матери Максима, в доме поговаривали уже не первый день. И не только поговаривали, но и готовились к нему.

Сам Максим, например, довольно равнодушный к своему хозяйству, как большинство бездетных мужчин, в последний выходной не разгибал спины: перебрал каменку в бане, поправил изгородь вокруг дома, разделал на чурки с весны лежавшие под окошком еловые кряжи и, наконец, совсем уже в потемках накидал досок возле крыльца — чтобы по утрам не плавать матери в росной граве.

Еще больше усердствовала его жена — Евгения. Она все перемыла, перескочбила — в избах, в сенях, на вышке, разостлала нарядные пестрые половики, до блеска начистила старинный медный рукомоиник и таз.

В общем, никакого секрета в том, что в доме вот-вот появится новый человек, для меня не было. И все-таки приезд старухи был как снег на голову.

В то время, когда лодка с Милендьевной и ее младшим сыном Иваном, у которого она жила, подошла к деревенскому берегу, я ставил сетку на другой стороне.

Было уже темно, туман застилал тот берег, и я не столько глазом, сколько ухом угадывал, что там происходит.

Встреча была шумной.

Первой, конечно, прибежала к реке Жука — маленькая соседская собачонка с необыкновенно звонким голосом, она на рев каждого мотора выбегает; потом, как колокол, загремело и заухало знакомое мне железное кольцо — это уже Максим, трахнув воротами, выбежал из своего дома; потом я услышал тонкий плаксивый голос Евгении: «О-о! Кто к нам приехал-то!..»; потом еще, еще голоса — бабы Мары, старика Степана, Прохора. Похоже было, чуть ли не вся Пижма встречала Милендьевну, и кажется, только я один в эти минуты клял приезд старухи.

Мне давно уже, сколько лет, хотелось найти такой уголок, где бы все было под рукой: и охота, и рыбалка, и грибы, и ягоды. И чтобы непременно была заповедная тишина — без этих уличных радиодинамиков, которые в редкой деревне сейчас не гремят с раннего утра до поздней ночи, без этого железного грохота машин, который мне осточертел и в городе.

В Пижме я нашел все это с избытком.

Деревушечка в семь домов, на большой реке и кругом леса — глухие ельники с боровой дичью, веселые грибные сосняки. Ходи — не ленись.

Правда, с погодой мне не повезло: редкий день не перепали дожди. Но я не унывал. У меня нашлось еще одно занятие — хозяйский дом.

Ах, какой это был дом! Одних только жилых помещений в нем было четыре: изба-зимовка, изба-летница, вышка с резным балкончиком, горница боковая. А кроме них, были еще сени светлые с лестницей на крыльцо, да клеть, да повесть саженой семь в длину — на нее, бывало, заезжали на паре, да внизу, под повестью, двор с разными стайками и хлевами.

И вот когда не было дома хозяев (а днем они всегда на работе), для меня не было большей радости, чем бродить по этому удивительному дому. Да бродить босиком, не спеша. Вразвалку. Чтобы не только сердцем и разумом, подошвами ног почувствовать прошлые времена.

Теперь, с приездом старухи, на этих разгулах по дому надо поставить крест — это было мне ясно. И на моих музейных занятиях — так я называл собиранье старой крестьянской утвари и посуды, разбросанной по всему дому, — тоже придется поставить крест. Разве смогу я теперь втащить в избу какой-нибудь пропылившийся берестяной туес и так и этак разглядывать его под носом у старой хозяйки? Ну, а о всяких там других привычках и удовольствиях, вроде того, чтобы среди дня завалиться на кровать и засмолить папиросу, об этом и думать нечего. Забудь! Не смей! Старуха в доме.

## 2

Я долго сидел в лодке, приткнутой к берегу.

Уже гуман наглухо заткал реку, так что огонь, зажженный на той стороне, в доме хозяев, был похож на мутное желтое пятно, уже звезды высыпали на небе (да, все вдруг — и туман и звезды), а я все сидел и сидел и распаял себя.

Меня звали. Звал Максим, звала Евгения, а я закусил удила и — ни слова. У меня даже одно время появилась была мыслишка укатить на ночлег в Русиху — большую деревню километра за четыре — за три вниз по реке, да я побоялся заблудиться в тумане. Ибо не только я, приезжий человек, но и местный житель не отыскал бы сейчас тропинку в поскотине.

И вот я сидел, как сыч, в лодке и ждал. Ждал, когда на той стороне погаснет огонь. С тем, чтобы хоть ненадолго, до завтра, до утра, отложить встречу со старухой.

Не знаю, сколько продолжалось мое сидение в лодке. Может быть, два часа, может быть, три, а может, и все четыре. Во всяком случае, по моим расчетам, за это время можно было и поужинать, и выпить уже не один раз, а между тем на той стороне и не думали гасить огонь, и желтое пятно все так же маячило в тумане.

Мне хотелось есть — лавеча, придя из лесу, я так спешил на рыбалку, что даже не пообедал, меня колотила дрожь — от сырости, от ночного холода, и в конце концов не пропадать же — я взялся за весло.

Огонь на той стороне сослужил мне неоценимую службу. Ориентируясь на него, я довольно легко, не блуждая в тумане, переехал за реку, затем так же легко по тропинке, мимо старой бани, огородом поднялся к дому.

В доме, к моему немалому удивлению, было тихо, и если бы не яркий огонь в окошке, можно было бы подумать, что там уже все спят.

Я постоял-постоял под окошками, прислушиваясь, и решил, не заходя в избу, подняться к себе на вышку.

Но зайти в избу все-таки пришлось. Потому что, отворяя ворота на крыльце, я так брякнул железным кольцом, что весь дом задрожал от звона.

— Сыскался? — услышал я голос с печи. — Ну, слава богу. А я лежу и все думаю, хоть бы ладно-то все было.

— Да чего шеладно-го! — с раздражением сказала Евгения. Она, оказывается, тоже не спала, хоть и лежала на кровати. — Это вот для тебя светильню-то выставила, — кивнула Евгения на лампу, стоявшую на подоконнике, за спинкой кровати. — Чтобы, говорит, постоялец в тумане не заблудился. Ребенок постоялец-то! Сам-то уж не сообразит что к чему.

— Да нет, всяко бывает, — опять отозвалась с печи старуха. — Кой год у меня хозяин всю ночь проплавал по реке, едва к берегу прибил. Такой же вот туман был.

Евгения, охая и морщась, начала слезать с кровати, чтобы покормить меня, но до еды ли мне было в эти минуты! Кажется, никогда в жизни мне не было так стыдно за себя, за свою безрассудную вспыльчивость, и я, так и не посмеяв поднять глаза кверху, туда, где на печи лежала старуха, выскочил из избы.

## 3

Утром я просыпался рано, как только внизу начинали ходить хозяева.

Но сегодня, несмотря на то, что старый деревянный дом гудел и вздрагивал каждым своим бревном и каждой своей потолочиной, я заставил себя лежать до восьми часов: пусть хоть тут-то не будет моей вины перед старым человеком, который, естественно, хочет отдохнуть с дороги.

Но каково же было мое удивление, когда, спустившись с вышки, я увидел в избе только одну Евгению!

— А где же гости? — про Максима я не спрашивал: Максим после выходного на целую неделю уходил на свой смолокурный завод, где он работал мастером.

— А гости были да сплыли, — веселой скороговоркой ответила Евгения. — Иван домой уехал — разве не чул, как мотором гремел, а мама, та, известно, за губами<sup>1</sup> ушла.

— За губами? Милентьевна?

— А чего? — Евгения быстро взглянула на старинные, в травяных узорах часы, висевшие на передней стене рядом с вишневым посудным шкафчиком. — Еще пяти не было, как ушла. Как только начало светать.

— Одна?

— Ушла-то? Как не одна. Что ты! Который год я тут живу? Восьмой, наверно. И не было вот годочка, чтобы она в это время к нам не приехала. Всего наносит. И соленых, и обабков, и ягод. Краса Насте. — Тут Евгения быстро, по-бабьи оглянувшись, перешла на шепот: — Настя и живет-то с Иваном из-за нее. Ей-богу! Сама сказывала весной, когда Ивана в город возила от вина лечить. Горькими тут плакала. «Дня бы, говорит, не мучилась с ним, дьяволом, да мамы жалко». Да вот, такая у нас Милентьевна, — не без гордости сказала Евгения, берясь за кочергу. — Мы-то с Максимом оживаем, когда она приезжает.

<sup>1</sup> Местное название грибов для соления.

И это верно. Я никогда еще не видал Евгению такой легкой и подвижной, ибо по утрам она, шлепая по дому в старых разношенных валенках и в стеганой гелогрее, всегда стонала и охала, жаловалась на ломоту в ногах, в пояснице — у нее была тяжелая жизнь, как, впрочем, у всех деревенских девушек, юность которых пала на военную страду: только с багром в руках она тринадцать раз прошла свою реку от вершины до устья.

Сейчас я глаз не мог отвести от Евгении. Просто чудо какое-то произошло, будто ее живой водой вспрыснули. Железная кочерга не морочалась — плясала в ее руках. Печной жар трепетал на ее смуглом молодежавом лице, и черные круглые глаза, такие сухие и строгие, сейчас мягко улыбались.

На меня тоже напал какой-то непонятный задор. Я быстро всполоснул лицо, сунул ноги в галоши и выскочил на улицу.

Туман стоял страшный — я только теперь понял, что на окошках не занавески белели. Реку затопило с берегами. Даже верхушек прибрежных елей на той стороне не было видно.

Я представил себе, как где-то там, за рекой, в этом сыром и холодном тумане, бродит сейчас с коробкой старая Милендьевна, и побежал в сарай колоть дрова. На тот случай, если придется затоплять баню для иззябшей старухи.

## 4

Я раза три в то утро выбегал к реке, да столько же раз, наверно, выбегала Евгения, и все-таки мы не укараулили Милендьевну. Явилась она внезапно. В то время, когда мы с Евгенией завтракали.

Не знаю, то ли оттого, что ворота на крыльце не были заперты, то ли мы с Евгенией слишком заговорились, но только вдруг дверь подавалась назад, и я увидел ее — высокую, намокшую, с подоткнутым по-крестьянски подолом, с двумя большими берестяными коробками в руках, полнехонькими грибов.

Мы с Евгенией выскочили из-за стола, чтобы принять эти коробки. А сама Милендьевна, не очень твердо ступая, прошла к прилавку у печки и села.

Она устала, конечно. Это видно было и по ее худому тонкому лицу, до бледности промытому нынешними обильными туманами, и по ее заметно вздрагивающей голове. Но в то же время сколько благостного удовлетворения и тихого счастья было в ее голубых, слегка прикрытых глазах. Счастья старого человека, хорошо, всласть потрудившегося и снова и снова доказавшего и себе и людям, что он еще не зря на этом свете живет. И тут я вспомнил свою покойную мать-крестьянку, у которой, бывало, вот так же довольно светились и сияли глаза, когда она, до упаду поработавшись в поле или на покосе, поздно вечером возвращалась домой.

Евгения, ахая, причитая («Вот какая у нас бабка! Мы еще сидим — брюхо набиваем, а она уж наробилась»), развернула бурную деятельность. Как подобает примерной невестке. Она занесла легкий ушатики из сеней, вымытый, выпаренный, заранее приготовленный для засолки грибов, сбегала в клеть за солью, а потом, когда Милендьевна, немного передохнув, ушла переодеваться на другую половину, начала сворачивать на середке избы пестрые половики, то есть готовить место для засолки.

— Думаешь, она сейчас исть будет? — заговорила Евгения, как бы объясняя мне, почему она не хлопчет сперва о завтраке для свекрови. — Ни за что! Старорежимный человек. Покамест грибы не приберет, лучше и не зайкайся об еде.

Мы сели прямо на голый пол — кучно, нога к ноге. Вокруг нас мельтешили солнечные зайчики, грибной дух мешался с изысканным теплом, и так славно, так приятно было согреться на старую Милендьевну, передвинувшуюся в сухое ситцевое платье, на ее темные, жиливатые руки, которые она то и дело погружала то в коробку, то в ушатик, то в эмалированную кастрюлю с солью — старуха, конечно, солила сама.

Грибы были отборные, крепкие. Желтая молоденькая сыроежка со сладким пеньком, который на Севере едят как репу, белый сухой конек, рыжик, волнушка, и царь соленых — масляный груздь, который особенно хорошо оправдывает свое название в такой вот солнечный день, как нынешний, — так и кажется, что в его блюде комками плавится топленое масло.

Я неторопливо, с великой осторожностью брал из коробки гриб и каждый раз, прежде чем начать счищать с него соринки, поднимал его к свету.

— Что — не видал такого золота? — спросила меня Евгения. Спросила с подковыркой, явно намекая на мои довольно скромные приношения из леса. — Да вот, в том же лесу ходишь, а гриба хорошего для тебя нету. Не удивляйся. У ей с этим заречным ельником с первой брачной ночи дружба. Она из-за этих грибов едва живота не лишилась.

Я непонимающе посмотрел на Евгению: о чем, собственно, речь?

— Как? — страшно удивилась она. — Да разве ты не слышал? Не слышал, как муж в ей из ружья стрелял? Ну-ко, мама, сказывай, как дело-то было.

— А чего сказывать, — вздохнула Милендьевна. — Мало ли чего меж своих не бывает.

— Меж своих... Да ведь этот свой мало тебя не убил!

— А раз мало, то и не в счет.

Черные сухие глаза Евгении неустойчиво округлились.

— Я не знаю, ты, мама... Уж все вкось да поперек. Может, скажешь еще, что ничего и не было? Может, и головная трясушка у тебя не после этого?

Евгения заправила тыльной стороной руки выбившуюся прядку волос за маленькое ухо с красной сережкой-ягодкой и, видимо, решив, что от свекрови все равно никакого толка не будет, начала рассказывать сама.

— Шестнадцать лет нашу Милендьевну взамуж выпихнули. Может, еще и грудей-то не было. У меня не было в эти годы, ей-богу. А про то, как девка жить будет, про то разве раньше думали? Отец, родимой батюшко, на житье женихово позарился. Один царь в доме, красоваться будешь. А какая краса, когда дикарь на дикаре вся деревня?

— Да, может, хоть не вся, — возразила Милендьевна.

— Не защищай, не защищай! Кто хошь скажет. Дикари. Да и я помню. Бывало, к нам в праздник, в большую деревню, выберутся — орда ордой. Все скопом — женатые, не женатые. С бородами, без бороды. Идут, орут, каждого задирают, воздух портят — на всю деревню пальба. А дома, у себя, — никто не видит — и того чище. Уж каждый с какой-нибудь придурью да забавой. Один в сарафане бабьем бегает, другой — Мартышко-чижик был — все на лыжах за водой на реку ходил. Летом, в жару, да еще шубу наденет, кверху шерстью. А Исак Петрович, тот опять на архиерея помешался. Бывало, говорят, вечера дождетя, лучину в передних избах зажжет, набивник синий на себя натянет да ходит-ходит из избы в избу, псалмы распевает. Так, мама? Не вру?

— Люди не без греха, — уклончиво ответила Милендьевна.

— Не без греха! Каки-таки грехи у тебя в шестнадцать лет были, чтобы из ружья стрелять? Нет уж, такая порода. Весь век в лесу да в

стороне от людей — поневоле начнешь лесеть да сходить с ума. И вот в такой-то зверушник да девку в шестнадцать лет и кинули. Хошь выживай, хошь погибай — твое дело. Ну, мама у нас решила перво-наперво свекра да свекровь на свою сторону перетягивать... Им угоду делать. А чем можно было перетянуть стариков в бывалошное время? Работой. И вот новобрачные в первую ночь милуются да любят, а Василиса Милентьевна у нас встала ни свет ни заря да за реку по грибы. Осенью тебя, мама, в это время выдали?

— Кажись, осенью, — не очень охотно ответила Милентьевна.

— Да не кажись, а точно, — убежденно сказала Евгения. — Летом-то много ли в лесу губ, а ты ведь коробку-то наломала за час — за два. Когда тебе было расхаживать по лесу, когда тебя муж дома ждет? Ну вот, возвращается мама из лесу. Рада. Ни одного дыма над деревней нету, все еще спят, а она уж с грибами. Вот, думает, похвалят ее. Ну и похвалили. Только она переехала за реку да шаг какой ступила от лодки — бух выстрел в лицо. Грозный муж молодую жену встречает...

У старой Милентьевны, как веревки, натянулись жилы на худой морщинистой шее, сгорбленная спина выпрямилась — она хотела унять дрожь головы, которая заметно усилилась. Но Евгения ничего этого не видела. Она сама не меньше свекрови переживала события того далекого утра, известные ей по рассказам других, и кровь волнами то приливала, то отливала от ее смуглого лица.

— Бог, бог отвел смерть от мамы. Далеко ли от огорода до бани? А мама как раз к бане подошла, когда он ружье-то на нее навел, да, видно, рука-то после пьянки взыграла, а то бы наповал. Дробь и теперь в дверке у бани сидит. Не видал? — обратилась ко мне Евгения. — Посмотри, посмотри. Меня муженек сюда первый раз привел, куда, думаешь, перво-наперво повел? Терема свои показывать? Золотой казной хвастаться? Нет, к бане черной. «Это, говорит, мой отец мать учил...» Вот какой лешак! Все, все у них тут такие. По каждому кутузка плачет...

Я видел: старая Милентьевна давно уже тяготится этим разговором, ей неприятна наша бесцеремонность. А с другой стороны, как остановить себя? И я спросил:

— Да из-за чего же все-таки весь этот сыр-бор загорелся?

— Пальба-та эта? — Евгения любила все называть своими именами. — Да из-за Ваньки Лысого. Вишь, он, лешак, прости господи, пеладно бы так своего свекра называть, хватился утром-то... Где вы, мама, спали? На повети? Туда-сюда рукой — нету. На улицу вылетел. А тут и она, молодая жена. Из-за речья идет. Вот он и взбеленился. А, думает, так-перетак, к Ваньке Лысому бегала? На свиданье?

Милентьевна, к этому времени, должно быть, опять овладев собой, спросила не без издевки:

— А ты и про то знаешь, что твой свекор думал?

— Да почто не знать-то? Люди соврать не дадут. Иван Лысой, бывало, напешется: «Робята, я смолоду в двух деревнях прописан: телом дома, а душой в Пижме». До самой смерти говорил. Красивой мужик был. Ох, да чего рассусоливать. Женихов косяк у мамы был. За красоту и брали. Вишь ведь, она и теперь у нас хоть взамуж выдавай, — польстила свекрови Евгения и, кажется, впервые за все время, что рассказывала, улыбнулась.

Затем, как-то жеманно, с прищуром поведя своим черным безрадостным глазом, заговорила игриво:

— Ну, я тебя, мама, тоже не хвалю. Уж как ни молода была, а должна понимать, для чего взамуж берут. Всяко, думаю, не для того, что по грибы в первую ночь бегать, будто там каленое ядро разорвалось.

Ох, как тут сверкнули тихие голубые глаза у старой Милентьевны! Будто гроза прошла за окошками.

Евгения сразу смешалась, поникла, я тоже не знал, куда девать глаза.

Некоторое время все сидели молча, с особым старанием выбирая сор из грибов.

Милентьевна первой подала голос к примирению. Она сказала:

— Сегодня я уж вспоминала про свою жизнь. Хожу по лесу да умом-то все назад дорогу топчу. Седьмой десяток нынче пошел...

— Седьмой десяток, как вы вышли замуж на Пижму? — уточнил я.

— Да хоть не вышла, а выпихнули, — с легкой усмешкой сказала Милентьевна. — Верно она говорит: не было у меня молодости. И понешнему сказать, не любила я своего мужа...

— Ну вот, — не без злорадного торжества воскликнула Евгения, — призналась! А я рта не раскрой. Все не так, все неладно.

— Да ведь когда по живому-то месту пилят, и старое дерево скрипит, — еще примирительней сказала Милентьевна.

Грибы подходили к концу.

Евгения, поставив на колени пустую коробку, начала выбирать из грибного мусора ягоды. Она все еще дулась, хотя нет-нет, да и бросала время от времени любопытные взгляды на свекровь — та опять принялась за прошлое.

— Старые люди любят хвалить бывалощные времена, — говорила Милентьевна негромким, рассудительным голосом, — а я не хвалю. Нынче народ грамотной, за себя постоит, а мы смолоду не знали воли. Меня выдали взамуж — теперь без смеха и сказать нельзя — из-за шубы да из-за шали...

— Неужли? — в страшном волнении воскликнула Евгения. — А я и не слыхала.

От ее недавней сердитости не осталось и следа. Жадное бабье любопытство взяло верх над всеми другими чувствами, и она так и впиалась своим взглядом в свекровь.

— Так, — сказала Милентьевна. — Отец у нас, вишь, строился, хоромы возводил, каждая копейка была дорога, а тут я стала подрастать. Бесчестье, ежели дочь на игрище выйдет без новой шубы и шали, вот он и не устоял, когда с Пижмы сваты приехали: «Без шубы и шали возьмем...»

— А братья-то где были? — опять, не выдержав, перебила Евгения. — Хорошие у мамы были братья. Беда как ее жалели. Как свечу на руках несли. Уж она взамужем была, у самих ребят полные избы, а все сестре помогали...

— А братья, — сказала Милентьевна, — в лесу в ту пору были. Лес на двор рубили.

Евгения живо закивала:

— Ну, тогда ясно, ясно. А я все голову ломаю, как такие братья, первые люди по деревне, — из хорошего житья мама брана — сестру любимую не могли отстоять. А оно вон что — их дома не было, когда тебя сватали...

После этого, уточняя все новые и новые подробности, неизвестные ей, Евгения опять стала забирать разговор в свои руки. И вскоре кончилось все тем, что негромкий голос Милентьевны совсем замолк.

— Беда, беда, что могло быть! — размахивала рукамн Евгения. — Братья услышали: зять сестру застрелил — на конях прискакали. С ружьями. «Только одно словечушко, сестра! Сейчас дух выпустим». Крутые были. Силачи — медведя в дугу согнут, не то что там человека.



И вот тогда мама и сказала им: «И не стыдно вам, братья дорогие, шум понапрасну подымать, людей добрых баламутить. Хозеин молодой у нас ружье пробовал, на охоту собирается, а вы невеста что взяли...» Вот какая она у нас умница-разумница была! Это в шестнадцать-то лет! — Евгения с гордостью посмотрела на свою потупившуюся свекровь. — Нет, подними на меня Максим руку, я бы не вытерпела. Засудила бы и засадила куда следует. А она головой потряхивает да братьев своих отчитывает: «Куда суетесь? Есть ли у вас голова-то на плечах? Поздно мне теперь назад заворачивать, когда голова бабьим войничком покрыта. Надо тут мне приживаться да уживаться». Вот так, такой поворот всему делу дала. — Евгения вдруг всхлинула. Она ведь, в сущности, была добрый человек. — Ну дак уж свекор ей за это только что ноги не целовал. Что ты, что ты: ведь смертоубийство могло быть. Братья распалились — чего им стоило решку на Мирона навести.

Я-то маленькая была, худо помню Онику Ивановича, а люди старые и сейчас помнят. Откуда ни идет, с какой стороны ни едет, а подарок своей спонешке завсегда. А ежели загуляет да начнут уговаривать остаться ночевать: «Нет, нет, робята, не останусь. Домой попадать буду. Я по своей Василисе Прекрасной соскучился». Все, как выпьет, Василисой Прекрасной называл.

— Называл, — вздохнула Милентьевна, и мне показалось, что ее старые, выдавшие виды глаза повлажнели.

Евгения, по-видимому, тоже заметила это. Она сказала:

— Есть, есть за что помянуть добрым словом Онику Ивановича. Может, только он один и человек в деревне был. А тут все как есть урвай. — В Пижме все носят одну фамилию — Урваевы. — И Мирон Оникович, мой свекор-батюшко, тоже урвай. Да еще урвай-то какой? Другой бы на его месте после такой истории знаешь как повел себя? Тише воды, ниже травы. А этот такая поперечина — за все зыск.

Милентьевна подняла голову, она, видно, хотела вступиться за своего мужа, но Евгения, опять вошедшая в раж, и рта открыть ей не дала.

— Нечего, нечего закрашивать. Всяк знает какой. Кабы хорошей был, разве не выпускал бы тебя десять лет с Пижмы? Нигде не бывала мама — ни у родителей своих, ни на гулянье. Да и куделю-то, бывало, пряла одна, а не на вечерянке. Вот какая ревность лешья была. Да чего говорить? — Евгения махнула рукой. — За все спрос да зыск. Скажи-ко на милость, виновата ли жена, что все дети обличьем в ей, а не в отца, а у него и за это зыск: «Чей это голубель за столом рассыпан?» Все так допрашивал маму, когда напьется. А чего бы, кажись, допрашивать? Сам темный, небаскящий, как головешка копченая, лицо в шадринах, оспой болел, как, скажи, овцы ископытили... Да радоваться надо, бога вечно молить, что дети не в тебя...

Не знаю, то ли не поправилось Милентьевне, как невестка обращается с ее прошлым, то ли она, как крестьянка старого закала, не привыкла долго сидеть без дела, но она вдруг начала подниматься на ноги, и разговор у нас оборвался.

## 5

Дом Максима единственный в Пижме, который развернут фасадом вниз по течению реки, а все остальные стоят к реке озадками.

Евгения, не очень жаловавшая пижемцев, объясняла это просто:

— Урвай! Назло людям выставили свои поганые зады.

Но причина этого, конечно, была иная — та, что Пижма расположена на южном берегу реки, и как же было отвернуться от солнца, когда оно и так не часто бывает в этих лесных краях.

Я любил эту тихую деревушку, насквозь пропахшую молодым ячменем, по-старинному развешанным в пухлых снопах на жердяных пряслах. Мне нравились старинные колодцы с высоко вздернутыми журавлями, вместительные амбары на столбах с конусообразными подрубами — чтобы гнус не мог подняться с земли. Но особенно меня восхищали пижемские дома — большие бревенчатые дома с деревянными конями на крышах.

Впрочем, сам по себе дом с коньком на Севере не редкость. Но я ни разу не видел такой деревни, где бы каждый дом был увенчан коньком. А в Пижме — каждый. Идешь по подоконью травянистой тропинкой, в которую из-за малолюдья превратилась деревенская дорога, и семь деревянных коней парят над тобой в высоте.

— А раньше их поболее у нас было. В двух десятках деревянное стадо считали, — заметила Милендьевна, шагавшая рядом со мной.

Старуха которой раз за эти сутки удивила меня.

Я думал, после завтрака она, старый человек, первым делом подумает об отдыхе. А она встала из-за стола, перекрестилась, принесла из сеней берестяной пестерь и начала привязывать к нему лямки из старого холстяного полотенца.

— Куда, бабушка? Не опять в лес? — полюбопытствовал я.

— Нет, не в лес. К дочери старшей, в Русиху лажу сходить, — по-старинному выразилась Милендьевна.

— А пестерь зачем?

— А пестерь затем, что, все ладно, завтра из-за утра в лес уйду. Скотицы коров доить поедут и меня прихватят. Мне, вишь, нельзя время-то терять. Я намало в этот раз отпущена, на неделю.

Евгения, до сих пор не вмешивавшаяся в наш разговор, — она собиралась на работу, — тут не выдержала:

— Сказывай — намало отпущена. Завсегда так. Уж не отдохнет, не посидит без дела. Нет, моя бы воля — весь день лежала. А чего? Неуж человек только затем и рождается, чтобы с утра до вечера чертоломить?

Я вызвался проводить Милендьевну до перевоза: а вдруг перевозчик опять в загуле и старухе потребуется помощь.

Но у Милендьевны нашлись помощники и кроме меня. Ибо не успели мы поравняться с конюшной, старым полуразвалившимся гумном на краю деревушки в поле, как оттуда с разбойным свистом и гиканьем вылетел Прохор Урваев. На гремучей намазаной телеге, в которую был запряжен Громобой, единственный живой конь в Пижме.

Когда-то этот Громобой, надо полагать, был рысак что надо, а сейчас от старости он походил на ходячий скелет, обтянутый сопревшей отчищенной кожей, и если кто еще и мог заставить этот скелет погреметь костями, так это Прохор — один из двух мужиков, оставшихся в Пижме (не считая, конечно, деда Степана).

Прохор, по обыкновению, был под мухой — от него так и разило дешевым одеколоном.

— Тета, тета! — закричал он, подъезжая. — Я твое добро помню. Я с утра дежурю с Громобоем, потому как знаю — тебе на перевоз. Так, тета? Не ошибся Прохор?

Милендьевна не стала отказываться от услуг племянника, и скоро телега с ней и Прохором покатила по дугу, туда, к желтевшей вдали песчаной косе, где был перевоз.

Я вернулся домой.

Евгении дома уже не было — она ушла на поле помогать бабам убирать горох, и мне бы тоже в самый раз заняться своими делами —

у меня и сетка за рекой не смотрена, да и в лес надо — когда еще выдаться такой ладный денек.

А я вошел в пустую избу, постоял неприкаянно под порогом и пошел на поветь.

С поветью меня познакомил Максим в первую очередь (я сперва хотел спать на сеновале), и помню, я просто ахнул, когда увидел то, что там было.

Целый крестьянский музей!

Рогатое мотовило, кросна — домашний ткацкий станок, веретенница, расписные прялки-мезехи (с Мезени), трепала, всевозможные коробья и корзины, плетенные из драни; из бересты и корня, берестяные хлебницы, туса, деревянные некрашенные чашки, с какими раньше ездили в лес и на дальние сенокосы, светильник для лучины, солонки-уточка и еще много-много всякой другой посуды, утвари и орудий труда, сваленных в одну кучу, как ненужный хлам.

— Надо бы выбросить все это имущество, — сказал Максим, словно бы оправдываясь передо мной, — ни к чему теперь. Да как-то рука не поднимается: мои родители кормились от этого...

С тех пор я редкий день не заходил на поветь. И не потому, что все это было для меня внове — я сам вышел из этого деревянного и берестяного царства. Внове для меня была красота точеного дерева и бересты. Вот чего не замечал я раньше.

Всю жизнь моя мать не выпускала из своих рук березового трепала, того самого трепала, которым обрабатывают лен, но разве я замечал когда-либо, что оно само льняного цвета — такое же нежное, лениво-матовое, с серебристым отливом? А хлебница берестяная? Мне ли бы не запомнить ее золотистого сияния? Ведь она, бывало, каждый раз, как долгожданное солнце, опускалась на наш стол. А я только и запомнил, что да когда в ней было.

И так все, что бы я ни взял, на что бы ни взглянул — и старый, заржавелый серп с отполированным до блеска цевьем, и мягкая, будто медвяная чашка, выточенная из крепкого березового свала, — все раскрывало мне особый мир красоты. Красоты по-русски неброской, даже застенчивой, сделанной топором и ножом.

Но сегодня, после того как я познакомился со старой хозяйкой этого дома, я сделал для себя еще одно открытие.

Сегодня я вдруг понял, что не только топор да нож мастера этой красоты. Главную-то обточку и шлифовку все эти трепала, серпы, пестери, соха (да, была тут и Андреевна, допотопной раскорякой стоявшая в темном углу) прошли в поле и на поже. Крестьянские мозоли обкатывали и полировали их.

## 6

На следующий день с утра зарядил дождь, и я опять остался дома. Как и вчера, мы с Евгенией долго не сажались за стол: вот-вот, ду-малось, придет Милентьевна.

— Не должна бы она сегодня далеко-то убраться, — говорила Евгения. — Не маленький ребенок.

Но шло время, дождь не переставал, а на том берегу — я не отходил от окошка — все никого не было. В конце концов я накинул плащ и пошел затоплять баню: хорошо из нынешней лесной купели да прямо на горячий полук.

Бани в Пижме, черные, с каменками, стоят рядком неподалеку от реки, под огородами, которые как бы греются на взгорке.

Весной бани затопляет, и с верхней стороны против каждой из них врыты бревенчатые быки — для сдерживания и дробления напирающих льдин, а кроме того, от этих быков к баням протянуты еще могучие тяди, свитые из березовых виц, так что бани стоят как бы на приколе.

Я спросил как-то у Максима: к чему все эти премудрости? Не проще ли было бы поставить бани на взгорке, где расположены огороды?

Максим по-урваевски, как бы сказала Евгения, рассмеялся:

— А затем, чтобы веселее жить. Весной, знаешь, бывало, какую пальбу по этим льдинам откроем! Ой-ей-ей! Из всех ружьев.

На следы дрови в старой продымленной дверке я обратил внимание еще в первые дни своего пребывания в Пижме — она сплошь изрешечена, — а сейчас, затопив баню и вспомнив вчерашний рассказ Евгении, я попытался даже определить, какие тут дровины от того заряда, который выпустил когда-то по молодой Милентьевне ее муж. Но из этого, конечно, ничего не вышло. Да, откровенно говоря, мне было и не до того. Потому что из головы у меня не выходила Милентьевна: очень уж погано было сейчас в лесу.

Евгения тоже беспокоилась о свекрови. Она не могла усидеть дома и пришла ко мне.

— Не знаю, не знаю, что и подумать, — сокрушенно качала она головой. — Это уж она на Богатку уперлась — не иначе. Вот какая упрямая, вот старушонка! Хоть говори, хоть нет. В ее ли годы под таким дождем лешачить в лесу? — Прикрыв лицо смуглыми руками, сложенными козырьком, Евгения поглядела за реку и еще более определенно сказала: — Учёсала, учёсала — больше некуда деваться. В прошлом году вот так же: ждем-ждем ее, все глаза проглядели, а она на свою Богатку укатила.

Я слышал про Богатку — это поскотина в трех-четырёх верстах от Пижмы вверх по реке, но мне ничего не было известно насчет того, что там много грибов и ягод, и я обратился за разъяснением к Евгении.

Она по привычке, когда дело казалось ей яснее ясного, округлила глаза:

— С чего! Какие грибы на Богатке? Может, теперь-то и есть — все лесом заросло, а раньше там сплошь пожни были. Один только Оника Иванович, мамин свекор, до ста возов сена ставил. Вот она кажинный год туда и ходит — с ней эта Богатка началась. Она всему делу закоперщица. А до того, как мамы на Пижме не было, и слова такого никто не слышал. Поскотина да поскотина — и все тут.

Евгения кивнула на деревню:

— Лошадей-то деревянных видал на крышах? Сколько их? Во всей Русихе столько нету. А скажи-ко, часто ли ране ворота на взвозе красили? Это уж только богач какой, туз деревенский. А тут ведь, на Пижме, сплошь. Бывало, идешь мимо тем берегом — страшно, когда солнышко на закате. Вот так и кажется, вся Пижма в пожаре. Дак вот, все это у них с Богатки, там клады им открыла Милентьевна.

Я все-таки ничего не понимал: о каких кладах говорит Евгения? Что в ее словах правда, а что вымысел?

Густой дым, поваливший из сенцев, заставил нас податься в сторону маленького оконца. Там мы сели на скамейку под жердочку с сухими березовыми вениками нынешней вязки.

Евгения, кашляя от дыма, выругала для собственного облегчения мужа — хорошо переклал каменку! — потом заодно уж прошла по другим жителям деревни:

— Все тут урван! Я вчерась для ради мамы похвалила Онику Ивановича, а по правде сказать, дак и он урвай. Как не урвай! До старости свою старуху заставлял самое хорошее на ночь надевать. У людей как бы в люди или на праздник получше выйти, а у него чтобы на ночь в шелках. Вот какой поров у человека. А о том ли бы мужику серому думать, когда в доме, куда ни повернись, везде дыра да прореха... Мама, мама их всех в люди вывела,— убежденно сказала Евгения.— При ней урван пошли в рост...

— А как?

— Как в люди-то вывела? А через Богатку. Через росчистки. Север испокон веку стоит на росчистках. Кто сколько пожен росчистил да полей раскопал, у того столько и хлеба и скота. А Милентий Егорович, отец-то мамин, первый по росчисткам в Русихе был. Четыре сына взрослых — знаешь, какая силушка!

А на Пижме у этих урваев все шиворот-навыворот. Первое дело у них охота да рыба. А к земле и прилежания не было. Сколько деды накопали, росчистили, тем и жили. Своего-то хлеба до нового года не всегда хватало. Правда, когда на зверя в лесу урожай — у них песни. А когда на бору голо — и они как сычи голодные. И вот сама сколько-то так пожила, помаялась, потом видит — так нельзя. За землю надо браться. Ну, а у ей дорожка к сердцу свекра уж протоптана. Еще с той, новобрачной ночи. Она и давай капать: «Татя, за ум надо браться, татя, давай землей жить...» Ладно. Согласился, нет свекор с невесткой, а главное, что не препятствовал. Мама братьев своих кликнула: так и так, братья дорогие, выручайте свою сестру. А те известно: для своей Васи черта своротить готовы. Участок какой надо выбрали, лес долой — которо выкорчевали, которо пожгли, да той же осенью посеяли рожь. Вот тут урван и заглядывали. Беда, какая рожь вымахала — мало не вровень с елями. Знаешь, по поджогу как родится. Кончилась охота, прощай, рыбка. За топор взялись.

Ну и робили! Я-то не помню, мала еще была, а мама у нас все рассказывала, как их на этой самой Богатке за работой видела. Иду, говорит, лесом, корову искала, и вдруг, говорит, огонь, да такой, говорит, большой — прямо до поднебесья. А вокруг этого огня голые мужики. Я, говорит мама, по первости обмерла, шагу не могу ступить: думаю, уж не лешаки ли это вокруг огня скачут, больше некому. А то урван. Росчистку делают. А чтобы не жарко было, рубахи-то с себя сняли, да и жалко лопотину-то — не теперешнее время. А ребятишек-то мучили! У меня Максим иной раз почнет вспоминать — я не верю. Мыслимо ли дело ребенка, как собачонку, на веревочку вязать? А у них вязали. В чашку молока плеснут, на пол поставят, да ползай весь день на веревочке, покуда мама да папа на работе. Боялись, знаешь, чтобы ребята пожару дома не наделали. Так, так дичали урван,— еще раз подтвердила Евгения правдивости своих слов.— А чего? Они век не рабаты-вали, пгичек постреливали — сам знаешь, сколько у них силы накопи-лось. Ох, мама, мама... Хотела как лучше, а принесла беду.

Я ничего не сказал при этих словах. Евгении мое молчание не понравилось. Она приняла его за равнодушие и голосом, полным обиды, сказала:

— Старое время ноне не в почете. Все забыли — и как колхозы делали, и как в войну голодали. Молодежь я не виню, молодежь, та известно: жить хочется, некогда оглядываться назад, да нынче и старухи-то какие-то не те стали. Посмотри, когда они в Русихе за пензней идут, одна другой толще и здоровей. От детей ихних, которые в войну голову сложили, уж и косточек не осталось, а у них на уме как подольше

пожить, да чтобы войны не было. А уж насчет того, что ихние поля да луга лесом зарастают, и не охнут. Сыты. Пензия капает каждый день. Я тут как-то бабу Мару спрашиваю: не больно, говорю, глазам-то? Не колет? Ране, говорю, на поля из окошка смотрела, а теперь на кусты. Хохочет: «То и хорошо, девка, дрова ближе будут». Подумай-ка, что на уме у старого человека? Урвайха, чистая урвайха! У меня Максим такой же: все смешки да хаханьки — хоть потоп кругом.

Евгения помолчала, затем тяжело вздохнула:

— Нет, я какой-то выродок по нынешним временам. У меня все заботы да печаль. Мне все на нервы. А уж из-за своей-то свекровушки я поднадрывала сердце. Что ты! Робила-робила — да ты виновата. Вот какое время у нас было. «Да я-то, говорит мама, ничего, я-то бы стерпела. Да каково, говорит. людей под монастырь подвести».

— Каких людей? Разве кого обидели?

Евгения быстро обернулась ко мне. В ее черных немигающих глазах опять потемнел накал, но она сцепила зубы и надолго замолчала...

## 7

Милентьевна вернулась из леса в четвертом часу пополудни ни жива ни мертва. Но с грибами. С тяжелой, поскрипывающей на ходу берестяной коробкой.

Собственно, по скрипу этой коробки я и узнал ее приближение к шалашу, на той стороне, под елями, — я все-таки не выдержал и переехал за реку.

Евгения, еще больше моего измученная ожиданием, начала отчитывать свекровь, как неразумного ребенка, едва мы переступили за порог избы.

Ее поддержала баба Мара.

Баба Мара, здоровущая красолицая старуха с серыми нахальными глазами, и Прохор — оба на взводе — уже не первый раз сегодня наведывались к нам. И каждый раз твердили одно и то же: где гостья, почто прячете от людей?

На Милентьевне не было сухой нитки, она посинела и сморщилась от холода, как старый гриб, и Евгения первым делом стала снимать с нее мокрый платок и мокрую пальтуху, потом достала с печи свои нагретые валенки, натянула на них красные покрывки.

— Ну-ко, сапоги-то сырые стянем скорее да в баню пойдем.

— А вот в баню-то тебе, тета, как раз и нельзя, — веско сказал Прохор. Он сидел у малой печки и покуривал в душинчик.

— Сиди! — прикрикнула на него Евгения. — Они шары нальют, не знай чего начнут молоть.

— Атчего не знай-то? По медицине.

— По медицине! Это в баню-то нельзя по медицине?

— Ну! У ей, может, воспаление легких. Тогда как?

Евгения заколебалась. Она посмотрела в растерянности на Милентьевну — та, тяжко дыша, с закрытыми глазами сидела на печном прилавке, посмотрела на меня — я еще меньше ее понимал в медицине — и в конце концов решила не рисковать. Милентьевну вместо бани водворили на печь.

Баба Мара, которая все время, пока шел обмен мнениями насчет бани между Евгенией и Прохором, с усмешкой качала своей крупной головой в красном сатиновом повойнике, тут сказала:

— Ну, рассказывай, где была, чего видела.

— А чего надо, то и видела, — тихо ответила с печи Милентьевна.

— А ты нам скажи чего,— ухмыльнулась баба Мара.— Поди, опять на Богатке была да клады искала?

— Ладно, давай,— миролюбиво заметила Евгения,— чего ни искала, не наше дело. Вишь ведь едва прибрела, едва дышит.

Баба Мара басовито захохотала, и я с удивлением увидел, что у нее целехоньки все зубы, да такие крепкие, крупные.

— Проха, ты сказывал, пожни колхозникам давать стали, те, которые кустом затянуло, а про росчистки наши ничего не сказывали?

Начался длинный и пустой разговор о росчистках, о целине.

Прохор потребовал от меня, как человека, по его словам, живущего под самым боком у главного начальства нашей жизни, ясного ответа: почему в южных краях заново распахивают целину, а у нас, наоборот,— ольха и осина?

Я что-то не очень определенно стал говорить о невыгодности земледелия в глухих лесных районах, и Прохор, разумеется, сразу же припер меня к стенке.

— Так, так,— воскликнул он не совсем своим голосом, не иначе как подражая какому-то местному оратору,— теперича невыгодно?! А в войну, дорогой товарищ? Выгодно было, я вас спрашиваю, в период Великой Отечественной? Одне бабы, понимаешь, с ребятишками все до последней пяди засевали...

К Прохору немедленно присоединилась баба Мара: ей почему-то всегда доставляло удовольствие задирать меня.

Наконец я догадался, каким доводом сразить своих оппонентов — бутылкой «столичной». Правда, домовитой и экономной Евгении не очень по душе пришлось такой способ выпроваживания непрошенных гостей, но когда они, опустошив бутылку, с песней и в обнимку вышли на улицу, и она вздохнула с облегчением.

Свое отношение к гулякам Евгения окончательно выразила, когда стала убирать со стола: она терпеть не могла всякий беспорядок и разор.

— Нет, видно, не только поля лесеют, лесеет и человек. Господи, слыхано ли ране, чтобы пьяные урвай в дом к Милентьевне врывались? Да скорее река пойдет вспять. Бывало, мама-то идет, ребятишки возле взрослых шалят: «Тише вы, бесенята! Василиса Милентьевна идет». А когда пройдет мимо: «Ну, теперь дичайте. Хоть на голове ходите». Так вот ране маму-то почитали... Исть-то как будешь? — спросила Евгения у свекрови, которая все это время тихонько постанывала на печи.— Спустишься? Але на печь подать?

— Не надо,— чуть слышно ответила Милентьевна.— Потом поем.

— Когда потом-то? С утра ничего не ела. Ну-ко, поешь. Хорошая у нас сегодня ушка, с перчиком.

— Нет, сыта я. У меня хлебцы с собой были.

Евгении так и не удалось уговорить свекровь поесть, и она снова засокрушалась:

— Вот беда-то. Что мне с тобой и делать-то? Ты, может, заболела, мама? Может, за фершалицей сходить?

— Нет, все ладно, отойду. Вот отогреюсь и встану. А вы — хорошо бы — губы прибрали.

Евгения только покачала головой:

-- Ну, мама, мама. И что ты за человек? Да разве тебе сейчас про губы думать? Лежи ты, бога ради. Выбрось ты из своей головы эту лесовину...

Однако вслед за этим Евгения подняла с полу берестяную коробку с грибами (пестерь был пустой), и мы пошли на другую половину. Чтобы дать покой старому человеку.

## 8

Грибы на этот раз были незавидные: красная сыроежка, волнуха, серый конек, а главное, они не имели никакого вида. Какая-то мокрая мешанина пополам с мусором.

Проницательная Евгения из этого сделала совсем невеселый вывод.

— Вот беда-то,— сказала она. — Ведь Милендьевна-то у нас заболела. Я сроду у ей таких губ не видала. — Она вздохнула многозначительно. — Да, да. Вот и мама стала сдавать, а я раньше думала: она железная. Ничего не берет. Ох, да при ейной-то жизни не то дивья, что она спотыкаться стала, а то, как она доселе жива. Муж — чего-то с головой сделалось — три раза стрелялся: каково пережить? Мужа схоронила — хлоп война. Два сына убито намертво, третий, мой мужик, без вести пропал, а потом и Санюшка петлю на мать накинула... Вот ведь сколько у ей переживаний-то под старость. На десятерых разложить много. А тут все на одни плечи.

— Санюшка — дочь?

— Дочь. Разве не слышал? — Евгения отложила в сторону хлебный нож, которым чистила грибы. — У мамы всего до двенадцати обручей слетало, а в живых-то осталось шестеро. Марфа, старшая дочь, та, которая в Русиху выдана была, под ней шли Василий с Егором — оба на войне сгинули, потом мой мужик, потом Саня, а потом уж этот пьянчуга Иван. Ну вот, сыновей Милендьевна на войну спроводила, а через год и до Сани очередь дошла. На запань, лес катать выписали. Ох, и красавица же была! Я кабыть и в жизни такой не видала. Высокая, белая-белая, коса во всю спину, до колена будет — вся, говорят, в мать, а может, еще и покрасивше была. И тихая. Воды не замутит. Не то что мы, сквалыжины. И вот через эту-то тихость она и порешилась. Налетела на какого-то начальничка — обрухатил. Я не дивлюсь, нисколёшеньки не дивлюсь, что так все вышло. Это кто всю жизнь под боком у родителей прожил да нигде не бывал, пушай ахает, а я с тринадцати лет в лес пошла — всего насмотрелась. Бывало, из лесу-то вечером в барак придешь — еле ноги держат. А они, дьяволы, не уробились, карандашиком весь день ворочали, так и зыркают, так и зыркают на тебя. Ни разуться, ни переодеться... И вот, может, и Сане маминой такой дьявол на дороге встал. Чего с ним сделаешь? Кабы у ей зубы были, она бы шуганула его куда следно быть, а то ведь ей и не сказать. Я помню, в праздник к нам перед войной, в Русиху, пришла — залилась краской: бабы глаз не спускают — как, скажи, ангелочек какой стоит, и парни ошалели — навалом лезут. А тут, может, еще мать, когда в дорогу собирала, острастку дала: чего хошь теряй на чужой стороне, доченька, только честь девичью домой приноси. Так, бывало, в хороших-то семьях наказывали. Не знаю, не знаю, как все вышло. Маму про это лучше не спрашивай — хуже врага всякого будешь.

Евгения прислушалась, заговорила шепотом:

— Хотела скрыть от людей-то. Никого, говорят, близко к мертвой дочери не подпустила. Сама из петли вынула, сама обмыла и сама в гроб положила. А разве скроешь брюхо от людей? Те же девки, которые с ней на запани были, и сказывали. Санька, говорят, на глазах пухнуть стала, да и Ефимко-перевозчик заметил. «Ты, говорит, Санька, вро-



де как не такая». А с чего же Санька будет такая, когда на страшный суд идет. Ну-ко, глянь, дочи, в глаза родной матери, расскажи, как честь на чужой стороне блюла. И вот она, горяша горькая,— Евгения запричитала навзрыд,— подошла к родному дому, а дальше крыльца и ступить не посмела. Села на порожек, да так всю ночь и просидела. Ну, а светать-то стало, она и побежала за гумно. Не могла белому дню в глаза посмотреть, не то что матери.

Евгения, опять прислушиваясь, настороженно приподняла черные дуги бровей.

— Спит, верно. Может, еще и отлежится. Я спрашивала у мамы,— заговорила она на всякий случай опять шепотом,— неужели, говорю, уж сердце материнское ничего не подсказало? «Подсказало, говорит. Я в ту ночь, говорит, три раза в сени выходила да спрашивала, кто на крыльце. А светать-то стало, меня, говорит, так и ткнуло в сердце. Как ножом». Это она мне рассказывала, не скрывала. И про то говорила, как сапоги на крыльце увидела. Подумай-ко, какая девка была. Сама помираю, жизнь молодую гублю, а про мать помню. Сам знаешь, как с обушкой в войну было. Мы, бывалоче, на сплаве босиком бродили, а по реке-то уж лед несет. А вот Санюшка с жизнью прощается, а про мать не забывает, о матери последняя забота. Босиком на казнь идет. Так мама по ейным следочкам и прибежала на гумно. Не рано уж было, на другой день покрова — каждый пальчик на снегу видно. Прибежала — а что, чем поможешь? Она уж, Санюшка-та, холодная, на пояску домотканом висит, а в сторонке ватничек честь по чести сложен и платок теплый на нем: носи, родная, на здоровье, вспоминай меня, горемычную...

Дождь на улице не прекращался. Старинные зарадужелые стекла в рамках всхлипывали, как живые, и мне все казалось, что там, за окошками, кто-то тихонько плачет и скребется. Евгения, словно читая мои мысли, сказала:

— Я страсть боюсь жить в этом доме. Мне уж не ночевать одной. Я не мама. Зимой как завоет-завоет во всех печах да трубах да кольцо на крыльце забрякает — хоть с ума сходи. Я попервости все Максима уговаривала: давай жить дома. Чего мы не видали на чужой стороне? А теперь, пожалуй, и я нажилась. Зимой от нас и дороги к людям нету. На лыжах в Русиху ходим...

## 9

Милентьевна два дня лежала ложкой, и мы с Евгенией стали всерьез подумывать о вызове фельдшерницы. А кроме того, мы решили, что о ее болезни нужно известить ее детей.

Однако, к нашему счастью, ничего этого не потребовалось. На третий день Милентьевна сама слезла с печи. И не только слезла, но и без нашей помощи добралась до стола.

— Ну как, бабушка? Поправилась?

— А не знаю. Может, совсем-то и не поправилась, да мне сегодня домой попадать надо.

— Домой? Сегодня?

— Сегодня, — спокойно ответила Милентьевна. — Сын Иван должен сегодня за мной приехать.

Евгения этим сообщением была огорошена не меньше, чем я.

— Да зачем Иван-то поедет по такому дождю? Посмотри-ко, на улице-то что делается? У тебя, мама, мозга на мозгу наехала, что ли? Ты ведь и грибов еще не паносила.

— Грибы подождут, а завтра школьный день — Катерина в школу пойдет.

— И это ты ради Катерины собираешься ехать?

— Надо. Я слово дала.

— Кому-кому слово дала? — Евгения аж поперхнулась от изумления. — Ну, мама, ты и скажешь. Она Катерине слово дала! Да вся-то Катерина твоя еще с рукавицу. Сопля раскосая. Была тут весной. В угол заберегся — не докличешься.

— А какая ни есть, да надо ехать, раз слово дадено. — Милентьевна повернулась в мою сторону: — Нервенная у меня внучка, и с глазками девке не повезло: косит. А тут еще соседка девку вздумала пугать: «Куда, говорит, бабушку-то из дому отпускаешь? Не видишь разве, какая она старая? Еще умрет по дороге». Дак уж она, моя бедная, заплакалась. Всю ночь не выпускала из своих рук бабушкину шею...

Весь день Милентьевна высидела у окошка, с минуты на минуту поджидая сына. В сапогах, в теплом шерстяном платке, с узелком под рукой — чтобы никакой задержки не было из-за нее. Но Иван не приехал.

И вот под вечер, когда старинные часы пробили пять, Милентьевна вдруг объявила нам, что, раз сын не приехал, она поедет сама.

Мы с Евгенией в ужасе переглянулись: на улице дождь — стекла в рамах вспухли от водяных пузырей, сама она насквозь больная, попутные машины по большаку за рекой ходят от случая к случаю... Да это ведь самоубийство, верная смерть — вот что такое ее затея.

Евгения отговаривала свекровь, как могла. Страшала, плакала, молила. Я тоже, конечно, не молчал.

Ничто не помогло. Милентьевна была непреклонна. Она не кричала, не спорила с нами, а молча, потряхивая головой, накинула на себя пальтуху, увязала еще раз узелок со своими пожитками, прощальным взглядом обвела родную избу... И тут, в эти минуты, я впервые, кажется, понял, чем покорила молодая Милентьевна пижемский зверюшник. Нет, не только своей кротостью и великим терпением, но и своей твердостью, своим кремневым характером.

Я один провожал старуху за реку. Евгения до того разнервничалась, что не могла даже спуститься на крыльцо.

Дождь не переставал. Река за эти дни заметно прибыла, и нас снесло метров на двести ниже бревна, к которому мы обычно примыкали лодку.

Но самое-то трудное нас ждало в лесу. Когда мы вышли на лесную тропку. По ней, по этой тропке, и в сухое-то время хлюпает да чавкает под ногой, а представляете, что делалось тут сейчас, после трех дней сплошных дождей?

И вот я брел впереди, месил ходуном ходившую болотину, хватался за мокрые кусты и каждую секунду ждал: вот сейчас это произойдет, вот сейчас упадет старуха...

Но, слава богу, все обошлось благополучно. Милентьевна, опираясь на своего верного помощника — легкий осиновый батожок, вышла на дорогу. И мало того, что вышла. Села на машину.

С этой машиной нам, конечно, повезло неслыханно. Просто чудо какое-то случилось. Только мы стали подходить к дороге, как там вдруг заурчал мотор. Я остервенело, с яростным криком, как в атаку, бросился вперед. Машина остановилась. К сожалению, места в кабине рядом с шофером не было: там сидела его бледная жена с поворожденным

на руках. Но Милентьевна ни одной секунды не раздумывала, ехать или не ехать в открытом кузове.

Кузов был огромный, с высокими коваными бортами, и она нырнула в него, как в колодез. Но под темными сводами ельника, плотно обступившего дорогу, я долго еще видел качающееся белое пятно.

Это Милентьевна, мотаясь вместе с грузовиком на ухабах и рытвинах, прощально махала мне своим платком.

## 10

После отъезда Милентьевны я не прожил в Пижме и трех дней, потому что все мне вдруг опостылело, все представилось какой-то игрой, а не настоящей жизнью: и мои охотничьи шатания по лесу, и рыбалка, и даже мои волхования над крестьянской старинной.

Меня неудержимо потянуло в большой и шумный мир, мне захотелось работать, делать людям добро. Делать так, как делает его и будет делать до своего последнего часа Василиса Милентьевна, эта безвестная, но великая в своих деяниях старая крестьянка из северной лесной глухомани.

Я уходил из Пижмы в теплый, солнечный день. От подсыхающих бревенчатых построек шел пар. И пар шел от старого Громобоя, одревенело застывшего возле телеги у конюшни.

Я позвал его, когда проходил мимо.

Громобой вытянул старую шею в мою сторону, но голоса не подал.

И так же безмолвно, понуро свесив голову с тесовых крыш, проводжали меня деревянные кони. Целый косяк деревянных коней, вскормленных Василисой Милентьевной.

И мне до слез, до сердечной боли захотелось вдруг услышать их ржанье. Хоть раз, хоть во сне, если не наяву. То молодое, залившее ржанье, каким они оглашали эти лесные окрестности в былые дни.

---

## ИЗ РАССКАЗОВ ОЛЕНА ДАНИЛОВНЫ

В дачку Туркиных я влюбился сразу.

Домик, правда, неказистый. щитовой, под цвет густой зелени, так что издали не скоро и разглядишь, зато все остальное — благодать.

Я в жизни не видел столько пернатой мелочи.

Воробьи, синички, зяблики, малиновки, скворцы — этих не пересчитать. Эти носились стаями. Да там жил и такой закоренелый индивидуалист, как дятел. Утром откросшь окошко, рано — еще туман не осел на землю, а он уж за работой — трясет сухую ольшанину за дровяным сараем, только розовая труха летит. А дрозды-рябинники, любители сырого густолесья? Разве они вьют гнезда чуть ли не на песке — на пружинистой лозе нахучего жасмина? А у Туркиных вили.

Поначалу я думал: причиной тому лес, который на задах подступает к самому забору, но Вовка, ласковый шестилетний мальчуган с крутым завитком льняных волос спереди, забраковал мое объяснение.

— Не, — замотал он головой. — У нас бабушка колдунья. Она их приманивает.

— Ай-яй-яй, Владимир! — Олена Даниловна как раз в это время спускалась с крылечка. — И не стыдно тебе напраслину на бабушку возводить? Наслушался всяких глупостей от соседей, вот и повторяешь, а разве не знаешь, чем твоя бабушка божью тварь к себе привлекает?

Олена Даниловна, высокая тучная старуха с черными веселыми глазами, в чистейшем белом платке, повязанном по-деревенски, концами наперед, повела меня по усадьбе.

Батюшки! Черепки с подсолнечником, с гречей, с пшеном, с льняным и конопляным семенем, баночки с водой, тарелочки... Повсюду, чуть ли не под каждым кустом.

— Вот ведь каким колдовством твоя бабушка птичек приманивает, — мягко выговаривала Олена Даниловна своему внуку, — тем, которым в магазинах торгуют...

Потом, сидя на скамейке напротив дома, Олена Даниловна стала рассказывать, как она еще смолоду, живя послушницей в монастыре, полюбила птах и всякую живность.

— Строго было в монастыре, молодых нету, одни старухи монахини, а мне тринадцать лет. Меня отец по обету отдал. Лошадь у нас, вишь, подыхать стала — Гнедко. Исправный конь был. И вот по-теперешнему бы к ветеринару побежали, а в старое время какой ветеринар? Отец Ни-колу-чудотворца на помощь призвал: дескать, яви, святой угодник, чудо, а уж я тебе отплачу — Оленку на пять лет отдам. Ну, Гнедко, к нашей радости, выздоровел, а меня в монастырь — надо держать обет, раз дан. Ох! Ну, света белого я не увидела, хуже темницы всякой. Правда, работой меня попервости не томили. Я при матери-казначейше состояла, ей засыпать помогала. Тяжелая, сырая старуха была, такая же, как я. Работящая, а сон туго давался — часами ворочается, бывало. И вот позовет меня: «Оленушка, почитай-ка — пощечечи на ухо». Ну, я и почитаю. Много всяких стишков знала. И Пушкина, и Некрасова, и Кольцова. Смотришь, у меня мать-казначейша и захрапела. А я-то как? На меня кто сон нагонит? Меня кто из темницы вызволит? И вот только тем и спасалась, что выбегу в сад да с птичками поговорю. Птички, птички! Слетайте к нам на подворье да разузнайте, как там наши. А на другой день опять спрашиваю у птичек, какие новости принесли, с чем прилетели. Так вот и жила со старухами за каменной стеной. А потом, когда на волю вышла да свой угол завела, я уж этих птичек да зверюшек отовсюду домой несла.

— Бабушка у нас доктор Айболит, — восторженно сказал Вовка.

— Да уж, бессловесная тварь на меня не пообидится, — не без гордости сказала Олена Даниловна. — Грача — лапка была сломана — выходила, больше месяца костылик носил, скворчишек, тех за свою жизнь без счета спасала, может, десятка два или три, журка — хромой был — тоже на ноги поставила...

— А зверюшек-то, бабушка, забыла? — напомнил Вовка.

— Ну про тех что и говорить. Тех и вспоминать не вспомнить. У меня дома всегда свой зоопарк был. Да и здесь не одни с Владимиром живем...

Тут Вовка, не дожидаясь, пока кончит бабушка, нетерпеливо потянул меня к колодцу в кустах смородины — там жила Василиса Прекрасная, большая пучеглазая лягушка с забинтованной задней лапкой.

— Это на нее ворона напала, когда она через дорогу переходила, — объяснил Вовка. — Мы как раз с бабушкой из магазина шли...

Потом Вовка показал мне черепаху по имени Марья-торопыга, которая грелась на теплом песочке под окошком, потом минут десять мы ползали по колючему малиннику у дровяного сарая в надежде, что

наткнемся на Ежа Ежовича, и, наконец, вечером, за ужином, Вовка поз-  
накомил меня с Борькой-бурундуком, который выскочил к нам на веран-  
ду на стук грецких орехов.

Я прожил на даче у Туркиных четыре дня, и за это время каких  
только рассказов и историй не наслушался от Олены Даниловны.

Некоторые из них я записал.

### Как Олена Даниловна в няньках жила и попа учила

— Я рано в работу пошла. У отца нас шестеро было, а землицы одна  
душа — как тут жить? И вот не знаю, было мне шесть-то полных, когда  
меня в няньки отдали. Сперва в родную деревню — ничего, а через год и  
на чужбину, за четыре деревни от своей. Вот тут я взвыла. Всю дорогу  
плачу, угорела от слез да рёву, и в каждом ручье тоску с меня смывали.  
Вода холодная, весной дело было. А все равно не смыли. Я понервности  
как елушечка в сырую погоду — сижу у окошка вся в слезах. Сижу да  
поджидаю: скоро ли карюха Егорушкина покажется.

А карюха — соседская кобыла, уголь барину каждый день возила.  
Старая, костлявая, страшная, с бельмом на глазу, а Егорушка — тоже  
не заглядишься — с головы до пят черный да грязный. А мне они всех  
дороже да всех милее. И долго так сижу да провожаю их глазами. До  
тех пор провожаю, покамест в полях оба не растают...

Ну, хозяева попались мне нехудые. Оба еще молодые — и сам и са-  
ма. А уж работающие-то! А на мне двое: зыбочный ребеночек да Федя,  
трех лет мальчик. Меня няней называет, а няня такая, что не сразу и  
поймешь, кто кого пянчит. После до чего дело дошло — ой! Этот-то са-  
мый Федя да пришел меня сватать.

— Да ну?

— Вот те и ну! Крест святой! Рослой, красивой парень вырос. Ну  
пришел: «Отдайте за меня няню».

— Так и сказал?

— Вот то-то и оно, что так. Может, скажи он как по-другому: от-  
дайте Лену или Олену Даниловну — я бы еще подумала. На три-четыре  
года старше — ничего. Бывает и больше — живут. И дом хороший, ро-  
дители хорошие. А уж он-то сам золото. С рюмкой на голове пройдет—  
вина не расплещет. Вот какой был Федя! Ну, а как сказал он «няня»-то —  
ой! Как же, думаю, я за воспитанника-то своего пойду? Нет, ни за что!  
Заплакала, упростила маму. А Феденька, бедный, так у меня и не же-  
нился. Может, двадцать лет холостяком жил. А потом на войну  
азяли, и не вернулся. Вот ведь как бывает...

— А как же вы, Олена Даниловна, в шесть-то лет с двумя ребенками  
управлялись?

— Нет, не в шесть ведь. Семь мне было. Год уж стажу у меня няпеч-  
ного было, когда меня в чужую-то деревню отдали. Да вот, управлялась.  
Бывало, сам и сама уйдут в поле засветло да в потемках и придут. А я с  
ребятками. Да еще что-нибудь приготовлю им поисть — самой-то не до  
разносолов в страду. Ну да это все ничего. Привычка. Не я одна, и дру-  
гие в няньках жили. А вот как я штаны-то Феденьке сшила — ой! Такого  
ни у кого не было. И смех и горе.

Феденька, скажу вам, запущенный был ребенок. Родители рабо-  
тают — света белого не видят. Дом хороший, все хорошее, а Феденька без  
штанов бегаёт. Бывало, бедный, прибежит с улицы — весь задок выколст,  
на камешках да на деревьях сидючи. А тут как раз я в сарай пошла за  
чем-то да на подловку и залезла. Смотрю, а там грязные брюки лежат.

Хозяина. Ну, я и смекнула: сошью-ка я из этих брюк Феденьке штанки. Куда это годится — ребенок весь задок исколол.

Вот взяла я эти брюки, сходила на речку, выстирала, высушила, каталкой выкатала да давай шить. Сшила. С карманами, с помочами. У меня Феденька оделся — картинка. Хозяева вернулись с поля и ребенка своего не узнали. Чей это у нас франт? А франт и есть. Я отмыла его, в божеский вид привела, причесала. Да еще штанки сшила. Нет, говорю, этот франт не чужой, а Феденька. А брючки, говорю, я сшила сама. Ой! Я думала, хозяин обрадуется, а хозяин-то у меня побелел. «Ты, говорит, из чего их сшила?» Это брючки-то. А я говорю: «Из твоих. Из тех грязных, что на подловке лежали». Ой! «Что ты, говорит, ведь это мои выходные, праздничные брюки. Я, говорит, от женки их спрятал». Я тут так и присела.

А дело-то было так. Хозяину незадолго до моего прихода справили праздничные брюки. Хорошие, дорогие. Вот он и пошел в церковь. Все ладно было. В церкви побывал, богу помолился, нет ли, а отъявился, показался на глаза попу — строгий батюшка был. Ну, а обратно мужик — известно: зашел в кабак, да выпил, да домой-то уж на четвереньках приполз. А жена у него строгая — как в таком виде показаться? Вот он и переоделся в сарае да новые-то грязные брюки и забросил на подловку, чтобы жене на глаза не попали. Да и забыл за работой-то. А мне они попадались на глаза...

— Строго взыскал хозяин?

— За брюки-то? Нет. Ничего, обошлось. Меня не притеснял. Поплакал только. Жалко брюк-то было. Новые, дорого заплатил. Да и жены боялся — строгая жена была... Вот так я жила в няньках-то. В школу на десятом году пошла, две зимы ходила, а у меня, по-настоящему взять, уж рабочий стаж был три-четыре года. А двенадцать-то лет мне стукнуло, я уж попа учила.

— Попа?

— Ой, порассказать — так ухочешься. Далеко, за пятнадцать верст, к попу отдали. Хозяйство большое, пять коров. Попадья больна: после родов в постели лежит. Дети. И сам поп такой неприспособленный — ничего не умеет. Коровы не доены, ревом режут — вымя от молока рвет. Сено не кошено, и исть нечего: всего в доме полно, а поп ничего не умеет.

— А что же он работниц не догадался нанять?

— Говорю: попшкка непутевый был. Да и страда у людей. Работницы которые уже подрядились, которые нейдут — дома полно работы. А я с коровами сама не могу, я худюшая — подойник не удержать. Вот я и говорю батюшке: «Батюшка, говорю, надо тебе самому донть». — «Да как? — говорит. — Я сроду не умею». — «А научу, говорю. Тут, говорю, хитрости нету, только бы сила была в руках». А коровы-то... Милые! Как баржи, стоят во дворе. Большие, высокие. Ну, батюшка вошел во двор — ошалели. На рога готовы поднять. Я и смекнула. «Батюшка, говорю, надень платок. Они к бабам привыкли, потому и кидаются на тебя». Батюшка сделал по-моему, подоил коров. Потом позвал работников: страда, косить надо. И опять у меня батюшка за голову: чем кормить? А дом у самого полон всякой всячины. Ну, я говорю: «Все будет хорошо, батюшка. Ты только делай, что я скажу».

Ну, наварила я кашу, суну, ватрушку спекла, масла сбила. Да у меня работники едят — не нахвалятся: «Ну уж, ну уж, батюшка! Кто у тебя такая мастерица?» А батюшка и указывает на меня: «А вот моя, говорит, мастерица. Ей, говорит, всем обязан». Да я у батюшки приделала все дела и попадаю на ноги поставила. И хлеб, кабы не я, начисто сгнил. Сырое лето было. Жито пьяное — из поля, как из бочки, несет. Батюшка

у меня пригорюнился: «Остаться мне в этом году без хлеба». — «Не тужи, говорю, батюшка, можно этому горю пособить. Надо, говорю, только мужику хорошую еду положить да денег не жалеть — тогда он сам прибежит». Вот когда еще бабка Олена насчет материальной заинтересованности понимала. В одиннадцать—двенадцать годов. А у нас после войны до чего мужика довели — из деревни побежал... А все-таки я у батюшки только одно лето прожила. Выгодное бы место и хорошо кормили, да крыс боялась.

— Крыс?

— Крыс. По всему дому бегали. Ну, летом-то я с лампой спала да на сеновале. А осень подошла, я и взревела. Что же, я ведь по-настоящему совсем ребенок была — двенадцать лет...

### Несмышлениши

В это утро мы с Вовкой славно поработали. Выкосили траву под окошками, засыпали семена и крупу в многочисленные тарелочки и черенушки для птиц, сменили воду в баночках и, сверх того, еще пропололи грядку клубники.

Олена Даниловна, как истая крестьянка, была довольнехонька.

— Ну уж, ну уж какие у меня работники! — говорила она. — Чем только мне с этими работниками и расплачиваться? Разве что пирог со свежей капустой закатать...

— Не надо, бабушка, пирога, — сказал Вовка. — Ты лучше чего-нибудь расскажи.

— Да чего же я вам расскажу?

— А про бельчат, бабушка.

— На-ко, выдумал — про бельчат. А почему не ты? Ты ведь тоже знаешь. — Олена Даниловна хитровато подмигнула мне. — Давай не стесняйся. В школу пойдешь, что будешь делать-то, когда учительница спросит? Бабушки рядом не будет. Ну как? Жили-были...

Вовка застенчиво прижался ко мне. Его маленькое сердечко воробьем запрыгало под моей рукой.

— Ох, ты, зайчишка, зайчишка... Ну, жили-были две белки, у них родились деточки... Так?

— Не так, бабушка. Неинтересно так.

— Давай как интересно.

— А ты сама знаешь как.

— Вот не любит сказок, — со значением заметила Олена Даниловна. — Все надо, чтобы по жизни было. А по жизни рассказывать — полдня надо положить. Все в строку лезет: и птичка, и сучок, и каждый чих. Люди-то увидят — что скажут? «Бабка Олена с утра, скажут, языком мелет».

— А ты поближе к кустикам сядь, тогда и не увидят, --- посоветовал Вовка.

— Да уж разве что к кустикам... Ну тогда так, Владимир, вместе будем...

Тут Олена Даниловна опять многозначительно подмигнула мне: дескать, ты уж извини меня, старуху, пожалуйста, а мне нельзя иначе, мне надо внука подучивать. Вовка, однако, подучиваться при мне не захотел, и Олене Даниловне пришлось скоро от этой затеи откажаться.

— Ох, Владимир, Владимир, — для порядка пожурила она внука, — ведь знаешь, с чего все началось. Когда мы первый-то раз белок увидели?

— Весной.

— Вот видишь, все помнишь. Весной, весной мы первое знакомство свели с белками. Отец у нас в командировке, матери в больнице, а кто участок вскапывать? Земля-то не ждет. Ну, я на все запреты докторские махнула — поедем. Вова. И вот им, белкам-то, видно, интересно стало, чего это старый да малый всё земле кланяются, — пойдем-ка посмотрим. Ну, из лесу выскочили да вон на ту елушку. — Олена Даниловна указала рукой на пушистое, густо усыпанное розовой шишкой дерево рядом с дровяным сараем. — Вылезли, смотрят на нас, и видно, уж понравились мы им с Владимиром — они и обгнездились на той елушке.

— Бабушка! — воскликнул Вовка. — А кто первый их увидел?

— Бельчат-то? Ты, ты, Вова. Ох, что было! — Олена Даниловна всплеснула руками. — Утром вбегает ко мне на кухню — я как раз крапиву чистила, крапивник надумала варить. «Бабушка, бабушка, там котятки на елушке!» Где, какие котятки? Почто на елушке? А то, что это бельчата, у нас с Владимиром и в мыслях ни у которого нету. И вот ведь как тайно белки жили: мы даже и не знали, что у них там гнездо. Две недели, а то и три уж на даче жительствоуем, а их и в глаза не видели. Ну, я бегу за Вовкой, да ох же — бельчата! Три сразу, четвертый-то больной был, уж после на глаза попал... Нет, — вдруг тяжело вздохнула Олена Даниловна и нахмурилась, — не приведи господь, чтобы они еще раз к нам заявились. Я за прошлое лето извелась. И мои спокойя не знали.

— А что так? — Меня удивил этот крутой переход от детской радости и воодушевления к суровой озабоченности.

— А то, что горе с ними, ответственность одна. Я с ребятами со своими столько не переживала, сколько с этими бельчатами. Вот те бог.

— У них мать была нехорошая, — сказал Вовка. — Сбежала.

— Да, сбежала, — не очень уверенно подтвердила Олена Даниловна, затем послала внука зачем-то в дом и, когда тот хлопнул дверью, сказала:

— Это мы ему говорим, что сбежала, чтобы не расстраивать — очень уж расстроистый, — а на самом-то деле съел кто-то ихнюю мать — собака или кошка. А отец у бельчат нынешней породы — вертихвост, — пошутила Олена Даниловна, — не видали при детях.

Вовка обернулся быстрее ветра, в доме все было в порядке, и Олена Даниловна, похвалив его, повела рассказ дальше:

— Хлебнули, хлебнули мы горюшка в то лето. Перво дело — люди. Весь поселок к нам переходил, каждый день экскурсии — все грядки у нас стоптали. Да грядки ладно — у отца у нашего и не топтать — одна трава, да ведь им охрана, присмотр надо. Ну-ка, мало в поселке собак да кошек, а они глупые, несмышлениши, сами в пасть лезут. И никто не подучит: сироты, нету родителей. Ну, днем мы с Владимиром начеку. То он, то я — всегда глазами там. А ночью-то как? Ночью кто их удозорит?

— А ночью, — нетерпеливо выпалил Вовка, — мы Василия Ивановича заставляли. Да, бабушка?

— Да, да, Василия Ивановича. Как хошь, говорю, Васенька, а придется тебе ночной досмотр на себя взять.

(К этому времени я уже знал, кто такой Василий Иванович, или Васенька. Кот. Большой сибирский кот, который, по словам Олены Даниловны, был самой умной животинкой на свете и которого по старости — об этом она сообщила мне под большим секретом — нынешней весной усыпили в больнице.)

— Выручал, выручал Василий Иванович. Я ночью проснусь, выйду, а он уж у ели — сидит да на ель смотрит. А то опять вдоль забора пока-



живает, чтобы кошка чужая на усадьбу не забежала. Ох, да сколько всего с этими бельчатами было — не пересказать. Хоть про ту же еду вспомнить. Попереживали мы с Владимиром. Матери нету — с голоду помрут. Мы уж и грибов-то сушеных на елушку навешали, и баночку-то с молоком под ель ставили, а потом когда увидели — молодые побегги грызут, отлегло от сердца. Ладно, грызите, ребята. Ель у вас большая, пушистая, надолго хватит. А одной ели мало — лес рядом.

— Бабушка, а как они ползать учились, помнишь?

— Как не помню. Не по веткам — по сердцу твоему ползают. Ножишки слабые, расползаются, коготки жиденькие, не багрят, смотришь — один покатился, другой, вот-вот на землю шмякнутся...

— А про грозу, бабушка, забыла? — еще про один случай напомнил Вовка. — Ты еще папу уговаривала лестницу поставить.

Олена Даниловна, к этому времени начавшая было заметно остывать, снова воспламенилась:

— Ну, это мертвый номер в цирке, — по-современному выразилась она. — Детсад на качелях. Вон с елью-то рядом видишь клен? Так вот, ель свою оползали — на клен пойдем. А что из этого получится, разве такие дурахи думают? Ну, на клен просто — здоровый сук в ель упирается. А как с клена на ель попасть? Веток у клена много, поди угадай, которая к твоему дому, которая от него, а прыгать еще не можем — не научились. И уж они тычутся! Туда-сюда, по той ветке, по другой, по третьей — заблудились. И вот раз на этом-то самом клену их и застала буря. Страшная. С грозой, с молоньей. Мы с Владимиром на другой день в лес пошли — вот такие ели вповалку лежат. Ну, три-то, которые посильнее да побойчее, быстро домой попали, а четвертый-то, горемычный, и остался. Ой! Уж так его полоскало да мотало, мы думали, живого места не останется. Дождь, по-бывалошному сказать, в вожжу, розы у нас растерзаны начисто, а на грядках такие дыры навертело — кротам не навертеть...

— Бабушка, а ему после этого дождя лучше стало, да?

— Бельчонку-то? Лучше. Дождь — первый помощник у жизни. У нас, бывало, в деревне всегда ребенка на дождь выставляют. Бежи, скажут, на улицу, подрасти немножко. А эти после дождя просто басурманами стали. Ой, что тут делалось! Ведь они мало того что с дерева на дерево прыг-скок — на землю спустились. Утром в окошко глянешь — что за огоньки из травы выскакивают? А то они возле ели своей играют. А то опять сядешь на скамейку — на, прибежали. Согласны по тебе бегать...

Олена Даниловна посмотрела на небо — там было синее. В воздухе сильно пахло подсохшей травой. Птицы в саду примолкли.

— А ведь к дождю дело-то идет, — сказала она озабоченно и начала вставать.

Мы с Вовкой быстро сносили траву в сарай. Сама Олена Даниловна отправилась в дом, чтобы на случай грозы укрыть на кухне светлую посуду.

Однако грозы на этот раз не было. Дождь тоже пронесло стороной, так что через каких-нибудь полчаса мы снова оседлали скамейку, правда без Вовки. Вовка с плетеной корзинкой пошел рвать заячью капусту для черепахи. Я хотел было тоже пойти с ним — веселее вдвоем ребенку, — но Олена Даниловна меня остановила:

— Ничего. Пускай идет один. И так самостоятельности не хватает. Я, бывало, в его годы хлебы уж себе зарабатывала.

Олена Даниловна была чем-то явно недовольна. Я попытался вернуть ее к нашему недавнему разговору о бельчатах — мне все-таки интересно было знать, что с ними стало, заявлялись ли они весной на усадьбу. Но старуха и на это откликнулась без прежней живости.

— Нет, не заявлялись, — сказала она сухо. Потом вдруг черные глаза ее гневно сверкнули, и она добавила: — Мудрено им было заявляться, когда их еще осенью загубил Васька Шиш. Есть тут у нас в поселке один горький пьяница — все от него стонут. Уж каждый день, каждый день пьяный. Женка, бедная, во все газеты писала: заберите от нас пьяницу, погибаем. Не берут. Сам мне признался. Весной встречается на дороге, рот до ушей: «Спасибо, Даниловна, за выручку. Я, говорит, на твою пушнину два дня газова...»

Олена Даниловна старательно поправила белый платок на голове, поглядела в сторону леса, куда ушел внук.

— На моей совести эти несмышлениши. Я виновата.

— Да почему же, Олена Даниловна?

— А потому что не то воспитанье дала. Ведь они звери, им в лесу жить, а я их к человеку приучала. Вот и приучила. Тот Шиш их без ружья осенью взял. Сам похвалялся... Нет, не всякое, видно, добро впрок, — философски заключила Олена Даниловна и опять устремила взгляд на зады. — Добро-то, оказывается, тоже надо делать умеючи.

### Про Василия Ивановича

Из всего зверья, перебивавшего у Олены Даниловны за ее долгую жизнь, больше всего она любила, как я уже заметил, Василия Ивановича. Про него она могла рассказывать часами — живо, с подробностями, и послушать ее, так на свете, честное слово, и среди людей не много таких умниц, как этот кот.

— А как же, — говорила Олена Даниловна. — Бельчат по ночам кто у нас стерег? Разве кошачье это дело? Я начну кому рассказывать — врешь, бабка. А за грибами — слыхано, чтобы кот ходил? А Василий Иванович ходил. Да, да, да! Мы с Владимиром в лес — и он за нами. В сторонку отбежит: мяу-мяу. Иду, иду, Васенька. И так и знай: белый. Других грибов — козлят ли, моховиков — не признавал. А пьянии взять. Отец у нас, — Олена Даниловна так называла своего зятя, — с мокрым рылом родился. Иной раз домой придет — зашумит, а уж Василий Иванович ему лапой: не смей! А ежели еще пьянчуг-друзей приведет — беда! Готов глаза выцарапать...

— Бабушка, а расскажи, как Василий Иванович клубничку воровал! — подсказал Вовка.

Олена Даниловна затряслась от смеха:

— Было, было такое дело. Проштрафился у меня Василий Иванович...

Так начался один из многих рассказов про мудрого кота.

— С Амиком они этот номер выкинули. Собачка тутошная, песик, вон тех соседей. Мы тогда приехали на дачу с Васенькой вдвоем — Владимира еще на свете не было. Ну, мне дела не занимать: кирку в руки — и хоть весь день маши. А Василий Иванович, вижу, как не в себе, вроде как в растерянность впал. Ходит за мной да все мяу-мяу: где мы, куда приехали? Городской, не приспособлен к природе. Ну, я ему мозги вправляю: «Что же ты, говорю, Василий Иванович, все за мной да за мной? Куда это годится? У каждого в жизни свои интересы должны быть». — Тут Олена Даниловна бросила на внука один из своих воспитательных взглядов. — «Самостоятельность, говорю, должна быть, — еще определеннее выразилась она. — А что же это получится, если все будем ходить друг за дружкой? Ты бы, говорю, хоть друзей-товарищей завел себе. Оглянись, говорю, хорошенько, есть тут кошачий народ». Нет, со своим братом компанию не свел, а с Амиком снюхался. Тут, на углу, у них сви-

данья-то происходили. — Олена Даниловна указала на травянистую полевину за калиткой, густо расшитую белоголовыми ромашками. — Правда, Амик и к нам на дачу заходил, а Василий Иванович — нет. Гордость не позволяла: к гостям не хожу. Хочешь — ты приходи ко мне, а не хошь — как хошь. Беда, важный был. Покамест Василием Ивановичем да Васенькой не назовешь — и не откликнется. Ей-богу.

Ну, Амик, тот попроще был, голову высоко не нес. Все, смотришь, прибежит. Наш его встретит у калитки, обнюхает, а то и по травке покажет — тот песик вежливый, лапки кверху и ничего: катать себе на зловье. А потом и до проказ дело дошло, из-под контроля вышли. — Олена Даниловна кивнула на каменный особняк за крепким высоким забором слева от своей дачи. — Вот у них, у тех куркулей, стали плантации проверять да клубничку выбирать.

— Кот и собака — клубничку?

— Ну. Форменными ворами стали. Потому что не теперь сказано: чужая ягода слаще. — Олена Даниловна сказала это и сразу же спохватилась, видимо, вспомнив про свои воспитательские обязанности. — Да, да, — сурово поджала она губы, — бесконтрольность почувствовали. Решили, что все им можно. Я раз гляжу, где Василий Иванович, другой гляжу. Так все на глазах, все с Амиком со своим, а тут ни которого нет. Потом смотрю — чего трава у забора шевелится, а то они выкатывают. С налета. Амик бесхитростный, ничего в себе не держит: гав-гав, там, за забором, были. А мой-то даже не глядит на меня. Старый гусь, хитрющий — только головой водит да усами подергивает. Ох, думаю, плутяга, погоди у меня, дознаюсь, что там делаешь, выведу тебя на чистую воду. А сама ничего уж не сказала: ни ласки, ни встряски. Как так и надо.

Ладно. На другой день я начеку. Затаилась за кустом, поджидаю ихнюю встречу. А они встретились, обнюхали друг друга да, недолго думая, к забору. Впереди Василий Иванович, сзади Амик. Привычное дело! Не первый раз занимаются — в траве у них уж тропка своя протоптана. Вот к забору-то они подошли, и я за ними. Батюшки! Василий-то Иванович у меня на грядке клубничку кушает, а Амик где? А Амик в дозоре — на дорожке сидит да на дом посматривает.

— Ну, уж и посматривает?

— Вот те бог! — со всей серьезностью побожилась Олена Даниловна. — Чистая правда!

— Бабушка, бабушка, дальше! — закричал возбужденно Вовка.

Вовка был уверен, что все дальнейшее сразит меня окончательно. И оно действительно сразило. Ну, если и не сразило, то во всяком случае показалось совершенно неправдоподобным. Ибо дальше было вот что: Василий Иванович, скушав две-три ягодки — так именно выразилась Олена Даниловна, — уступил место Амiku, а сам встал в дозор.

— Вот какой у нас ученый кот! — живо прокомментировал Вовка. — Как в «Руслане и Людмиле». Правда?

— Да, да, такой вот проказник, — рассмеялась Олена Даниловна. — Ведь это надо же додуматься — Амика в дозор, а сам ягодкой сладкой лакомиться! Ну уж я пожурю, поведиста тогда Василия Ивановича. Получил он у меня по заслугам. «Это что же, говорю, батюшка мой, получается? Я к тебе с доверием, а ты себя на хулиганство заводишь да еще и Амика с толку сбиваешь. Каково, говорю, мне из-за тебя краснеть придется? Мне, говорю, за всю жизнь люди худого слова не сказали. Где ни работала, что ни делала, всегда хвалили да на почетную доску вешали. Даже в блокаду, говорю, твоя хозяйка рабочей чести не уронила, ни одного дня в простое не была». Так вот на этом и кончилась у них дружба с Амиком...

— Почему?

— А из-за гордости. Не понравилось, что я его при Амике побранила да посовестила. Вот он и заломил хвост. Амик сколько раз подходил к калитке — гав-гав, а наш — нет, не вышел. А тут вскорости и Амика увезли: из Киева хозяева, там сын соседа проживает. Тем часом и кончилась у них дружба...

Своего любимца, умершего, как я уже говорил, от старости, Елена Даниловна похоронила на усадьбе дачи, возле ели, на которой еще год назад Василий Иванович охранял осиротевших бельчат.

— Я уж не пожалела ничего, — рассказывала она про то, как хоронила Василия Ивановича. Разумеется, рассказывала в то время, когда рядом с нами не было Вовки. — Гроб сделала по нему — ящик из-под конфет в магазине купила, внутри клееночкой выстлала, сверху простынькой белой накрыла... Спи, Васенька, место тут самое красивое. Весной черемуха белая пушится, осенью клен горит, а зимой опять ель зеленая — у Гостиного двора такой не увидишь. Я хоть бы и сама не прочь там лечь...

1969.



---

КАЙСЫН КУЛИЕВ

★

## ИЗ ЛИРИКИ

*С балкарского*

\* \* \*

Помолчим у горы. Для чего говорить,  
Если в мире такая стоит тишина!  
Все, что снегом успела зима побелить,  
Все зеленой отавой одела весна.

Не пророним ни слова. Еще не пора.  
Поразмыслим, помедлим над спехом своим.  
Будем так терпеливы, как эта гора,  
И на тихую землю с горы поглядим.

Оглянемся кругом. Может быть, и пойдем,  
Что вечерней горе тишина говорит,  
Отчего облака проплывают гуртом,  
А одно, поотстав, над вершиной парит.

Дождь ли, ветер ли — склоны не знают тревог.  
Будем так же неробки и сердцем щедры.  
Все запомним как есть. Вечер на гору лег  
И зарылся в траве. Помолчим у горы.

Знаю, знаю, потом повторятся не раз  
Шум дождя, шорох листьев и запах коры —  
Все без нас, как без тех, кто ушел раньше нас.  
Но спокойна гора. Помолчим у горы.

\* \* \*

Теперь любая смерть мне тяжела.  
Я провожаю каждого, как брата,  
В последний путь. И каждая скала  
Обвалом и лавиною чревата.

Еще и тишь не тронута внизу,  
Еще и туча не черна над нею.  
А дни бегут, как спугнутый в грозу  
Табун, — и гул все громче, все грознее!..

\* \* \*

Я кричу уходящему времени вслед:  
— Возврати мне надежды, что были вначале!  
Я ответа прошу у безжалостных лет:  
— Вы куда моих лучших друзей разметали?

Я вдогонку кричу беспощадным годам:  
— Возвратите мне юность, верните мне смелость,  
Чтоб легко мне ходилось по милым горам,  
Чтоб спокойно спалось и уверенно пелось.

Нет ответа. Года —  
Как речная вода.  
Зимний двор. Белый сад.  
Лишь деревья скрипят...

*Перевел О. Чухонцев.*



---

ЛЕОНИД ВОЛЫНСКИЙ

★

## БОЛГАРСКИЕ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

*Эти записки я прочел уже после смерти Леонида Волынского, одного из самых близких моих друзей. И читая их, я слышу его голос. Это не фигуральное выражение, а буквальное — последняя наша встреча с ним до его болезни произошла в первый же день его приезда из Болгарии. Через несколько дней я уехал, а вернувшись, застал его уже в больнице. В тот декабрьский вечер 67-го года мы говорили только о Болгарии. Вернее, говорил он, а я слушал. А рассказывать он умел. Так же как и видеть, и впитывать в себя увиденное. Он притащил с собой целый ворох альбомов, увражей, фотографий, рисунков, и, рассматривая их и слушая его, я уже представлял себе, как, вернувшись домой, сразу же побегу к нему и выслушаю первые главы его путевых заметок. Так бывало всегда. Он был моим первым читателем, а я его. На этот раз этого не случилось. Даже в минуты, когда тяжелая болезнь слегка отпускала его и мы встречались в Переделкине, он читать уже не мог. Он и писать не мог — он диктовал жене, прикованный к постели.*

*В этом был весь Волынский. Он не мог без работы. Он задыхался без нее. Или ездить, смотреть, знакомиться с людьми — или писать. А объездил он немало — целина, Средняя Азия, Армения, Суздаль, Кизи, наша Украина. Ну, а до этого еще Германия, хотя какая это была поездка в 45-м году: Дрезден, который, как и все мы, обязан ему спасением сокровищ картинной галереи. Ведь он был первым, кто напал на след заминированных в штольнях бесценных полотен Цвингера и скульптур Альбертинума. Тогда он был просто офицером, но до войны был художником и, попав в разбомбленный Дрезден и бродя по руинам Цвингера, он не мог не задавать себе вопроса: а где же картины?*

*Об этом, став уже писателем, о сложных поисках их и о них самих он написал позднее книгу «Семь дней», которая не очень-то залежалась в книжных магазинах.*

*Печатаемые ниже «Болгарские записные книжки» обрываются на полуслове, но и то, что написано, говорит о многом — о так полюбившейся ему Болгарии, самих болгар, их искусстве, художниках, но главное, на мой взгляд, о самом авторе, о его знаниях, мастерстве, умении все заметить, не быть равнодушным и о самом главном — о мужестве и воле умирающего писателя, из рук которого уже выпало перо.*

Виктор Некрасов.

**И**ужели все это забудется? Широкий Дунай, нисколько не голубее Днепра, скорей желтее. Холмистые горизонты, зелень озимых полей, порыжелые виноградники. Неяркий свет ноябрьского солнца. Крупные астры, белые и желтые, как их здесь подвязывают — кустами-букетами вдоль разбросанных там и сям домов. Каналы, шлюзы, оросительные лотки. На грядках рубят вилки капусты, по дороге везут свеклу. Автомшины, крестьянские фуры, неторопливые ишачки. Деревья строем вдоль шоссе — обнаженно-коричневые, в коротких белых чулках.

И вдруг — дефиле, кажется Искырское, базальтовые серые скалы-столбы до самого неба, неожиданная суровость.

---

Видно, Александру очень хотелось рассказать англичанам, как войска царя Калояна поколотили в 1205 году под Адрианополем латинян-

крестоносцев и как сам император Балдуин был захвачен тогда и посажен в одну из Тырновских башен, до сих пор называемую «Балдуиновой».

Александр хотел бы возможно подробнее рассказать все это. Англичанину в черном узком пальто хотелось переводить. Ему очень хотелось переводить, и он лишь изредка обращался ко мне за помощью — как это будет по-русски? Прежде, оказывается, он жил некоторое время в Чернигове, ставил английские станки («там у вас соборы очень красивые»). Теперь он жил в Болгарии, ставил станки в Русе. Он переводил с болгарского, слово за словом, в то время как другие англичане хмуро смотрели по сторонам.

Впрочем, не все пассажиры ярко-красного автомобиля были англичанами. Был здесь ирландец-филолог в узковатом светло-сером пальто, густо припороженный, как и другие. Была и француженка, малого роста, некрасивая и с непокрытой, как у всех, головой. Эта вела себя и вовсе странно, повернулась, стала ко всем спиной и, казалось, не слушала.

Все стояли под высоченной елью, осыпавшей к корням кирпичную с изнанки кору, когда двери Боянской церкви раскрылись и оттуда вышло несколько человек. Теперь мы могли войти.

Здесь заведен строгий порядок: общее количество посетителей не должно превышать одновременно десяти человек, иначе могут повредиться от избытка влажности фрески. За этим следил молчаливый мужчина в темном халате, он продавал за столиком у входа билеты и открытки.

По этой же стороне я увидел в глубине храма Калояна с женой.

Это был не тот Калоян, о котором рассказывал Александр. Этот жил позднее и был не царь, а брат царя Константина Асена, он поставил храм, о чем свидетельствовало изображение. Калоян держал в руке модель, как бы указывая на нее, а рядом стояла его жена Десислава.

Стоило прилететь или приехать издалека, чтобы увидеть ее сегодняшнее лицо. Чтобы заметить загадочную полуулыбку, родившуюся раньше Леонардовой.

Как это написано, почему так выделяется Десислава из всех, чем объяснить деликатную прозрачность и свежесть красок? В чем тайна обаяния?

Живая среди давно умерших... Я обернулся, оторвался от желтожемчужного мерцания, чтобы получить, пусть молчаливое, подтверждение своим мыслям, но никого не увидел. Один лишь Александр стоял у противоположной стены и задумчиво вглядывался в славяноликого русобородого молодого Иисуса.

---

Гора Витоша укуталась инеем. Только ели стоят темно-зеленые, на дубках видны необроненные листья, на березах — желтые медали. Где-то в глубине укрыты многочисленные «хижи», горские дома, станции отдыха, а внизу, за кварталом Бояна, где новые здания сгрудились вокруг старой церкви, млеет в дымке София.

Если взглянуть, видны строящиеся восемнадцатизэтажные башни ближнего жилого района Красное Село, эти башни придадут городу силуэт. А дальше все тонет в мареве, тонет и Русский бульвар с рестораном (вернее, ресторанчиком) «Гроздь», где под аркадой висят две свежесвыпотрошенные серны и прохладный ветер шевелит мех и слегка их поворачивает.

С нежданного холода приятно нырнуть в прокуренное нутро, повесить пальто и шапку на одну из торчащих повсюду вешалок, съесть



ребро серны под соусом, запивая вином «росинка», и ответить на ломаном болгарском официанту, что, конечно же, вернусь. Непременно вернусь в Софию.

---

Старый Пловдив сложился как образец. Как образец на будущее и предостережение.

Старый Пловдив сложился в счастливое время, в годы болгарского Возрождения. Филиппополь фракийцев исчез, ушел навсегда римский Тримонтиум. Поверх всего остался старый Пловдив.

Я не видел города своеобразнее. В старом Пловдиве нет двух одинаковых домов. Одинаковых по цвету или рисунку. Все разное: окраска, очертания окон или консолей, карнизы, форма ворот — словом, все. Поразительно богатство подробностей, поразительна неожиданность открывающихся видов.

Здесь как бы встретились два поветрия, ветер с Востока и ветер с Запада. Встретились не для войны — для взаимного обогащения.

Любуешься плавными линиями глухих ворот, слушаешь тихий звон источника-чешмы в каком-нибудь чисто подметенном дворике, узнаешь подробности европейской архитектуры, ловишь взглядом восточную изнеженность в западных как будто очертаниях и вдруг натыкаешься на нечто, свойственное одному лишь старому Пловдиву, на нечто с первого взгляда непонятное — на клюкарницу.

Клюкарка — это, говоря попросту, сплетница. Стало быть, клюкарница — это место для сплетниц. Так в просторечье назывались небольшие, в три четверти роста, выступы-эркера едва ли не на каждом старопловдивском доме.

Отсюда улица видна во все стороны, это немаловажное удобство для тех, кто хотел бы повнимательнее взглянуться в происходящее.

Однако оставим это. Современные здания наверняка обойдутся без клюкарниц, современные клюкарки найдут себе иные возможности. Подумаем о том, что действительно значил опыт старого Пловдива, в чем сила разнообразия, в чем тайна воздействия цвета. И еще задумаемся в серьезное предостережение от универсальной безликости, с такой особенной силой звучащее здесь.

Вот мысли, с которыми я бродил по согретым солнцем и покрытым тенью узким извилистым улицам старого города, мимо прихотливо изогнутых оград-заборов, мимо кованых фонарей, мимо сложенных из дикого камня подпорных стенок, мимо углами нависающих разноцветных домов, пока не вышел к вершине сиенитового холма Небегтепе, к развалинам римских городских стен. Сонная широкая Марица текла внизу, а за ней виднелась территория выставки с корпусами-ангарам, с прямоугольными формами стоящих между ними одинаковых зданий.

---

В конце концов все музеи быта рассказывают одну и ту же историю. От ступы — толочь зерна для всех — до расслоения на богатых и бедных. Здесь (как, впрочем, и в других местах) бедность отмечена простотой вкуса, богатство — безвкусицей.

Музей этнографии размещен в лучшем здании старого Пловдива, в доме Аргира Коюмджоглу, дом построен в середине прошлого века мастером Халжи Георгием.

Тут счастливо соединялись изысканность с наивностью. Овальная форма центрального зала нашла выражение в прихотливо изогнутом фасаде. Сплошная лента окон второго этажа украшена сверху и снизу скупым по цвету рельефом. Выступающая центральная часть покоится на колонках; отсутствие капителей придает всему аромат Востока.

Внутри мастерство Хаджи Георгия и его помощников затмевает музейную экспозицию (может быть, за исключением ярких весенних маскарадных костюмов — «кукеров», бело-красно-черно-зеленых). Очаровательные овальные медальоны, дымчато-розовые, в венках из цветов, перевязанных лентами. Наивно притягательны рисунки в нишах. Но всего прелестней потолок овального зала во втором этаже, весь вырезанный из теплого дерева, легкий, как кружево, и насквозь болгарский.

---

У Атанаса сдержанные движения, неулыбающееся лицо, дымчатые очки. Он завинчивает кофейник. Пока закипит, можно досмотреть картины.

Они висят и стоят, прислоненные к стенам, без рам, во второй комнате Атанаса, пустой и голой.

Здесь собраны любимые художники Атанаса, как правило, пловдивчане. В их картинах есть как будто все, что должно нравиться. И все же чего-то тут не хватает. Есть холсты Златю Бояджиева, есть акварели Георгия Божилова, есть картины Светлина Русева, похожие на серебристо-коричневую майолику.

Чего же мне тут не хватает? Я мучительно вглядываюсь в холсты, стараюсь понять.

Кажется, Атанас угадывает мои мысли. Он молчит. Быть может, он молчит потому, что знает больше, чем я, но скорее всего он знает столько же.

Новое искусство рождается в муках отрицания. Какое оно будет? Это, кажется, никому не дано узнать. Ясно только одно: оно не будет таким, как прежде, хотим мы этого или не хотим.

Я готов был бы услышать мнение Атанаса. Знать, что думает он о своих картинах. О своих любимцах, молодых пловдивчанах. Но он, кажется, предпочитает не говорить об этом. Для разговора он отдает предпочтение литературе.

Комната наполняется запахом кофе. Атанас говорит об Альбере Камю, о Бабеле с его эпопеями размером четыре-пять страниц, он выказывает незаурядное понимание зачинательной функции русской литературы, да и всего русского искусства на заре революции. А я думаю о том, что вот сейчас уйду отсюда и никогда больше не увижу это лицо, эти темные резные потолки, эти белесые стены, черно-красные пледы на двух стоящих под углом застланных гладко тахтах. Не увижу скатерть солдатского сукна, лежащую на столе, не увижу больше картин молодых пловдивчан. И, конечно же, никогда не пойму, почему именно Атанас стал начальником отдела искусств и музеев городского народного совета.

Он провожает — с высокого крыльца до ворот, куда вделано черно-белое сграффито пловдивчанина Митко Кирова.

На ниспадающей улице старого города темновато. Где-то посередине обгоняет плоский широкий автомобиль. Его очертания угадываются в темноте, ярко видны лишь слепящие фары. На ходу автомобиль хрипит, свистит и захлебывается. Очевидно, к сигналу как-то подключен микрофон. Автомобиль мяукает, шипит, даже хохочет. И с хохотом исчезает за углом. На минуту остановясь от ошеломления, продолжаю свой путь к виднеющимся внизу людным улицам, к шумящей Марице, широкой, но на удивление неглубокой здесь.

---

Из тумана выныривают автомашины, груженные табаком Мы едем навстречу, едем на самый верх, к Алеше.

Мы поднимаемся все выше и выше. Уже не видны внизу машины,

деревья. Не виден Пловдив, раскинувшийся на трех холмах. Ничего не видно, все прикрыл слоистый туман. А над туманом, на вершине самого высокого холма, стоит Алеша.

Он приоделся. На нем плащ-палатка, новые сапоги. Он весь чистый и подобранный.

Он гранитный, он огромный.

А был он обыкновенный. Случалось, и сапоги прохуживались, и плащ-палатка приходила в негодность, и гимнастерка сидела не по мерке, косо-криво. И шинелка была коротковата.

Но он прошел все страны и повсюду, кажется, оставил друзей. Особенно в Болгарии.

Недалеке, чуть пониже Алеши, стоит каменная пирамидка, там перечислены полки лейб-гвардии и армейские, polegшие в июне 1878 года, тогда было большое сражение с турками под Филиппополем.

Филиппополь — это ведь тот же Пловдив. Алеша пришел сюда и остался здесь — навсегда.

Его кличут запросто, как будто знали лично. А таких очень мало осталось и остается все меньше. Недалеко время, когда все будут думать, что он действительно был такой — выутюженный, в новеньких сапогах, обмундированный и плащ-палатке.

Он стоит задумчивый, возвышаясь над застлавшим город туманом, глядя поверх всего и думая думу, которую невозможно додумать.

В Софии я разыскал Цанко Лавренова. Приветливый, худощавый старик, похожий на продавца или счетовода, сидел в кресле неподалеку от невысокой чугунной печи.

Печь дышала теплом. Жена Цанко Лавренова носила из соседней комнаты картину за картиной.

Здесь были горбатые улочки старого Пловдива, летние и зимние. Были тихие монастырские дворы, клубящиеся пейзажи Родоп. Здесь был царь Симеон у врат Царьграда (копия, оригинал находится в Швеции). Здесь было много всего, хозяева не скупилась на угощение. Здесь было вдоволь занятного, но, кажется, важнее всего было высказывание самого Лавренова: «Я выражаюсь так, как мне в каждый данный момент нужно. Говорю, чтобы выразить».

В работах Лавренова смешиваются приемы, графика соседствует с живописью, техника миниатюры — с широтой этюда.

Так может писать только принципиальный самоучка, и Лавренов именно так поступает.

Собственные изобретения у него рождаются сами собой. Он наклеивает свой холст на более плотное полотно, на фанеру — и режет штихелем либо процарапывает. Он проскребаёт, кроет пастозно, густо — в зависимости от надобности.

Короче, можно было бы сказать, что он всюду верен себе, если бы...

Несколько холстов кажутся у него чужими. Какие-то блюда с фруктами, какие-то всадники, колющие копьем чудовище, изображающее свастику.

Может быть, не стоило бы думать об этих несвойственных Лавренову работах, если б не пример цельности, если б не верность художника себе, если б не поразительный образец непохожести, составляющие душу искусства.

В старом Пловдиве на улице Нектариев есть чеканная таблица с тремя именами: Христо Станчев, Цанко Лавренов, Златю Бояджиев. За окованными воротами тихо. Тихо в трех комнатах-залах. Здесь хранятся работы троих, посвященные любимому городу — Пловдиву.

Здесь хранятся холсты Христо Станчева, проделавшего свой путь с конца прошлого века к середине нынешнего, от густой непрозрачности к ясной звонкости.

Здесь есть полотна Златю Бояджиева, в которых можно разглядеть следы увлечений Пьеро делла Франческа, затем Брейгелем, затем Ван-Гогом.

И есть тут картины Цанко Лавренова, который был и остался таким, как есть.

Яркий, цветистый или, напротив, почти одноцветный — повсюду он сам, Цанко, такой, каким был всегда.

Откупающий свою картину у какого-нибудь владельца, потому что нет ничего дороже и приятнее, как видеть своих детей вокруг себя.

Цанко Лавренов говорит об этом совершенно серьезно, он не любит продавать свои картины, ему теперь совсем немного нужно, он предпочел бы иметь свои холсты здесь.

Пожалуй, не будем теперь вспоминать о редких случаях забывчивости. Нальем-ка лучше сливовицы из квадратного штофа («попробуйте, это мне из Тырнова прислали») и выпьем за здоровье художника.

---

На фотографии Мао выглядит, как вертикально поставленный труп. Вокруг ближайшие соратники, все кряду мельче ростом. Затем актеры японского театра, труппа «Хагуруми».

Все, включая ближайших соратников, держат какие-то книжечки — наверное, цитатники. У одного Мао ничего нет. Его руки свисают, как две плети, безжизненный взгляд устремлен прямо перед собой.

Я готов ущипнуть себя. Что это значит, возможно ли это?

Оказывается, возможно. Возможна подпись «красное солнце и сердце революции председатель Мао Цзэ-дун».

Можно приветственно махать руками, славить взрыв водородной бомбы, ведь она так похожа на распустившийся в небе цветок. Или дикий головной убор из страусовых перьев.

Все возможно в этом странном мире. Вот студент из Аммана радостно прижимает к груди произведения Мао, так и написано; вот алжирец говорит своей дочери: «Председатель Мао — великий человек. Надо читать его книги». Вот в Боливии преподаватель и учащиеся изучают сборники цитат Мао Цзэ-дуна. Вот в Англии, в библиотеке Кембриджского университета, бородач и девушка влюбленно рассматривают книгу «Selected Works of Mao Tse-tung», избранные произведения Мао Цзэ-дуна. Юноша из Пакистана, восклицающий: «Произведения Мао Цзэ-дуна для нас, как вода в пустыне»; моряки Греции, «одна приятелка от Колумбия» — все жаждут знать и чтить Мао Цзэ-дуна. Разве в Занзибаре не прикреплен портрет Мао к стволу толстого дерева, чтобы его видели все прохожие?

Нет, здесь решительно ничего не придумано. Все изображено в двух витринах, стоящих по сторонам желтого здания<sup>1</sup> с плотно задернутыми занавесками...

Всего только полчаса назад я был в тепле гостеприимного дома, смотрел картины,пил сливовицу. Завтра поеду в Тырново, Велико Тырново, буду бродить по улицам, улочкам и холмам, стоять над рекой.

А сейчас стою, прикованный к двум витринам, к безумию, к обману, к тому, мимо чего нельзя пройти. Нельзя — не задумавшись, что будет с теми, кто верит.

---

<sup>1</sup> Здание китайского посольства.

Раннее утро, солнце восходит над долиной Янтры, а снизу из всех изгибов реки поднимается туман и обрисовывает ее течение, и в неподвижной воде стоят вниз вершинами нагие деревья, и темнеют камни, и темнеют зеленые повторения узкого моста. Вот уже сквозь мглу проступает зелень Царского холма и краснота черепичных крыш на другом берегу, а солнце достигло одинокого облачка и проходит через него, и вся линия гор очерчивает горизонт, «будто именно от гор произошло это слово», такая четкая, как может быть линия, проведенная резцом, и каждая неровность, каждое дерево видно. И вот уже определились буры-рыжие краски и островок на Янтре посветлел.

---

Однажды я проснулся в Вильнюсе, в новой гостинице «Гинтарас», на рассвете. Я посмотрел в окно и обмер. Так осторожно, будто боялся вспугнуть увиденное, я и сошел.

Ничто, ни огонек, ни движение, не нарушало неподвижности. Было два тона, всего лишь два: перламутровый цвет неба и сизо-прозрачный — слившихся воедино сооружений, увенчанных башней Гедимина.

Это был силуэт, рассказанный без единого лишнего слова, химически чистый. Может быть, все и длилось всего лишь несколько минут, а может, и больше.

Здесь все разворачивалось иначе, все было как бы увидено сверху и сразу во всю глубину, все вместе и заодно, с холмами, застывшим отражением в воде и движущимся, словно для контраста, поездом, пересекающим все извилины одну за другой.

Этот поезд, увиденный сверху, был отсюда узкий, как нож. Он вырвался из глубины под гостиницей, и так как не видна была отсюда дыра туннеля, то казалось, что вырос он прямо из тела горы, чтобы своим движением подчеркнуть всеобщую неподвижность.

В стену гостиницы «Янтра» вделана мраморная таблица с именами (как хорошо, если бы это действительно стало обычаем!). Таким образом, каждый теперь знает и будет помнить людей, поставивших гостиницу так умно и так сливших ее с нависшими над рекой домами, со всем обликом упрямого и своеобразного города.

Выросший на камне, на ощупь знающий каждую скалу и каждую складку гор, сегодняшний город смотрится на Царевец и Трапезицу. Два холма из трех говорят о прошлом. Третий никуда не уйдет отсюда. Он будет сбегать по каменным уступам, смотреться в реку, растить новые дома среди старых. Он будет удивлять несхожестью фасадов — приземистых с улицы и стремительно рвущихся вниз со двора. И никуда не денешься, никуда не уйдешь с мощенных булыжником крутых улочек, от старых камней, от нависающих этажей, от тесноты, сутолоки. от необъяснимой притягательности старого города, с которым невозможно расстаться.

---

Давно хотелось познакомиться с художниками Финляндии, и вот не угодно ли — выставка финской графики в Тырнове. Кажется, не осталось ничего, чему можно было бы удивиться.

Сперва — чистейшая традиция Хари Хендриксен, классическая гравюра на дереве, акватинта. Заснеженные улицы, горный ручей.

Но уже расположенный рядом Мати Ваксилampi напоминает, что настоящее искусство не склонно ограничиваться повторением. Гравюры Ваксилampi говорят о давнем происхождении сюрреализма — не вчера это все началось.

Сорокалетний Бергквист оставляет зрителю одно лишь напряжение несформированной материи. Эта материя рождается из динамических пятен, она есть, она будет.

Рядом с беспокойным, тревожащим и, быть может, не всегда понятным Бергквистом Аоне Ленконен кажется едва ли не элегичным — лес, дремлющее кружево зимних ветвей. И вдруг наивные в соседстве с Ленконеном простые-простейшие воробышки — очень мягкий офорт Карла Майя.

Работы на выставке представлены очень разные. Здесь рембрандтовская (хоть и несколько не похожая на Рембрандта) Кууси Леема. Здесь молодой Аскола Вилко — сама душа озерной Финляндии, кресты и кладбища, камни-валуны. Здесь будто вырубленные островитяне, запечатленные Ано Аарне.

Есть уравновешенность и тяжеловесный юмор северянки Ринкво Олави — она берет самые незамысловатые сюжеты и предметы: кофейную мельницу, старинный граммофон («радио моей свекрови»), свой офортный станок на фоне окна.

Есть и другое. Есть «Неизвестный» Вейно Лехтоваана. Тревожная вещь — человек в темных очках, лысая голова, позади какие-то штампованные шеренги (Вейно Лехтоваан родился в самом начале войны).

Есть «Мертвый пейзаж» тридцатитрехлетнего Ревинена — но не романтические руины, а нечто о гибели. Может быть, о всеобщей. И повторение той же темы — обломок стены, очень монументальный обломок.

Что же делать с этими или подобными? Отмахнуться, отвернуться? Или, быть может, пойти по другому пути — полюбоваться эффектными офортами Лекинена с рельефом, с тиснением под конгрев... Ведь и такое возможно, не правда ли?

---

Ветер. Отсюда, с верха Царевца, виден холм Трапезица; раскопанные стены церковей прикрыты длинными красночерепичными крышами. С другой стороны далеко внизу виднеются окраинные улицы. По ближней едет почтальон. Зеленеет его фуражка с околышем, вертятся ноги. В такт своему движению почтальон что-то бросает в рот — наверное, арахис.

Из трех главных высот, между которыми петляет узкая сверху Янтра, холм (или, вернее, гора) Царевец выглядит наиболее монументально. Иван Вазов полстолетия назад писал: «Вряд ли существовала когда-либо столица, в которой царский дворец стоял бы на столь обыкновенном месте, как Царевец».

Громадная скалистая гряда с головокружительными крутыми обрывами, страшными пропастями, на дне которой вьется серебристая лента Янтры, со скалистыми выступами по бокам, нависшими над бездной, — все это было во времена Вазова, есть и теперь, есть теперь и расчищенные фундаменты тронного зала (тринадцатого — четырнадцатого веков), добавились обломки мраморных колонн, удалось сложить капитель ионического ордера на мраморной вертикали, но утраты невозполнимы.

Ветер гуляет по Царевцу, в годы второго болгарского царства густо застроенному. Старые крепостные башни отмечают теперь границы прошлого.

Впрочем, башни на глазах молодеют — их реставрируют. Их связывают в единое целое с окружающими старый Царевец обломками стен.

Шофер Борис задумчиво идет вдоль края, ветер шевелит его волосы. Приостановясь, он произносит:

— Добър ден, майсторе.

Мастер, погруженный наполовину в землю, занят своей работой. Но он ее прерывает. Торча из-под земли и приподняв обвисшую шляпу, он отвечает шоферу:

— Добър ден.

---

Церковь Рождества, километрах в двух севернее Тырнова, выглядит как-то несерьезно. Снаружи — ненастоящие контрфорсы, стрельчатые арки. Внутри — псевдовизантийское ремесло. Восемнадцатый век не смог дать этому храму ничего достойного.

Пожалуй, не стоила бы внимания и расположенная неподалеку более старая церквушка, если б не ниша-скрывалище для древних книг. Там прятали самое драгоценное.

Эта подробность приобретает особое звучание, когда помотришь из полусумрака и видишь залитый солнцем церковный двор, где двухлетние граждане сосредоточенно делают гимнастику, а учитель в кедах и спортивных шароварах стоит к ним лицом и показывает.

Однако самыми «яркими» оказываются впечатления от виднеющихся отовсюду домов-крепостей.

Внизу — узкие окна-бойницы. Цоколь — высокий каменный. Лошадей в тайники. Женщин в тайники. Маленькие потайные комнатки для рожениц, подальше от людского глаза. Все обнесено высокой оградой, ворота на замке.

Такие (и только такие!) дома стоят здесь напомниманием о лихо-летье чужого гнета.

В течение считанных минут мирный дом превращался в крепость, готовый драться и умереть.

В самом этом заключен вдохновляющий пример. Но есть более важный всеобщий закон, закон целесообразности. В этом смысле дома под Тырновом, где всему раз и навсегда найдено место, будут долго жить.

---

Как ездит шофер Борис? Прежде всего я бы сказал — осмотрительно.

Только раз мне случилось видеть, как он обгоняет набравшую скорость машину. Кажется, это была «кортина». Лицо семьянина, чуть припухшее лицо Бориса, не выразило ни печали, ни радости. Седоватые волосы лежали приглаженно. Одна лишь скорость увеличилась.

Промелькнула бензоколонка «Петроль» с изрыгающим оранжевое пламя грифоном. Навстречу дунули один за другим два автомобиля. Вот и все.

Между Сливеном и Бургасом милейший Борис сказал одно только слово — «мгла». Это действительно была мгла. Не туман, а именно мгла. Клубилось и выше колес и ниже. Серый непробиваемый сумрак был повсюду, а Борис двигался. Куда — это было известно одному лишь ему.

Во всяком случае понятно было одно — что движемся мы «по своей», а встречный поток идет своим порядком.

Мало оно смахивало на автомобили. Это были огромные «вольво», лишь угадываемые по пяти фарам — одна вверху, четыре по бокам внизу, побольше и поменьше.

И от этого нарастающие в сумраке желтые круги были всего более похожи на приближающиеся глаза паровозов, и все вдруг представилось одной бесконечной сценой репетиции из «Анны Карениной».

Потом все ушло, и осталась одна клубящаяся мгла, и сосредоточенное лицо, и спокойные руки шофера Бориса на баранке руля.

---

У памяти свои права. В Бургасе вдруг вспоминаешь ковильную степь северного Причерноморья, недвижимую ширь лимана. Вспоминаешь Ольвию

Ольвия — значит счастливая. Так назвали свой город пришельцы из далекого Милета. Это было две с половиной тысячи лет назад.

Действительно ли ольвиополиты все кряду были счастливы? Так ведь не скажешь, на свете всегда было вдоволь несчастья. Можно лишь с уверенностью сказать, что жители Ольвии ели, пили, рожали детей, хоронили стариков, надеялись, чеканили монету, философствовали, сбывали скифам вино похуже (а друг дружку ругали: «Ты пьешь, как скиф»), скапали у них мед, воск, шерсть и увозили в Грецию, а оттуда зезли вино послаще и керамику получше своей.

Так примерно обстояло дело в те времена, когда Днепр назывался Борисфеном, а Южный Буг — Гипанисом, и обе реки сливались у Гипполаева мыса. На месте слияния рек и была основана Ольвия.

В самом конце восемнадцатого века академик Паллас и Павел Сумароков порознь указали место, где стояла когда-то Ольвия. Незаурядное открытие было развито позднее Б. О. Фармаковским.

Вряд ли можно переоценить сделанное Фармаковским.

Этот человек с лицом столичного артиста и душой степняка обвлек вокруг себя преданных делу. Копали с начала нашего века по шестнадцатый год. Из-под земли вырос город. Выросли остатки городских стен, башен. Открылись улицы, водопроводные каналы. Проявились очертания домов. Можно было увидеть храм, и некрополь, и гробницу, и стадион.

Пифосы, амфоры, вазы, светильники, ожерелья — всего достало вдоволь для музеев Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы, Херсона, Николаева. Вещи из Ольвии оказались даже в Лувре и Метрополитен Музеум.

Жаль, что так ослабел наш интерес к Ольвии; об этом думаешь, бродя по остаткам опустелого города.

Обойдя шаг за шагом остатки улиц, спускаешься к лиману. Здесь тихо. Иногда проходят корабли — в сторону Николаева или навстречу, к Одессе.

А лиман недвижим. Время от времени лениво плеснет зеленая вода и на мелкозернистый песок берега ляжет обломок черно-красной греческой вазы, черепок или выгнутая ручка амфоры.

Город был когда-то обширнее, его нижняя часть ушла под воду, и оттуда продолжают подниматься свидетельства далекого прошлого. На берегу увидишь днище двухцветной тарелки, кусочек вазы, обломок задымленной черной посуды, сделанной за полтыщи лет до нашей эры.

В Бургасском краеведческом музее есть амфоры точь-в-точь такие же, как в Ольвии. Позади амфор на стене изображено, как гибкие ныряльщики-аквалангисты поднимают с морского дна крутобокие посудыны. Должно быть, когда-то здесь затонул корабль, груженный привозной керамикой.

В музее собрано немало любопытного — итоги подводных (да, да, подводных!) раскопок древнего Анхиоло, купольные гробницы четвертого века, «тракийские всадники» (загадочные надгробья с изображением охотящегося всадника).

Но самыми привлекательными для меня оказались документы времен войны (скажем точнее — времен Отечественной войны) Здесь висит первый приказ военного коменданта Бургаса полковника Ефремова. Рядом выцветшая фотография — машина с вступающими войсками, молодой простоволосый офицер машет пилоткой, разновозрастные сол-



даты, улыбающиеся жители. Листовка — памятка нашему солдату в Болгарии: «Ты, славный воин Красной Армии, потомок русских героев Шипки и Плевны. От Волги до Балкан прошел ты, неся на своих знаменах освобождение десятков миллионов людей»...

А чуть подальше — список погибших антифашистов Бургасского округа, 117 имен. И неумело, но гвердо дописанное 118-е — «Ангел Пейчев».

В Бургасе можно увидеть едва ли не последнего в Болгарии извозчика. Обычно он стоит у порта, ждет. Ждет любителей прокатиться, проехаться, посмотреть вокруг — бульвар, берег, если хотите, прозрачные озера. В самом деле, что может заменить извозчика и его экипаж? Как бы не так! Что сравнится с неторопливостью тонких колес, запахами сбури, лошадей?

Во Франции есть прекрасная актриса. Я говорю «есть», хотя, наверное, правильнее было бы сказать «была». Сильви недавно умерла. Но я предпочитаю говорить «есть», для меня она по-прежнему жива, как и для сотен других людей, упорно называвших ее с молодости до старости запросто, по имени.

Я видел фильм, где Сильви играет старую женщину, внезапно овдовевшую. Всю жизнь она стирала, стирала белье, штопала, нянчила внуков и вот теперь вдруг увидела, что никому не нужна. У детей своя жизнь, свои малопонятные заботы. Внуки выросли. Что делать? Трудно передать трагедию внезапного одиночества, как ее передает Сильви. Вопреки всему она достает из сундука старинное малонадеванное платье, шляпку, зонтик. На последние деньги нанимает извозчика, из тех, что возят только заезжих иностранцев, для забавы, и гордо проезжает по улицам Марсея.

Старый бургасский извозчик напомнил мне эту сцену. Он стоял у порта, дожидаясь пассажиров. Лошади были в сетках, в красных чепцах с кистями. Позвякивал медный бубенчик. Недвижны были яркие спицы колес. Фаэтон ждал.

Машину приходится оставить. Надо пройти по осенне-сочной зеленой луговине к мостику через Русенский Лом.

Эта узкая быстроводная река километров через тридцать вольется в Дунай. Один ее берег низкий, другой высокий, обрывистый.

На высоте можно заметить обращенное к реке решетчатое окно Ивановской церкви.

Пещерные монастыри с церквями, церковками, часовнями тянулись в двенадцатом — тринадцатом веках вдоль всей реки. Такую же пещерную церковь и монастырские кельи я видел недавно в Молдавии на реке Реут. Снизу все это было похоже на птичьи гнезда, сверху полноводная река казалась серебряной извилистой ленточкой.

Отсюда тоже еле увидишь решетчатую дверь в крутом белесом обрыве, еле угадаешь местоположение скальной церкви.

По луговине бродят овцы, среди них круторогий белый козел. На шее у него медный колокол (иначе и не скажешь, не колокольчик, а именно колокол). Неровный перезвон отмечает движение — постоянное. Перешли, опять щиплют траву.

Перезвон провозжает через мостики, слышен на прилепившихся к стене крутых ступенях, даже внутри церкви, если прислушаться.

Скальная церковь невелика — всего три с половиной на шестнадцать метров. Она вырублена в теле скалы без особого внимания к по-

верхности. Все сосредоточилось здесь на рисунках, сплошь покрывающих потолок и стены.

Похоже, что для художника важнее всего было высказаться, рассказать, успеть. Украшения или же подробности совершенно не важны для него. Он делит все на продольные и поперечные полосы, заполняет все и подробно рассказывает, более ни о чем не заботясь.

Ивановские росписи изрядно пострадали, вероятно, не меньше от небрежения, чем от времени (на стене свидетельства — «Wetten Strassburg», есть и другие надписи). Живопись покрыта царапинами и трещинами, камень кое-где обвалился, стены пострадали. Но и того, что сохранилось, достаточно, чтобы почувствовать силу руки мастера.

Канонические евангельские сцены пересказаны здесь по-своему, как бы очевидцем. Мастер торопится, он пренебрегает украшениями и условностями, установленными правилами. Он рвется к сути.

Пожалуй, мало найдется в мировой живописи таких едких вещей, как сцена поругания Христа, где нагой шут ходит на руках, а другой размахивает длинными шутовскими рукавами. Мало найдется по скупой выразительности таких рисунков, как рыжий петух, возглашающий отречение Петра. Или как обескураженные фарисеи, получившие обратно свои сребреники. Но, пожалуй, самое сильное впечатление производит сцена самоубийства Иуды.

Черно-синее небо, ограда с башней, угловатое дерево, такое же желтое, как висящий на нем мертвец, — вот образец выразительности, достигнутой самыми простыми средствами.

Оторвавшись от росписей, я заглянул в каменное решетчатое окно. Далеко внизу виднелась узкая полоска реки, на лугу разгружался автобус — экскурсия из Варны. Доносился перезвон — знак движения отары. Этот звук, сам не знаю почему, останется для меня чем-то врезавшимся в память, чем-то зобравшим в себя сочно-зеленый луг, и узкую реку, и бугристые, исцарапанные, выщербленные, но все же живые ивановские росписи.

---

В Софии пахнет каменным углем. Этот запах особенно слышен на боковых улицах — таких, как улица Сан-Стефано, где я живу, возвращаясь из поездок.

Здесь по вечерам тихо. Кое-где у домов подбирают в ведра каменноугольный брикет. К полуночи все окончательно стихает, над домами поднимаются дымные струйки. Издалека слышны шаги прохожих.

У тротуаров стоят машины. «Мерседесы», «трабанты», «пежо», «рено», «москвичи», «татры». Покрытые чехлами и без чехлов. Яркие, новые и не очень. И едва ли не за каждым ветровым стеклом висит идол. Маленькое домашнее божество, пушистое, с растопыренными руками-ногами.

Вглядываюсь — найдется ли хоть два одинаковых? Нет, каждый хочет иметь божка на свой манер.

В Софии не так уж много машин. Но есть ведь и другие города, другие страны. Есть сотни миллионов людей и множество автомобилей.

Одинокая немолодая женщина однажды сказала: «Автомобиль — моя мечта. Хочу владеть ключом, хочу управлять. Управлять, понимаете!»

Надо понять эту женщину, понять многих других, вникнуть в разницу между жадой управлять и иллюзией. И при этом не забывать о выхлопных газах, уличных пробках, о безудержном росте количества автомобилей и многих других неприятных вещах.

Беспокойно кружатся чайки. Кричат, стонут, садятся на крутые крыши. Сгрудившиеся дома вдруг размыкаются, видна смоковница, виден миндаль, видна вмурованная в стену древняя погребальная стела. Астры доцветают. Недалеко от кромки берега играют дельфины — появляются, исчезают. Северный залив вскипает барашками, на юге тихо. Это Несебр.

Мне подарили здесь старую-престарую, найденную в раскопках монету. На монете отчеканено по-гречески — «Месемврия». Две с половиной тысячи лет назад здесь была основана колония наподобие Ольвии. Только не милетянами, а дорийцами.

Ольвия умерла к началу нашей эры. Месемврия никогда не умирала. Ее лишь стали называть по-своему — Несебр.

Болгария попала под чужеземное иго в конце четырнадцатого века. После этого еще некоторое время Несебр жил свободно. Узкая (шириной до десяти метров) полоска земли теперь скорее отделяла, чем связывала. За крепостными башнями в обрамлении городских стен росли церкви, часовни. Всего их было тут около пятидесяти — пожалуй, не меньше, чем в нашем Суздале.

Здесь очень ошутим упадок византийского стиля. Византийская архитектура теряет свою конструктивную ясность. Появляются западные мотивы вроде камня с цветком лилии в замке арки.

Многое разрушено тут землетрясением, многое пострадало от времени.

Уцелевшее гордо возвышается наподобие стоящего над морем храма Ивана Неосвященного («Алитургеус»). Об этой церкви рассказывают, что здесь разбился, упал вниз с подмостков мастер, строитель храма. Отсюда и название.

В Несебре есть улицы Венеры, Авроры, улица Бриз, улица Рыбачья. На берегу лежат старые ржавые якоря (может, наш Ушак-паша ходил здесь поблизости?). Неподалеку виднеются остатки ветряной мельницы. Ветряки здесь были каменные, сужающиеся кверху, с крыльями, обшитыми парусной тканью, парусиной.

Над выгнутым берегом нависают старые дома Несебра. Кричат чайки.

Что поделаешь, людям всегда приходилось лечиться. В далекой древности здесь пользовались целебными источниками. Римляне построили на этом месте лечебные бани. Впоследствии местность получила свое болгарское название — Хисар. Шли годы. Вокруг все разрасталось. Старые римские стены стали иззубренными. Пришли новые времена, поднялись санатории, дома отдыха. Пролегли новые дороги, аллеи. Только вечнозеленая туя у лечебного корпуса напоминает о прошлом.

Впрочем, почему же о прошлом? Разномастные тряпицы на высоком пирамидальном дереве выглядят вполне современно. Их много, издали дерево кажется сплошь увешанным елочными украшениями. Но это не украшения. Это, как и сотни лет назад, амулеты, знак-задабривания. Что ж, каждый лечится, как может.

За остатками римской бани (второй век нашей эры) виднеются полуразрушенные фундаменты римских солдатских казарм, крепостные стены. Видны огромные Южные ворота крепости, похожие на двугорбого верблюда.

Выезжаешь через массивные Западные ворота. Слева тянется щетина бетонных столбов, виноградники. Сады, свежеекрашенные понизу чем-то желтоватым. Крестьянин возвращается с поля. Ноги его свешиваются с арбы, внутри лежат вилы. Кони идут неторопливо.

Накрапывает дождик. Фазаны нахохлились, втянули шеи. Они сидят на перекладинах вольеров, внизу сеток. Их много.

Они водились прежде в бассейне здешней реки Тунса. Охотничье-рыболовный союз взял дело в свои руки. Фазанов разводят и выпускают в леса. В этом году здесь выпускают четырнадцать тысяч штук. Говорю «здесь» потому, что есть еще заповедники в Павликенах (там разводят фазанов с белым ошейником, «кольчатых»), а в Руе — «монголикусы» с красно-белыми надбровьями.

Когда древние греки пришли на кавказские берега, они назвали тамошнюю Риони Фазисом, а невиданную птицу фазаном.

Дождик разыгрывается. У выезда на главную дорогу он превращается в настоящий позднесенний дождь. Дорога пуста. Все живое скрылось. Все замерло. Придорожные здания Веселиновки кажутся обезлюдевшими. Впереди возвышается гусеничный трактор. На постаменте надпись: «Первый советский трактор, ввезенный в Болгарию». И дата — 22 декабря 1940 года.

---

Вот прекрасная болгарская поговорка — «око да види». Для любителей пунктуальности можно перевести — «око да видит», пусть увидит глаз.

---

Невдалеке от Ямбола маленький женский монастырь. Не знаю, сколько лет он простоял тут под горой.

Под алтарем когда-то здесь было гайдуцкое скрывалище, белеют человечьи кости, неяркий свет проникает в бойницу, откуда-то издалека доносится глухой шум горной речушки.

Во дворе монастыря тихо журчит чешма. Кудахтает кура. Оранжево-зеленый петух взлетает на камень, кукарекает. В трапезную приносят миску крупных орехов, потемнелый пестик, ставят на скобленный стол кружки, кувшин вина. Бородатый смуглолицый священник, единственное здесь лицо мужского пола, рассказывает.

Двадцать три года назад, когда вспыхнувшее в Ямболе восстание потерпело крах, повстанцам оттуда пришлось рассыпаться, скрыться. Трое из них пришли в монастырь. Игуменья отвела их в старое гайдуцкое скрывалище под алтарем. Туда им носили еду, пока они не ушли со своим оружием. Теперь игуменья больна, не поднимается...

— А те трое?

— Не знаю. Говорят, один из них вернулся в Ямбол.

Больше ничего об этом не хотелось бы знать.

---

У дороги памятник партизанам. Две высокие скрещенные параболы рвутся вверх, прикрывают бронзовых партизана и партизанку.

К памятнику ведут от дороги возвышающиеся гранитные ступени, по сторонам ступеней — мраморные плиты с именами. Люди Габровского округа, здешние, с партизанскими кличками. Много молодых. Матери с сыновьями. Здесь лежат погибшие в сорок третьем — сорок пятом годах.

---

На голове у него круглая овчинная шапочка, на плечах расшитая замшевая безрукавка, красный широкий пояс вокруг бедер. Шаровары заправлены в невысокие сапоги.

Он пробует свою волюнку. Пахнет шкурой козленка. Мундштук инструмента сделан из дерева вишни.

Старик осторожно начинает мелодию.

У молодого музыканта выпуклые глаза, он молчалив. Его щеки небриты, одежда вполне современна. Вот только, пожалуй, черная округлая шляпа с обвисшими полями говорит о прошлом.

Короткими пальцами он перебирает отверстие ковала. Ковал — это нечто вроде флейты.

Другой инструмент, пахнувший козленком и похожий на волынку, называется по-здешнему гайда.

Есть еще два инструмента: скрипочка и барабан. Но, пожалуй, и этих хватит.

Когда началась эта мелодия, когда она закончится?

Друзья сидят у стола и молча думают свое. У стены стоят полки: Иван Вазов, Яворов, Елин-Пелин.

Александр приехал издалека. Он коротко стрижен, выглядит по-городскому. Атанас у себя дома. Он секретарь сельсовета.

Завтра они расстанутся. Александр уедет в свою Софию, Атанас останется здесь. Он наденет свое выцветшее пальто, свой коричневый берет и отправится в сельсовет.

А пока это друзья сидят рядом в своем родном селе.

Село это издавна называется «Овечий источник». Здесь на полпути останавливались пасарджикские купцы со своими овцами. Отсюда гнали свои караваны дальше.

Никто не думал тогда о совпадении с пьесой Лопе де Вега. Кажется, никто не думает об этом и теперь. Да и пасарджикских купцов вряд ли кто вспоминает.

Выходим на заснеженное крыльцо, прощаемся с музыкантами. Внутри приятно растекается тепло согретой ракии.

Утром сияет солнце, остатки снега лежат на крыльце будто напоминание о приближающейся зиме.

Около десяти лет тому назад напротив н-ского народного окружного совета копали улицу и наткнулись посредине мостовой на остатки римской бани. Остатки расчистили, бережно прикрыли железобетонными крышками.

Так и остались посреди мостовой под землей тщательно расчищенные термы второго века нашей эры.

Почти обнажена конструкция. Грандиозные тесаные камни сводов. Серый травертин. Климатизация упрятана в стенах. Обнажилась суровая правда. Лишь кое-где куски мраморной облицовки. Пятна красивой лжи.

Быть может, римское зодчество положило начало всесветной беспринципности в архитектуре (я говорю о европейской архитектуре). Впрочем, можно говорить и не об одной архитектуре. Другие искусства со времен римлян показали не меньше примеров лжи, в частности литература.

На поверхности ясно. Проезжают взад-вперед автомобили. Деревья шумят по-осеннему. Листья желтеют. На ступенях окружного совета застыла свадебная пара. Их фотографируют. Вокруг фотографа толпятся родственники. У жениха и невесты застывшие позы.

Все идет своим чередом.

Удивительное дело — лес по-болгарски гора. Может быть, это потому, что горы здесь издавна сплошь поросли лесом. Здесь чувствуешь, что гребень горы и впрямь похож на гребень. Так было, наверно, и на русских горах, когда рождалось слово.

Дефиле «Фитиния». Вдалеке в лиловом закате виден на вершинах снег. У подножья гор толпятся березки. Горы имеют цвет вяленого табачного листа.

Мелководная, рокошущая на крупных камнях река петляет. На противоположной стороне поезд то ныряет в глубину морщинистых, достигающих до края воды туннелей, то вырывается из мрака на яркий свет.

Чинары, чинары, прозрачный огонь их листьев...

---

Говорят, что однажды из Мелника была послана телеграмма «самому крупному городу на земле» от самого малого.

Не поручусь за точность, но смысл таков. Кажется, дело касалось города Токио.

Крупных городов найдется немало, а вот маленьких и таких своеобразных, как Мелник, кажется, не найдешь нигде.

Я видел в Болгарии немало городского и деревенского разнообразия. Видел старый, цветистый Пловдив, видел Тырново, густо лепящийся на крутых холмах, видел Плиску, замшелый камень, тяжелые квадраты, развалины дворца Крума с тронным залом и апсидой.

Видел Преслав, солнечное холодное утро, проросшие древние руины.

Видел старый город конца позапрошлого века — Русе и стоящие на побережье элегантные современные отели.

Видел еще немало городов, один на другой не похожих. Разных, очень разных городов и деревень. Но нигде не встречал такого, как город Мелник.

Город Мелник лежит в ущелье. Его дома разбросаны по сторонам. Не найдется и двух одинаковых...

1969.

---

---

---

Н. КУЗЬМИН

★

## НАШИ С ФЕДЕЙ НОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ

Но всем знаком порыв врожденный  
Куда-то ввысь, туда, в зенит,  
Когда из синевы бездонной  
Песнь жаворонка зазвенит...

*Гёте, «Фауст».*

**М**не было двенадцать лет, когда я впервые стал летать. Во сне я летал часто, а наяву случилось это так. Наша корова Рыжонка отбилась от стада и не пришла вечером домой. Я пошел на реку ее искать. Были прозрачные сумерки, в небе уже проклюнулись первые звезды. Я шел по тропинке над обрывом. сверху мне был виден весь берег. Я прошагал так с полчаса и наконец увидел внизу Рыжонку: она щипала траву между кустами лозняка. Мне не захотелось идти долгим путем по тропинке к спуску, когда Рыжонка совсем рядом, вот она! Я сгоряча прыгнул прямо с обрыва вниз и — полетел. Бывает, и медведь летает... с кручи. Но я полетел не как медведь, а как листок с дерева, когда его подхватит ветром. Полетел и плавно опустился в кустах, даже не споткнулся. Корова подняла голову и вылупила на меня глаза в удивлении: откуда я вдруг взялся?

Да я и сам удивился: вот так чудо!

Совсем уже стемнело. Я выломал хворостину и погнал Рыжонку домой.

Мне всегда казалось, что человек может летать, надо только сделать какое-то усилие — и полетишь. Во сне это кажется так просто — летаешь и совсем не удивляешься этому. И сейчас вот во всем теле осталось ощущение полета, но летал я или не летал? Никто меня не видел. Все казалось сном.

На другой день к вечеру я пошел на то же место с моим другом Федей Щегольковым. Мы шли и пели песни. У меня был дискант, у Феди альт. Мы спели «Из-за острова на стрежень», «Ах ты воля, моя воля», потом Федя затянул свою любимую, деревенскую, со всеми охами и ахами, как пели ее на деревне: «Мальчишечка, да ох, бедняжечка, да он склонил свою, да эх, головушку...» Потом мы декламировали взапуски «Русь» Никитина:

Под большим шатром голубых небес  
Вижу — даль степей зеленеется,

---

Художник Н. В. Кузьмин, иллюстрации которого к «Евгению Онегину» и «Графу Нулину», к «Запискам сумасшедшего», к «Левше» Лескова и «Плодам раздумья» Козьмы Прутоква давно и заслуженно пользуются широким успехом в СССР и за рубежом, известный также как автор талантливой книги рассказов «Круг царя Соломона». Публикуемый рассказ продолжает тот же автобиографический цикл.

И на гранях их, выше темных туч  
Цели гор стоят великанами...—

вопили мы в два голоса задолго до того, как профессор Серезников придумал свою «хоровую декламацию».

Федя и сам стихи сочинял: «Узник», «Моление о чаше» — про Христа в Гефсиманском саду. Про Христа было так:

Над горою Елеонскою  
Опустился мрак ночной.  
И не слышно ржання конского —  
Всюду тишина, покой.  
Лишь за дальними пригорками  
Песня грустная слышна,  
Да глядит глазами зоркими  
С неба полная луна.

Луна с «глазами зоркими» осталась в моей памяти и доныне. Конец стихотворения я забыл.

Федя учился хорошо: по русскому языку у него была пятерка и сочинения он писал на «отлично», только вот по математике у него успехи были не ахти. Он и рисовал недурно — срисовал карандашом портрет Чарльза Дарвина, получилось очень похоже. И подписал внизу: Чарльз Д а р а в и н! Я говорю:

— Не Даравин, а Дарвин, это же английский ученый, он придумал, что человек произошел от обезьяны.

Федя:

— А я и не знал, кто это, просто понравился — симпатичный старик с седой бородой, я и нарисовал.

Но в чем Федя был действительно молодец — он знал множество стихов наизусть. Очень любил стихи.

На юбилее Жуковского в школе он декламировал публично «Безбрежное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей». В прошлом году было целых два юбилея — сперва Жуковского, потом Гоголя. Из округа прислали в наше училище кантату — слова и музыку, — и мы пели ее на юбилейном вечере перед портретом Гоголя:

Перед именем твоим  
Мы склонились, Гоголь вдохновенный!..

На этом юбилее и я читал публично: «Чуден Днепр при тихой погоде...» Федя декламировал: «Эх, тройка, птица тройка!»

Я Феде не сказал ни слова про свой вчерашний полет, хотел его удивить. Подошел к обрыву и — гоп! — прыгнул, на этот раз еще дальше. Летел прямо как бумажный голубь. Я думал, что Федя удивится, а он прыгнул тоже и опустился со мною рядом.

— Разве ты умеешь?

— Я уже с прошлого года летаю.

— А чего ж молчал?

— Боялся признаться — скажут: хвостун, хвальбишка.

Мы стали прыгать и раз от разу — все дальше, все лучше.

— Пойдем прыгать с горы за мельницей, — предложил Федя, — там выше.

По крутой тропинке мы взобрались на гору. На верху горы были когда-то каменоломни. Ногам было колко от щебня. Пахло полынью, которая пробивалась между камешками. Федя сказал: «Гляди!» — подпрыгнул, плавно, как птица в парении, перемахнул через реку и опустился на том берегу. Вот это здорово! Он мне крикнул оттуда: «Эй!» Я едва различал в темноте его белую рубашку. Мне стало чуть страшно, но я



пересилил свой страх, прыгнул, кое-как дотянул все-таки и опустился босыми ногами в мелководье у самого берега.

Мы бегом перебежали через плотину, взобрались в гору и снова прыгали. С третьего раза я уже лихо перелетал вслед за Феей через реку, и мы опускались один за другим на той стороне реки на белых песках, заросших лопухами. Жутко и весело было нестись в темноте по воздуху — в небе первые звезды, справа — низко над горизонтом, на красной полоске зари, молодой месяц, теплый ветер овеивает лицо и шевелит волосы. Мы немножко сошли с ума, всё бежали в гору и всё летали, пока не вымотались вконец. Наверно, было уже за полночь, когда мы очнулись, вспомнили, что поздно, и побежали домой.

Теперь мы стали ходить на нашу полынную гору каждый вечер. Мы, конечно, дивились и радовались тому, что стали летать, но никогда об этом не говорили друг с другом и не очень над этим раздумывали: мало ли еще какое может привалить в жизни счастье! Вероятно даже, что и не мы одни, и не мы первые — летают и другие, но вот так же, как и мы, таятся, секретничают, никому ничего не рассказывают. Нам с Феей повезло, ну и помалкивай, дают — бери, а бьют — беги.

Самое, пожалуй, удивительное в этих чудесах было то, что все давалось нам без усилий или с самыми малыми усилиями, словно мы когда-то, давно уже, умели летать, а теперь только вспоминаем.

Все получалось так просто, будто по щучьему велению. Сперва мы, например, не умели долго держаться в воздухе, потом научились. Во время полета земля тянет к себе, и мало-помалу начинаешь терять высоту. Надо об этом помнить и время от времени подтягиваться: сделать некоторое усилие и подпрыгнуть в воздухе раз-другой. Это совсем не трудно, только не надо забывать, а то когда зазеваешься — спустишься низко и земля уже вот она, то невольно теряешься, не успеваешь подтянуться, и тогда уж делать нечего — опускаешься, где попало. А прямо с земли мы так и не научились взлетать, приходилось в темноте снова шагать к своей горе, иногда довольно далеко.

Все эти дни я жил в каком-то радостном тумане и просыпался утром с ликующей мыслью о наших ночных полетах. Днем мы летать боялись, чтобы не увидал кто и не наябедничал бы. А то еще чего доброго станут бросаться камнями, станут дразниться как-нибудь вроде:

Летуны, летуны,  
Чертовы колдуны!

А вот по ночам — какое это было блаженство летать над широкой рекой, потом над лесом, над полями и лугами, где кричали дергачи; было далеко видно, как с колокольни: на горизонте огоньки полустанка, вот отмель, где мы ловили раков, озеро, заросшее камышами; снизу идут теплые токи нагретой за день земли, запахи трав, реки, леса, оврагов, где цвела в ту пору медуница; над нами прозрачная звездная ночь, тишина...

Никогда потом я не был ближе к звездам, как в те летние ночи. Зимой мы с Феей увлекались книгой Клейна «Астрономические вечера» и теперь каждую ночь угадывали в небе знакомые созвездия. Над нами сиял Млечный Путь, как осенняя дорога на мельницу, побелевшая от мучной пыли, мерцала голубая царственная Вега, перед нами — Волопас с Арктуром, выше — Кассиопея, Северный Венец, ковши двух Медведиц — Большой и Малой, у горизонта Капелла в созвездии Возничего, Дева, Скорпион, Змееносец. Нам было приятно знать все эти названия и чувствовать себя мореплавателями, узнававшими свой путь по звездам.

Каждый человек летал во сне (тоже ведь удивительно и непонятно, откуда взялись эти сны?) и помнит свое чувство счастья и торжества при пробуждении, поэтому всякий может себе представить, до чего же это хорошо — летать наяву!

Летали мы в местах безлюдных, избегая людей, и разговаривали шепотом, чтобы не услышал с земли какой-нибудь случайный охотник или рыболов. Теперь мы научились даже парить на одном месте, только недолго, потому что сразу же начинаешь снижаться и приходится подпрыгивать в воздухе несколько раз, чтобы подняться на прежнюю высоту.

Как-то само собой выработались правила полета: одежда самая легкая — рубашка, штаны (ночи летом у нас теплые), никакой обуви: ноги босые; мы снимали с себя даже школьные ремни с тяжелой медной пряжкой и подпоясывались веревочкой. Из карманов все лишнее вон, даже перочинный ножик и тот тянет книзу. И уж разумеется — нельзя набивать карманы яблоками или семечками и во время полета поплевывать шелухой сверху.

Обычное положение тела в полете такое же, как у лягушки в воде — наклон вперед, ноги вытянуты носками вниз, руки в локтях полусогнуты. Иногда, подобно тому, как на коньках при разбеге приседаешь, и тут в полете мы поджимали ноги, согнув их в коленях и обхватив руками, — поза, которую я увидел потом на офорте Гойи у летящей ведьмы. Ремни с пряжкой, фуражки и содержимое карманов мы оставляли на горе, прятали в ямах старых заброшенных каменоломен и всякий раз возвращались на то же место, откуда начинали полет. Над городом мы летать не отваживались, а скромно шли пешком и, будто по взаимному уговору, о полетах наших никогда не разговаривали, точно и не мы летали только что.

Но однажды Федя вдруг сказал:

— А не грех это?

— Какой там еще грех? Вот чепуха какая!

Тут надо сказать, что Федя вырос в семействе воинствующего православия. В их селе было три церкви: православная, единоверческая и старообрядческая моленная. Испокон веку здесь кипели религиозные распри. Православные называли старообрядцев «калугурами» и смеялись над их калугурской верой: над их двоеперстием, над их брезгливым обычаем не есть и не пить из посуды «никониан». Староверы же называли православных «щепотниками» и «табачниками».

Однажды ночью злые шутники сломали замок в старообрядческой молельной и на самом видном месте посреди помещения поставили ящик, в который положили дохлого теленка, а потом поутру распустили слух, что у калугуров объявились мощи «святого Телентия». По этому случаю сочинены были стишки, которые разошлись по всему уезду:

Как в молельной калугурской  
Чудо славная струсилась,  
И откуда ни возьмись  
К ним гробница принеслась.  
Та гробница не пустая —  
Со Телентием святым!  
Возгордились калугуры  
Пронсшествием таким...—

и так далее в том же духе.

— Ох, и обозлились калугуры на нас, — вспоминал Федя. — Они почему-то считали, что все это Щегольковы затеяли. Из-за деда, надо думать: он с ними часто цапался. Ихний начетчик Амос Лушников

встретил папашу и говорит: «Ну, Иван, мы тебе это дело припомним! Не жить тебе рядом с нами!» Через это и пришлось папаше к Асееву в приказчики наниматься и в Куракино переезжать.

В селе часто происходили споры о вере. Федин дед знал писание и славился как искусный спорщик против калугурских начетчиков. Поэтому Федя с младых лет запомнил множество библейских текстов, был замечен в классе нашим законоучителем попом Василием и привлечен им к службе в церкви. Облаченный в парчовый стихарь, Федя во время обедни прислуживал в алтаре, подавал кадило и гасил свечи в подсвечниках перед иконами. А я в это же время пел в церковном хоре дискантом и даже получал за то «жалованье» — пятнадцать копеек в месяц, не считая медяков, которые перепали нам, мальчишкам из хора, на свадьбах и при отпевании покойников.

Я тоже рос в богомольной семье, где строго соблюдались все постные дни и съест в среду или пятницу яйцо считалось большим грехом, где полагалось по субботам ходить ко всенощной, а по воскресеньям — к ранней обедне, где ежегодно в великий пост все говели, исповедовались и причащались святых тайн, где ежедневно по утрам и вечерам каждый шептал перед образами утренние и вечерние молитвы, где освященная вода хранилась в бутылочке и употреблялась как первое и испытанное средство при всяких болезнях.

На сомнения Феде я ответил беспечно: «Чепуха!» Но я и сам не был спокоен, и меня тоже одолевали сомнения. Что ни говори, а ведь наши ночные полеты — это какое-то колдовство! Я перечитал у Гоголя «Ночь перед рождеством» — о полетах кузнеца Вакулы и «Гусара» Пушкина: «Стремглав лечу, лечу, лечу, куда не помню и не знаю...» Нет, все это — поэтические вымыслы, а у нас не так, совсем по-иному.

Возвращаясь по ночам домой, я находил на столе стакан молока и кусок булки, оставленные мамой, и съедал все с жадностью, так как был голоден. По постным дням, в среду и пятницу, вместо молока мне оставалась пара яблок или кусок арбуза с ломтем хлеба. А с 1 августа начался двухнедельный усупенский пост, и скромная пища с нашего стола совсем исчезла, и даже яблочные пироги пеклись на постном масле.

Спал я на открытой галерейке и, засыпая, видел над собою звезды. Перед сном я не забывал читать молитвы «на сон грядущим» — царю небесному, пресвятой троице, ангелу-хранителю, который невидимо приставлен сторожем к каждому человеку, чтобы охранять его от козней дьявола. Я шептал молитву и, переложив на ангела заботу о моих грехах, засыпал с легким сердцем.

А проснувшись поутру, думал: а может быть, эти наши летания что-то ненормальное, вроде лунатизма? Про себя-то я знал, что я лунатик. Отец не раз говорил утром: «А ты опять гулял ночью, я тебя поймал и уложил, помнишь?» Нет, я ничего не помнил. В «Ниве» была картинка «Сомнамбула» — девушка в одной рубашке идет, освещенная лунной, с закрытыми глазами высоко по краю крыши; очень страшно смотреть. Если ее окликнуть и разбудить — она упадет и разобьется. Может быть, и нас ежели окликнуть с земли во время нашего летания, то мы тоже шлепнемся вниз?

Наступал день, и я забывал о своих тревогах за чтением романов Виктора Гюго. Тем летом я проглотил запоем «Тружеников моря», «Человека, который смеется», «Отверженных». Какие волнующие картины, какие необыкновенные люди, какие железные характеры! Озноб пробегал по спине, когда осьминог обвивал Жиллиата своими страшными щупальцами, или когда Гуинплен произносил в палате лордов свою обличи-

тельную речь, или когда студенты под предводительством Анжольраса сражались на баррикадах и все были убиты, кроме Мариуса, которого спас Жан Вальжан, протасив через подземелья парижской клоаки.

Федя тоже был азартный читатель, но ему больше всех писателей нравился Майн-Рид, особенно «Всадник без головы».

Однажды Федя сказал:

— Бей меня — я проболтался!

— Эх ты! Кому же это?

— Андрюшке, он просится с нами.

Ну, это было еще полбеды — Андрюшка был в числе если не самых закадычных, то все же близких приятелей, одноклассник. Федя на другой вечер привел его. Мы его заставили божиться и есть землю, что он никому не расскажет про полеты.

Но с ним пришлось изрядно повозиться. Он глядел во все глаза, как мы при нем прыгали и летали, но сам все трусил прыгнуть с обрыва. Разбежится и остановится. «Ну, прыгай же, Андрюшка! Вот гляди как». Главное затруднение было в том, что тут нельзя было учиться постепенно, как на коньках, например, когда начинающий сперва ездит в паре или держась за спинку кресла на полозьях. Тут надо было решаться сразу: бултых — и все!

В конце концов Андрюшка, расхрабрившись, прыгнул-таки, но как желторотый воробышек — полетел как-то вкось и спустился кое-как, плюхнувшись в песок на все четыре лапы. Мало-помалу он совсем осмелел и стал летать бойчее, но все его как-то тянуло к земле, и случалось, что, залетев с нами довольно далеко, он опускался и возвращался домой один на своих на двоих.

Вообще, как мы заметили, для успешного летания нужно было какое-то особое состояние духа, особое настроение — ну, восторга, что ли, радостного самозабвения? — тогда и летишь легко, и земля как будто меньше к себе тянет. А то иногда летишь и вдруг вспомнишь, что каникулы скоро кончатся, придет на память скучное сонное лицо учителя Сути и его форменный синий сюртук с золочеными пуговицами, душные пыльные классы, казарменные запахи в коридорах — и сразу же тяжелеешь, начинаешь терять высоту и нужно отогнать все скучные мысли и думать о чем-нибудь радостном, или стихи про себя читать, или молитвы, или представить в воображении цветущий луг, или солнечное утро ранней весной в березовой дуброве, когда она оденется мелкими светло-зелеными листочками, или что-нибудь такое же светлое и легкое, как белые облака на синем небе.

Когда мы летали в компании с Андрюшкой, то остерегались даже летать над рекой: а ну как он плюхнет, как мешок, в воду? Впрочем, он летал с нами не часто, а потом и вовсе перестал.

— Не проболтался бы, — тревожился я.

— Парень надежный, могила! — уверял Федя.

И я думал тогда, что нам с Федей здорово повезло, что мы летали вдвоем. Не будь Федей, я бы, вероятно, дальше куриных полетов с невысоких мест не пошел бы, да и он, конечно, в одиночку не посмел бы залетать так далеко.

Больше всего любили мы летать над руслом реки, прежде всего потому, что мы боялись заблудиться, а река служила нам постоянным ориентиром. А может быть, и потому, что река была нашей самой большой мальчишеской радостью: летом — купанье, лодки, рыбная ловля, зимою — коньки. Вот прошлая зима была ну просто удивительная: река замерзла в тихую, безветренную погоду и лед получился гладкий, как зеркало, и прозрачный, как стекло; на мелких местах сквозь него было

видно все до самого дна — и водоросли и ракушки, а на глубоких местах — черная вода. Снег не выпадал долго, почти целый месяц, вот было раздолье кататься по реке на коньках! Далеко убежали мы вверх по реке. По берегам деревья стояли в белом инее, все кустики, весь сухой бурьян, все былинки иней превратил в белые кружева. Вот красиво было, особенно на закате, в розовых лучах зари!

Сколько всего раз мы летали тем летом? Раз двадцать — двадцать пять, пожалуй. В дождь, в ветер не летали. Не летали в полнолуние из боязни быть замеченными. В праздники и под праздники не летали тоже: на реке полно народу, по берегам костры, лодки, рыбаки приезжают на зорю. Да по праздникам мы и сами были заняты в городе: в летнем театре приезжая малороссийская труппа ставила то «Наталку Полтавку», то «Ой не ходи, Грицю, тай на вечерницю», и мы не пропускали ни одного спектакля.

А какое лето в том году было чудесное, какие зори, какие грозы! Как горели золотом каймы облаков на закате, как душисто цвели липы, как таинственно сияли звезды! Верно, никогда больше не сияли они так. Оттого-то только в тот удивительный год удалось нам так много летать под этими таинственными звездами, под мерцающим Млечным Путем, месяц опускался на западе, в ночном безмолвии пели далекие петухи, и мы летали по воздуху, как колдуны, как кузнец Вакула на черте, и радовались и думали, что так всегда и будет.

И все у нас получалось удачно; всего-навсего единственный раз мы прозевали, как неожиданно налетела туча, загредел гром и ливень прихватил нас, к счастью, не далеко, а почти у самой нашей полевой горы, и мы кое-как, чуть не кувырком, спустились на землю, мокрые до нитки. Впрочем, мы не струсили бы, если б пришлось спуститься хоть посреди реки: мы оба хорошо плавали.

В августе ночи стали темнее, а звезды ярче. На нашей горе в полыни, не переставая всю ночь, трещали кузнечики. На далеком горизонте мигали зарницы. Мы стали опытными летунами, теперь мы держались в воздухе уверенно и больше никогда не делали посадок среди пути. В воздухе мы чувствовали себя в безопасности, ведь на земле мальчишки постоянно в тревоге — то злая собака, то пьяный лихой человек. Блаженная тишина окружала нас. Из далеких сел едва доносился собачий лай или ночная переключка петухов. Иногда раздавался скрип уключин на лодке одинокого рыбака, мы старательно облетали его стороной. Мы переговаривались шепотом. Случалось, что в темноте мы теряли друг друга из виду, тогда мы давали сигналы перепелиным туканьем. Поздней ночью на востоке появлялся кривой ломтик ущербного месяца. Надо было возвращаться.

Домой я теперь приходил на рассвете и весь день мотался, как хмельной. Мама спрашивала: «Что ты какой-то ошалелый?» Но ей в это время было не до меня — она была в хлопотах: собиралась ехать в Саров на богомолье.

А лето уже подходило к концу. На улицах города скрипели возы с зерном нового урожая. Рядом с нашим домом в кирпичном амбаре братьев Поповых ссыпáли хлеб. Под навесом на брезенте сушились вороха чечевицы. Две ручные веялки пылили на всю улицу летучей шелухой. Вечерами стало холодно, босые ноги зябли, а в обуви летать было тяжело. После праздника усенья мы пошли в классы.

И в этот год мы больше не летали.

Учитель русского языка Суть, как и полагалось после каникул, задал на дом сочинение: «Как я провел лето». Но мы с Федей не такие уж были

дураки, чтобы писать про свои ночные летания, свою тайну мы берегли крепко. Впрочем, и без того нашлось о чем написать: и купанье в реке, и ловля раков с ночевкой на берегу, и малороссийская труппа, и прочитанные книги. Учиться стало интереснее, прибавились предметы: алгебра, геометрия и физика. Новый учитель Ляпунов преподавал историю по учебнику Иловайского. Я помню до сих пор его начало: «Страна, расположенная к югу от Каспийского моря, в древности называлась Мидия. Столицею ее был город Экбатана. Стены и башни столицы были выкрашены разными красками, так что издали город имел очень привлекательный вид». Ляпунов преподавал также естествознание и географию. Алгебру, арифметику и геометрию преподавал инспектор, тоже ничего себе мужик. А вот русак Суть был злой старик; когда он подходил близко, от него дурно пахло. Он любил издеваться над людьми. «Садись, болван, палку тебе поставлю», — говорил он, окая, ученику и ставил в журнал единицу. А еще были уроки гигиены, которую преподавал доктор Войцеховский, поляк. Раз в неделю он принимал в учительской больных. В отличие от других педагогов он обращался к нам на «вы» и на приеме, выписывая рецепт, говорил с акцентом: «Вам дадут поилку, и вы будете пить этого поилку утром одну ложку, в обед другую ложку, вечером третью ложку — три ложки в день. Есть все можете, только квасу не пейте». И протягивал рецепт.

Дома у нас в эти дни происходило важное событие: вернулась с богомолья из Сарова мама, которая ездила туда прикладываться к мощам преподобного Серафима. Открытие мощей было в конце июля, на торжество приезжали царь с царицею и все царское семейство, но мама тогда не поехала, побоялась тесноты.

Поехала она месяц спустя, вернулась очень довольная и много рассказывала: и какая там красивая природа, особенно дорога через лес от Дивеевского монастыря до Сарова, и про церковь Живоносного источника с чудотворной иконой божьей матери, и про Успенский собор, в котором находится гробница преподобного под серебряной крышкой весом в три с половиной пуда, и про часовню в лесу на том самом месте, где святой молился на камне тысячу ночей.

А всего больше народу у чудотворного источника, на котором устроена купальня на два отделения: дворянское и для простого народа. Вот уж где нагляделась она всякого убожества: больные, немые, слепые, глухие, скорченные, трясучие, кликуши — кто пешком, кто ползком, все в надежде на исцеление. Рассказывали, что исцелений было много, но при маме ни одного не случилось, да разве там в толчее что разберешь? Мама привезла из Сарова бутылочку чудотворной водицы и освященную иконку: отец Серафим, кормящий медведя.

А в нашем городском училище тоже было событие: визит губернатора. Губернатор появился в нашем классе на уроке закона божия. Поп Василий, несмотря на свою солидность, плешь и седую бороду, очень волновался, но Федя, которого он вызвал, отвечал бойко. Губернатор — высокий, чернобородый, красивый, усы колыцами — рассеяно слушал и, прервав урок, пошел дальше в сопровождении инспектора и всяких важных лиц из городской знати, облаченных в парадные мундиры, при орденах и медалях. Осталось в памяти его свистящее «эс»: «Сскажите, пожалуйста, сссколько восспитанников у вассс в класссе? До ссвидания...» Мы не подозревали тогда, что этот визит следовало бы запомнить. Губернатор был не кто иной, как Столыпин, впоследствии столь знаменитый.

После Нового года, в конце января, началась война с Японией. Японская эскадра напала на наши корабли в Порт-Артуре. И чего суются,

ведь мы же их побьем! Мы им покажем, как соваться! Наша держава самая сильная! Очень нравилась яркая лубочная картинка на базаре: большой казак, а перед ним маленький японец, и стišки: «Эй, микадо, будет худо, разобьем твою посуду, разнесем дотла. Тебе с нами драться трудно, что ни день, то гибнет судно — славные дела!» Пошли разговоры о войне, новые слова и названия: шимоза, шрапнель, волчья яма, хунхузы, гаолян, Чемульпо, Мукден, Ляоян.

Среди мальчишек в ту зиму вошли в моду мохнатые маньчжурские папахи. Отец из куска бараньего меха сшил мне белую мохнатую шапку. Я ею очень гордился.

С Федей мы виделись каждый день в классе. А у меня завелось новое знакомство: Агафон и Федор Антонович, страховой агент. Агафон был не друг, не товарищ, так себе — приятель, а вот в Федора Антоновича я влюбился. О нем я рассказывал в «Круге царя Соломона». Он мне предложил работу — переписывать страховые бумаги, я стал зарабатывать деньги.

Федор Антонович почему-то пришел в ужас, когда узнал, что я читаю «Отверженных» Виктора Гюго: «Тебе еще рано!» И Гюго рано, и Сенкевича рано, и Гейне рано! «Ты ничего не запомнишь! Там столько имен». Отлично все запомнил, до сих пор помню и епископа Бьенвеню Мириэля, и Жана Вальжана, и Тенардье, и Жавера, и Мариуса, и даже Кабюка, который совсем не был Кабюком. Дрессированный Агафон читал только то, что клал ему на стол Федор Антонович — тощие книжечки «Донской речи»: «Приемыш», «Сон Макара», книжки Клавдии Лукашевич, всякие «Меньшие братья в семье народов». Существовали какие-то рекомендательные списки книг — какие в каком возрасте нужно читать.

А я жил без опеки над чтением и читал все, что попадалось под руку: и Чехова, и Гюго, и Сенкевича, и «Мироздание» Мейера, и Буссенара, и толстую книжку старинной печати «Красоты греческой истории», и Гейне, который в этом году шел в приложении к «Ниве». Его стихи я вот и сейчас записываю по памяти тех лет, не справляясь с книгой:

Отчего под ношей крестной  
Весь в крови склонился правый?  
Отчего всегда бесчестный  
Встречен почестью и славой?

В том же году в приложении к «Ниве» давался еще Салтыков-Щедрин. Я пытался читать «Господа Головлевы», но в ту пору Салтыков-Щедрин в меня никак не лез: показался скучным.

А незабываемый, драгоценный «Журнал для всех» 1904 года, где я впервые прочитал стихи Бальмонта, Блока, Брюсова, Бунина, Андрея Белого. У Блока «Из газет»:

В последнем миганьи лампадных лучей  
Положила земной поклон...

Блок потом внес в эти стихи исправления, и теперь они печатаются в другой редакции, но те первые стихи моего детства кажутся мне гораздо лучше.

Стихотворение «Из газет» нравилось мне до сердечного трепета, а Федор Антонович морщился и ворчал:

— Декадентская ерунда! Ребус какой-то!

— Какой же ребус? Все ведь понятно, — пытался я объяснить, но Федор Антонович обрывал меня:

— Надо писать ясно, а не наводить тень на плетень.

На страницах «Журнала для всех» печатались статьи С. Маковского о выставках и художниках, и я впервые узнал имена Родэна, Клингера, Галлена, Врубеля, Рериха, Поленовой, Лансере. Много нового, неизведанного открылось мне. С какою жадностью все это я пожирал тогда!

В этом же году я впервые влюбился. Мне было тринадцать лет.

К Федору Антоновичу приехала в марте на две недели в гости его племянница Ольга Андреевна. Она была очень красивая, изящная, тоненькая. Я пришел к ним в день благовещенья и обалдел, ее увидя. От смущения я уткнулся в новый номер «Нивы», где, как и полагается для праздника, на первой странице была изображена дева Мария и бело-снежный ангел-благовестник с белой лилией. А дальше весь номер был наполнен войной: «Бомбардировка Порт-Артура», «Броненосец «Ослябя» в Красном море», «Молодецкий подвиг наших казаков», «Казачий разъезд арестует японских шпионов, переодетых носильщиками» и всякое другое, подобное. Я не дерзал поднять глаз от журнала и делал вид, что чрезвычайно поглощен разглядыванием картинок про войну: «Современный броненосец (в продольном разрезе)», «Общий вид Порт-Артура с Золотой горы», «Переправа войск через замерзшую речку Ляо-Хэ». Она подошла (сладкий запах незнакомых духов) и ласково поерошила мои волосы.

— Не натряси насекомых,— сказал Федор Антонович с грубой бесцеремонностью.

— Ну что вы, дядя, он такой хороший, чистенький мальчик! — сказала она.

Я совсем сгорел со стыда и не смел поднять головы от журнала.

Я не крикнул: «Сам дурак!», не убежал из комнаты, никак не посмел проявить свою обиду и возмущение. Ах ты чертов Дошка-Кихошка (Федор Антонович был похож внешностью на Дон-Кихота), как он безжалостно меня предал! Я-то понимал, ради чего это он так расшался: из-за суетного желания поразить столичную барышню своей «простотой»: вот, мол, как у нас здесь в глуши, «во глубине России», не то что в столице у вас — всякие цирлих-манирлих, а у нас все вещи называют своими именами. Вот как!

Хуже всего — у него действительно были на то кое-какие основания, но откуда он узнал? Было такое дело, что в начале лета, в жаркую пору, я, правда, запустил свою шевелюру — все было некогда сходить к парикмахеру, — и у меня завелись б е к а с ы. Ну и что же? Случайность, пустячная вещь, но почему-то она унижает человека. Попробуйте целый день с мальчишками не вылезать из речки — и у вас заведутся. Недолго думая, я пошел к парикмахеру и остригся наголо. Посмотрелся в зеркало: за лето я очень загорел и стриженный череп резко выделялся своею синеватой белизной.

— Зачем ты так оболванился? — спросил отец с досадой, увидев меня.

Теперь я понял, почему тогда досадовал отец. Значит, я, дурак, как с вывеской, ходил повсюду с моею оболваненной головой. Как же я, осто-лоп, не сообразил, что всякому встречному было понятно, зачем мальчишка среди лета остригся наголо? Срам!

Одно меня теперь утешало: пусть я навек опозорен перед л ю б и м о й ж е н щ и н о й человеком, которого я считал своим лучшим другом, но я летал, летал, и помню это крепко!

Потом нас пригласили в столовую пить чай, и я сидел за столом ря-



дом с Агафоном напротив Ольги Андреевны и мог все время ею любоваться.

Счастливая способность детства — забывать обиды. На другой день я по-прежнему любил Федора Антоновича, да и как бы я мог на него долго сердиться? Ведь он был очень хороший, даже необыкновенный человек. Сам-то он, по свойственной взрослым сграниценности, своего греха передо мною так и не почувал. Я любил его так, что готов был целовать его руки. Догадывался ли он об этом? Вряд ли. А я бы умер от стыда, если бы он догадался.

А Ольгу Андреевну мы с Агафоном водили по всем нашим красивым местам, и была весна, и ранний разлив, и мы смотрели с горы на ледоход, солнце уже пригревало, и ветер шевелил ее выбившиеся из-под шапочки волосы.

Конечно, я никому никогда не доверил тайны своих чувств к Ольге Андреевне. Я пылал неугасимым огнем, но держался сурово, строго, в ее присутствии смотрел в другую сторону, не лез на глаза, выходил из комнаты, будто вспомнив о чем-то неотложном. или сидел, притворяясь углубившимся в чтение. А ей было, наверное, скучно, и мы с Агафоном были все-таки каким-то привлечением, и было радостно слышать, как она нас ищет по комнатам и приглашает пройти куда-нибудь — к реке или на наше знаменитое кладбище, где была могила писателя Слепцова. И внутренне ликуя, я делал недовольную мину, будто мне ужасно некогда, что вот не вовремя отрывают от дела, но уж так и быть...

На страстной неделе мы говели всей школой, ходили в церковь дважды в день — к заутрене и к вечерне, исповедовались и причащались. Ольга Андреевна тоже говела. и я ежедневно видел ее в церкви.

На пасхальной заутрене я пел в церковном хоре. Ночь была теплая. Гудели колокола. На черном бархатном небе сияла разубранная разноцветными фонарями наша Нагорная церковь. С горы были видны еще три церкви города в иллюминации, наша была лучше всех. Целых три дня развешивали на ней эти фонарики от самого креста до основания какие-то отчаянные добровольцы, страшно было смотреть, как они карабкались в высоту. Крестный ход ушел с плащаницею вокруг церкви, и вот раскрываются двери, и вдруг от пороховой нитки вспыхивают паникадила и свечи по всему иконостасу: «Христос воскрес!» И началась веселая, будто плясовая какая-то, пасхальная служба. Мальчишки в хоре дурачились, нарочно перевирая слова пасхальных песнопений: вместо «На божественной страже богоглаголивый Аввакум» пели «На божественной страже купил мужик сажи», вместо «Святися, святися, новый Иерусалиме» — «Святися, святися, пирог испекися», вместо «Да воскреснет бог» — «Да растреснет лоб»: все равно никто в общем хоре не разберет. Весь иконостас сиял свечами сверху донизу. Я не заметил, как расплавленный воск капал вниз прямо мне на спину, и маме потом пришлось выводить восковое пятно с моей новой куртки горячим утюгом через бумагу.

Служба в церкви кончилась, когда еще не рассветало. Ущербная луна светила в небе. Я дал себе слово, что непременно дождусь рассвета, чтобы увидеть наконец, как солнце на восходе играет и прыгает, радуясь празднику. Вернувшись домой, я прилег на минутку, не раздеваясь, заснул и проснулся, когда солнце уже было высоко. Экая досада! Так я и не увидел никогда этого удивительного явления природы, которое многим знакомым мальчишкам удавалось наблюдать своими глазами. Петька Зинин рассказывал о нем, захлебываясь и закатывая глаза:

— Так и сигает, так и сигает, как заяц! И переливается — разными красками: красной, синей, зеленой!

Но он был враль, и я ему не верил.

Днем я пошел к Федору Антоновичу и со всеми христосовался. Федор Антонович подставил щеку, а Ольга Андреевна поцеловала меня трижды в губы, и я едва не задохнулся от счастья.

Любовь ощутимо, как болезнь, сидела в груди, и просыпаясь утром, я чувствовал ее, как чувствуешь ангину в горле, но это было сладостное чувство. Я сразу же вызывал в воображении лицо, и улыбку, и голос, и запах духов Ольги Андреевны, и очарование длилось и все нарастало с каждым днем. В конце пасхальной недели Ольга Андреевна уехала, и я очень страдал, даже в подушку плакал, однако оставалась надежда, что летом она приедет гостить на целый месяц. Я все пытался дома по памяти нарисовать ее портрет, и один рисунок получился довольно схожий, но еще больше был похож на нее портрет Генсборо «Мисс Линлей с братом», на который я не мог насмотреться. Если вы помните ангельское лицо мисс Линлей, то поверите мне, что Ольга Андреевна была редкой красавицей и не влюбиться в нее было невозможно. Портрет Генсборо был напечатан в издательском проспекте «Истории искусств» Вермана, который высылался бесплатно по получении открытки с адресом. Я всегда посылал такие открытки, и случалось, что издательские проспекты приносили нечаянные радости.

Всю пасхальную неделю колокольные были открыты для всех желающих звонить в колокола, и веселый трезвон раздавался с утра и до вечера. Мы с Федей тоже лазали трезвонить. Я посмотрел вниз и почувствовал холодок на спине: ух, высоко! Как летали в прошлом году — страшно не было, а здесь почему-то появилась боязнь высоты. Отчего бы это? Странная мысль пришла мне в голову. Неужели же оттого, что?.. Но об этом потом.

На пасхальной неделе ходил по приходу поп Василий с причтом. Был и у нас, служил службу, ходил по комнатам и кропил кропилом все стены святою водой. В знак благоволения остановился у пасхального стола и что-то пожевал, а дьякон и дьячок пропустили по рюмочке лиссабонского. На столе было не хуже, чем у людей: стоял кулич с залитой белой глазурью верхней корочкой, посыпанной разноцветной сахарной крупой, и пасха творожная с миндалем и изюмом, и окорочек, запеченный в тесте, с бумажной бахромой у косточки, и водочка в графине, настоящая на лимонной корке, и бутылочка лиссабонского. Горница была чисто прибрана. В переднем углу висели иконы в фольговых ризах, и перед иконами горела лампадка.

Рядом с иконами висело с одного боку изображение святой горы Афонской, а с другой — портрет Иоанна Кронштадтского. Стены горницы были оклеены немаркими обоями в цветочках, а на стенах в узеньких рамках висели поясные портреты царя и царицы — царь молодой, в красном гусарском мундире, царица в кокошнике, усыпанном жемчугами, с голубою лентой через плечо и алмазной звездой на груди, с открытыми плечами. Еще висела олеография, изображающая князя Владимира, Рогнеду и Изяслава, с картины знаменитого художника В. Полякова, приложение к журналу «Родина», и еще картинка с базара «Капелла в заливе Средиземного моря».

Забегая вперед, вспоминаю, что в 1905 году, после 9 января, царская чета и Иоанн Кронштадтский были сняты со стен и снесены в чулан. Вместо царя с царицей появились купленные на базаре картинки «Норвежские фиорды» и «Извержение вулкана Кракатау», а вместо кронштадтского протоиерея — «Охота на кабана».

А война с японцами все продолжалась, но приносила только одни огорчения. Хотя главнокомандующий генерал Куропаткин говорил: «Гер-

пение, терпение! Мы будем заключать мир в Токио!» — но дела наши были плохи. Охохонюшки, не таких вестей ожидали мы с «театра войны»! Даже подписи под картинками наводили уныние: «Атака японцев на Тюренчен», «Японцы атакуют русские позиции в Цзиньчжоу», «Высадка японцев на Ляодун». Вот тебе и «разобьем твою посуду, разнесем дотла!» Выходит, что наша держава не самая сильная? Мы думали, что сильнее нас нет никого на свете, а нас бьют эти малорослые макаки. Федор Антонович говорит: «Они макаки, а мы «кое-каки» — пушки-то у них дальше наших стреляют!»

Про Куропаткина сочинили стишки: «Куропаткин горделивый прямо в Токио спешил. Что ты ржешь, мой конь ретивый, что ты шею опустил?»

На базаре появилась новая картинка — «Подвиг рядового Василия Рябова»: он стоит на коленях и молится богу перед расстрелом. Его мучили, принуждали перейти в японскую веру, а он претерпел все мучения и остался верным православной вере. Мы спросили у попа Василия:

— Какая вера у японцев?

— Они язычники, — ответил он.

Совсем обидно, что даже язычники нас побивают.

Учебный год подходил к концу. Уроков не задавали, учитель Ляпунов читал нам «Степь» Чехова. В классах выставили зимние рамы, и в промытые стекла заглядывало солнце и освещало на стене большую карту полушарий. Весна!

Когда земля подсохла, наше городское училище ходило за город на праздник древонасаждения. Мы сперва спели хором кантату, присланную по этому случаю из округа:

Малютку-дерево сажая,  
Несем деревьям мы привет...—

а потом копали ямки и высаживали саженцы. После древонасаждения было угощение — попечитель училища, купец Дунаев, прислал фургон, из которого приказчики раздавали каждому по булке, по полфунта колбасы и по два крутых яйца на брата. На другой день в училище был торжественный акт раздачи похвальных листов, и нас распустили на каникулы. Снова началась босая жизнь.

Какое блаженство выкупаться в первый раз и босыми ногами, отвыкшими за зиму от прикосновения земли, ступать по нагретому солнцем песку. Вечером мы с Федей пошли к заветному обрыву. Я подошел к краю и оробел — экая высота! Не верилось, что мы были такими сумасшедшими, что могли прыгать с обрыва и летать по воздуху выше колокольни. Я сделал вид, что залюбовался открывшимся простором — и правда, было хорошо: справа полоска зари, слева первые звезды на сиреневом небе, изгибы реки, темные купы ветел, маленький огонек костра на дальних лугах. Я взглянул на Федю: «Прыгай, а я за тобой». Федя только головой покачал. Мы постояли, постояли, спустились по тропинке и пошли берегом к дому. О полетах — ни слова.

Отчего мы разучились летать? У меня снова мелькнула в голове та мысль, которая замаячила еще тогда, на колокольне. Я перестал летать оттого, что влюбился в Ольгу Андреевну. Человек не может вместить два счастья сразу: любовь и летать. Два таких больших счастья. И моя любовь вытеснила, выжгла старое счастье. Что-нибудь одно, два счастья сразу не бывает.

Ну, а Федя почему? Да все оттого же. Он, наверное, тоже в кого-нибудь влюбился. Разве я проболтался ему про мою любовь к Ольге Андреевне? И он свою любовь от меня спрятал. Мальчики умеют хра-

нить свои тайны. Мы были полны тайн, которые никому не доверяли. И тайну нашего летания мы тоже сохранили. И потом при встречах никогда не заводили о ней речи. Федя продолжал писать стихи, и у него стало совсем хорошо получаться. Вот в этих строчках как будто есть дальний намек на наши ночные полеты. Стихи называются «Вечер после дождя»:

Природа улыбается сквозь слезы...  
 Как воздух чист! Как дышится легко!  
 И ангелы, как легкие стрекозы,  
 В закатном небе реют высоко.

Впрочем, у меня потом придумалось еще и другое объяснение: «теория летучих муравьев». Летучие муравьи летают только на ранней стадии развития, а потом ползают по земле, как и все другие муравьи. Может быть, и у людей способность летать проявляется только в детском возрасте, а потом люди утрачивают эту способность и даже забывают о ней?

Ну, а любовь? О, если бы я мог написать теперь, что моя первая любовь светила мне далекой звездой всю мою жизнь! Нет, все случилось по-иному.

В июле приехала наконец Ольга Андреевна, моя красавица, моя богиня. Она приехала не одна, с нею вместе приехал ее младший брат Василий Андреевич, студент Военно-медицинской академии. Верно, вся их порода была такая — он тоже был красив: блондин, еще безусый, белый лоб, точеный нос, ямочка на подбородке, волевой профиль, близорукий, в пенсне. Студенты Военно-медицинской академии носили военную форму, она ему очень шла. Он сразу же подружился с нами — с Агафоном и со мною. Мы втроем уходили на целый день в далекие прогулки, бродили по лесам, купались в реке, валялись на песочке. К сестре Василий Андреевич относился со снисходительным пренебрежением, а с Федором Антоновичем все время спорил о политике. Я помню один их спор по поводу Михайловского. Дядя говорил:

— Ты забываешь о цензурных условиях. Он же не мог говорить в полный голос, а должен был изъясняться эзоповским языком.

Василий Андреевич, раздувая ноздри:

— Надоели нам эти сюртучники!

Оба курят папиросы, у обоих тонкие красивые пальцы, точеные испанские носы: алексеевская порода! Я разыскал портрет Михайловского в «Журнале для всех»: умное, серьезное лицо, пенсне, папироса в руке, сюртук, симпатичный, но значит — он теперь уже не кумир молодежи, как его называл Федор Антонович?

Иногда при моем появлении дядя и племянник прерывали разговор или говорили намеками, по обрывкам речи и по обинякам я понимал, что говорят о террористах, которые убили министров Сипягина и Плеве. Я догадывался, что студент не верит в бога. Он никогда и не заикался на эту тему, но мы с Агафоном, сопоставляя иные его речи и умолчания, понимали, что он атеист.

Словом, Василий Андреевич был для нас личностью, полной всяческих загадок, и в этом была его особенная привлекательность. Уж не революционер ли он, может быть, террорист даже? По своей привычке прикидывать живых людей к литературным героям я находил, что Василий Андреевич похож на Анжольраса из «Отверженных». Студент Анжольрас — юный, прекрасный, неподкупный, смелый, чистый, жестокий — был вожакom защитников баррикады на улице Шанврери. Он без пощады приговорил к смерти полицейского агента Жавера и сам застре-

лил подлого шпиона Кабюка, обманом проникшего на баррикаду. Анжольрас был похож на бога Аполлона. Его расстреляли национальные гвардейцы. «Пронзенный навелет восемью пулями, Анжольрас продолжал стоять, прислонившись к стене, как будто пули пригвоздили его к ней. Только голова его склонилась на грудь...»

И вот теперь революция и атеизм явились мне не в книжке, а в живом облике юного рыцаря Духа. Нужно ли говорить, что я в него сразу же влюбился. Он явно отличал меня и больше возился со мной, чем с Агафоном. У меня и правда были преимущества, первое — я был мальчик, «который хорошо рисует», второе — «у которого красивый почерк», и третье — «который прочитал «Отверженных». Федор Антонович ревновал и за Агафона и за себя, оттого что я теперь проводил больше времени с Василием Андреевичем, который зачем-то стал заниматься со мною латынью. Латинский язык мертвый, лучше бы он учил меня французскому. У меня был «Самоучитель французского языка», но дело шло плохо из-за непонятных носовых звуков *en, in, on, an, un*. Самоучитель этот отдал мне за ненадобностью купеческий сын Вася Кузнецов, который первым в нашем городе купил себе велосипед.

Но Василий Андреевич задавал мне каждый день урок латыни и заставлял заучивать латинские слова, а если я отвечал нетвердо, то даже и распекал: учитель он был строгий.

А Ольга Андреевна подружилась в тот раз с двумя барышнями, дочерьми доктора Войцеховского — Зосей и Басей. Зося и Бася одевались всегда во все одинаковое до последней пуговки: шляпки, блузки, юбки, ботинки и перчатки — что у одной, то и у другой, хотя сестры не были близнецами и совсем не были похожи друг на друга. Зося была брюнетка, даже с усиками, а Бася была рыжая, в веснушках. Они казались немножко смешноватыми на булыжных улицах нашего города: одетые по последней моде, затянутые в корсеты, под вуалетками и под зонтиками. Сестры Войцеховские были католички, но ходили в православную церковь, только крестились не по-нашему, а от левого плеча к правому. И Ольга Андреевна тоже ходила к обедне вместе с ними. После обедни они появлялись мимоходом и принимались щебетать в три голоса. Василий Андреевич иронически поднимал брови:

— На шляпках птичьих перья, под шляпкой птичий мозг.

Теперь Ольга Андреевна не скучала и не искала нас с Агафоном, чтобы пойти гулять. Она проводила время в компании сестер Войцеховских и их кавалеров. Иногда, выходя вечером от страхового агента, я встречал ее, оживленную и веселую, в сопровождении ухажеров. Однажды я увидел ее у калитки их дома с долговязым Сашкой Дурново и нарочно остановился, будто для того, чтобы завязать шнурок на ботинке. Сашка выламывался перед нею, играя своею модной тоненькой, в милицейской толщиной, тросточкой, ржал, показывая все свои лошадиные зубы, и все повторял глупое: «Же не вё па, же не пё па, же не манж па де ля репа». А она смотрела на его ломанье своими «божественными очами» и благосклонно ему улыбалась.

«Ну и целуйся с этим губошлепым дураком,— думал я в ревнивой злобе,— я тебя презираю».

Моя любовь к Ольге Андреевне переживала жестокие испытания. Мне открывалось, что мой кумир просто хорошенькая пустенькая барышня. Любовь истлевала с каждым днем, и однажды я обнаружил, что она умерла.

Было все это или не было? Это было так давно, что я не смею ни на чем настаивать. Если и было, то в ином, заколдованном царстве детства.

Переходя из возраста в возраст, мы забываем свое прошлое. Мы меняем души, не тела, сказал поэт. Но вот наступает старость — возраст воспоминаний, и из кладовых памяти появляются клочки виденных когда-то пейзажей и лиц, обрывки речей, звуки голосов, тени запахов, зарницы былых радостей, осадок пережитого стыда. В косых лучах уходящего дня тени становятся длиннее и резче. Нет никого из тех, кого я здесь вспоминаю, давно нет в живых моего Феде, с которым мы летали в летние ночи шестьдесят шесть лет назад.

Федя не вышел ни в поэты, ни в летчики, ни в авиаконструкторы. Стихи он, правда, писал, но только для стенгазеты своего учреждения, где он работал инженером-экономистом. Учреждение это помещалось на Кировской в безобразном доме, построенном гениальным Корбюзье. В 1941 году Федя пошел добровольцем в ополчение и погиб в боях за Москву.

Абрамцево, лето 1969 года.

Жаркие дни, гремит гроза, стучит дождь по крыше, расцвел иван-чай...



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. НОВИКОВ,

*Главный маршал авиации,  
дважды Герой Советского Союза*

★

## В НЕБЕ ЛЕНИНГРАДА

(О) героической девятисотдневной обороне Ленинграда написано уже немало. И все же к этим дням долго еще будут обращаться историки, писатели, мемуаристы. Долг сердца повелевает, чтобы никто и ничто не было забыто. Именно этот долг руководил и мной, когда я взялся за перо, чтобы рассказать о том, что мало известно, а возможно, и вовсе не известно нынешнему поколению, и тем самым дополнить героическую летопись Великой Отечественной войны еще несколькими страницами из тех многих, которых ей недостает.

\* \* \*

Великая Отечественная война застала меня в должности командующего военно-воздушными силами Ленинградского округа. Но формально я уже не был им, так как накануне получил назначение на такую же должность в Киевский особый военный округ.

В середине июня 1941 года вместе с группой руководящих работников округа, возглавляемой командующим — генерал-лейтенантом М. М. Поповым, я отправился в полевую поездку под Мурманск и Канда拉克шу. Но 20 июня меня неожиданно по приказу наркома обороны С. К. Тимошенко вызвали в Москву. На следующий день, в субботу, я вернулся в Ленинград и тотчас позвонил в наркомат. Генерал Злобин, состоявший при наркоме для особых поручений, сообщил, что меня переводят в Киев.

В то время военно-воздушные силы Киевского округа возглавлял генерал Е. С. Птухин, мой друг и бывший сослуживец по Смоленску. Он воевал в Испании, был отличным летчиком и способным военачальником, и я, естественно, осведомился, куда переводят Евгения Саввича. Злобин как-то замялся. После недолгой паузы он ответил, что вопрос о Птухине еще не решен, а мне надлежит быть у маршала в 9 часов утра 23 июня, и повесил трубку.

Я заказал билет на «красную стрелу» и стал готовиться к отъезду. К концу дня, когда я вызвал машину, чтобы ехать домой, в кабинет вошел начальник Главного управления обучения, формирования и боевой подготовки ВВС Красной Армии генерал А. В. Никитин.

— Хорошо, что вы вернулись, — сказал Алексей Васильевич. — Я закончил инспекционную поездку по авиачастям округа и завтра вылетаю в Архангельск. Отчет мой готов, он будет передан вам. В общем, дела у вас идут неплохо, но мне хотелось бы кой о чем проинформировать вас, Александр Александрович. Есть вопросы, которые лучше всего утрясти в личной беседе.

Я хотел было сказать Никитину, что уже не являюсь командующим ВВС округа, но передумал: с таким вдумчивым, хорошо знающим свое дело человеком, как Алексей Васильевич, всегда полезно побеседовать с глазу на глаз. Замечания Никитина о вводе в строй молодых летчиков, состоянии учебной базы, штурманской и боевой подготовке пилотов оказались интересными, и разговор наш затянулся.

Был уже первый час ночи, и я предложил Алексею Васильевичу переночевать у меня, но он отказался, сославшись на то, что там, где он остановился, его ждет помощник.

Мы вышли из штаба округа на Дворцовую площадь, попрощались и разъехались в разные стороны.

В доме все уже спали, только мой отец, по давнишней привычке читать на ночь, сидел в кухне и шуршал страницами книги. Я прошел в ванную, чтобы принять душ и освежиться после напряженного дня. Но не успел раздеться, как в коридоре раздался телефонный звонок. «Кого это еще нелегкая?» — с неудовольствием подумал я и направился к телефону.

Звонил начальник штаба округа генерал Д. Н. Никишев. Дмитрий Никитич велел срочно прибыть к нему по очень важному делу. Я ответил, что свои обязанности командующего ВВС уже передал генералу А. П. Некрасову и завтра, а точнее уже сегодня, вечерним поездом выезжаю в Москву.

— Знаю, знаю, Александр Александрович! — нетерпеливо перебил Никишев. — И все же прошу немедленно явиться в штаб. Все объясню при встрече. Жду вас.

Собираясь в штаб, я думал: чем вызван этот ночной звонок? Прежде всего, конечно, мелькнула мысль о войне. В последние недели обстановка на западной границе страны быстро накалялась. В июне уже явно запахло порохом. Мы у себя в округе не очень-то верили, что слухи о намерении Германии, как об этом говорилось в Заявлении ТАСС от 14 июня, разорвать советско-германский пакт о ненападении и развязать с нами войну «лишены всякой почвы», и догадывались, что документ этот вызван к жизни политическими соображениями.

К нам в округ сведения о подготовке гитлеровцев к войне начали поступать еще весной 1940 года. Так, в мае стало известно, что в немецких войсках, оккупировавших Норвегию, почему-то изучают не норвежский, а русский язык. В сентябре поступило донесение о сосредоточении фашистских войск на Севере. В декабре нам передали о выдвигении к норвежско-финской границе большого количества живой силы и боевой техники немцев и предупредили, чтобы мы были на чеку, так как весной 1941 года ожидается нападение на Ленинград.

Усиленная подготовка к войне с нами велась и на территории Финляндии. В сентябре 1940 года нами было отмечено появление в Лапландии немецких частей, прибывших из Германии морем. Порты Ботнического залива вдруг оказались на особом режиме и закрытыми для свободного проезда через них. В прилегающих к СССР приграничных районах Финляндии была создана запретная зона, в которой началось интенсивное дорожное строительство.

В мае—июне 1941 года в штаб округа поступали сообщения о развертывании немецких войск на мурманском и кандалакшском направлениях. С 10 июня в Финляндии началась скрытая мобилизация и переброска войск к нашей границе. Население приграничных районов эвакуировалось в глубь страны. В первых числах июня у границы все чаще стали появляться группы финских и немецких офицеров. Активизировалась деятельность вражеской агентуры. Захваченные нами лазутчики подтверждали сведения о том, что в Финляндии находятся значительные военные силы фашистской Германии. Немецкие самолеты все чаще и чаще нарушали воздушную границу СССР. Но пресечь их полеты мы не могли: незадолго до войны начальник оперативного отдела штаба округа генерал П. Г. Тихомиров сказал мне, что запрещено выводить войска к границе и открывать огонь по немецким самолетам даже в случае вторжения их в глубь нашей территории.



Безнаказанность гитлеровских летчиков производила гнетущее впечатление. Иной раз рука сама собой тянулась к телефонной трубке, чтоб вызвать командира истребительной авиадивизии и приказать ему немедленно сбить нарушителя и на его примере проучить других. Но дисциплина быстро гасила этот порыв.

Однажды я все же не стерпел. Случилось это во время полевой поездки командующего округом и работников штаба округа на северные участки советско-финляндской границы. Под Кандалакшей в Куола-Ярви Попов сделал оставление.

Все, у кого были бинокли, неотрывно смотрели с небольшой высоты на лесные, подернутые голубоватой дымкой дали, где проходила государственная граница. Пограничники сообщили командующему о начавшемся выдвигении немецких войск к нашей территории. Действительно, над недавно глухими лесами там и сям висели полосы пыли. Это могло быть только от интенсивного движения больших масс людей и техники.

Прошло минут пятнадцать — двадцать, и в полуденную тишину ворвался рокот мотора. Рокот, переходя в гул, быстро нарастал и приближался. И вот чуть в стороне от нас, четко фиксируясь на чистой лазури неба, показался воздушный разведчик со свастикой на плоскостях. Он летел на крейсерской скорости, и всем стало ясно, что немцы везут фотосъемку приграничного района.

— Да что же это наконец! — воскликнул Маркиан Михайлович и резко повернулся ко мне. — Неужели мы ничего не можем предпринять и позволим этому наглецу совершить свое дело?

Я хотел было промолчать: ведь Попову было хорошо известно, как велено поступать в таких случаях, но не сдержался.

— Конечно, можно, товарищ командующий! — быстро и горячо заявил я. — Нужно лишь ваше приказание посадить на ближайший полевой аэродром звено или эскадрилью истребителей и разрешить летчикам сбивать нарушителей границы. Наглецов как ветром сдует.

— Да-а! — с досадой протянул Попов и тяжело вздохнул.

По этому вздоху я понял, как даже командующий округом скован в своих действиях, и, досадуя на свою бестактность, подумал, что в других западных приграничных округах положение, наверно, еще хуже, что и их командующие, вероятно, вот так же смотрят на наглые полеты немцев.

После войны мне довелось познакомиться с одним любопытным документом. Из него я узнал, что воздушную разведку советской территории фашисты начали вести еще с конца 1939 года. Но особенно активизировалась шпионская деятельность немецких ВВС с января 1941 года. С января по конец второй декады июня фашистские самолеты 152 раза вторгались в глубь нашей страны. Гитлеровцы сфотографировали и составили специальное фотодосье на многие наши аэродромы, важнейшие военные, промышленные и транспортные объекты в западных областях страны, в том числе на военные объекты Киева, Одесского и Севастопольского портов, заводов Днепропетровска, Харькова, Мариуполя и других городов, на Днепрогэс, на основные мосты через Днепр, Днестр и Дон.

Лишь много позже выяснилось, что шпионским полетам немецких летчиков способствовал не кто иной, как сам Берия, возглавлявший в то время Наркомат внутренних дел. Именно он запретил пограничным войскам стрелять по фашистским самолетам, нарушавшим нашу границу, и того же добивался от частей Красной Армии и кораблей Военно-Морского флота.

Мы у себя в округе такой информацией тогда, разумеется, не располагали и все же не сидели сложа руки, а делали, исходя из наших прав и возможностей, все, чтобы будущие события не застали нас врасплох: принимали меры для повышения боевой готовности войск, уточняли планы, изучали будущего противника. Я приказал усилить воздушные патрули и чаще посылать их вдоль границы для наблюдения за наземной и воздушной обстановкой. Работа эта велась в соответ-

ствии с директивой наркома обороны, потребовавшего к концу мая 1941 года составить окружные планы обороны границы.

Тревожные мысли все больше овладевали мной, пока я собирался к Никишеву. Отец молча смотрел на мои недолгие сборы. Старый солдат, участник трех войн — русско-японской, первой мировой и гражданской,— он понимал, что может означать этот ночной вызов.

Раздался звонок в дверь. Отец пошел открывать ее.

— Здравствуйте, Александр Иванович! --- донесся из прихожей голос шофера Холодова. — Доложите командующему, что машина у подъезда.

Подхватив чемоданчик со сменой белья и туалетными принадлежностями, я вышел в коридор.

— Ну, я поехал. Не волнуйтесь и ждите моего звонка,— тихо произнес я.

— Может, все обойдется, Шура,— провожая меня понимающим взглядом, ответил отец.

Садясь в машину, я вспомнил недавний разговор с начальником разведывательного отдела штаба округа Петром Петровичем Евстигнеевым, большим умницей и милейшим человеком. У нас с ним сразу же установились прекрасные взаимоотношения, и Петр Петрович обо всем всегда вовремя и достаточно полно информировал меня. Евстигнеев сообщил тогда, что немецкие пароходы внезапно прекратили разгрузку и погрузку в Ленинградском порту и поспешно уходят в море, а в германском консульстве по ночам жгут много бумаги.

— Уж ежели такие аккуратисты уничтожают документы, не жди невинного дипломатического пикника с пивом и сосисками,— невесело пошутил Евстигнеев.

Черный «ЗИС» быстро мчался по безлюдному Измайловскому проспекту. Минут через десять я вошел в кабинет Никишева. Дмитрий Никитич был очень взволнован. Он тут же, без всяких предисловий, сказал, что на рассвете 22 июня, то есть уже сегодня, ожидается нападение Германии на Советский Союз, и приказал немедленно привести авиацию округа в полную боевую готовность.

— Но пока, до получения особых указаний из Москвы, конкретных боевых задач летчикам не ставить. Распоряжения прошу отдать лично.

Я вновь напомнил, что уже не являюсь командующим ВВС округа.

— Сдали дела, знаю,— сердито перебил меня Никишев.— Но приказа о вступлении в должность генерала Некрасова еще нет. Завтра из Мурманска вернется Попов, а из Сочи, вероятно, прилетит Жданов, они и примут окончательное решение о вашем замещении. А пока командующим авиацией я считаю вас.

Обстановка исключала какие-либо препирательства, и я согласился. Но мне было непонятно, как это авиацию привести в полную боевую готовность, а конкретных боевых задач ей не ставить? Ведь если война, то и действовать надо, как на войне. Без четких задач, без знаний целей, по которым придется наносить удары, авиацию тотчас в дело не пустишь, особенно бомбардировочную. У бомбардировщиков боекомплект зависит от поражаемого объекта: для ударов по живой силе он один, по укреплениям — другой, по аэродромам — третий. И я незамедлительно сказал о том Никишеву.

— Что вы, Александр Александрович, разъясняете мне азбучные истины! — рассердился начальник штаба.— Нам же приказано ясно: конкретных боевых задач не ставить. А приказ надо выполнять. Вот, прочитайте-ка!

Никишев протянул мне только что полученную телеграмму за подписями наркома обороны С. К. Тимошенко и начальника Генштаба Г. К. Жукова.

Я быстро пробежал ее глазами. После слов о возможности нападения Германии на СССР в ней предписывалось войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов быть в полной боевой готов-

ности встретить внезапный удар немцев или их союзников. Нарком приказывал в течение ночи скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе, рассредоточить по полевым аэродромам авиацию, привести в боеготовность все войска и осуществить соответствующие обстановке мероприятия в системе ПВО. Других приготовлений без особых на то распоряжений приказывалось не проводить.

Это по существу была война, и я непроизвольно взглянул на часы — было уже около 2 часов ночи.

Вернувшись к себе в штаб, я по телефону обзвонил командиров всех авиасоединений, приказав немедленно поднять части по сигналу боевой тревоги и рассредоточить их по полевым аэродромам, от себя же добавил, чтобы для дежурства на каждой точке базирования истребительной авиации выделили по одной эскадрилье, готовой к вылету по сигналу ракеты, а для бомбардировщиков подготовили боекомплект для нанесения ударов по живой силе и аэродромам противника. Отдав приказания, я обошел управление. Убедившись, что все штабные работники на месте, вызвал к себе заместителя главного инженера ВВС округа А. Л. Шепелева и уехал с ним на один из ближних к Ленинграду аэродромов, куда накануне прибыл эшелон новых скоростных истребителей МиГ-3.

Так началась для меня война. В город же она вошла в 3 часа утра, когда ленинградцы еще крепко спали. В это время высоко в небе промчалась девятка истребителей, ведомая старшим лейтенантом Михаилом Гнеушевым. Еще через двадцать минут под Ленинградом разгорелась первая воздушная схватка — летчики-истребители Шавров и Бойко вступили в бой со звеном Ме-110. В 4 часа утра двенадцать немецких самолетов пытались заминировать фарватер в Финском заливе, но были отогнаны морскими летчиками. Несколько позже четырнадцать Ме-109 сделали попытку отштурмовать один из наших аэродромов под Выборгом. Врага встретила и прогнала группа летчиков 7-го истребительного авиаполка во главе со старшим лейтенантом Николаем Свитенко.

Так ленинградские летчики встали на свою самоотверженную и долгую боевую вахту.

\* \* \*

Документы, которыми мы теперь располагаем, неопровержимо свидетельствуют о том, какое огромное значение придавали заправилы фашистского рейха скорейшему захвату Ленинграда. Гитлеровцы намеревались взять Москву лишь после того, как падет Ленинград и будет создан на севере общий фронт с финской армией. Еще в феврале 1941 года на совещании с высшими военными руководителями Гитлер заявил, что прежде всего надо разгромить советские войска на севере. В ходе самой войны начальник генерального штаба немецких вооруженных сил генерал Кейтель в дополнение к директиве № 34 от 12 августа 1941 года писал, что до начала наступления на Москву следует покончить с Ленинградом.

Стремясь быстрее овладеть вторым городом нашей страны, гитлеровцы заранее готовились стереть его с лица земли. «Непоколебимым решением фюрера является сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы будем кормить в течение зимы. Задачу уничтожения городов должна выполнить авиация», — записал 8 июля 1941 года в своем служебном дневнике начальник штаба сухопутных войска Германии генерал Гальдер.

Почему же эта варварская роль отводилась авиации?

Еще в начале тридцатых годов на Западе большую популярность обрела теория «воздушной войны», разработанная итальянским генералом Дуэ. Он исходил из того, что якобы в современных условиях авиация одна в состоянии решить исход войны, нанося массированные бомбовые удары по важнейшим военно-эко-

номическим центрам противника и воздействуя на моральное состояние населения.

Во второй половине тридцатых годов, когда политическая обстановка в мире, особенно в Европе, стала быстро накаляться, в главных капиталистических странах начался бурный рост вооруженных сил, и в первую очередь авиации. К этому времени в авиастроении произошел стремительный скачок. Достижения науки и техники позволили весьма быстро улучшить все летно-технические и боевые качества самолетов. В Англии, Германии, Италии, Франции военно-воздушные силы, по примеру сухопутных вооруженных сил и морского флота, были выделены в самостоятельный род войск.

Популярности взглядов Дуэ способствовали и успехи в авиастроении, и желание милитаристских кругов наиболее развитых капиталистических стран выиграть будущую войну с наименьшими материальными затратами. Но главенствующим в этом было стремление побеждать «малыми армиями», состоявшими из профессиональных военных. Буржуазия хорошо помнила опыт первой мировой войны, вызвавшей мощную волну антимилиаристских революционных настроений, как огня боялась возникновения такой же ситуации в случае новых вооруженных столкновений и потому пыталась обойтись без призыва под ружье миллионов рабочих и крестьян, которые могли повернуть свое оружие против зачинщиков новой или новых войн. Пришлись по душе эти взгляды и гитлеровцам. Их военно-воздушные силы к концу тридцатых годов стали самыми мощными и совершенными. Германия первая и попыталась применить на практике теорию Дуэ. Правда, в принципе верховное командование вермахта и германский генштаб не были сторонниками этой теории, что подтверждается всей практикой гитлеровских ВВС в войне на советско-германском фронте. У фашистов была своя военно-воздушная доктрина, отводившая авиации хотя и ударную, но подчиненную по отношению к сухопутным силам роль. Но в выгодных для себя ситуациях гитлеровцы не раз действовали по рецептам Дуэ, как это и было в воздушной войне с Англией. Гитлер бросил на Британские острова не только основные ударные бомбардировочные — силы своих воздушных флотов, но и наиболее опытные летные кадры. Среди них были такие асы, как Вегнер и Мюнхенбергер. Вегнера называли, и не без основания, «королем бомбометания». Он бомбил Варшаву, Роттердам, Лондон, Коventри, Дюнкерк. Во время налетов на Лондон Вегнер выполнял специальные задания Геринга. Мюнхенбергер слыл мастером «слепого» самолетовождения: он летал при любой погоде днем и ночью. Кстати, и Вегнер и Мюнхенбергер в конце 1941 года были сбиты ленинградскими летчиками.

Гитлеровцы долгое время подвергали Англию мощным бомбовым ударам, нещадно уничтожая не только ее военно-промышленные объекты, но и население. Но им так и не удалось выиграть воздушную войну против Англии. Варварские бомбардировки не только не запугали англичан, а, напротив, еще больше укрепили их волю к сопротивлению. Оправившись от первых налетов, заставших их врасплох, англичане сумели затем создать сильную систему противовоздушной обороны и стали наносить гитлеровцам весьма ощутимые удары.

Вторично применить в столь же значительном масштабе теорию «воздушной войны» нацисты попытались в сражении за Ленинград. Выполняя план своего командования, фашистские летчики начали с конца июля 1941 года регулярно бомбить город. Четыре месяца, вплоть до конца ноября, «юнкерсы» и «хейнкель» упорно рвались к Ленинграду, не считаясь ни с какими потерями, хотя они были очень ощутимы.

Мне, тогдашнему командующему ВВС Ленинградского фронта, эти бомбежки особенно памяты. В то время гитлеровская авиация значительно превосходила нашу и по численности, и по качеству своих самолетов. Каждая боевая машина, каждый летчик у нас в Ленинграде были тогда буквально на вес золота. Пополнения же поступали скудно, и осенью 1941 года численное превосходство врага в небе стало подавляющим. Наши летчики, наши зенитчики воевали с пре-

дельным напряжением сил, а противник все наращивал и наращивал мощь своих ударов по городу. Начиная с 6 сентября почти ни одна ночь не обходилась без бомбежек. Вражеские налеты нередко длились по девять и более часов подряд. Только за три месяца — сентябрь, октябрь, ноябрь — сигнал воздушной тревоги подавался двести пятьдесят раз.

Защищая город Ленина, советские летчики дрались с невиданным мужеством, не колеблясь жертвовали своей жизнью. Воздушные часовые Ленинграда нанесли по врагу тридцать один таранный удар. Это по официальным зафиксированным данным, а фактически даже более пятидесяти. Всего же за годы Великой Отечественной войны советские летчики применяли этот опаснейший для собственной жизни прием воздушного боя двести одиннадцать раз. Разумеется, число это не окончательное.

Как только пород оказался в пределах досягаемости огня тяжелых орудий, гитлеровцы начали против Ленинграда и артиллерийскую войну. Во второй половине сентября 1941 года, когда линия фронта стабилизировалась, фашисты установили по всему южному полукружью обороны города осадные орудия от 150- до 420-миллиметрового калибра.

Как уже говорилось, у вражеской авиации и артиллерии была одна задача — превратить город в груды развалин, а население его уничтожить. Об этом свидетельствовали и показания пленных, и секретные документы командования вермахта, оглашенные на Нюрнбергском процессе.

В октябре 1941 года верховное командование фашистских вооруженных сил издало специальную директиву относительно судьбы Ленинграда. В ней, в частности, предусматривалась возможность возникновения в блокадном городе эпидемии. Опасаясь, что эпидемия сможет выйти за пределы Ленинграда, гитлеровское командование приказывало уничтожать население орудийным огнем, если оно вдруг начнет покидать город.

Сперва враг вел беспорядочный огонь, стремясь прежде всего воздействовать на моральное состояние ленинградцев, но вскоре, в ноябре, приступил к планомерному систематическому обстрелу. Гитлеровцы разработали специальный график обстрелов. Особенно интенсивно велся огонь во время рабочих смен на предприятиях и наибольшего оживления на улицах города. На картах гитлеровских артиллеристов были отмечены и занумерованы не только все наиболее важные промышленные предприятия города, но и детские учреждения, больницы, музеи, архитектурные памятники. Эрмитаж, например, значился как цель № 256, Дворец пионеров — цель № 192, больница имени Нечаева — цель № 99.

К концу 1941 года на юге, от Финского залива до Ладожского озера, действовало уже несколько группировок осадной артиллерии противника. Над Ленинградом витала смерть: воздушная тревога сменяла артиллерийскую, артиллерийская — воздушную. И так дни, недели, месяцы. С начала сентября по конец ноября город был обстрелян 272 раза. В сентябре на улицах города разорвалось 5364 снаряда, в октябре — 7590, в ноябре — 11 230. Бывали дни, когда фашистские артиллеристы-убийцы вынуждали население по восемнадцать часов подряд находиться в убежищах. Так было 15 и 17 сентября.

Я очень хорошо помню эти жуткие дни. Они последовали после жесточайших воздушных налетов, длившихся трое суток подряд — с 8 по 10 сентября. Больницы и госпитали не успевали принимать раненых, похоронные учреждения — готовить могилы на кладбищах.

Защитникам Ленинграда пришлось приняться за контрбатарейную борьбу. Это было нелегко — отыскивать осадные орудия врага и вести только прицельный огонь. По сути дела это был новый вид боевых действий, который не предусматривали наши уставы и наставления, да к тому же осваивался он буквально под огнем неприятеля. Поэтому, пока не был приобретен опыт, все действовали врозь — и армия, и флот, и авиация. Лишь в марте 1942 года контрбатарейная борьба сложилась в единую и четкую систему.

Основная тяжесть в этой борьбе, конечно, легла на плечи артиллеристов армии. Но и летчики приложили тоже немало усилий. Они не только вели воздушную разведку, но и при малейшей возможности стремились уничтожить обнаруженные осадные орудия противника. Помощь авиации в этот период была особенно ценна, так как наша артиллерия сидела на голодном пайке: суточная норма на орудие составляла три-четыре снаряда. Командование нашего фронта сохраняло их неприкосновенный запас на случай вражеского штурма города, гитлеровским же артиллеристам для обстрела города отпускалось неограниченное количество снарядов.

Такова была в общих чертах обстановка под Ленинградом в 1941 году. В памяти моей сохранилось много событий и эпизодов из боевой жизни летчиков той поры, но я расскажу лишь о нескольких, наиболее мне запомнившихся.

### ИЮНЬ—ИЮЛЬ 1941 ГОДА

Первые часы войны были особенно гяжкими. Состояние наше еще более усугублялось почти полным неведением того, что же происходит на всей нашей западной границе южнее Ленинграда. Лишь в девятом часу утра 22 июня нас, командующих родами войск, ознакомили с новой директивой. В ней говорилось, что 22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкая авиация бомбила наши аэродромы и города, а наземные войска открыли артиллерийский огонь и вторглись на советскую территорию. Приграничным армиям приказывалось разгромить противника, но только в районах вторжения, причем указывалось, что границу до особого распоряжения не переходить. Авиации разрешалось наносить удары лишь по германской территории и только на глубину до полутораста километров. на союзников же третьего рейха — Финляндию и Румынию — налеты вообще запрещались.

А в 12 часов дня по радио мы услышали правительственное сообщение о нападении Германии на нашу страну и о вступлении Советского Союза в войну. Война как таковая окончательно стала реальностью.

К этому времени на улицах многих наших западных городов рушились от бомбовых взрывов дома и полыхали пожары. А в ночь на 23 июня сигнал воздушной тревоги прозвучал и в городе Ленина, и тогда же впервые заговорили зенитные орудия. 194-й зенитно-артиллерийский полк ПВО встретил огнем группу бомбардировщиков Ю-88, летевших со стороны Финского залива. Ровно в 00 часов 10 минут батарея старшего лейтенанта А. Т. Пимченкова сбила первый самолет с фашистской свастикой на крыльях. Экипаж уничтоженного Ю-88 спустился на парашютах и был пленен. Гитлеровские летчики оказались ранеными, и их доставили в Левашовский госпиталь.

Любопытно было взглянуть на своих врагов, и я приехал на допрос пленных. Все четверо твердили одно: они, дескать, летели бомбить Англию, но потеряли ориентировку и потому оказались под Ленинградом. Нелепость их заявления была очевидна, в нем было больше наглости, чем страха перед расплатой, и все же я осведомился, давно ли они в авиации. Опыт у них оказался солидным — все участвовали в войне с Францией, не раз бомбили города Англии.

Я посмотрел в глаза командиру экипажа. Хотя бы мускул дрогнул на его молодом лице, только в глазах стыло ледяное высокомерие. И взгляд его сказал мне больше, чем все, что я до сих пор читал и знал о гитлеровцах. Передо мной был враг, не только отлично вооруженный и упоенный легкими победами на полях и в небе Западной Европы, но враг жестокий и беспощадный, физически и духовно подготовленный к большой войне и готовый на любые преступления ради достижения своих человеконенавистнических целей.

Ответы летчика только подтвердили мое впечатление. Он цинично дал понять, что прекрасно разбирается в происходящем, понимает, что бомбы — не

манна небесная, а война — не детская забава. У гитлеровца были и чувства и разум, но работали они, как адская машина, — только на разрушение. Позже, когда наступил час расплаты, такие, как этот летчик, пытались выкручиваться, взывать к нашим чувствам и доказывать: мол, они были слепыми исполнителями чужой воли и приказов, ничего не знали, не только не понимали, но даже не догадывались об истинных целях заправил фашистской Германии.

Чем больше я слушал командира экипажа, тем яснее мне становилось, что победить такого врага будет нелегко.

В тот же день в районе Пскова летчик 158-го истребительного авиаполка Андрей Чирков сбил другого воздушного разбойника — Хе-111.

Так началась упорная и ожесточенная борьба в небе Ленинграда. Особенно тяжкими для воздушных защитников города Ленинграда были первые полтора месяца. В августе и сентябре во время боев на ближних подступах к Ленинграду было еще труднее, но то были иного рода трудности, чем в июле. К тому времени мы уже изучили немцев, их тактику и возможности их техники, убедились, что можем бить врага, и если обстановка в небе в августе—сентябре была не в нашу пользу, то в основном это объяснялось острой нехваткой авиации, ограниченностью аэродромного маневра и качественным превосходством вражеских самолетов. В умении же воевать ленинградские летчики уже не уступали гитлеровцам, как это было в июле. Требовалось время, чтобы обрести недостававший нам боевой опыт и организационно перестроиться, найти слабые звенья в тактике и управлении авиацией. Перестраиваться же приходилось в ходе боев, под ударами опытного и отлично организованного противника.

Первые три дня мы вели борьбу лишь с одиночными и небольшими группами самолетов противника, пытавшегося прощупать воздушные подступы к городу.

До конца июня наши летчики не допустили бомбежек Ленинграда, Кронштадта, Выборга и городов Карелии. Но, отдавая должное нашим пилотам, мы понимали, что их успех в значительной мере обусловлен малой активностью авиации противника, главные ударные силы которой здесь еще не вступили в дело. Логика подсказывала, что не следует ждать, когда враг бросит в бой всю авиацию, что надо попытаться самим захватить инициативу в воздухе и первыми нанести авиации гитлеровцев массированные удары.

Мысль об упреждающих ударах по вражеским аэродромам возникла у меня в первый же день войны. И это было естественно: она вытекала из сути общей теории оперативного искусства советских ВВС.

К тому времени у нас была разработана довольно четкая программа боевых действий авиации и для отдельной операции, и для войны в целом. Во «Временной инструкции по самостоятельным действиям воздушных сил РККА», изданной в 1936 году, указывалось, что «боевая авиация благодаря мощи своего вооружения, скорости и большому радиусу действия может решать крупные оперативные задачи во все периоды войны». (Выделено мной. — А. Н.)

Наконец, уже имелось убедительное подтверждение огромной роли авиации в современной войне и на практике. Правда, пальма первенства здесь принадлежала немцам, которые внимательно следили за всеми нашими новинками в области военного искусства и быстро внедряли их у себя.

Еще до нападения на нас гитлеровцев я обратил внимание на необычайную эффективность действий бомбардировочной авиации немецких ВВС. Едва только начиналась война, как авиация того или иного противника Германии почти начисто выбывала из строя. Заимствовав у нас идею массированного применения военно-воздушных сил и правильно решив, что завоевание господства в воздухе не только тактическая, но и оперативно-стратегическая задача, гитлеровцы с первых же дней войны стремились нанести решающее поражение авиации противни-

на. Мощными ударами бомбардировщиков по его основным глубинным аэродромам они прежде всего старались уничтожить истребительную авиацию как главное средство борьбы за господство в воздухе. Так было всюду: при вторжении в Польшу, Данию, Бельгию, Голландию, Францию.

Подобного рода действий следовало ожидать от фашистов и в войне с нами. Вот почему поступившие к нам в округ сообщения о бомбардировке немецкой авиацией таких глубинных объектов, как Рига, Каунас, Минск, Смоленск, Киев, Житомир, Севастополь, не были для меня неожиданностью. Поразила лишь легкость, с какой вражеские самолеты столь далеко проникли на нашу территорию. Факт этот настораживал. Нужно было принимать срочные меры, чтобы извратить Ленинград от участи городов, подвергшихся яростной бомбардировке в первые же часы войны. Такими мерами были собственные активные действия в воздухе. Нужно было не ждать врага, а самим первыми нанести массированные удары по основным финским аэродромам. Я сразу же высказал свои соображения руководящим работникам ВВС округа, они поддержали меня. Мы тут же прикинули наши возможности и решили, что если не будем медлить, то вполне справимся с такой задачей.

Я доложил о нашем плане генералу Попову. Маркиан Михайлович согласился с нами, но сказал, что прежде этот вопрос надо согласовать с Москвой, так как приказ о запрещении налетов на Румынию и Финляндию еще в силе. В тот же день он позвонил маршалу Тимошенко. Нарком проконсультировался в еще более высоких инстанциях, и разрешение было получено.

Для ударов по вражеским аэродромам в Финляндии было выделено 540 самолетов. В операции участвовали ВВС всех общевойсковых армий Северного фронта — 14-й, 7-й и 23-й морских флотов и фронтовая группа. Впервые в истории наших ВВС к одновременным действиям привлекалось такое количество боевой техники, причем на всем фронте — от Выборга до Мурманска. В какие-то сутки предстояло увязать массу больших и малых вопросов, скоординировать действия сухопутной и морской авиаций, частей и соединений по месту и времени, определить методику бомбоштурмовых ударов, их последовательность, выбрать маршруты и первоочередные цели. Операция была рассчитана на шесть суток.

Первый удар по вражеским аэродромам мы намеревались осуществить в ночное время, однако из-за слабой подготовки экипажей к ночным полетам его пришлось перенести на светлое время суток. Он был нанесен 25 июня в 4 часа утра. Воздушная армада из 263 бомбардировщиков и 224 истребителей и штурмовиков устремилась на восемнадцать наиболее важных аэродромов противника.

Налет длился несколько часов. Одна группа сменяла другую. Некоторые объекты подвергались трем-четырем ударам. В итоге первого дня враг потерял сорок одну боевую машину. Успех был налицо, и операция продолжалась. За шесть суток ударам подверглись тридцать девять аэродромов противника. В воздушных боях и на земле враг потерял 130 самолетов и был вынужден оттянуть свою авиацию на дальние тыловые базы, что, естественно, ограничило ее маневренность. А нам только того и требовалось.

Эта первая в истории советской авиации многодневная операция убедила нас, что массированные удары по глубинным аэродромам — надежное средство борьбы с вражеской авиацией. Даже в самые трудные месяцы блокады и при острой нехватке бомбардировщиков мы систематически громили гитлеровскую авиацию на земле, широко используя для этой цели истребители и штурмовики.

Одновременно с налетами на аэродромы наша авиация бомбила железнодорожные узлы, станции и районы сосредоточения финских и немецко-фашистских войск, заканчивавших подготовку к наступлению на мурманском, кандалакшском и выборгском направлениях.



К отпору врагу готовились и наземные войска округа. Все тогда были твердо уверены, что войскам округа, развернутым 24 июня в Северный фронт, придется действовать, как это предусматривалось нашим предвоенным планом, лишь на советско-финской границе — от Баренцева моря до Финского залива. Никто в те дни даже не предполагал, что события очень скоро обернутся совсем иначе, чем мы планировали перед войной, и мы будем вынуждены спешным порядком рокировать основную массу своих войск на юг от Ленинграда.

Действительность опрокинула все наши расчеты. Мощная группировка немецко-фашистских армий «Север», наступавшая из Восточной Пруссии при поддержке 1-го воздушного флота, нанеся поражение нашему соседу слева — войскам Северо-Западного фронта, — стремительно двинулась на Псков и Лугу, чем сразу же поставила Ленинград в чрезвычайно трудное положение.

События развивались молниеносно. 5 июля пал Остров, 9 июля — Псков. Над Ленинградом нависла прямая угроза. Обстановка на фронте диктовала принятие мер быстрых и решительных. И они были осуществлены. Но ох как трудно пришлось нашим наземным войскам!

В не менее трудном и сложном положении оказались и ленинградские летчики. Первые же крупные воздушные бои показали, что основная масса нашей авиации (старая техника) во многом уступает вражеской. Имелись и весьма существенные недостатки в системах организации и управления советскими ВВС, в обучении летчиков и в приложении теории к практике.

Чтобы не быть голословным, я позволю себе небольшой экскурс в предвоенное прошлое. При этом, во избежание упреков в том, что автор приводит много негативных моментов, в силу чего у читателя может возникнуть превратное представление о той деятельности, которую мы проводили в последние предвоенные годы в области всемерного укрепления обороноспособности страны, скажу сразу: Коммунистическая партия и Советское правительство всегда делали все возможное для развития и усиления мощи вооруженных сил нашего социалистического отечества и его военно-экономического потенциала и в кратчайший срок осуществили целый комплекс важнейших оборонных мероприятий. В совокупности с тем, что было сделано раньше, они стали той основой, которая позволила нам выстоять в первые, самые тяжкие месяцы войны, уже летом 1941 года сорвать фашистский план «молниеносной войны», осенью развеять миф о непобедимости гитлеровской армии, нанести врагу огромные потери, а затем рядом последовательных ударов сокрушить мощную военную машину гитлеризма и сам гитлеризм.

Обо всем этом, причем весьма подробно и обстоятельно, написано и сказано много, ничего нового автор добавить не может и потому не считает нужным повторяться, тем более что размеры журнальной публикации этого и не позволяют. К тому же моя задача как человека военного, и даже не просто как такового, а военачальника, призванного в первую очередь наиболее эффективно использовать те силы и средства, что доверила ему страна, показать, с какими трудностями столкнулись наши летчики в первые месяцы войны, как эти трудности влияли на ход событий и как мы все, от рядового пилота до командующего ВВС фронта, одолевали эти трудности, учились в труднейших условиях искусству побеждать.

Наконец, прошу иметь в виду, что трудности в любом деле неизбежны, а учесть их никому и никогда заранее не дано. Критерий теории — практика. Она в конечном счете и определяет ценность теории. И потому я, говоря о трудностях и ошибках в развитии наших военно-воздушных сил и их оперативного искусства в последние предвоенные годы, весьма далек от позиции вещателя абсолютных истин, тем более что, занимая ответственный пост, сам в сфере своего служебного влияния не всегда был последователен и тверд в устранении ошибок или ошибочных тенденций. Увы, и мои права, знания и опыт тоже далеко не всегда были достаточными.

Центральный Комитет партии и Советское правительство всегда придавали огромное значение развитию и совершенствованию военно-воздушных сил страны. Любой сколько-нибудь серьезный вопрос, связанный с жизнью ВВС и самолетостроением, непременно оказывался в фокусе внимания партии. Проблемы и нужды военной авиации и авиапромышленности, начиная с X съезда РКП(б), обсуждались почти на всех съездах и партийных конференциях. Как только в начале тридцатых годов в нашей стране была заложена основа социалистической индустрии, партия и правительство приступили к коренной технической реорганизации военно-воздушных сил. В рекордный срок, в каких-нибудь три года с небольшим, были созданы совершенно новые ВВС, отвечающие не только всем тогдашним требованиям, но и ставшие самыми мощными в мире. Уже в 1938 году одновременный бомбовый залп советской военной авиации превосходил одновременный бомбовый залп ВВС Германии, Италии и Японии. Особенно важен был качественный скачок в истребительной авиации. Советские авиаконструкторы и авиастроители создали первоклассные самолеты, превосходившие по своим летным и боевым данным все однотипные зарубежные машины того времени. Это были истребители И-16 и И-15-бис, скоростной бомбардировщик СБ, бомбардировщики ТБ-3, ДБ-3 (в модификации Ил-4).

В эти же годы бурно развивалось и оперативное искусство авиации. В основу было положено правильное сочетание всех видов авиации, создание мощных авиасоединений, переход к централизованному управлению и массированному применению этого рода вооруженных сил. В принципе тогда же была решена и одна из кардинальнейших проблем авиационного оперативного искусства — большинство практиков и теоретиков сошлось на том, что завоевать господство в воздухе можно лишь путем совместных координированных усилий ВВС нескольких смежных фронтов, авиации Главного командования и ПВО.

Но предвидя огромную роль авиации в будущей войне, мы не обособляли ее от других родов войск; предусматривая ведение крупных самостоятельных действий ВВС, не подменяли ими наземные армии. Главной задачей ВВС была и осталась поддержка сухопутных сил, действия в интересах этих сил.

Оперативное искусство советских ВВС к середине тридцатых годов стало ведущим в мире. Неспроста же в те годы зарубежные военные специалисты устраивали на наши учения и маневры настоящие паломничества.

Правда, не сидели сложа руки и наши потенциальные противники. Мы знали, на что рассчитывают они, занявшись бешеной гонкой вооружения, и какую ставку делают на авиацию. На XVIII съезде партии об этом было сказано достаточно ясно и полно. Неизбежность военного столкновения стала явной, и надо было готовить армию к будущей войне, в том числе и к воздушной. Но в силу ряда обстоятельств во второй половине тридцатых годов в боевой учебе и оснащении советских ВВС новой техникой началось отставание. Это отчетливо сказало во время заключительных боев в Испании, когда гитлеровцы бросили туда свою новейшую авиационную технику. Испания стала для фашистских ВВС первым боевым полигоном, на котором немецкие летчики основательно проверили возможности новых самолетов и частично новую авиационную тактику.

В это время из Испании возвращались советские летчики. Мастера своего дела, смелые и мужественные бойцы, они, к сожалению, в большинстве своем были только летчиками, командирами в основном авиационного профиля, без широкой, общевойсковой подготовки. Их главным образом занимали вопросы боевой тактики, чему способствовал и сам характер воздушной войны в Испании. Все это не позволило «испанцам», как мы стали называть этих летчиков, глубоко проанализировать и оценить итоги воздушных сражений на Пиренейском полуострове и сделать правильные выводы на будущее.

По существу немцы в Испании только пробовали силы и полностью не раскрывали своих карт, да многое им самим еще не было до конца ясно, многое они только нащупывали, применяясь к возможностям новой авиационной техники.

Наконец, если исходить из масштабов большой войны, гитлеровцы имели в Испании незначительные силы авиации, поэтому и действия ее не могли быть массированными.

Для фашистов воздушные бои в Испании были только экспериментом, правда большим, но все же лишь экспериментом. А эксперименты, известно, часто соседствуют с неудачами. И наши летчики крепко били немецких летчиков, особенно на виражах, то есть в схватках, происходящих в горизонтальной плоскости. На виражах наши истребители значительно превосходили «мессершмиттов» в маневренности. К тому же следует учесть, что последние модификации нашего И-16 не уступали первым вариантам Me-109 ни в скорости, ни в мощи бортового оружия. Но уже тогда не составляло особого секрета, что воздушный бой истребителей в весьма недалеком будущем ввиду нарастания у них скорости переместится в вертикальную плоскость, что повлечет за собой и значительные изменения в боевой тактике истребительной авиации.

Так оно и случилось, когда в конце войны в Испании немцы послали на помощь Франко модифицированный Me-109E, развивавший скорость до 570 километров в час и вооруженный, помимо пулеметов, автоматической пушкой 20-миллиметрового калибра. С появлением у франкистов этих совершенных по тому времени машин нашим летчикам пришлось туго. Но все же победы на Пиренейском полуострове привели к чрезмерно оптимистической оценке состояния нашей авиации. Мы упустили из виду, что это были частные победы, а сама война в Испании локальной, и потому расставили неверные акценты и допустили ошибки, прежде всего в развитии истребительной авиации и ее тактике. Последовавший затем разгром японских захватчиков на Халхин-Голе еще больше убедил некоторых руководителей, ответственных за состояние ВВС страны и ее авиапромышленности, что у нас все идет хорошо. Так, по словам такого компетентного человека, как конструктор А. С. Яковлев, у нас «создалась атмосфера благодушия, с модернизацией отечественной истребительной авиации не спешили» (см. его воспоминания «Цель жизни». Политиздат. 1969, стр. 177).

Выводы, построенные на ограниченном опыте боев в Испании и локальной войны с далеко не сильной в авиационном отношении Японией, отрицательно сказались и на некоторых общих вопросах оперативного искусства ВВС.

Партия и правительство учли опасность отставания отечественных ВВС и военного авиастроения по сравнению с немецкими и взяли курс на их форсированное развитие. В 1938 году ЦК партии и СНК СССР провели широкое совещание с руководящими работниками ВВС, летчиками и конструкторами, на котором были подробно обсуждены многие нужды и проблемы военной авиации. После совещания был принят ряд очень важных правительственных постановлений: о сооружении новых и реконструкции действующих самолетостроительных, моторостроительных и авиаремонтных заводов, о создании новых типов самолетов, моторов и авиационного вооружения. Был создан Наркомат авиационной промышленности (январь 1939 года). Ему вменялось в обязанность построить девять новых и реконструировать старые самолетостроительные заводы. Было запланировано также строительство семи авиадвигательных заводов и ряда предприятий, изготавливающих различное оборудование для самолетов. Выполнение этого плана позволило бы довести выпуск самолетов до размеров, обеспечивающих штатное укомплектование ВВС и создание необходимых авиационных резервов.

Но обстановка в Европе все более накалялась, и реальная угроза войны заставила нас в начале 1940 года сократить и без того сжатые сроки строительства новых авиационных предприятий.

В мае 1940 года специальная партийно-правительственная комиссия отметила, что наши военные самолеты (старых типов) уступают в скорости, мощности моторов, вооружении и прочности самолетам передовых капиталистических стран, а Наркомат обороны в лице Главного управления военно-воздушных сил недостаточно инициативно внедряет в авиацию новые типы боевых машин. Главный воен-

ный совет учел ее выводы и уже в июне принял на вооружение МиГ-3, Як-1, ЛаГГ-3, Пе-2 и Ил-2. Критика была справедливой, но и руководство ВВС следовало понять — сложную авиационную технику внедрять далеко не просто.

По мнению военных, высказанному на одном из совещаний в Москве тогдашним начальником Главного управления ВВС Красной Армии генерал-лейтенантом П. В. Рычаговым, нам на год войны требовалось до тридцати пяти тысяч машин всех типов, что и подтвердилось впоследствии. Но вся трудность была в том, что наша авиапромышленность, несмотря на поистине титанические усилия ЦК партии и Советского правительства, не могла столь стремительно перестроиться на массовый выпуск новой техники. В 1940 году заводы произвели всего 84 истребителя новых типов, два пикирующих бомбардировщика Пе-2 и не дали ни одного штурмовика Ил-2. Это побудило ЦК партии и СНК, учтя все осложнявшуюся обстановку на наших западных границах, принять меры для резкого увеличения темпов выпуска новой продукции. В результате ВВС уже в первой половине 1941 года получили 1946 скоростных истребителей, 458 Пе-2 и 249 Ил-2.

Во многом в недостаточно оперативной перестройке работы авиапромышленности было повинно тогдашнее руководство наркомата, возглавляемого М. М. Кагановичем. В январе 1940 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР разобрались в работе НКАП и обновили руководство. Новый состав НКАП во главе с А. И. Шахуриным много сделал для улучшения работы авиапромышленности, но полностью исправить положение не смог: не хватило времени.

25 февраля 1941 года было принято другое важнейшее партийно-правительственное постановление, «О реорганизации авиационных сил Красной Армии», согласно которому в конце 1941 года мы должны были значительно увеличить количество авиаполков, сформированных на базе новой техники. Намечалась большая программа подготовки летно-технического состава, строительства новых и реконструкции старых аэродромов, реорганизации тыла и перестройки боевой подготовки ВВС.

И хотя мы энергично готовились к назревавшей войне, но выполнить все мероприятия по реорганизации ВВС нам не удалось — война стала фактом. В канун ее истребительная авиация наших западных приграничных округов на три четверти состояла из устаревших уже типов самолетов — И-16, И-15-бис, И-153, которые значительно уступали основному немецкому истребителю Ме-109 в скорости, потолке полета и мощности бортового оружия. Фронтовая бомбардировочная авиация на 70 процентов была вооружена СВ, которые к тому времени из скоростных превратились в тихоходные и в скорости отставали от немецких Ю-88. В штурмовой авиации использовались истребители И-15-бис и И-153, которые в новых условиях были мало пригодны для такой роли. Не было у нас и специального самолета-разведчика. В разведывательных авиаполках имелись только сильно устаревшие машины типа Р-5 и Р-7.

К началу войны в ВВС западных приграничных округов<sup>1</sup> боевых машин было больше, чем в сосредоточенных у наших рубежей воздушных флотах противника (Германия и ее союзники выставили около пяти тысяч самолетов). Но в войне моторов побеждают не только количеством брошенной в сражение техники, но и ее качеством. А здесь первенствовали гитлеровцы, имевшие втрое больше нашего самолетов новых, совершенных по тем временам конструкций. К тому же значительное число наших новых истребителей находилось перед войной в стадии сборки и облетов и не могло быть сразу введено в боевые действия.

Наши конструкторы успели создать крупнокалиберные авиационные пулеметы и пушки. В частности, 37-миллиметровая скорострельная автоматическая пушка долгое время не знала себе равных. Но новое вооружение не было до конца отработано, и самолеты по-прежнему оснащались в основном малокалиберными пулеметами.

<sup>1</sup> Без ВВС Балтийского, Черноморского и Северного военно-морских флотов и авиации дальнего действия.

Не располагали мы и современным радионавигационным оборудованием, особенно приемно-передающими радиостанциями на борту основной массы истребителей. А без такой аппаратуры нечего было и помышлять серьезно об успешном управлении действиями авиации в воздухе. Управление истребителями в бою строилось на примитивных приемах, по команде: «Делай, как я». Командир звена или эскадрильи для руководства летчиками совершал в воздухе ряд условных эволюций: покачивание самолетом с крыла на крыло, правый или левый крен, горку, пикирование и т. д. Летчики следовали его указаниям.

Такой метод управления в бою был еще как-то терпим для относительно тихих машин. Но с переходом на новую скоростную технику, в корне изменившую тактику воздушного боя, в сражениях, в которых нередко участвовали десятки и даже сотни самолетов, отсутствие приемно-передающей радиостанции на борту каждого истребителя неминуемо вело к потере господства в воздухе. Наконец, не имея двусторонней связи с летчиками, мы не могли своевременно наращивать силы, быстро маневрировать авиацией, бросая ее по мере надобности на наиболее угрожаемые участки, не имели возможности перехватить вражеские бомбардировщики на дальних подступах к объектам.

А между тем конструктивно задача изготовления новых радиолокационных воздушных и наземных средств, а также и штурманского оборудования, предназначенного для самолетовождения в сложных метеорологических условиях и ночью, нами была решена. Оставалось только приступить к серийному производству этих средств. Перевод всей боевой авиации на новую технику самолетовождения и управления завершился уже в ходе войны. Из-за позднего поступления новых самолетов к началу войны полеты на них освоила лишь десятая часть пилотов строевых частей. Но и переучившихся нельзя было считать вполне освоившими новую материальную часть. Переподготовленными считали всех летчиков, научившихся лишь водить новые машины и совершать на них полеты в районе аэродрома.

К началу войны в авиации из-за очень быстрого ее роста образовался большой некомплект руководящего и командирского состава, особенно летно-командного. Созданные незадолго перед войной Академия командной и штурманского состава, Военно-воздушная инженерная академия в Ленинграде, разные курсы и другие учебные заведения для усовершенствования инженерных и штабных работников и повышения квалификации летного состава были просто не в состоянии в оставшиеся месяцы удовлетворить потребность ВВС страны во всех этих кадрах. Поэтому пришлось срочно выдвигать молодые кадры, не обладавшие для работы на столь ответственных постах ни достаточными знаниями, ни опытом. Особенно слабой была у этих кадров оперативная подготовка. Проблема командного состава, в первую очередь высшего звена, стояла так остро, что стала предметом обсуждения на совещании высшего командного состава армии, созванном по указанию ЦК партии в конце декабря 1940 года, на котором присутствовал и автор этих строк.

Германия же начала войну с нами не только с отличным во всех отношениях самолетным парком, но и с хорошо подготовленным летным составом. Почти все экипажи действующих флотов Германии обладали солидным боевым опытом, полученным в ходе второй мировой войны, а большинство летчиков имело наиболее выгодный для службы в авиации возраст — двадцать два — двадцать восемь лет. Короче говоря, когда Германия уже не только полностью отомобилизовалась и обновила свои ВВС, но и основательно проверила в воздушных сражениях над полями Европы личный состав и новую технику, соответственно ее возможностям перестроив тактику, организационные и управленческие формы своей авиации, мы только-только начали осваивать свою новую боевую технику и перевооружать летные соединения и части.

Состояние ВВС в Ленинградском округе соответствовало общему положению.

Противник же был в полной боевой готовности. На севере от Ленинграда он выставил против нас финскую авиацию и 5-й воздушный флот Германии — всего

900 самолетов. С такими силами авиация округа могла справиться. Но в первых числах июля на ленинградском направлении целиком стал действовать и 1-й немецкий воздушный флот, имевший 1070 боевых машин. Численное соотношение сил в воздухе сразу стало в пользу неприятеля.

В такой трудной обстановке, при столь большом неравенстве в качестве и количестве вооружения не легко было противостоять врагу, к тому же уверенному в своей мощи и опьяненному победами в Западной Европе. И все же советские летчики не дрогнули и с первых же дней стали крепко бить гитлеровцев. Тут были и мастерство, и массовый героизм, и самопожертвование.

О первом таком проявлении беспримерной самоотверженности ленинградских авиаторов я узнал уже на шестой день войны.

Настроение у нас 27 июня было неважное. К этому времени выяснилось направление главных вражеских ударов в Прибалтике. Гитлеровцы стремились выйти на наикратчайшую прямую к Ленинграду: Даугавпилс—Остров—Псков—Луга. Войска Северо-Западного фронта не смогли контрударами остановить противника и стали отступать по расходящимся направлениям. В результате путь на Даугавпилс оказался совершенно неприкрытым, и немцы с ходу овладели им. Стало ясно, что если войскам Северо-Западного фронта не удастся сбить темп вражеского наступления, то весьма скоро бои начнутся непосредственно на дальних подступах к Ленинграду, и тогда нашим летчикам придется отражать удары авиации противника с двух сторон — с севера и с юга. Но пока самолеты 1-го воздушного флота гитлеровцев не тревожили нас. Однако выход противника на правый берег Западной Двины насторожил меня, и я, уезжая на аэродром, приказал передать командиру 39-й истребительной авиадивизии полковнику Е. Я. Холзакову, чтобы он взял под наблюдение район южнее Острова. Полки этой дивизии, базировавшейся на Псковском аэроузле, находились ближе всех к линии фронта.

Вернулся я в Ленинград только вечером и сразу стал готовиться к докладу Военному совету фронта. Но тут зазвонил телефон. Я снял трубку. Это был Холзаков. Голос его звучал взволнованно. Он сообщил, что летчик 158-го истребительного авиаполка комсомолец младший лейтенант Петр Харитонов совершил воздушный таран.

— Не может быть!.. И жив?.. — пораженный, воскликнул я.

Моя реакция была вполне понятной. Я знал, что отваги нашим летчикам не занимать, но с таким проявлением мужества и самоотверженности я столкнулся впервые. Удивительно было и то, что Харитонов — совсем молодой пилот и таран он совершил в свой первый боевой вылет. Я попросил немедленно прислать подробное донесение, как это произошло. Вот что мне сообщили.

В этот день звено истребителей И-16, ведомое лейтенантом Д. Локтюховым, неожиданно встретило группу вражеских бомбардировщиков Ю-88, державших курс на Псков. Наши летчики тотчас атаковали неприятеля. Бомбардировщики, шедшие без истребительного прикрытия, развернулись и стали уходить на юг, нарушив боевой строй. Харитонов устремился за одной из машин. Через несколько минут он догнал ее и нажал на гашетку, но пулеметы почему-то молчали. Он перезарядил их, снова нажал на гашетку — и снова молчание. Из-за какой-то неисправности оружие вышло из строя в самый решающий момент. Командир неприятельского экипажа, разумеется, знать этого не мог, но, чтобы спастись, форсировал работу моторов и круто повел самолет вниз, делая вид, будто его машина подбита. Харитонов догадался об уловке врага. И тогда ему пришла мысль о таране. Он зашел в хвост «юнкерсу», прикинул, как и куда лучше ударить, еще прибавил скорость и нацелился винтом своего истребителя на руль глубины. Перед самым ударом он глянул вниз: до земли было меньше ста метров. В случае аварии собственной машины прыгать с такой высоты с парашютом бесполезно. И все же Харитонов не изменил своего решения и ударом винта снес «юнкерсу» хвостовое оперение. Машину его сильно встряхнуло, но она не потеряла устойчивости

и продолжала лететь. Ю-88, лишившись руля глубины, резко клюнул носом, свалился на крыло и рухнул на землю.

Так на счету ленинградских летчиков появился первый воздушный таран.

Только тот, кто на себе испытал первые месяцы войны, по-настоящему поймет, что значило в то время узнать о таком подвиге и что означал для нас этот подвиг, хотя сам Харитонов не придавал своему поступку особого значения и, докладывая командиру полка о таране, с огорчением сообщил, что повредил и свою машину: от удара о хвостовое оперение вражеского самолета погнулись лопасти винта его истребителя.

Подвиг Петра Харитонова был для нас первой ласточкой. Лишь позже стало известно о многочисленных проявлениях героического самопожертвования советских воинов в первые дни войны, а в то время мы еще не знали о них. Только через много лет после войны узнал я, например, что в небе Ленинграда сражался с фашистами летчик, по всей видимости первый в истории Великой Отечественной войны совершивший воздушный таран. Это был Дмитрий Кокорев. Он совершил его в Белоруссии в районе города Замбрув 22 июня в 4 часа 30 минут утра. Кокорев винтом своего МиГ-3 врезался в хвостовое оперение немецкого бомбардировщика До-215. Видимо, посчитав свой таран делом обычным, он умолчал о нем. Погиб этот мужественный боец, сбивший пять вражеских самолетов, под Ленинградом в октябре 1941 года.

К сожалению, слишком поздно доложили мне о подвиге комсомольца лейтенанта И. Мисьякова, таранившего вражеский истребитель в районе Мурманска в тот же день, что и Харитонов.

Минули сутки, как еще два летчика того же 158-го истребительного авиаполка младшие лейтенанты кандидат в члены партии Степан Здоровцев и комсомолец Михаил Жуков таранили вражеские бомбардировщики винтами своих самолетов. Но если Харитонов быстро уничтожил врага, то Здоровцеву и Жукову пришлось погоняться за «юнкерсами». Было это так. Звено лейтенанта В. Иозицы поднялось в воздух по сигналу боевой тревоги: курсом на аэродром, где базировался их полк, шла группа Ю-88. Спустя несколько минут в воздухе разгорелся воздушный бой. Беспорядочно сбросив бомбы, «юнкеры», набрав высоту, стали уходить к линии фронта. Степан Здоровцев догнал противника на высоте семи тысяч метров. Но ни первая, ни вторая атака ему не удалась. Лишь в третьей атаке младший лейтенант прикончил стрелка-радиста, а в четвертой добрался и до командира экипажа. Но кончился боезапас. А до «юнкера» было рукой подать. Что делать? И тут, вспомнив Харитонова, Здоровцев чуть снизился, подвел свой И-16 под самый хвост «юнкера» и винтом ударил по рулю глубины. И-16 на какое-то мгновение лишился управления и завалился набок, но Здоровцев успел вовремя выровнять самолет. Поглядев вниз, он увидел, как, переваливаясь с крыла на крыло, «юнкерс» падал на землю. Еще через несколько секунд рядом с ним появились два белых облачка — это выбросились с парашютами гитлеровские летчики.

Михаил Жуков преследовал своего врага еще дольше и настиг его уже над Псковским озером. Прижав «юнкера» к самой воде, он онес ему винтом хвостовое оперение. Бомбардировщик врезался в воду.

Эти три подвига сказали нам о многом. Они свидетельствовали о том, что даже наша фактически еще не обстрелянная молодежь не только не дрогнула перед опытным противником, но в первые же дни войны начала бить его. Это означало, что моральный фактор был и остался нашим верным союзником.

Через день или два после таранных ударов Здоровцева и Жукова я докладывал командующему войсками Северного фронта М. М. Попову и А. А. Жданову о трех героях-однополчанах и предложил представить их к званию Героя Советского Союза. 8 июля 1941 года появился Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении П. Т. Харитонову, С. И. Здоровцеву и М. П. Жукову звания Героя Советского Союза. Так первыми из летчиков, получившими в Великую Отечественную войну это высшее боевое отличие, стали ленинградцы.

Чем ближе придвигался фронт к Ленинграду, тем ожесточенней становились схватки в воздухе. Обстановка на юго-западе от Ленинграда все больше и больше тревожила командование Северного фронта. Отсутствие своевременной и достаточной информации о положении дел на Северо-Западном фронте вынудило нас активизировать воздушную разведку на рижском и даугавпилсском направлениях. В конце июня летчики донесли, что противник расширяет плацдармы в районах Даугавпилса, Крустпилса и Плявиняса и сосредоточивает здесь крупные моторизованные и танковые силы, а авиация Северо-Западного фронта очень слабо прикрывает наши наземные войска. Мы попытались связаться с командованием ВВС Северо-Западного фронта, но тщетно: никто толком не мог указать местонахождение командующего генерала А. П. Ионова.

В это время нам стало известно, что на аэродромы Старорусского аэроузла прибывают авиачасти Северо-Западного фронта. Видимо, где-то там находился со своим штабом и генерал Ионов, и я послал в Старую Руссу своего заместителя И. П. Журавлева. Вскоре от него поступило сообщение. Оказалось, что Ионов смещен, а на его место назначен генерал Т. Ф. Куцевалов, который по существу оказался в положении военачальника без войск. Он принял авиацию фронта в весьма тяжелом состоянии. К тому времени она потеряла все свои аэродромы, базы и склады, понесла очень значительные потери и почти лишилась управления. Я приказал Журавлеву задержаться в Старой Руссе и оттуда руководить действиями нашей авиации, которая будет оказывать помощь отступавшим войскам Северо-Западного фронта главным образом на даугавпилсском направлении. В тот же день я доложил об этом командующему фронтом и получил его согласие. 29 июня 44-й Краснознаменный бомбардировочный авиаполк из 2-й смешанной авиадивизии полковника П. П. Архангельского совершил налет на переправу врага через Западную Двину у Якобштадта. С 30 июня на даугавпилсском направлении начала действовать и 8-я бригада морской авиации генерал-майора Н. Т. Петрухина: минно-торпедный и два бомбардировочных полка ее подвергли ударам части 56-го моторизованного корпуса немцев у Даугавпилса.

В этом налете отличился экипаж младшего лейтенанта П. С. Игашова. Его бомбардировщик ДБ-Зф был атакован тремя Ме-109. Огнем бортового оружия советские летчики сбили два вражеских истребителя, но и их самолет подожгли. Третий «мессер» пытался добить нашего бомбардировщика, но Игашов, сделав маневр, таранил врага, а затем бросил свою горящую машину на скопление фашистской боевой техники. Это был первый в истории авиации воздушный таран на горящем бомбардировщике. Герои его погибли. В литературе подвиг их никак не отражен, и я считаю своим долгом назвать фамилии остальных членов героического экипажа — это штурман Д. Г. Парфенов, стрелок-радист А. М. Хохлачев и воздушный стрелок В. Л. Новиков. К сожалению, подвиг балтийских летчиков почему-то и официально никак отмечен не был. Это печально и досадно. Мы возвращаем истории людей, совершивших куда более скромные ратные подвиги. И это справедливо: никто не должен быть забытым. Хочется верить, что и героям этого тарана будет воздано должное.

Через два дня — 3 июля, — спасая своего ведомого, пошел на таран старший политрук И. Д. Одинцов из 7-го истребительного авиаполка. На следующий день на юго-западных подступах к Ленинграду были совершены еще два тарана. Коммунист командир звена 159-го истребительного полка лейтенант А. М. Лукьянов сбил бомбардировщика, а летчик 158-го истребительного полка старшина Н. Я. Тотмин — истребителя. Третий подвиг этого дня принадлежал командиру эскадрильи 10-го бомбардировочного авиаполка коммунисту капитану Л. В. Михайлову. Он бросил свой СБ, подожженный зенитным снарядом, на колонну вражеских танков.

Таран девятнадцатилетнего комсомольца-сибиряка Николая Тотмина — это наивысшая форма героизма. В жестоком бою в районе Рожкополье с двенадцатью вражескими самолетами Тотмин израсходовал весь боезапас. Можно было уйти



от противника, и никто не бросил бы ему и слова упрека. Но Тотмин рассудил иначе: он пошел на лобовой таран! Такого в истории мировой авиации еще не было. Вражеский пилот попытался увернуться от удара, но не успел, и советский истребитель врезался в неприятельскую машину. Тотмин каким-то непостижимым чудом уцелел и спустился на парашюте.

О подвигах Лукьянова, Тотмина и Михайлова я узнал на следующий день — 5 июля. Это был тяжелый для нас день. На сводку, лежавшую на моем столе, было тяжело смотреть. Фашисты не давали ни малейшей передышки войскам Северо-Западного фронта. Головные части 41-го моторизованного корпуса немцев ворвались в Остров, а передовые войска левофланговой 18-й армии подходили к Пярну и Тарту. Бои шли уже на территории Эстонии. С болью читал я сухие, лаконичные строчки донесения. И вдруг на глаза мне попала телефонограмма о летчиках-героях. Три тарана за один день! И не то чтобы полегчало на душе, а как-то еще больше окрепла уверенность, что с такими бойцами мы выстоим; несмотря ни на что.

Крайне тяжелая обстановка, сложившаяся на юго-западе от Ленинграда, заставила Ставку срочно привлечь к борьбе с группой армий «Север» войска Северного фронта. В связи с этим пришлось пересмотреть и задачи авиации фронта. Главные силы ее мы перенацелили на помощь войскам Северо-Западного фронта. Угроза Ленинграду со стороны Пскова стала неизмеримо опаснее, нежели на выборгском и петрозаводском направлениях. 9 июля противник захватил Псков.

В это время командование группы немецко-фашистских армий «Север» сочло основные силы Северо-Западного фронта, прикрывавшие путь на Ленинград, разбитыми. Фельдмаршал фон Лееб и его штаб планировали окончательно разгромить наши войска на ленинградском направлении в течение месяца.

Разумеется, в то время детально знать замыслы противника мы не могли, но в общих чертах предполагали, чего добивается враг, и представляли себе план его действий. После того, как противник форсировал Западную Двину и вырвался к Острову, основные сомнения относительно его дальнейших намерений исчезли и Ставка стала принимать все зависевшие от нее меры для надежного прикрытия Ленинграда с юго-запада.

Однако сил у нас тогда на фронте было немного. Новые воинские формирования только-только подтягивались в районы боев, войска же противника были полностью отобилизованы, собраны в кулак и окрылены первыми успехами. Все это и предreshило исход борьбы на дальних юго-западных подступах к Ленинграду. И все же главной своей цели враг не достиг. История еще раз убедительно засвидетельствовала, что в войне против народа, отстаивающего свою свободу и независимость, свои социалистические завоевания, одного военного превосходства недостаточно. Июльские бои под Ленинградом тому ярчайшее доказательство.

Стремясь извлечь как можно больше выгод из ситуации, гитлеровцы сразу же после захвата Пскова утром 10 июля повели наступление во всей полосе действий 4-й танковой группы и 16-й армии — от Идрицы до Псковского озера. Основной удар враг нанес на Лугу и Новгород. Но, получив сильный отпор под Лугой, немцы повернули свой 41-й моторизованный корпус на северо-запад. 14 июля передовые части его в нескольких десятках километров юго-восточнее Кингисеппа вышли к реке Луге, с ходу форсировали ее и захватили на правом берегу у Ивановского и Большого Сабска два плацдарма. Плацдармы эти стали ареной ожесточенных боев, которые длились здесь без перерыва целую неделю. Враг пытался расширить плацдармы и вырваться к железной дороге Нарва — Ленинград. Бойцы 2-й дивизии народного ополчения и курсанты Ленинградского пехотного училища имени С. М. Кирова сдержали натиск фашистов, численно превосходивших их в несколько раз. 15 июля гитлеровцы вышли к Шимску: до Новгорода им оставалось каких-нибудь сорок километров.

Трудная для нас обстановка сложилась и на севере от Ленинграда. Карельская армия финнов прорвалась к северо-восточному побережью Ладоги и расчле-

нила надвое нашу 7-ю армию. Над Выборгской группировкой советских войск нависла угроза удара с тыла.

Вот в каком положении очутился Ленинград в середине июля. Оно оказалось настолько тяжелым, что 14 июля главное командование Северо-Западного направления<sup>1</sup> в своем обращении к войскам прямо заявило, что над Ленинградом нависла прямая угроза вторжения врага.

Хотя в научно-исторической литературе считается, что примерно с начала второй декады июля на дальних юго-западных подступах к Ленинграду установилась оперативная пауза, которая длилась до 8 августа, на самом же деле в чистом виде такой паузы не было. Противник, перегруппировываясь, подтягивая тылы и резервы, перебазировав авиацию ближе к фронту, одновременно вел и активные наступательные действия на трех ударных направлениях: юго-восточнее Кингисеппа, под Лугой и под Новгородом. Для летчиков же весь этот период, как и предшествовавший ему, был очень напряженным и трудным.

После падения Острова в тактике вражеской авиации произошли заметные и весьма существенные изменения. Если до этого 1-й воздушный флот гитлеровцев в основном поддерживал наземные войска на направлении главных ударов и на небольшую глубину, то теперь его бомбардировщики начали систематически воздействовать на глубокий тыл Северного фронта и на все его важнейшие железнодорожные и шоссейные коммуникации.

Начиная с 5 июля задачи ВВС Северного фронта чрезвычайно усложнились. Нагрузка на летчиков увеличивалась с каждым днем. Им теперь приходилось действовать и над линией фронта, и отражать вражеские налеты на тыловые объекты, важнейшие железнодорожные узлы и станции и места сосредоточения наших войск. Мы вынуждены были пойти даже на некоторое ослабление противовоздушной обороны Ленинграда, бросив часть сил 7-го истребительного авиакорпуса на борьбу с 1-м воздушным флотом противника, и временно отказаться от самостоятельных действий авиации, сосредоточив все усилия на оказании помощи наземным войскам.

До 10 июля основная масса авиации, действовавшей на юго-западе от Ленинграда, помогала войскам Северо-Западного фронта сдерживать врага на рубеже реки Великой. Экипажи 2-й и 4-й бомбардировочных дивизий непрерывно бомбили соединения 4-й танковой группы. В это время резко ухудшилась погода, несколько дней стояла сплошная низкая облачность, часто шли дожди. Непогода сильно мешала бомбардировщикам, и они летали на задания в одиночку или парами и бомбили боевые порядки и колонны противника с небольшой высоты. Наши потери от огня зенитной артиллерии неприятеля были весьма значительны. За шесть суток дивизии П. Архангельского и И. Новикова лишились шестидесяти самолетов. Однако большинство экипажей уцелело и вернулось в свои части. Но и враг понес весьма ощутимый урон. За неделю на противника было сброшено четыре тысячи бомб.

Наши непрерывные бомбардировки сильно тормозили продвижение танков и мотопехоты фашистов. Поддерживаемые авиацией, советские войска сражались с еще большим упорством и героизмом. Тогда, чтобы ослабить наши удары с воздуха, противник часть своих бомбардировочных сил переключил на борьбу с советской авиацией. С 5 по 9 июля гитлеровцы совершили серию сильных налетов на основные аэродромы, расположенные в районах Пскова, Луги и Старой Руссы. Однако поставленной цели враг не достиг. Наша авиация хотя и понесла потери, вызванные в основном чрезвычайной слабостью зенитного прикрытия аэродро-

<sup>1</sup> Для координации боевых действий фронтов Государственный Комитет Обороны 10 июля 1941 года создал три главных командования: Северо-Западное, Западное и Юго-Западное. Главкомандующим войсками Северо-Западного направления был назначен К. Е. Ворошилов, членом Ессеного совета — секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Жданов, начальником штаба — М. В. Захаров.

мов, что вообще было нашим уязвимым местом до конца 1941 года, но ударов своих по противнику не ослабила.

В эти дни ленинградские летчики вписали на свой боевой счет еще два тарана. 10 июля таким способом сбили врага командир эскадрильи 161-го истребительного полка коммунист старший лейтенант Н. В. Терехин и командир звена 154-го истребительного полка комсомолец лейтенант С. А. Титовка, повторивший подвиг Николая Тотмина — он уничтожил самолет лобовым тараном.

Хотя время стирает в памяти даже многие яркие и волнующие события, но день 12 июля запомнился во всех подробностях. 12 июля произошли два события. Одно было тревожным, даже угрожающим.

В этот день, во второй половине его, на стол мне положили донесение, от которого у меня перехватило дыхание: воздушная разведка обнаружила фланговый маневр 41-го моторизованного корпуса противника в сторону Кингисеппа. Части его были замечены в нескольких десятках километров на северо-западе от шоссе Псков—Ленинград — в районе селения Ляды. Если бы я не знал, что собой представляет правый фланг Лужского оборонительного рубежа, то, наверное, это неожиданное известие встревожило бы меня не столь сильно. Я, конечно, немедленно доложил бы о нем командованию фронта, но этим бы и ограничился. Теперь же считал необходимым сам проявить инициативу — немедленно приказал установить за противником постоянное воздушное наблюдение и тотчас же докладывать мне данные разведки. Одновременно распорядился взять под контроль и дорогу Псков—Гдов, по которой отступала наша 118-я стрелковая дивизия.

Неожиданный выход двух танковых и одной моторизованной дивизии врага в район Кингисеппа ставил наши войска в очень трудное положение. Накануне вечером из разговора с начальником разведывательного отдела штаба фронта Евстигнеевым я узнал, что правый фланг Лужской оперативной группы мы не успели подготовить к обороне.

Петр Петрович был сильно озабочен и даже, как мне показалось, растерян.

— Опять скверные известия?— спросил я.

— Да уж куда хуже?— угрюмо ответил он.— Сегодня командующий влияние сделал. Всем достало: и мне, и Никишеву, и Тихомирову.

— В чем же дело?

— Требуется точные сведения о противнике. А где их взять в такой обстановке? В направлении Гдова замечены какие-то танки, там же оказались 1-я и 58-я пехотные дивизии немцев. А они из 18-й армии. Почему они очутились в полосе 4-й танковой группы? Ведь 18-я армия наступает в Эстонии. Разведка ничего толком сообщить не может, и пленных нет. А на правом фланге почти голо: только курсанты пехотного училища да под Кингисеппом одна стрелковая дивизия, 2-я дивизия народного ополчения еще в эшелонах, на подходе. Попову все это не нравится, да и мне, признаться. Откуда там танки и чьи они? Кстати, летчики ничего подозрительного в районе Гдова не замечали?

— Пока нет. В случае чего я тотчас сообщу вам,— сказал я в заключение.

Предчувствие, тревожившее Попова, оказалось не напрасным. Мы едва не проворонили стремительный бросок 41-го моторизованного корпуса на правый фланг Лужской оперативной группы. Вырвись противник на Копорское плато, вся наша 8-я армия оказалась бы запертой в Эстонии, а Ленинград — под угрозой прямого удара не только с юга, но и с запада.

Узнав о появлении танков и мотопехоты гитлеровцев в районе Ляды, Маркиан Михайлович охнул. И было от чего. Командование фронта никак не ожидало, что противник отважится на столь сложный маневр, как почти столятидесятикилометровый рейд целого корпуса по бездорожью и через лес. Все твердо считали, что враг будет пытаться во что бы то ни стало взломать нашу оборону на наикратчайшей прямой к Ленинграду — под Лугой.

Сперва Попов даже усомнился в данных воздушной разведки.

— А не напугали летчики?— спросил командующий.— Может, танки им только померещились?

— Вряд ли, — ответил я. — Сведения поступили сразу от двух экипажей. Летчики ясно видели колонны танков и мотопехоты.

— А снимки есть?

— Я уже распорядился произвести фотографирование. Завтра утром проведем доразведку и сделаем снимки.

Доразведка подтвердила первые сведения и дала нам в руки новые ценные сведения. Выяснилось, что противник от Ляды повернул на север: танки пошли в обход озера Самро с запада, а мотопехота — с востока. Сомнений больше не было: немцы стремились обойти Лужский оборонительный рубеж в районе юго-восточнее Кингисеппа, частью сил вырваться к Финскому заливу, а другие соединения повернуть в сторону Ленинграда на Гатчину. И то и другое было для нас одинаково опасно.

15 июля под Ивановским и Большим Сабском начались жестокие бои. Так на подступах к Ленинграду возникло новое угрожающее направление. Вернувшись от Попова к себе в штаб, я созвал небольшое совещание. Мы прикидывали и так и этак и в конце концов сошлись на том, что для борьбы с 41-м моторизованным корпусом придется привлечь часть сил фронтовой авиагруппы. Иного выхода не было. Из-за усложнившейся обстановки на Карельском перешейке мы не могли больше ослаблять ВВС 23-й армии, бомбардировочную авиацию которой еще раньше всецело переключили для действий на юго-западе от Ленинграда. Тогда же в принципе решили и вопрос о создании оперативной группы во главе с моим заместителем И. П. Журавлевым. Ему поручили непосредственно руководить всеми боевыми действиями авиации на новом направлении.

Вечером 12 июля, предварительно заручившись согласием главкома Северо-Западного направления К. Е. Ворошилова о привлечении морской авиации для оказания помощи нашим войскам под Ивановским и Большим Сабском, я был у командующего ВВС КВФ генерала В. В. Ермаченкова и договорился с ним о совместных действиях.

Вернулся я в штаб на Дворцовую площадь поздно и сразу же потребовал боевую сводку дня. Ничего утешительного в ней не было. Правда, под Лугой противник безуспешно пытался занять предполье, но на новгородском направлении соединения 56-го моторизованного корпуса упорно теснили нас. Наша авиация, пользуясь улучшением погоды, все светлое время висела над войсками гитлеровцев, нанося по ним бомбовые и штурмовые удары. По предварительным данным советские летчики только на лужском направлении уничтожили за двое суток, 11 и 12 июля, шестьдесят танков и около сотни автомашин с мотопехотой врага.

Отдельно от сводки лежала телефонограмма. «Опять потери!» — с горечью подумал я. Но на этот раз ошибся. В телефонограмме сообщалось о подвиге двух летчиков-истребителей — командира эскадрильи 154-го авиаполка коммуниста В. И. Матвеева и командира звена 19-го авиаполка кандидата в члены партии М. Г. Антонова. Оба сбили вражеские самолеты тараном.

В первых числах второй декады июля противник, встревоженный большой активностью нашей авиации, стал спешно перебрасывать ближе к фронту свои истребительные части. До конца июля наши летчики не получали ни малейшей передышки, работали с полным напряжением физических и моральных сил. Основные события в небе развернулись над вражескими плацдармами возле Ивановского и Большого Сабска в районе Сольцы—Шимск. 14 июля по приказу главкома Северо-Западного направления советские войска нанесли контрудар по прорывавшемуся к Шимску 56-му моторизованному корпусу генерала Манштейна. Мы привлекли сюда более двухсот самолетов, в основном бомбардировщиков. За пять суток соединения 11-й армии отбросили противника на сорок километров. 8-я танковая дивизия фашистов оказалась отрезанной от главных сил корпуса и вырвалась из окружения ценой больших потерь. Тылы войск Манштейна были буквально разгромлены. Этот неожиданный удар будущий гитлеровский фельдмаршал, с войсками которого мне впоследствии не раз приходилось сталкиваться под Сталин-

градом и на Украине, запомнил на всю жизнь. Много лет спустя в своей книге «Утерянные победы» он признался, что положение его корпуса в те дни оказалось незавидным и даже критическим.

Этим внезапным для противника контрударом мы временно ликвидировали угрозу прорыва немцев на Новгород, облегчили положение своих войск под Лугой и выиграли время, необходимое для усиления обороны на Лужском рубеже и на ближних подступах к Ленинграду.

Во многом способствовали нашему успеху и летчики. Они героически вели себя не только в воздухе, но и на земле. Будучи сбитыми — в плен не сдавались, дрались до последнего дыхания, упорно пробивались к своим и часто возвращались в строй.

Мне особенно запомнился такой случай. Однажды в самый разгар июльских боев в кабинет вошел комиссар штаба ВВС фронта М. И. Сулимов — человек очень сдержанный, тихий, но из тех, которые умеют хорошо работать. Он положил на стол чей-то рапорт. Я мельком взглянул на подпись. Докладывал командир 44-го Краснознаменного бомбардировочного авиаполка.

— Опять насчет пополнения? — вырвалось у меня. — Скажите, что нет, пусть обходятся тем, что имеют. Ни одного СБ. Вы же сами знаете: истребителей хоть понемножку, но подбрасывают, а о бомбардировщиках и слушать не хотят. Скоро вообще останемся без ударной группы, придется истребителей приспособлять под штурмовики. Вот глядите. — Я протянул ему сводку.

Говоря так, я нисколько не преувеличивал. Передо мной лежала сводка боевого состава ВВС Северного фронта. Последние десятидневные бои на юго-западе от Ленинграда изрядно потрепали нашу бомбардировочную авиацию. И у нас для борьбы с группой армий «Север» оставалось всего около восьмидесяти СБ и АР-2. Крохи остались и у балтийских моряков. Оперативно подчиненным нам 1-м дальнебомбардировочным авиакорпусом распоряжалось Главное командование — сегодня он у нас, а завтра его могли передать другому фронту.

— Да, большие потери, — пробежав глазами документ, согласился Михаил Иванович. — А что еще ждет нас впереди... Но были бы летчики, а техника будет. И вот то, что сбитые летчики не остаются в тылу противника, а пробиваются к своим, — это важно. Прочитайте докладную, товарищ командующий.

Докладная оказалась интересной.

В районе Острова вражеские зенитчики сбили наш СБ, посланный на разведку. На горящей машине летчики приземлились в тылу противника на болоте и скрылись в лесу. Командир экипажа старший лейтенант П. А. Маркуца решил пробиваться к своим. По пути летчики встретили несколько разрозненных групп советских воинов, оказавшихся в окружении. Маркуца создал из них подразделение численностью до батальона и с боями вывел в расположение наших войск.

Я знал Павла Андреевича Маркуцу. Он был отличный летчик и светлой души человек. Это про таких говорят: «Настоящий коммунист». Он и был коммунистом. Маркуце шел тридцать четвертый год, но он имел уже большой боевой опыт: служба в кавалерии, сражался с японскими захватчиками во время конфликта на КВЖД, участвовал в боях на Дальнем Востоке, в Монголии и Финляндии на Карельском перешейке. У него была романтическая натура. Это и привело его в военную авиацию. Он был очень начитан, страстно любил поэзию и сам писал стихи.

Я сказал Сулимову, что Маркуца достоин самой высокой награды — звания Героя Советского Союза. Возможно, совершенное им по степени героичности не поставишь в один ряд с воздушными и огненными таранами, но стойкость духа его, самоотверженность, верность воинскому долгу, долгу коммуниста и гражданина вне сомнения. Он проявил эти качества не в обычных условиях, а в обстановке трудной и для себя непривычной. А это уже есть подвиг. Наконец, в то время огромное морально-политическое значение имел сам факт выхода из окружения большой группы советских бойцов со всем вооружением, имуществом и зна-

менем воинской части. Случаев таких в первые месяцы войны было много, и они были типичными. Но этот факт был одним из первых, и мы, ленинградцы, столкнулись с таким фактом впервые. Вот почему мы представили Маркуца к высшей воинской награде. На другой день я подписал его представление, а 22 июля вышел в свет и Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении П. А. Маркуце звания Героя Советского Союза.

Вернувшись в свою часть, Маркуца снова сел за штурвал. До конца сорок первого года он совершил немало славных ратных дел, не только громил врага, но и доставлял из глубоких рейдов в тыл противника немало ценных сведений. Как и все ленинградские летчики, Павел Андреевич не щадил себя. В конце декабря 1941 года, несмотря на низкую облачность и сильный туман, он поднял свой СБ в воздух для выполнения боевого задания и не вернулся...

Последние шесть дней второй декады июля были характерны ожесточеннейшими воздушными схватками. Особенно жаркие бои кипели в небе над плацдармами противника в районе деревни Ивановское и Большого Сабска. Противник бросил сюда основные бомбардировочные и истребительные силы, в том числе известную 54-ю истребительную эскадру. Враг стремился задавить наши малочисленные войска, почти не имевшие танков, массой своей наземной и воздушной техники. Но ополченцы и курсанты, активно поддерживаемые ленинградскими летчиками, стояли насмерть.

Вскоре отдельные схватки, по мере концентрации авиации с той или другой стороны, переросли в затяжные бои, принявшие в конце концов характер подлинного воздушного сражения, длившегося шесть суток подряд. Вот тогда-то мы впервые по-настоящему и почувствовали промахи в нашей тактике и в управлении авиацией над полем боя.

В середине июля мы могли привлечь к активным действиям на юго-западе от Ленинграда не более пятисот исправных машин всех типов. Соотношение сил в воздухе в районах боев было примерно 2:1 в пользу гитлеровцев. Все это: драматичность обстановки, качественное и количественное превосходство вражеской авиации, несоответствие многих тактических и организационно-управленческих форм и методов наших ВВС требованиям современной войны — заставило нас перестраиваться на ходу и упорно искать нужное соответствие.

Поиски эти начались стихийно, сперва просто в силу внутренней потребности летчиков и командования в новом и предчувствия надвигающейся большой беды. Но уже через две недели поиски эти стали строго целенаправленными. Мы настойчиво собирали авиацию в кулак. В силу ограниченности прав не трогали ее деление на фронтовую и армейскую. Но по существу убрали все промежуточные звенья, все более и более концентрируя и подчиняя ее командованию ВВС фронта. Фактически уже в июле войсковые соединения не имели собственной авиации. Значительным изменениям подвергся и порядок управления ВВС общевойсковых армий. Так, бомбардировочные силы ВВС 23-й армии мы полностью влили во фронтовую группу, а ее истребительную авиацию часто использовали для действий на юго-западе от Ленинграда. Только ВВС 14-й и 7-й армий ввиду их удаленности от Ленинграда и самостоятельности боевых задач оставались автономными и действовали по указанию Военных советов общевойсковых армий.

Велись поиски и в области тактики. Летчики все более и более убеждались в необходимости как можно быстрее отказаться от использования истребителей в плотных строях и в боевых порядках групп. Такое громоздкое построение чрезвычайно усложняло ведение воздушного боя, ухудшало маневренность машин и крайне затрудняло управление действиями летчиков. Принцип «воздушного кулака» в современных условиях оказался в противоречии с характером боя, стал тормозом на пути развития его тактики, сковывал действия и тактическое мышление пилотов, лишал их самостоятельности и инициативы в небе.

В результате настойчивых поисков в основу боевого порядка истребителей была положена «пара», состоявшая из ведущего и ведомого. Она заменила собой звено из трех машин. Из таких «пар» создавались боевые группы из четырех, ше-

сти и восьми самолетов. При необходимости «пары» в группе эшелонировались по высоте. Вскоре каждую такую группу мы стали делить на две — ударную и прикрывающую. Это, казалось бы, несложное изменение привело к еще большему улучшению маневренности и управляемости истребителей и, стало быть, к большей боевой эффективности в их использовании. Но все это как система сложилось позднее. В июле летчики только нащупывали новые пути. Однако уже тогда в действиях наших истребителей ясно вырисовывались основы будущей боевой тактики.

Все началось с «собачьих свалок» — так кто-то очень метко назвал воздушные бои, происходившие над вражескими плацдармами в районах Ивановского и Большого Сабска. В этих схватках, в которых часто с той и с другой стороны участвовали по несколько десятков самолетов, машины так перемешивались, что совершенно невозможно было разобрать, где свои, а где чужие. Вот тогда-то в обиходе ленинградских летчиков и появилось выражение «собачья свалка». Но такая «свалка» была на руку противнику. Гитлеровские летчики сражались «парами»; у каждого Me-109 была приемно-передающая радиостанция, что позволяло немецким пилотам быстро ориентироваться в обстановке и подавать команды, а преимущество в скорости и вертикальном маневре — уходить из-под атаки и создавать выгодные для себя ситуации. Требовались контрмеры, и советские летчики нашли их. В ходе этих боев возникли комбинированные группы, состоявшие из истребителей разных типов, и новая тактика ведения воздушного боя.

Воздушные бои, как правило, происходили на малых и средних высотах — до трех тысяч метров над землей. Здесь Me-109 и в скорости, и в маневренности значительно превосходил наш основной новый истребитель МиГ-3, созданный для перехвата вражеских самолетов на большой высоте. И-16 и И-153, напротив, отлично чувствовали себя на малых и средних высотах. Неплохо вел себя на средней высоте и Як-1. Летчики, летавшие на «ишачках», «чайках» и «яках», быстро приметили это и изменили способ взаимодействия с «мигами» — перестроились в нижний эшелон и оттуда повели атаки на «мессеров», выбивая их из-под хвостов тяжелых МиГ-3. Но успешно действовать звеньями (тремя самолетами) в такой обстановке было нельзя, и ленинградские летчики невольно стали переходить на ведение боя «парами».

Первыми систематически применять этот боевой порядок стали будущие прославленные ленинградские асы Петр Покрышев и Андрей Чирков. Кстати, Покрышев предложил перейти на «пару» еще во время войны с Финляндией. Я помню, как он горячо доказывал преимущества «пары» перед звеном из трех самолетов. Тогда вопрос этот повис в воздухе, но не потому, что инициатива исходила от рядового летчика, а командование ВВС округа не смогло оценить выгоды нового боевого порядка истребителей. Переход к «паре» во многом менял тактику воздушного боя — делал его более стремительным и быстротечным. А это в свой черед требовало от ведущего и ведомого абсолютной синхронности и согласованности в действиях, достичь чего без приемно-передающих радиостанций на борту каждого истребителя было невозможно. Но раций, портативных и надежных, у нас тогда не было.

Вслед за Покрышевым и Чирковым стали летать «парой», тоже впоследствии известные асы ленинградского неба, Александр Булаев и Петр Лихолетов, Петр Шплотов и Алексей Сторожаков. Их примеру последовали и другие летчики.

Я тотчас узнал об этих уставных нарушениях, но смотрел на них сквозь пальцы. Официально разрешить «пару» тогда не мог в силу ограниченности своей власти, но и запрещать не стал. Рассудил так: у противника в воздухе подавляющее численное преимущество, и плох я буду как командующий ВВС фронта, если не стану помогать летчикам изыскивать возможности хотя бы для малейшего сокращения неравенства в силах. Наконец, новое всегда требует основательной проверки, и, если «пара» оправдает себя (первые опыты убеждали в этом), у меня появятся веские основания утверждать, что она жизненна. Кстати сказать,

на исходе второго года войны с Германией основой боевого порядка в нашей истребительной авиации стала именно «пара» самолетов. Этому в значительной мере способствовал опыт ленинградских летчиков, которые уже в июле сорок первого начали летать и вести воздушный бой «парами».

Героизм и мастерство летчиков, наше общее стремление использовать малейшую возможность для улучшения боевой работы авиации, целеустремленность, твердость и последовательность в решении задач, стоявших перед ВВС фронта, — все это позволило нам уже тогда выбить из рук противника многие козыри и драться с фашистскими летчиками почти на равных.

Конечно, лето 1941 года было чрезвычайно тяжелым, таким, что подчас и слов не сыщешь, чтоб точно выразить наше тогдашнее состояние. Враг буквально давил нас своей мощью и на земле и в воздухе. Шутка ли, в первый же день войны потерять 1200 боевых самолетов. Большие потери наших ВВС позволили противнику захватить господство в воздухе. И все же не везде и не всегда даже в самые тяжелые для нас дни лета 1941 года гитлеровцы хозяйничали в небе, как хотели. Советские летчики наносили им весьма ощутимые ответные удары. Силу этих ударов фашисты особенно почувствовали под Ленинградом. Здесь в июле им так и не удалось завоевать господство в воздухе. Да, под Ленинградом в июле не было господства вражеской авиации, именно господства, а не превосходства, что не одно и то же.

На то, разумеется, имелись свои причины. О многих я уже сказал. Но было бы нечестно умолчать еще об одной, весьма существенной. В силу не зависящих от нас обстоятельств мы, ленинградцы, в самом начале войны получили почти две недели для подготовки своей авиации к встрече с главной группировкой противника, наступавшей на Ленинград. Войска Северо-Западного фронта сыграли роль буфера, смягчившего удар группы армий «Север», а ВВС этого фронта временно сковали действия 1-го воздушного флота гитлеровцев. Все это в немалой степени способствовало сохранению боевой мощи основных сил авиации Северного фронта — ленинградской авиагруппы — до начала решающих событий на юго-западных подступах к городу Ленинна.

Сами мы в июле довольно скромно оценивали действия нашей авиации. Многого еще не знали, да и не до оценок нам тогда было. Но лучшая оценка — свидетельство противника. В служебном дневнике бывшего начальника генерального штаба сухопутных войск Германии генерала Гальдера 12 июля появилась такая запись: «Авиация противника проявляет большую активность, чем наблюдалось до сих пор в районах групп армий «Юг» и «Север». А в записи от 16 июля дается общая оценка действиям советской авиации: «В общем, в действиях авиации противника чувствуется твердое и целеустремленное руководство».

17 июля в штабе группы армий «Север» побывал сам главнокомандующий сухопутными силами вермахта фельдмаршал Браухич. Ознакомившись с обстановкой на фронте, он пришел к выводу, что положение в воздухе на юго-западных подступах к Ленинграду не в пользу войск генерал-фельдмаршала фон Лееба. По его указанию Гальдер записал тогда следующее: «Превосходство в авиации на стороне противника. (Выделено мной. — А. Н.) Боевой состав наших соединений, действующих на фронте, резко сократился... 8-ю танковую дивизию придется отвести с фронта».

Вот, оказывается, как — превосходство! Это, конечно, преувеличение, вызванное у Браухича впечатлением от большой активности нашей авиации, неустанно громившей противника на всех главных участках фронта и наносившей ему ощутимый урон. Превосходства нашего в воздухе тогда, конечно, не было. Было равенство, но достигнутое отнюдь не числом брошенных в сражение самолетов, в чем мы уступали врагу вдвое, а умелой организацией боевых действий авиации, своевременной концентрацией ее сил на важнейших участках фронта и, конечно же, мастерством и героизмом ленинградских летчиков. Необыкновенная, я сказал бы, фантастическая стойкость духа советских летчиков в огромной мере



помогла нам под Ленинградом уже в июле 1941 года почти на лет свести численность и техническое превосходство фашистской авиации.

Столкнувшись с таким необъяснимым для них явлением, как таран в небе, гитлеровские летчики стали вести себя неуверенно. Их постоянно преследовал страх перед тараном. И уже на исходе первого месяца войны немецкие пилоты начали избегать сближения с нашими истребителями на расстояние меньше ста метров. Это было на руку ленинградским летчикам, так как оставляло за ними преимущество в маневре, позволяло владеть инициативой в воздухе и навязывать свою тактику. Страх перед тараном сковывал действия вражеских пилотов и мешал им в полной мере использовать превосходство своих самолетов. Нередко они и вовсе не принимали боя.

Таран в то время имел огромное политико-воспитательное и психологическое значение. Он был еще одним убедительным свидетельством того, что мы уже тогда, в самый тяжелый период войны, взяли верх в главном — в моральном состоянии армии и народа. В том, что потери фашистской авиации в первые недели войны оказались очень большими и неожиданными для врага, основную роль сыграли морально-политические качества советских летчиков. Мenee чем за месяц — с 22 июня по 19 июля — противник потерял на Восточном фронте 1284 боевых самолета, то есть более четверти всей авиации, которую он бросил против Советского Союза. Значительные потери в технике и в кадрах вынудили гитлеровское командование уже в сентябре 1941 года снимать авиацию с других театров военных действий и спешно перебрасывать ее на советско-германский фронт, направлять в действовавшие воздушные флоты пилотов, окончивших авиашколы в 1941 году.

В первый ощутимый удар, нанесенный фашистским ВВС, весьма весомый вклад внесли и ленинградские летчики. Только за первый месяц войны они уничтожили в воздушных боях и на аэродромах 452 вражеских самолета.

Вот чем обернулась для нацистов уверенность в том, что наша авиация, застигнутая войной на стадии перевооружения, не сможет оказать серьезного сопротивления всенно-воздушным силам вермахта. На деле же оказалось, что, несмотря на большой урон, который понесла авиация наших приграничных округов в первые дни гитлеровского вторжения, враг все же не смог нанести ей решительного поражения и сбросить ее с весов войны. К тому же авиация внутренних округов и дальнего действия, авиационные заводы, базы и учебные центры оказались вне досягаемости вражеских воздушных ударов. Это позволило нам впоследствии, учтя опыт начального периода войны, создать по существу качественно новую, совершенную по тем временам боевую авиацию и соответственно перестроить ее тактику, основные принципы ее организации и управления.

Конечно, обошлось нам все это ценой крови многих наших летчиков, не щадивших себя в бою, но делавших это не в ослеплении ярости, а вполне сознательно. В основе этих подвигов лежало трезвое самосознание народа, понимавшего, что речь идет о жизни и смерти всей страны, всех ее социалистических завоеваний, и тот всеобщий героический порыв, который не мог не передаться армии. В 1941 году нравственная сила народа выразилась с наибольшей чистотой и полнотой. Именно она, эта нравственная сила, поддерживаемая и направляемая партией, прикрыла те бреши, которые образовались тогда в нашей обороноспособности. Массовый героизм на фронте на какое-то время стал решающим фактором в неравной схватке с чудовищной военной машиной гитлеризма. Бросаясь в воздушные и огневые тараны, под гусеницы танков и на амбразуры дотов, советские люди тем самым с потрясающей убедительностью показали свою глубокую веру и преданность коммунистическим идеалам и целям.

Факт этот огромной значимости, и факт бесспорный. Его могучую вдохновляющую силу, особенно впечатляющую, когда происходит он на твоих глазах, я почувствовал на себе. Однажды мне довелось быть непосредственным свидетелем такого героического проявления народного духа. Правда, это случилось не в июле, а осенью сорок первого года, но это не имеет значения.

Ночью 5 ноября завывли сирены, и почти тотчас в небе лихорадочно заметались лучи прожекторов. Ленинград уже более месяца находился в блокаде, и фронт был настолько близко от города, что вражеские самолеты долетали от внешних границ зон наших постов ВНОС<sup>1</sup> до центра города в считанные минуты. Бомбардировщики, шедшие с запада, оказывались над Дворцовой площадью через две минуты. Самый дальний путь был с востока — со стороны Невской Дубровки. Но и это расстояние фашистские самолеты преодолевали за шесть минут. Так как радиолокационных установок у нас тогда было очень мало, а посты ВНОС засекали «юнкерсов» и «хейнкелей» визуально или по звуку, то нередко сигнал воздушной тревоги раздавался одновременно с гулом вражеских бомбардировщиков. Так было и 5 ноября.

Под раздирающий душу вой сирен я спустился на первый этаж, служивший нам бомбоубежищем, но тут же передумал и вышел на улицу. Над Дворцовой площадью было светло, как днем. Часто и ожесточенно хлопали зенитные орудия, сквозь выстрелы их иногда прорывался приглушенный расстоянием гул фашистского самолета. Когда он появился над Невой, прожектористы быстро нащупали его и взяли в перекрестие слепящих лучей. Я узнал силуэт «Хейнкеля-111». Он медленно, как бы плывя, проходил над Невой в сторону Смольного. Вдруг откуда-то из мрака выскочила «чайка» — И-153. Это был самолет 26-го ночного истребительного полка, несшего непосредственную воздушную охрану города. Маленький юркий «ястребок» открыл огонь по противнику. В холодном аспидно-черном небе пронеслись нити трассирующих пуль. Вражеский пилот сделал маневр — и бомбардировщик провалился в темноту. Прожекторные лучи снова заметались в небе.

— Уйдет, мерзавец! — невольно вырвалось у меня.

Но прожектористы снова отыскиали врага и взяли его в «вилку». Через несколько секунд из тьмы вынырнул наш ястребок и устремился на «хейнкеля». Расстояние между самолетами быстро сокращалось, и я напрягся, ожидая пулеметного огня. Но наш летчик почему-то не стрелял. «Неужели боеприпасы кончились?» — подумал я. И тут же последовал удар, а за ним яркая вспышка — «чайка» мотором врезалась в плоскость Хе-111. Бомбардировщик качнулся, накренился и камнем полетел вниз. На крыше здания штаба округа раздалась ликующие возгласы и бурные аплодисменты дежурных смен МПВО.

Как выяснилось после, фашистский самолет упал в Таврический сад, экипаж его был пленен. Командиром «хейнкеля» оказался опытный летчик, не раз побывавший в Лондоне. А наш пилот благополучно спустился на крышу одного из строений Невского завода имени В. И. Ленина. Его сильным ударом вышибло из кабины, и он на какое-то время потерял сознание, а когда очнулся, то дернул за вытяжное кольцо парашюта.

С героем этого боя я встретился на другой день. Это был Алексей Севастьянов — высокий, богатырского сложения русоволосый парень. В разговоре со мной он вел себя стеснительно и никак не мог пристроить свои большие, сильные руки. Я заметил с улыбкой, что в воздухе он держится куда увереннее.

— В бою, товарищ командующий, приходится поворачиваться, — ответил Севастьянов и смутился еще больше.

— Скажите, почему вы не открыли огонь по противнику? — спросил я. — Ведь дистанция была самая подходящая.

— Кончились патроны, товарищ генерал. Я за этим бандитом гнался от самой окраины. Он все огрызнулся, ну я и израсходовал боезапас. Не рассчитал, да и очень хотелось побыстрее сбить его.

— А перед тем, как решиться на таран, вы подумали, что сами можете погнбнуть? Ведь ночью такой прием сложен, требует очень точного расчета.

— Нет, не подумал, — без промедления, просто ответил герой и смутился, вероятно, решив, что я могу принять его слова за бахвальство. И тут же доба-

<sup>1</sup> Посты воздушного наблюдения, оповещения и связи.

вил: — Не успел подумать. Когда я упустил «хейнкеля», то обозлился на себя: боеприпасы израсходовал, как теперь быть? Но тут прожектористы снова поймали самолет, и я вспомнил о таране. Вот и все. Жаль только, что свою «чайку» загубил, теперь не скоро в воздух поднимусь. В полку нет запасных машин.

Я пообещал ему помочь. С трудом мне удалось вытянуть из него, что он дрался с фашистами под Брестом и защищал Москву. Я еще больше проникся симпатией к этому скромному, отважному парню.

Давно это было, а я до сих пор будто наяву слышу ответ Севастьянова. Вдумайтесь и прочувствуйте ответ героя. Вот как: о собственной гибели он не подумал! Что может быть убедительнее и сильнее этого простого ответа?

Конечно, неверно и даже примитивно было бы думать, что успешное противодействие советских летчиков фашистской авиации и огромные потери ее в первые месяцы войны обуславливались только таранами и прочими актами массового героизма в воздухе. В целом высоко было боевое мастерство наших летчиков, прочной и здоровой была основа оперативного искусства советских ВВС, новая техника (истребительная) хотя и уступала вражеской, но не настолько, чтобы гитлеровцы могли пренебрегать ею. Но самым главным подспорьем в этой неравной борьбе в небе для наших летчиков была твердая вера в то, что за спиной их стоит могучий тыл, могучая социалистическая индустрия, которая сделает все, чтобы быстрее дать армии как можно больше новой, отвечающей всем требованиям войны боевой техники.

В двадцатых числах июля на юго-западе от Ленинграда стало тише. Противник, понеся большие потери, прекратил наступление на юго-востоке от Кингисеппа и на новгородском направлении. 24 июля советские войска под давлением превосходящих сил гитлеровцев отошли на левый берег Мшяги и Шелони. С этого времени фронт на дальних юго-западных подступах Ленинграда на большем своем протяжении стабилизировался до 8 августа. Лишь в предполье Лужского сектора бои длились до конца месяца. Здесь фашисты упорно улучшали свои позиции. 30 июля наши войска отошли ближе к городу Луге, а частью сил заняли оборону по правому берегу реки Луги.

Так рухнул план гитлеровского командования овладеть Ленинградом с ходу.

На земле установилось временное затишье. Но в воздухе передышкой и не пахло. Напротив, готовясь к новому решающему наступлению на Ленинград<sup>1</sup>, противник активизировал действия своей авиации по нашему тылу. 1-й воздушный флот систематическими ударами по тыловым объектам и коммуникациям мешал переброске и сосредоточению советских войск. Начались налеты на Северную и Октябрьскую железные дороги. Враг возобновил попытки прорваться в Ленинград с воздуха.

Налеты на Ленинград продолжались до конца оперативной паузы, установившейся на фронте. В них участвовало более девятисот самолетов, но достигли города единицы.

Противник всеми силами пытался навязать нам свою волю и поставить нас всецело в положение обороняющейся стороны. Авиация его действовала на всю глубину нашего тыла. Массированные налеты чередовались с ударами небольших групп. Ленинградским летчикам приходилось отбиваться повсюду. Все острее давала о себе знать нехватка авиации. И все же мы не только оборонялись, а на удар отвечали ударом. После спада напряжения на Лужском оборонительном рубеже я приказал возобновить налеты на вражеские аэродромы. Только 20, 22 и 26 июля ленинградские летчики, применив новый метод ударов комбинированными группами, уничтожили и повредили на земле пятьдесят пять фашистских самолетов. Примечательно, что мы не потеряли ни одной машины. Этот метод, строившийся на тесном взаимодействии самолетов разных типов (бомбардиров-

<sup>1</sup> Позже нам стало известно, что группа армий «Север» получила задание овладеть Ленинградом к 20 августа.

щников, штурмовиков и истребителей), оказался настолько эффективным, что гитлеровцы впоследствии частично переняли его.

В июле еще семь воздушных защитников города Ленина стали Героями Советского Союза. Это звание было присвоено Л. И. Иванову, А. М. Лукьянову, П. А. Маркуце, В. И. Матвееву, Л. В. Михайлову, С. А. Титовке и Н. Я. Тотмину, причем пятерым из них — за таранные удары. Всего за месяц войны Героями Советского Союза стали десять ленинградских летчиков.

Мне хотелось бы рассказать и о результатах воздушных ударов по наземным войскам противника в период боев на дальних юго-западных подступах к Ленинграду. Но, к сожалению, результаты эти очень трудно поддаются точному учету, особенно в первые месяцы войны. Хотя мы и контролировали результативность наших ударов с воздуха, но контроль этот был в то время несовершенен, что, конечно, вело к ошибкам в оценках действительных потерь врага. Поэтому я не стану приводить цифры потерь неприятеля от наших ударов с воздуха по его наземным войскам. Скажу только, потери эти были весьма ощутимыми для фашистов.

### ПОДВИГ ВЕДОМОГО

Летчики Ленинграда не только жестоко били врага, но и умели крепко постоять друг за друга, никогда не оставляли в беде товарища. Военская спайка, беспрекословное выполнение неписаного закона боевого содружества — сам погибай, а товарища выручай — были одним из немаловажных факторов, определявших исход схваток в небе. Это прибавляло «рыцарям ленинградского неба», как назвал летчиков поэт Н. Тихонов, сил, помогало им увереннее чувствовать себя в бою.

Об одном из таких случаев воинской взаимовыручки я и расскажу.

19 августа я сидел у себя в кабинете над пачкой боевых донесений. Они были нерадостными: командиры частей и соединений жаловались на большие потери, что все труднее и труднее маневрировать авиацией. К тому времени почти все аэродромы к западу и югу от Ленинграда оказались в руках противника, а новые, которые мы начали строить за рекой Волхов, еще не были готовы для эксплуатации. В первой декаде августа гитлеровцы подтянули свою истребительную авиацию на передовые аэродромы, а бомбардировочную перебазировали на аэроузлы Пскова, Порхова и Острова. Пользуясь скученностью советской авиации и близостью к фронту наших аэродромов, противник непрерывно бомбил их. В августе непосредственно для прикрытия Ленинграда и поддержки войск, оборонявшихся к югу и юго-западу от города и на Карельском перешейке, командование ВВС фронта имело всего около шестисот самолетов. Но использовать мы могли лишь немногим более четырехсот, так как остальные находились в ремонте.

Противник же непосредственно на ленинградском направлении сосредоточил около полутора тысяч боевых машин. Пользуясь своими преимуществами — количественным превосходством, густой аэродромной сетью и свободой авиационного маневра, — гитлеровцы подвергали непрерывным ударам с воздуха все узловые железнодорожные станции и наиболее важные перегоны, стремясь тем самым дезорганизовать работу нашего тыла и транспорта. Ленинградским летчикам приходилось поспевать всюду — прикрывать и поддерживать свои войска, отражать вражеские налеты на населенные пункты, железнодорожные станции, промышленные объекты.

Я сидел и ломал голову, где найти хотя бы две-три новые точки для базирования авиации и как быстрее восполнить потери в людях и технике. Раздался телефонный звонок. Я снял трубку. Меня срочно вызвали к главному Северо-Западного направления Маршалу Советского Союза К. Е. Ворошилову. Прихватив с собой необходимые документы, я отправился в Смольный.

Совещание уже было в полном разгаре. Я сел на свободный стул и стал ждать, когда понадобится главному. Но ему пока было не до меня: обсуждалось положение на фронте. Оно было очень тяжелым. Враг захватил Кингисепп, неумолимо отжимал наши войска к Финскому заливу и на рубеж Красное Село — Гатчина, головные части 28-го армейского корпуса уже подходили к Чудову и вот-вот могли перерезать Октябрьскую железную дорогу. На этом направлении наш фронт никаких укреплений не имел и не готовил их, и движение противника по Московскому шоссе на Любань и Тосно грозило тяжелыми последствиями. Словом, фланги Лужской оборонительной полосы за двенадцать дней немецкого наступления оказались смятыми, и над войсками центрального сектора ее нависла угроза полного окружения. Ленинград уже готовился к уличным боям и противодесантной обороне: на улицах возводились баррикады, противопехотные и противотанковые заграждения, строились разные ловушки, узлы сопротивления, доты и дзоты. Шло формирование новых частей народного ополчения.

Гитлеровцы настолько уверовали в быстрый захват Ленинграда, что заранее приготовили за подписью «коменданта Ленинграда» специальные пропуска для въезда в город автомашин. За полевыми войсками, едва не наступая им на пятки, двигались специально отобранные полицейские и эсэсовские части, которым было приказано навести «порядок» в городе. Офицеры готовились к банкетам на невских берегах.

Тяжко было все это осознать. Но я, слушая выступавших, думал не о наших несудачах, а о том, как нам, авиаторам, усилить свою помощь наземным войскам.

Я совсем погрузился в свои мысли, как вдруг резко распахнулась дверь и в кабинет быстро вошел кто-то из командиров. Он сразу направился к Ворошилову и стал что-то говорить ему на ухо. Климент Ефремович вскинул голову и посмотрел в мою сторону. Посмотрел строго и будто бы недовольно. «Что еще случилось?» — встретился я.

По мере того, как командир докладывал, лицо маршала все более и более мрачнело.

— Где это? — наконец произнес Ворошилов.

Командир пальцем указал на карте район. Главком склонился над картой.

— Ну, конечно! — сильно, с ударением сказал он. — Где тонко, туда и бьют. Что у них там?

— 6-я танковая и 36-я моторизованная дивизии, товарищ маршал, — ответил докладывающий.

— 1-я танковая дивизия тоже в этом районе, — заметил кто-то из общевойсковиков, сидевших ближе всех к Ворошилову.

Главком подозвал меня и, очертив карандашом пространство между селами Губаницы и Клопицы, что севернее железной дороги Таллин — Ленинград, сказал:

— Вот, от станции Волосово на Красное Село движется моторизованная колонна немцев. Только что воздушная разведка установила. Вероятно, подбрасывают резервы. Там танки и мотопехота. Обнагтели до того, что двигаются совершенно открыто. А у нас здесь, — Ворошилов постучал карандашом по карте, — ополченцы, да и те измотаны в боях, понесли большие потери. Надо немедленно помочь — ударить авиацией. Кто сделает это лучше всего?

Я, не задумываясь, назвал старшего лейтенанта Николая Свитенко — опытного и смелого мастера штурмовых ударов. Когда требовалось выполнить какое-нибудь очень трудное и ответственное задание, всегда посылали эскадрилью Свитенко, входившую в состав 7-го истребительного авиаполка. И всегда Свитенко возвращался с победой.

Отвечая главному, я мельком посмотрел в окно. Погода была летной. Правда, небо хмурилось, но облачность была высокой и не сплошной, кое-где в ее разрывах проглядывало солнце.

— А как погода, не помешает? — перехватив мой взгляд, осведомился Ворошилов.

— Свитенко только в туман не летает, товарищ маршал.

— Тогда действуйте, товарищ Новиков. — И Ворошилов кивком отпустил меня. — Надо помочь пехоте, надо. Вы прикажите как следует объяснить это летчикам.

Через несколько минут я мчался по Выборгскому шоссе на аэродром, где стояла эскадрилья Свитенко. Чтобы подчеркнуть важность задания и настроить летчиков на его отличное выполнение, я решил поставить штурмовикам боевую задачу сам и заодно подробно объяснить обстановку на том участке фронта. Не в тоне указующем, а просто по душам поговорить с летчиками, как тяжело придется нашим войскам. Я часто прибегал к этому. Приказ, каким бы он ясным и четким ни был, есть приказ — он сух и официален. Но уставные требования вовсе не исключают и иного обращения с подчиненными, и советский командир должен всегда сочетать жесткую военную требовательность и категоричность с доброжелательностью и сердечностью. И тогда невозможное становится возможным. Я в этом убеждался не раз во время войны.

Шофер Холодов, возивший меня еще в финскую кампанию, гнал «ЗИС» на предельной скорости. Но я торопил его — хоть и опытные летчики Свитенко, но в пути всякое может произойти с ними: встреча с немецкими истребителями или штурмовики не сразу найдут цель. Колонна к тому времени может достичь передовой и в зависимости от поставленной задачи либо развернется в боевые порядки, либо рассредоточится. Тогда эффект от штурмового удара резко снизится. Надо бить врага, пока он в походных порядках и движется компактной массой. Конечно, в этом случае к нему труднее прорваться. Гитлеровцы, уже испытавшие на себе силу наших ударов с воздуха, утратили прежнюю самоуверенность и начали сильно прикрывать свои колонны зенитными средствами. Но я твердо верил, что Свитенко прорвется к цели, только бы совсем видимость не ухудшилась.

Вот и аэродром, замаскированные капониры, в них — «чайки». На поле свежие следы разрывов бомб. Видимо, недавно здесь побывали гитлеровцы. Но ничего не горит, не дымит — стало быть, все обошлось благополучно.

«ЗИС» уже заметили, и не успел Холодов подкатить к КП, как навстречу из землянки вышел сам Свитенко. Чуть выше среднего роста, поджарый, он, отдавая мне честь, приложил руку к голове, на которой был надет шлем с завернутыми ушами и широкими очками.

— Только что из боя? — спросил я.

— Пришлось подрататься, товарищ командующий, — ответил Свитенко. — Они все клюют и клюют нас.

— Не нравимся мы фрицам, товарищ генерал, — раздался из-за спины Свитенко чей-то голос.

Я перевел взгляд. За спиной комэска (так сокращенно в то время называли командира эскадрильи) стоял высокий молодой летчик с характерным лицом кавказца.

— Мой ведомый, товарищ командующий, — пояснил Свитенко, — лейтенант Алибек Слонов.

— Давно в эскадрилье? — поинтересовался я.

— Да не очень, если мерить понятиями мирного времени. Но на войне иные масштабы и иные мерки. Так, лейтенант? — спросил Свитенко.

— Так, — согласился Слонов. — А под Ленинградом и вовсе свои, особенные мерки.

— Вы кто по национальности? — спросил я Слонова. — На грузина не похожи, на армянина тоже. Я несколько лет служил на Кавказе, пригляделся. Из горцев, наверное?

— Осетин, товарищ командующий.

— Вот как! — удивился я. — Далеко от родных мест воюете.

— Здесь тоже родина, товарищ командующий,— ответил Слонов.— А Ленинград к тому же я очень люблю.

— Ну, тогда будете бить врагов еще сильнее,— заметил я и обратился к Свитенко: — Соберите летчиков и дайте карту.

Когда все собрались, я объяснил им, что полетят они по приказу Ворошилова, указал район и цель штурмовки, а потом коротко сообщил, как трудно придется в этом районе нашей пехоте, особенно ополченцам, и что Ленинград готовится к уличным боям.

— Положение, сами понимаете, очень тяжелое,— сказал я в заключение.— Но в Ленинграде враг не должен быть. И это зависит от нас с вами, от того, как мы будем бить противника. Поэтому нужно выкладывать все силы, переступить через невозможное. Ресурсы у врага не бесконечные, путь к Ленинграду обошелся ему дорого, и рано или поздно, но он выдохнется. А страна поможет нам. Ну, а теперь по машинам!

Через несколько минут взревели моторы, и «чайки», покачиваясь на неровностях почвы, одна за другой покатали на взлет. Их было восемь. Больше послать я не мог: не было под рукой свободных самолетов. Провожая летчиков на задание, я в который раз подумал об Ил-2. Как нам не доставало этих грозных машин! Вместо них в качестве штурмовиков приходилось использовать истребитель И-153. А истребители так нужны были для других целей!

В ожидании возвращения эскадрильи я то сидел на лавочке у оконца бревенчатого домика, где размещался КП, то прохаживался. Так прошло около часа. Пора было бы и возвращаться «чайкам». Я смотрел в сторону Финского залива (авиация, дислоцировавшаяся на севере от Ленинграда, летала на фронт ближайшим путем) и прислушивался, не раздастся ли в отдалении рокот моторов. Но было тихо, только издали, приглушенная расстоянием, доносилась артиллерийская канонада. Это на подступах к Красногвардейскому укрепленному району шли тяжелые бои с моторизованными и танковыми соединениями противника.

Прошло еще несколько минут — и вдали послышался характерный рокот авиационных моторов. Рокот приближался, усиливался, и вот низко над землей появились темные точки.

Когда самолет ведущего коснулся земли, кто-то из техников медленно и удивленно, не веря еще самому себе, произнес:

— Бати-то нет!

Я понял, что он имеет в виду Свитенко. Во время войны среди летчиков было очень распространено так называть любимых командиров.

— И Алибека тоже! — подхватил другой техник.

Я стал считать. Действительно, двоих не было. Сердце больно сжалось.

О выполнении боевого задания доложил заместитель командира эскадрильи. Вражеская колонна потрепана и остановлена. Но летчики вовсе не радовались своему успеху: потеря двух товарищей сильно опечалила всех.

— Эх, как же теперь без бати! — сказал кто-то.

Я, как мог, утешил летчиков: рано еще считать Свитенко и Слонова погибшими, надо подождать, может, их только подбили и они где-нибудь приземлились. Но сам так расстроился, что даже забыл поблагодарить ребят. Подождав полчаса, я уехал в Ленинград.

Вернувшись в город, по телефону доложил Ворошилову о результатах штурмовки вражеской колонны. О невернувшихся с боевого задания умолчал: в сердце все еще жила надежда на благополучный исход. Поддерживало меня в моей надежде простое соображение: не могли летчики прозевать гибель сразу двоих.

Предчувствие не обмануло меня. Приблизительно через час после моего возвращения зазвонил телефон. Звонил командующий ВВС Краснознаменного Балтийского флота генерал М. И. Самохин, сменивший Ермаченкова еще в середине июля. Он сообщил, что на одном из морских аэродромов приземлилась «чайка» с человеком на плоскости.

— Это кто-то из ваших, Александр Александрович,— добавил Самохин.

Аэродром, названный Самохиным, находился недалеко от Стрельны, на южном берегу Финского залива, и я сразу подумал о Свитенко и Слонове и так обрадовался, что в первый момент не придал словам «с человеком на плоскости» никакого значения. Лишь немного погодя встревожился: не слышался ли, не нутал ли Самохин?

Вечером я узнал в подробностях, как все произошло, от самого Свитенко.

Восьмерка «чаек» вышла на цель с бреющего полета. По дороге от Губаниць на Нисковицы плотной массой двигались вражеские танки и мотопехота, по обочинам мчались мотоциклисты. Колонну прикрывали зенитные установки.

Свитенко решил громить врага поочередно. Первым вступило в бой его звено. Прочесав колонну пулеметным огнем, он повел экипажи на второй заход. Второе и третье звенья ударили по противнику эрэсами (реактивными снарядами). В середине колонны все смешалось: немецкие шоферы инстинктивно рванулись вперед, но впереди уже пылали все автомашины, с них горохом сыпались автоматчики, получилась пробка, и часть колонны остановилась. «Чайки» развернулись и снова обрушились на врага. Но теперь открыли яростный огонь автоматические зенитные установки — эрликоны. Их тонкие и длинные стволы следовали за И-153 и очередными посылали в них снаряды. Над дорогой густо висели сероватые шапки разрывов.

Выходя из второй атаки, Свитенко принятой эволюцией самолета просигнализировал отход. И вдруг его «чайку» резко дернуло, словно бы ее снизу чем-то напододали: в мотор угодил вражеский снаряд. В кабине запахло гарью. На приборе, показывающем давление масла, стрелка упала почти до нулевой отметки. Мотор заработал с перебоями, и машина стала терять высоту. К командиру тотчас подстроился Слонов. Но мотор «зачихал» сильнее, и самолет начал как бы проваливаться в воздухе. Свитенко, ища подходящее место для посадки, знаком приказал Слонову возвратиться к своим. Но Алибек упорно указывал пальцем вниз, потом что-то выкрикнул. Мотор на машине Свитенко в этот момент заглох, скорость резко упала, а Алибек проскочил вперед.

Слева, у деревни Клопицы, Свитенко увидел ровную площадку, за которой сразу начинался лес. Это был полевой аэродром, на который он не раз садился в первые недели войны. Но 17 августа головной отряд одной из танковых дивизий фашистов ворвался в районный центр Волосово, полевой аэродром возле Клопицы авиаторам пришлось покидать уже под артиллерийским огнем врага.

Все поле аэродрома было в воронках от недавно рвавшихся здесь бомб и снарядов. Пока позволяла высота, Свитенко повернул «чайку» правее, ближе к лесу, и притер ее к земле брюхом. Быстро освободившись от парашюта, он выскочил из кабины. Аэродром был пуст: гитлеровцы не пользовались им. Кругом было тихо. Достав ракетницу, Свитенко выстрелил в кабину, поджег машину и поспешил к лесу.

Не прошел он и двадцати шагов. Немцы стали бить из минометов. Свитенко побежал. И вдруг над ним раздался гул мотора. По номеру на хвосте Свитенко узнал машину Слонова. Высунувшись из кабины, Алибек сделал какой-то знак рукой. Свитенко принял этот жест ведомого за прощанье, тоже помахал рукой. Но Алибек и не думал улетать. Развернувшись, он повел машину на посадку.

На поле разорвалось еще несколько мин. У дальнего края в стороне Клопицы Свитенко приметил вражеских солдат.

Свитенко скрестил над головой руки — это был знак, запрещающий посадку. Но Слонов не послушался командира, выпустил шасси и приземлился. «Чайка», подпрыгивая на неровностях, покатила к Свитенко. Около носа ее разорвалась мина, и Свитенко увидел, как земля посыпалась на левую плоскость. Алибек отчаянно замахал рукой, подзывая к себе командира.

Свитенко побежал к машине, изо всех сил крича Алибеку, чтобы тот немедленно взлетел, и погрозил ему кулаком. Но тут он услышал сквозь рокот мотора голос Алибека, требующего, чтоб он быстро прыгал на плоскость.



Только тогда Свитенко сообразил, что задумал Слонов. Подбежав к самолету, он взобрался на нижнюю правую плоскость и крепко ухватился за металлические расчалки.

Алибек дал газ, «чайка» тронулась с места и, все убыстряя бег, помчалась по полю. Гитлеровцы открыли по ней автоматный огонь, но она над их головами взмыла вверх и исчезла.

Полет продолжался недолго — минут десять, но дался он Слонову труднее, чем самая отчаянная штурмовка противника. Он боялся, что командир не выдержит напора ветра, силы покинут его и он сорвется с крыла. Когда они отрывались от земли, струя ветра от винта сорвала с головы Свитенко шлем, очки и теперь яростно трепала его волосы, больно стегала по глазам, парусом надувала кожаный реглан. Непредвиденный груз на плоскости переместил центр тяжести, и машину все время тянуло вправо. Слонов взмок, работая рулями и стараясь не дать «чайке» свалиться на крыло.

Наконец впереди показался Финский залив. Где-то здесь у Стрельны аэродром моряков. Алибек повернулся к Свитенко и рукой показал вниз. Свитенко грудью навалился на расчалки, силы покидали его, совсем заоченели пальцы, а острые края расчалок врезались в ладони до мяса. Наконец дробно застучали о сухой грунт колеса, машину сильно встряхнуло, и она остановилась. С трудом разжал Свитенко затекшие пальцы и почти плашмя свалился на землю. Слонов, успевший высочить из кабины, подхватил командира на руки. По полю бежали люди в морской форме. Это были свои.

— То, что сделал Алибек, по плечу не каждому даже закаленному воздушному бойцу. Какое же большое и смелое сердце у этого парня! — заключил свой рассказ Николай Иванович.

А я спросил у него, решился ли бы он сам на такой поступок? Свитенко без промедления ответил:

— А как же, товарищ командующий! Ведь он мой боевой товарищ!

Эта история вскоре облетела весь мир. В американских газетах подвиг Алибека Слонова назвали «небывальым, превосходящим все, до сих пор известное нам в анналах мировой авиации». Конечно, это не совсем так. Подобные случаи товарищеской взаимовыручки были у нас и раньше, правда, в ситуациях менее сложных. Мне памятен совершенный во время войны с Финляндией подвиг летчика 44-го скоростного бомбардировочного авиаполка капитана М. Т. Трусова, который спас экипаж нашего горевшего на вражеской территории бомбардировщика. За самоотверженный поступок Трусов был удостоен звания Героя Советского Союза. А вообще в финскую кампанию советские летчики, рискуя жизнью, одиннадцать раз вот так спасали своих попавших в беду товарищей. Был такой случай и на Халхин-Голе летом 1939 года. В воздушном бою с вражескими истребителями был сбит самолет командира авиаполка В. М. Забалуева. Забалуев выбросился из горящей машины с парашютом. Приземлился он на территории противника. От плена командира спас известный летчик Герой Советского Союза С. И. Грицевец. Он посадил Забалуева за бронеспинку своего И-16 и, несмотря на большую перегрузку, сумел довести машину до аэродрома. Если мне не изменяет память, то это первый случай спасения летчика на истребителе. За этот подвиг Грицевец был вторично удостоен звания Героя Советского Союза.

Словом, американские журналисты ошиблись, назвав подвиг Алибека Слонова небывальым. Но оттого, что это не так, значение поступка ленинградского летчика несколько не умаляется. Суть таких поступков ведь не в их количестве и степени героичности. Для нас основная ценность их в ином: в них, как и в истории спасения Свитенко, с особой силой проявились те высокие моральные качества советских воинов, которые помогли нам выстоять в самую трудную пору войны, потом перетянуть чашу весов на свою сторону и затем наголову разбить самого жестокого и сильного врага, какой когда-либо посягал на свободу нашей Родины.

## ОБОРВАННЫЙ СЛЕД

К 9 октября 1941 года положение под Ленинградом полностью стабилизировалось. В конце сентября фашистские войска прекратили наступление, и на переднем крае южного полукружия нашей обороны после месяца непрерывных жесточайших боев наступило затишье. А в октябре нам стало известно, что противник роет землянки, утепляет блиндажи, устанавливает проволочные заграждения и минные поля. Воздушная разведка обнаружила переброску частей 4-й танковой группы генерала Гепнера куда-то на юг от Ленинграда. Все это свидетельствовало о том, что враг выдохся и готовится к зимовке.

И вдруг в ночь с 8 на 9 октября наши передовые посты засекли на восточной окраине занятого гитлеровцами Урицка гул танковых моторов. Судя по шуму, танков было много. Визуальное наблюдение, проведенное утром 9 октября, результатов не дало. Посланный в район Урицка самолет-разведчик тоже не обнаружил вражеских танков. Они словно сквозь землю провалились. А местность под Урицком не такая, чтобы вот так запросто можно было спрятать на ней столь крупногабаритную боевую технику, как танки.

Командование 42-й армии сильно встревожилось. И было от чего. Противника, засевшего в Урицке, отделяли от завода имени С. М. Кирова всего шесть километров. Такая близость врага от крупнейшего завода Ленинграда и его военной кузницы заставляла непрестанно быть начеку, и естественно, что малейшее оживление неприятеля в этом районе вызывало у нас повышенную реакцию.

Прямые свидетельства перехода врага к обороне вовсе не говорят о том, что он отказывается от активных действий на отдельных участках фронта. И при стабильной обороне у противника велико желание улучшать свои позиции, и уж тем более на подступах к такому важнейшему объекту, как Кировский завод. Наконец, не исключалась и прямая попытка гитлеровцев захватить этот промышленный гигант или приблизиться к нему настолько, чтобы прицельным огнем артиллерии и минометов максимально мешать его работе. Словом, независимо от того, было ли внезапное появление вражеских танков в Урицке какой-то демонстрацией или же противник и впрямь замышлял нанести удар в сторону Кировского завода, танки нужно было найти, установить их количество и, если не удастся уничтожить, держать все время под наблюдением.

И все же я сперва усомнился в том, что вражеские танки находятся в Урицке. Не верилось, что фашистам за одну ночь удалось настолько тщательно замаскировать громоздкую технику, что не сохранилось ни малейших следов этой маскировки, и к тому же на почти открытой местности. А ведь разведка с воздуха велась при солнечной погоде. Правда, несколько смущало меня то обстоятельство, что разведка велась на истребителе, не была длительной, а фотоснимки не отличались высоким качеством. Наконец, наземные посты не слышали ночью удалявшегося шума танковых моторов. Я воздержался от окончательных выводов и приказал повторить воздушную разведку. Но задумался: что послать? СБ в данном случае не годился. Для тщательного фотографирования района Урицка требовалось не меньше часа. Естественно, что гитлеровцы не позволили бы нашим летчикам летать столь долго и безнаказанно, попытались бы сбить или отогнать их огнем зенитных орудий или подняли бы в воздух с ближайшего аэродрома истребителей. А СБ недостаточно быстроходен и в случае появления вражеских истребителей не успел бы скрыться. Подумал о Пе-2. Но у нас в то время этих замечательных машин, почти не уступавших в скорости немецкому истребителю Ме-109, осталось совсем мало, кажется, штук двенадцать. «Пешки» были тогда единственной ударной силой ВВС фронта. Даже в столь малом количестве они очень выручали нас, и мы берегли их как зеницу ока. Все задания 125-му полку пикирующих бомбардировщиков я контролировал самолично и весьма тщательно. Но в данном случае ситуация сложилась исключительная, и я после недолгого раздумья позвонил командиру полка В. А. Сандакову в Левашово и велел немедленно подготовить один экипаж. Предупредил, что вести разведку, наверное, при-

дется под непрерывным огнем зенитных установок неприятеля, что возможна встреча с «мессерами» и поэтому в экипаже должны быть крепкие люди.

— Сами понимаете, — добавил я, — что одной смелости тут недостаточно. Нужна выдержка и мастерство.

— Разрешите поговорить с летчиками, товарищ командующий, — ответил майор.

Я согласился, но предупредил, что время не терпит, и приказал сообщить о решении через десять минут.

Звонок из Левашово раздался раньше срока. Сандалов доложил, что на задание вылетает комсомольский экипаж лейтенанта Владимира Ромашевского.

— Комсомольцы — это хорошо, — заметил я. — А как у них с опытом?

Командир полка сообщил, что экипаж участвовал во всех боевых действиях авиачасти, в том числе и в последней операции наших войск в районе Невская Дубровка — Отрадное в самом начале октября. Я был в районе наступления наших войск, своими глазами видел, в каких трудных условиях сражались ленинградские летчики, и потому одно упоминание Сандалова о Невской Дубровке и Отрадном сказало мне об экипаже Ромашевского все.

Экипаж Ромашевского великолепно справился с опасным заданием. Полтора часа «пешка» бороздила небо над Урицком под яростным огнем зенитных установок противника. Даже человеку, весьма далекому от авиации, нетрудно представить себе, что значит такой полет. Он труднее, чем самая яростная штурмовка. Там — два-три боевых захода, каждый из которых длится считанные минуты, и можно возвращаться домой. Воздушный же разведчик находится под вражеским огнем до тех пор, пока не сфотографирует заданный район. Он летит только по прямой — туда-сюда, ткет свою незримую паутину, как ткацкий челнок: всякое отклонение от курса немедленно скажется на качестве фотосъемки. Командир экипажа воздушного разведчика должен обладать незаурядными силой воли и выдержкой, чтобы строго по курсу вести самолет, видеть вокруг частые шапки разрывов вражеских снарядов, чувствовать, как сотрясают машину взрывные волны, и не попытаться хоть раз небольшим маневром спутать расчеты зенитчиков противника.

Время тянулось томительно долго. Иногда я не выдерживал и сам звонил на КП 42-й армии.

— Ну, как там наша «пешка», летает? — спрашивал я и каждый раз с тревогой ждал ответа.

— Кружит, — неизменно доносился чей-нибудь голос.

Иногда следовало добавление:

— Такие отчаянные ребята! И как их только не собьют? Слышите, как фрицы бьют, товарищ генерал?

Я вжимался в трубку ухом, и тогда мне казалось, будто я действительно различаю частую артиллерийскую стрельбу средних и крупных зенитных орудий.

Так минул час, пошел второй. Ромашевский оказался словно заколдованный. Потом выяснилось, что он очень ловко водил гитлеровцев за нос. Уже в полете ему вдруг пришла в голову мысль: а что, если попытаться вести машину с отклонением от заданной высоты плюс-минус пятьдесят—семьдесят метров? Он спросил штурмана, скажется ли это на качестве фотосъемки. Штурман ответил, что такое отклонение по высоте допустимо, лишь бы в плоскости полет был строго прямолинейен. И тогда Ромашевский повел самолет волнообразно. С земли такой маневр неуловим. Вот почему немецкие зенитчики все время маляли. Они не знали об этом отклонении и не учитывали его в своих расчетах.

Наконец Сандалов доложил, что Ромашевский возвращается.

С нетерпением ждали мы, когда дешифровщики прочитают отснятую пленку. Дешифровка уже подходила к концу, но ничего подозрительного на глаза специалистам не попадалось. И вдруг кто-то обратил внимание на какие-то странные следы возле домов на восточной стороне Урицка. Следы эти обрыва-

лись возле многих строений. Стали изучать их, и оказалось, что это вмятины от танковых гусениц. Но что здесь делали вражеские танкисты? Переночевали и убрались восвояси? Тогда почему ночью не было слышно шума моторов? Загадка. Ломали над ней голову дешифровщики, искали ответ на нее и мы у себя в штабе. Разумное решение не приходило. Кто-то даже высказал предположение, что гитлеровцы ночью просто отбуксировали танки в тыл. Нелепость такого маневра была очевидна. И все же чем черт не шутит? Я уже стал было подумывать о том, чтобы послать разведчиков за Урицк в направлении Стрельны и Красного Села — пусть там поищут следы танков. Но тут раздался телефонный звонок от дешифровщиков, и чей-то радостный голос доложил, что танки найдены.

— Где они?

— В Урицке, товарищ командующий. Только хитро фрицы придумали — спрятали их в дома, в те самые, что на пленке.

— Как так в дома? Каким образом? — удивился я. И вдруг разозлился: — Вы там фантазируете, а время идет. Занимайтесь делом!

— Товарищ командующий! — перешел тогда совсем на официальный тон докладывающий. — Разрешите доложить о данных воздушной разведки экипажа лейтенанта Ромашевского?

По его интонации я понял, что он обижен моим недоверием и что танки действительно найдены, а я напрасно погорячился.

— Хорошо, докладывайте, — уже мягче сказала я.

Снимки действительно показали, что немцы для маскировки танков использовали жилые строения. Но как? Оказывается, танк задом пробивал стену и въезжал во внутрь домика. Вот почему следы гусениц обрывались так внезапно и вривались к строениям. Решить эту загадку помогла маленькая деталь. На одном из снимков, сделанном крупнее, дешифровщики заметили какой-то темный и тонкий предмет, выступавший из-под ската крыши. При тщательном исследовании предмет этот оказался концом ствола танковой пушки. Увеличили еще несколько снимков других зданий, и на них обнаружили ту же деталь. Так внезапное исчезновение вражеских танков перестало быть загадкой. Более того, теперь мы оказались в выгодном положении. Можно было смело предположить, что танки раньше наступления темноты из Урицка не уберутся, а экипажи их пребывают в счастливом для нас, разумеется, неведении о нависшей над ними опасности и, наверное, отдыхают, и если сейчас на танки бросить авиацию, то пожара может оказаться весьма внушительной.

Я снова позвонил Сандалову. Владимир Александрович доложил, что полк будет в полной боевой готовности через полчаса: бомбардировщики недавно вернулись с боевого задания и еще не успели полностью зарядиться горючим и взять на борт новый запас бомб. Я приказал поднять в воздух все машины и отштурмовать вражеские танки в Урицке на всю, как говорится, железку.

На штурмовку вылетели все двенадцать экипажей, в том числе и экипаж Ромашевского. Первый удар по противнику «пешки» нанесли ровно в три часа дня. Погода к этому времени совсем разгулялась — на чистом, омытом недавними дождями небе живописно и неторопливо плыли редкие облака, воздух был по-осеннему чист и прозрачен, и все на земле проглядывалось удивительно четко. Лучшей погоды для пикирующих бомбардировщиков и желать было нельзя.

«Пешки» с ходу вышли на цель, сделали круг над Финским заливом, перестраиваясь в хвост друг другу, и боевая работа их началась.

Сандалов сам вел полк, он первым и обрушился на вражеские танки. Машина за машиной входила в пикирование, как коршун, падала на выбранную цель, и спустя пятнадцать — двадцать секунд авиационные фугасы рвали землю возле строений, в которых были укрыты немецкие танки.

«Пешки» накрыли цель с первого же захода. Бомбы угодили прямо в домики, над некоторыми из них взметнулись языки пламени.

Налет советских бомбардировщиков оказался для противника настолько стремителен и неожидан, что зенитчики растерялись и открыли огонь лишь после того, как Пе-2 пошли на второй круг. А вскоре появились и немецкие истребители. Это были Хе-113. Но группа прикрытия быстро отогнала «хейнкелей», и «петляковы» благополучно завершили второй заход.

Вернувшись на аэродром, Сандалов по телефону во всех подробностях доложил о штурмовке и попросил разрешения на второй налет.

— Чтобы не демаскировать себя,— сказал майор,— немцы не выведут из укрытий уцелевшие танки, а если выведут, мы накроем их на дороге. Но думаю, что побоятся: укрыться танкам днем в Урицке и его окрестностях негде.

Довод был резонный, и я согласился. Но на этот раз ввиду отсутствия элемента внезапности приказал прикрыть полк Сандалова более сильным истребительным заслоном. В воздух поднялись два звена истребителей.

Через два часа «пешки» снова появились над Урицком. Но теперь служба воздушного наблюдения и оповещения врага вовремя засекла «петляковых», и едва они появились над поселком, как их встретил очень плотный огонь зенитных установок. И все же Сандалов сумел без потерь прорваться к танкам и отбомбиться. Как он и предсказал, гитлеровцы побоялись вывести уцелевшие после первого удара машины из укрытий.

Точно установить потери противника нам не удалось. Определили их косвенным путем — по шуму моторов. Ночью на окраине Урицка вновь загрохотали танки, но теперь шум их был несравненно слабее, чем ночью с 8 на 9 октября, и он не нарастал, а стихал, удаляясь от нашей передовой все дальше и дальше.

С тех пор наши бойцы не видели вражеские танки на этом участке фронта. Но в тот же день, как бы в отместку за разгром своих танков, противник совершил на Ленинград один из самых яростных и длительных налетов. Не успело стемнеть, как над городом завывали сирены. Не смолкали они почти до рассвета. Более девяти часов подряд провели ленинградцы в тот раз в бомбоубежищах.

*(Окончание следует)*



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕМАХ

ВСЕВОЛОД ОВЧИННИКОВ

★

## ВЕТКА САКУРЫ

*(Рассказ о том, что за люди японцы)*

### СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА

**З**а тонкой раздвижной перегородкой послышались шаги. Мягко ступая босыми ногами по циновкам, в соседнюю комнату вошли несколько человек, судя по головам — женщины. Рассаживаясь, они долго препирались из-за мест, уступая друг другу самое почетное; потом на минуту умолкли, пока служанка, звякая бутылками, откупоривала пиво и расставляла на столике закуски, и вновь заговорили все сразу, перебивая одна другую.

Речь шла о разделке рыбы, о заработках на промысле, о кознях приемщика, на которого им, вдовам, трудно найти управу.

Я лежал, жадно вслушиваясь в каждое слово. Ведь именно желание окунуться в жизнь японского захолустья занесло меня в этот поселок на дальней оконечности острова Снкоку. Завтра перед рассветом, что-то около трех утра, предстояло выйти с рыбаками на лов. Я затеял все это в надежде, что удастся пожить пару дней в рыбацкой семье. Но оказалось, что даже в такой глуши есть постоянный двор. Меня оставили в комнате одного и велели улежась пораньше, чтоб не проспать.

Да разве заснешь при таком соседстве! Я ворочался на тюфяке, напрягал слух, но смысл беседы в соседней комнате то и дело ускользал от меня. Никто в моем присутствии не стал бы говорить о жизни с такой откровенностью, как эти женщины с промысла, собравшиеся отметить день получки. Но, пожалуй, именно в тот вечер я осознал, какой непроницаемой стеной еще скрыт от меня внутренний мир японцев. Много ли толку было понимать их язык — вернее, слова и фразы, если при этом я с горечью чувствовал, что сам строй их мыслей мне непостижим, что их душа для меня пока еще потемки.

Была, правда, минута, когда все вдруг стало понятным и близким, — когда охмелевшие женщины удивительно стройно запели знакомую мелодию:

...И пока за туманами  
Видеть мог паренек,  
На окошке на девичьем  
Все горел огонек...

Как дошла до них эта песня? То ли их мужья привезли ее с собою из плена, прежде чем свирепый шторм порешил рыбацкие судьбы? То ли эти женщины овдовели еще с войны и от других слышали эту песню об одиночестве, ожидании и надежде, до краев наполнив ее своей неутолимой тоской?

Снова звякали за перегородкой пивные бутылки; то утихала, то оживлялась беседа. Но я уже безнадежно потерял ее нить и думал о своем.

Конечно, вдовы — везде вдовы. Но люди здесь не только иначе говорят; они по-иному чувствуют, у них свой подход к жизни, иные формы выражения забот и радостей.

Смогу ли я когда-нибудь разобраться во всем этом?

Еще в детстве читал, что вечерний Париж пахнет кофе, бензином, духами. А попробуй-ка описать, чем пахнет по вечерам бойкая улица японского города!

На углу переулка, сплошь светящегося неоновыми рекламами питейных заведений, примостилась старуха с жаровней. На углях у нее разложены растробом вверх витые морские раковины, в которых булькает что-то серое. Рядом с плоской вяленой каракатицей и еще какой-то пахучей морской снетью пекутся в золе неправдоподобно обыденные куриные яйца.

В двух шагах — знакомая еще по Пекину машина, которая перемешивает каштаны в раскаленном песке. А вот — напоминающий о пионерских кострах запах печеной картошки. Он исходит от сложного сооружения, похожего на боевую колесницу. Там тоже жаровня с углями, а над ней, как туши на крюках, развешаны длинные клубни батата. Выбирай и любуйся, как при тебе их будут печь.

Из кабаре «Звездная пыль» выпорхнула женская фигура. Примостившись на краешке какого-то ящика, чтобы не измять серебристого газового платья с немислимым вырезом на груди и спине, девушка, по-детски жмурясь от удовольствия, торопливо ест дымящуюся картофелину. А старуха торговка тем временем заботливо прикрывает чем-то ее оголенные плечи — то ли от вечернего холода, то ли от взоров прохожих.

Был сегодня на фестивале популярных ансамблей и вынес оттуда незабываемое впечатление о том, что видел и слышал — не столько на сцене, сколько в зале.

Создатели самых модных, самых ходовых пластинок состязаются здесь в каком-то бешеном темпе. Солистка еще только берет финальную ноту, еще не видно конца неистовства ударника, как движущийся пол уже уносит оркестрантов за кулисы и тут же выталкивает следующий ансамбль, который также играет всюю, но уже что-то свое.

Новоиспеченные кумиры года сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой. Ни секунды передышки от барабанной дробы и аккордов электрогитар.

Но шумовые каскады, низвергающиеся со сцены, ничто в сравнении со взрывами неистовства, от которых ежеминутно сотрясается зал. Никогда не думал, что можно с таким исступлением визжать и топтать ногами на протяжении двух часов подряд.

Неужели это те самые японские девушки, которые славятся образцом грациозности и сдержанности, безукоризненного контроля над проявлением своих чувств?

Вот толпа совершенно обезумевших поклонниц кидается к сцене, расталкивая друг друга. Десятки рук с подарками тянутся к длинноволосому идолу. Какая-то девушка протиснулась вперед с гирляндой цветов, но никак не может дотянуться до певца. Тот великодушно делает шаг к самому краю рампы и слегка нагибается. Но в тот самый момент, когда поклоннице наконец удастся набросить цветы ему на шею, в гирлянду вливаются десятки рук. Заарканенный кумир теряет равновесие и падает прямо на толпу своих визжащих поклонниц, которые, словно стая хищных рыб, начинают буквально рвать его на части, чтобы заполучить хоть какой-нибудь сувенир.

Досыта насмотревшись подобных сцен, я пополнил перечень необъяснимых парадоксов Японии еще одним пунктом.

Казалось бы, столь падкая на крайности западной моды нынешняя японская молодежь уже полностью отошла от нравов и обычаев старшего поколения.

И тем не менее, когда приходит пора свадьбы, каждая из этих исступленно визжащих, растрепанных девиц вновь превращается в образец кротости, смирения и покорности. Став невестой, она как бы вновь присягает законам предков. Проявляется

это не только в том, что вопреки какой бы то ни было моде ее наряд и прическа будут такими же, как у красавиц, которых когда-то изображал на своих гравюрах Утамаро<sup>1</sup>.

Куда важнее, что эта верность заветам старины проявляется в покорности родительской воле. Ведь то самое поколение, за вкусами которого столь пристально следят и капризам которого своекорыстно потворствуют производители грампластинок, владельцы телестудий, кинотеатров, домов моделей; то самое поколение, которое, казалось бы, само выбирает себе кумиров и низвергает их,— это поколение донныне продолжает мириться с отсутствием права выбора в самом важном для человека вопросе — в вопросе о том, кто станет его спутником жизни, отцом или матерью его детей.

И как бы ни бросались в глаза ультрасовременные черты в облике японской молодежи, все же две трети браков до сих пор совершаются по сватовству, то есть по выбору родителей.

Все в Японии — от школьников до престарелых крестьянок — привыкли совершать путешествия коллективно, шествуя стройной колонной за флажком экскурсовода. Исключение составляют только молодожены. Эти держатся подчеркнуто отчужденно и деловито перелистывают книжечки наподобие зачетных, откуда надо вырывать талоны на посещение музея, парка или храма, на поезд, автобус, на гостиницу и так далее. Такими книжечками их снабжает туристское бюро, чтобы, уплатив вперед за все свадебное путешествие (обычно трех-пятидневное), можно было больше не думать о деньгах.

Молодоженов сразу отличишь и по штативу для фотоаппарата, который они всюду таскают с собой, чтобы сниматься вдвоем на фоне достопримечательностей, отмеченных в маршруте. И хотя у каждого такого места непременно сталкиваются несколько новоиспеченных супружеских пар, почему-то никогда не увидишь, чтобы они делали снимки друг для друга на основах взаимности.

Но есть у молодоженов еще более характерная примета. Все — от шляпки на ней до ботинок на нем — безукоризненно новое (пусть недорогое, но непременно только что из магазина).

Вместе со мной в вагоне экспресса ехало уже три пары молодоженов, когда я обратил внимание на четвертую. Большая толпа провожала их на перроне, видимо сразу же после свадебной церемонии.

Поезд тронулся. Жена — статная, необычно высокая для японки,— сняла и аккуратно сложила пальто, прикоснулась рукой к своей пышной прическе и удобно уселась у окна. Рядом с нею муж выглядел щедрым. Багровый после свадебного пиршества и волнений, он чувствовал себя стесненно: бесцельно шарил по карманам, вертел головой, то и дело поправлял галстук и наконец закурил.

Судя по всему, они вообще впервые оказались наедине друг с другом, и затянувшееся молчание тяготило обоих. Вот она взглянула на него приветливо, и он ожил, расцвел и вдруг, словно осененный, полез наверх за дорожной сумкой. Он извлек оттуда пачку бумажных листов, похожих на дипломы, какие у нас дают победителям спортивных состязаний, или на облигации: красные, синие, зеленые узоры обрамляли надпись посредине.

Перебирая эту пачку, молодой супруг принялся что-то с жаром объяснять своей спутнице. Его скованность как рукой сняло, ошалелое выражение исчезло, лицо стало осмысленным, даже, пожалуй, влюбленным, когда, достав золотое перо, он принялся вписывать по несколько слов в каждую из бумаг. Полюбовавшись каждым листком, он передавал его жене, брался за другой и снова что-то объяснял и подписывал. А она, украдкой следя за его движениями, лишь негромко смеялась, прикрываясь тыльной стороной руки, и опускала глаза.

Так все бумаги до одной перешли в руки молодой женщины. А он закинул ногу за ногу и снова закурил, но уже не нервно, а удовлетворенно, и, откинувшись на спинку кресла, наблюдал за своей женой.

<sup>1</sup> Утамаро (1753—1806) — японский художник, прославившийся как создатель цветных гравюр на дереве.



Наблюдал и я: что же будет дальше? Скорее всего это акции, полученные ими в приданое. Тогда она их посмотрит и вернет.

Молодая женщина, видимо, тоже была в нерешительности. Несколько раз она обмахнулась пачкой, как веером, но потом это показалось ей, наверное, непочтительным, и она стала молча перелистывать их.

Он протянул руку — нет, не затем, чтобы взять листки, а лишь для того, чтобы разыскать среди них один и чем-то особенно выделить его, а затем опять, теперь уже демонстративно, протянул женщине всю пачку.

Она постучала ими по коленям, выравнивая листы, а потом задумчиво сложила стопку вдвое. Я слышал, как щелкнул замок ее большой черной сумки.

Через несколько минут муж уже дремал, как и все молодожены в этом поезде. Голова его четко вырисовывалась на белом чехле кресла чуть повыше плеча спутницы. Ее глаза были открыты и смотрели вдаль. Случайно поймав в оконном стекле свое отражение, она улыбнулась ему и инстинктивно поправила волосы.

Тишину токийского переулка, где я живу, по утрам первыми нарушают велосипедисты. Вот остановился молочник — слышно, как брякают бутылки у него на багажнике. Через несколько минут опять кто-то затормозил. Потом — еще и еще. Велосипеды у всех старые, дребезжат отчаянно. Пока прислушивался, насчитал семь человек. Ну, хорошо, развозчик привез молоко, почтальон — газеты. Кто же остальные?

Однажды надо было в шесть утра ехать на вокзал. Решил захватить с собой газеты. Вышел к почтовому ящику — он еще пуст. Но как раз тут из-за угла лихо вырулил велосипедист, затормозил и протянул мне «Иомиури».

— А где же остальные газеты? — удивился я. — Мы ведь выписываем еще и «Асахи», и «Майнити», и «Санкей симбуш».

— Не беспокойтесь, они сейчас подъедут, — улыбнулся паренек. — Ведь мы все начинаем развозить газеты в одно время. Раньше нельзя — соглашение!

И действительно, в переулке вскоре появилась вереница велосипедистов; каждый из них бросил в мой почтовый ящик по одной газете.

Мне еще раньше было известно, что орган ЦК КПЯ — «Акахату» доставляют подписчикам не почтальоны, а активисты местных ячеек. Это было легко понять. Не всякий читатель коммунистической газеты хочет, чтобы его имя и адрес сразу же стали достоянием полиции. Но какой смысл коммерческой прессе — всем этим «Асахи», «Майнити», «Иомиури» — отказываться от услуг почты и дублировать друг друга? Ради чего каждая из этих газет предпочитает иметь свою собственную систему распространения?

— Волей-неволей приходится повсюду содержать свои конторы, чтобы соперничающие газеты не перехватили подписчиков, — ответили мне.

Итак, конкуренция. Вот, казалось бы, универсальный ключ к разгадке необъяснимых явлений японской буржуазной прессы. Но так ли это? Достаточно лишь пару раз побывать в Токио на пресс-конференции для японских журналистов, чтобы столкнуться еще с одним парадоксом.

Хотя в зале видишь представителей самых различных органов печати, радио, телевидения, вопросы всегда задает кто-то один. Остальные лишь слушают и записывают. Там, где представителям соперничающих редакций, казалось бы, самое время состязаться в находчивости, оригинальности, настырности, многоликая пресса неожиданно отказывается от конкуренции и предпочитает вести диалог как бы от имени одного лица.

Вопросы согласовываются заранее, и сообща принимается решение, кто будет задавать их от имени всех. В Японии существует система пресс-клубов, в соответствии с которой всякое государственное учреждение, политическая партия или общественная организация обязаны делать официальные заявления лишь всей прессе в целом, чтобы такого рода новость не могла стать монопольным достоянием какого-то одного органа печати.

Ведущие газеты, радио и телевизионные компании имеют своих представителей и в пресс-клубе при премьер-министре, и в пресс-клубе при командовании американских военных баз, и в пресс-клубе при Коммунистической партии Японии. Участие определяется здесь лишь интересом, который представляет данный источник информации.

Но как же можно выделиться среди соперников, как можно проявить какое-то своеобразие при таком сознательном обобществлении материала, при такой стандартизации рациона, которым питаются газеты?

— Мы рассуждаем так, — объяснили мне, — лучше в десяти случаях иметь то же, что и другие, чем лишь однажды оказаться в чем-то позади всех. Конечно, система пресс-клубов обезличивает газеты, зато каждая из них гарантирована, что никогда ничего не прозевают...

Как же совместить подобные рассуждения с понятием конкуренции как основного закона буржуазной прессы?

Зашел незванный гость — человек в комбинезоне и желтой каске строителя, вручил перевязанную лентой коробку и конверт. В коробке оказался подарочный набор из трех разноцветных кусков туалетного мыла, в конверте — письменное извинение: в связи с заменой водопроводных труб в переулке придется рыть траншею и беспокоить окрестных жителей треском пневматических отбойных молотков.

После этого мы с женой опять целый день спорили о японской вежливости, точнее — о ее необъяснимой оборотной стороне.

Пылкая влюбленность, с которой смотрит на Японию новичок, неизбежно омрачается первой размолвкой, как только он сталкивается с изнанкой японской вежливости. Ничто так не гипнотизирует в Японии на первых порах, как экзотическая учтивость. В разговорах все поддакивают друг другу, при встречах отвечивают церемоннейшие поклоны, уместные, казалось бы, лишь в исторических фильмах да на театральной сцене. Зрелище это поистине незабываемое. Заметив знакомого, японец считает долгом прежде всего заметить на месте, даже если дело происходит на середине улицы и прямо на него движется трамвай. Затем он как бы переламывается в пояснице, так что ладони его вытянутых рук скользят вниз по коленям, и, застыв еще на несколько секунд в согбенном положении, осторожно поднимает вверх одни лишь глаза. Выпрямляться первым невежливо, и кланяющимся приходится зорко следить друг за другом. Со стороны же сцена эта производит такое впечатление, что обоих хватил прострел и они не в силах разогнуться.

Токийские газеты подсчитали, что каждый служащий ежедневно отвешивает таких официальных поклонов в среднем 36, агент торговой фирмы — 123, девушка у эскалатора в универсаме — 2560.

Но посмотрите вслед японцу, который, только что церемонно раскланявшись с вами, вновь окунается в уличную толпу. С ним тут же происходит как бы таинственное превращение. Куда деваются его изысканные манеры, предупредительность, учтивость! Он прокладывает себе дорогу в людском потоке, совершенно не обращая ни на кого внимания.

До тех пор, пока прохожие на улице или пассажиры в вагоне остаются незнакомцами, японец считает себя вправе относиться к ним как к неодушевленным предметам. Садясь в автобус, можно без зазрения совести отпихнуть от подножки женщину с младенцем за спиной. Можно, пустив в ход колени и локти, обменяться пинками с соседом. Полагается лишь обуюдно делать вид, что делаешь это как часть толпы, а не как отдельная личность.

Если вновь окликнуть знакомого, который в толпе вдруг преобразился в грубияна, можно еще раз увидеть такое же магическое перевоплощение. Он опять станет улыбающимся, предупредительным, изысканно вежливым... по отношению к вам.

Японская учтивость ограничивается областью личных отношений и отнюдь не касается общественного поведения, — для каждого, кто приезжает в Японию, легче открыть это противоречие, чем докопаться до его корней.

## НУЖЕН ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Нередко чувство разочарования и даже досады окрашивает первые впечатления о Японии. Приезжему прежде всего кажется, что он опоздал, что он упустил время, когда еще можно было увидеть подлинное лицо этой страны — красочное, стилизованное, как театральная декорация.

Даже сознавая, что он едет в третью промышленную державу мира, турист рассчитывает, что ее новые черты окажутся лишь забавно живописными, экзотически парадоксальными добавлениями к чертам традиционным; что самые крупные в мире танкеры, самые малюпкие телевизоры и самые быстрые в мире поезда будут лишь контрастной ретушью на портрете сказочной страны с ее церемонными поклонами, кукольными женщинами, игрушечными бумажными домиками и древними храмами среди прихотливо изогнутых сосен.

Вместо этого приезжий видит прежде всего самую неприглядную сторону современной цивилизации. Кажется, что хаос заводских труб, прокопченных стен и железнодорожных путей похоронил под собой подлинную, традиционную Японию.

Убедившись, что образ, сложившийся по открыткам и рекламным календарям, довольно далек от реальности, иностранец вслед за этим задается вопросом: насколько же в самом деле осовременилась Япония и насколько живуче ее прошлое? То есть в какой именно пропорции сочетаются в облике страны сегодняшний день со вчерашним?

Вопрос этот не нов. Сопоставление стремительных перемен, поразительной восприимчивости к новому с самобытностью вековых традиций служит лейтмотивом всего, что пишется о Стране восходящего солнца вот уже на протяжении целого столетия.

Поневоле напрашивается мысль, что кажущаяся податливость японской природы подобна приемам дзюдо: уступить натиску, чтобы устоять, то есть идти на перемены, с тем чтобы оставаться самим собой.

Восприимчивость японцев больше касается форм жизни, чем ее содержания. Они охотно и легко заимствуют материальную культуру, но в области культуры духовной им присуща уже не подражательность, а консерватизм, не восприимчивость, а замкнутость.

Эта «японская Япония», почти не подверженная переменам, присутствует всегда и во всем. Это как бы обратная сторона медали: ее олицетворяет сельская глушь в противовес городу, семейный быт в противовес нравам улицы, и, наконец, она присутствует во внутренней жизни любого японца, сколь бы современным ни был его облик.

Подобно тому, как мода на мини-юбки может с неожиданной силой воскресить престиж кимоно, эти подспудные силы влияют на вкусы и склонности каждого поколения, даже каждой отдельной личности. Человек, смолоду выступающий как ниспровергатель устоев старины, падкий на всяческие новинки зарубежной моды, после сорока лет, как правило, начинает японизироваться, вновь проявлять тягу к обычаям и привычкам своих предков.

Вот почему вывести формулу современной Японии через количественное соотношение сегодняшнего и вчерашнего дня в ее облике практически невозможно.

Пока живешь в Токио, кажется, что японская зима — самое сухое и солнечное время года. Трудно представить себе, что за соседними горами, на западном побережье, выпадают такие глубокие снега, что многие селения оказываются полностью отрезанными от внешнего мира и им приходится сбрасывать продовольствие с вертолетов. Такова Япония во всем. После нескольких лет изучения ее жизни вдруг обнаруживаешь, что смотрел на горы лишь с одной стороны, в то время как на их противоположном склоне климат совсем иной.

Японский характер очень гибок, податлив, но вместе с тем стоек, как бамбук. Вопреки первому впечатлению, что в облике Японии сегодняшний день полностью заслонил вчерашний, незримое присутствие прошлого сказывается доныне. Словно камень, лежащий на дне потока, оно не выпирает на поверхность, но дает о себе знать завихрениями и водоворотами.

Чтобы постигнуть сегодняшний день страны и народа, нужен путеводитель по японской душе. Иначе не понять, почему ультрасовременная молодежь с ее нарочитым бунтарством проявляет полную покорность родительской воле в выборе спутника жизни.

Иначе не понять, почему в стране, где пролетариат славится боевым духом и умеет противопоставить нажиму капитала единый забастовочный фронт, почему в этой самой стране сменить работу — явление немногим более частое, чем сменить жену (если такое и происходит, то лишь как исключение из общего правила — здесь до сих пор принято заниматься на всю жизнь).

Иначе не понять, почему, несмотря на давние традиции общественной жизни, люди подчас ставят личную преданность выше личных убеждений, что порождает неискоренимую семейственность и групповщину в политическом и деловом мире.

Иначе не понять, почему японцы всячески избегают прямого соперничества, стремясь прикрыть его видимостью компромисса; почему сложные и спорные вопросы они предпочитают решать только через посредников.

Иначе, наконец, не понять, как могут совмещаться в японском характере совершенно противоположные черты: церемоннейшая учтивость в домашней обстановке с грубостью на улице, жесткость правил поведения — с распушенностью нравов, неприятельность — со склонностью к показному, отзывчивость — с черствостью, скромность — с самонадеянностью.

Японский характер можно сравнить с деревцем, над которым долго трудился садовод, изгибая, подвязывая, подпирая его. Если даже избавить потом такое деревце от пут и подпорок, дать волю молодым побегам, то под их свободно разросшейся кроной все равно сохраняются очертания, которые были когда-то приданы стволу и главным ветвям.

Моральные устои, пусть даже лежащие где-то глубоко от поверхности, — это алгебра человеческих взаимоотношений. Зная ее формулы, легче решать задачи, которые ставит современная жизнь.

Японская мораль коренится в эстетике. Нравственные принципы этого народа тесно связаны с его представлениями о красоте. А культ прекрасного у японцев в свою очередь во многом сходен с религией и берет свое начало из обожествления природы.

Путеводитель по японской душе должен, стало быть, начинаться с ее истоков.

*Остров Чипингу на востоке, в открытом море; до него от материка тысяча пятьсот миль. Остров очень велик; жители белы, красивы и учтивы; они идолопоклонники, независимы, никому не подчиняются. Золота, скажу вам, у них великое обилие: чрезвычайно много его тут и не вывозят его отсюда. С материка ни купцы, да и никто не приходит сюда, оттого-то золота у них, как я вам говорил, очень много. Жемчугу тут обилие; он розовый и очень красив, круглый, крупный; дорог он так же, как и белый. Есть у них и другие драгоценные камни. Богатый остров и не перечеть его богатства.*

Марко Поло, «Путешествия» (1298).

*За китайским государством на востоке во окяне море от китайских рубежей верст с семьсот лежит остров зело велик, именован Иапоция. И в том острове большее богатство, нежели в китайском государстве, обретается, руды серебряные и золотые и иные сокровища. И хотя обывай их и письмо тожде с китайским, однакожде они люди свирепи суть и того ради многих езувитов казнили, которые для проповедования веры приезжали.*

Из памятной записки для московского посла в Пекине Николая Сафария, 1675.

*Японцев слишком часто до сих пор называли народом-ребенком, и вот европеец, принявший этого ребенка в тесный круг своей европейской семьи, натывается в нем неожиданно на нечто вполне сложившееся, упирается в определенный народный характер, который, при всей своей видимой гибкости, очень упруг и стоек.*

*Чем ближе знакомятся европейцы с японцами, чем пристальнее всматриваются в них, в склад и строй японской жизни, тем яснее становится им, что в лице Японии*

они имеют дело со страной, проникнутой совершенно своеобразным, вполне самостоятельным духом, зрелым и глубоко разработанным. Особенно поражает европейца, что на всем протяжении Японии, с крайнего севера и до крайнего юга, он встречает совершенно одинаковую форму семейного и общественного быта, совершенно одинаковой строй понятий, воззрений, наклонностей и желаний.

Г. Востоков, «Общественный, домашний и религиозный быт Японии» (СПб. 1904).

...Я думаю о старой и новой Японии. Я знаю: то, что создается веками, не может исчезнуть в десятилетия. Как старое и новое сплелось в Японии? — Какими силами? — Говорят, что сердцем Японии — в старом, умом — в новом. Быть может, ум и сердце японского народа идут рука об руку. Но, во всяком случае, — каковы те силы, которые есть в японской старине, силы, давшие народу умение принять все новое?

Какие это силы?

Я смотрю быт и обычаи японского народа, его этику и эстетику. Быт и обычаи поистине крепки, как клыки мамонта, — тысячелетний быт и обычаи, и сознание, пережившее уже в бытие. И то, что в Японии все грамотны. И то, как организована японская воля. И этот тысячелетний быт, создавший свою особливую мораль, не оказался препятствием для западноевропейской конституции, заводов, машин, пушек.

Какие это силы?..

Ни одного Вестминстера и Собора Парижской богородицы в Японии — нет, — ее храмы крыты соломой. Теперешние японские фабрики и заводы — не старше пятидесяти лет. Раньше заводов и фабрик в Японии не было. Японский быт упирается в землетрясение. Землетрясения освободили японский народ от зависимости перед вещью и убрали вещь. Народ опростался от вещи волей, не остывшей еще от вулканической деятельности земли. Японская материальная культура трансформировалась в волю и в организованные нервы...

У Японии не было своей материальной культуры — и была старая, проверенная веками, духовная культура, — проверенная веками и вулканами, выправленная волей и нервами. Известняки и склероз материальной культуры не связывали руки японского народа (так, например, как они связали руки Китаю). Островная психика была подчеркнута националистична, старая духовная культура и воля нашли силы противостоять европейцам. Дешевый труд и тот принцип, что новый завод всегда строится по последнему слову техники, — дали право японцам бороться с европейцами. И решающим фактором в этой борьбе были воля и нервы Японии, рожденные вулканами.

Борис Пильняк, «Камни и корни» (М. 1935).

Японцам не повезло, как не повезло героям некоторых посредственных романов нашей литературы: их изображали только одной краской — или розовой, или черной.

Сакура, то есть вишня, которая украшает множество японских вееров, кимоно и фуросики, цветет действительно розовыми цветами. Я не думаю, однако, чтобы розовой была жизнь Японии; не верю ни в умильность персонажей романов Лоти, ни в страсти «Мадам Баттерфляй». Описывая японцев, некоторые западные авторы улыбались растроганно и снисходительно; примерно так держатся с детьми холостые мужчины, желая показать мамам свою доброту... Для миллионов западных буржуа Япония была игрушечным миром с гейшами и с бумажными фонариками, с цаплями и драконами, с ирисами и с веерами, с хризантемами и с церемониями.

Конечно, были на Западе специалисты, хорошо знавшие искусство Японии, были художники, потрясенные старой японской живописью, но средний европеец, читатель «Мадам Хризантем», восхищался не японским гением, а «японщиной» — стилизацией, доходившей до безвкусицы...

Были и такие западные авторы, которых Япония возмущала. Они не раз писали, что японцы лишены какой-либо индивидуальности; мелькали стереотипные определения: «пруссак Азии», «вечные имитаторы», «муравейник». В книгах этих авторов Япония была страной самураев, жаждущих рубить и крушить, страной хакари и пыток, коварства и жестокости, беспрекословного повиновения и дьявольской хитрости.

*Конечно, в тридцатые годы нашего века японские генералы старались удэсгерить штаты шпионов, а полиция не жалела средств на секретных осведомителей. Но ведь это относится к политической истории страны, а не к характеру народа. Между тем авторы, рисовавшие Японию черной, уверяли, будто каждый японец рождается шпионом, нет для него более возвышенного времяпрепровождения, нежели добровольный сыск. Достаточно вспомнить, как в добродушной Италии чернорубашечники убивали детей, как в городе четырех революций картезианцы маршировали под окрик фельдфебелей, как пылали книги в стране Гутенберга — чтобы отвести всякие попытки сделать национальный характер ответственным за злодеяния того или иного режима.*

И. Эренбург, «Япония, Греция, Индия» (М. 1960).

### КАПЛИ С КОПЬЯ ИЗАНАГИ

Когда боги Изанаги и Изанами по радуге спускались с небес, чтобы отделить земную твердь от хляби, Изанаги ударил своим богатырским копьем по зыбко колышавшейся внизу пучине. И тогда с его копья скатилась веренища капель, образовав изогнутую цепь островов.

Древняя легенда о сотворении Японии приходит на память, когда смотришь на эту страну с самолета. Изогнутая гряда гористых островов и впрямь похожа на окаменевшие капли.

Или, может быть, это караван гор, прокладывающих себе путь через бескрайнюю пустыню океана? «Путь гор» — таково одно из возможных толкований древнего имени этой страны: Ямато.

Действительно, Япония — это прежде всего страна гор. Их всегда видишь на горизонте, даже находясь посреди самой большой равнины. Для большинства японцев солнце всегда поднимается из-за моря и опускается за горы. Для меньшей части — наоборот. И коль уж существует исключение из этого общего правила, то лишь для глубинных районов, огражденных хребтами от обоих побережий. Там солнце всегда встает из-за гор и за горы же садится.

Древние японцы считали горы промежуточной ступенью между небом и землей, а потому — святым местом, куда спускаются с небес боги, где поселяются души умерших предков. Люди также поклонялись горам как воплощению неведомой божественной силы, которая дремала в их недрах, а иногда вдруг вырывалась наружу в виде пламени, грохота, каменных дождей и испепеляющих огненных рек.

Имя Ямато напоминает, что сотворение Японии еще не завершено. Капли, упавшие с божественного копья, еще не остыли окончательно. Вся эта дугообразная веренища островов из конца в конец вздулась волдырями вулканов. Вся эта молодая суша то и дело колышется, ходит ходуном из-за землетрясений. Но Страна огнедышащих гор больше известна как Страна восходящего солнца. И второе образное название Японии поэтизирует уже не время, а место ее рождения.

Именно под этим именем Япония впервые дала о себе знать западному миру со страниц книги Марко Поло. В главе «Здесь описывается остров Чипингу» путешественник приводит название, которым китайцы обозначали острова, лежащие к востоку от восточного края земли.

Слово, которое прозвучало для Марко Поло как Чипингу, пишется тремя иероглифами: Жи-бэнь-го (каждый из которых соответственно значит: солнце—корень—страна).

Иероглифы Жи-бэнь на диалектах Южного Китая произносятся как Я-пэн (такое звучание и перешло потом в европейские языки), а по-японски читаются как Ниппон (как раз это слово и утвердилось официальным названием японского государства вместо древнего имени Ямато).

Итак, Страной восходящего солнца прозвали Японию ее соседи. Но такое имя не прижилось бы у японцев, если бы не совпало с их собственным мироощущением. Народ этот почитал Изанаги и Изанами не только за сотворение Японии, но и за то,

что они произвели на свет дочь Аматерасу — лучезарную богиню солнца, поклонение которой составляет основу обожествления природы.

Исконная японская религия синто (то есть «путь богов») утверждает, что все в мире одушевлено и, стало быть, наделено святостью: огнедышащая гора, лотос, цветущий в болотной грязи, радуга после грозы... Аматерасу, как светоч жизни, служит главой этих восьми миллионов божеств.

Перед любым синтоистским храмом непременно высится торий — два столба, соединенные двумя поперечными перекладинами. (Торий считается национальным символом Японии, так как это один из немногих образцов подлинно японского зодчества, существовавшего до чужеземных влияний.)

В своем первоначальном смысле слово «торий» означает насест. Он ставится перед храмом в напоминание о легенде, рассказывающей, как Аматерасу обиделась на своего брата и укрылась в подземной пещере. Долгое время никто не мог уговорить богиню солнца выйти оттуда и рассеять мрак, в который погрузился мир. Тогда перед пещерой соорудили насест и посадили на него петуха, а рядом поставили круглое зеркало. Когда петух прокукарекал, Аматерасу по привычке решила, что пора вставать. Выглянув наружу и увидев в круглом зеркале собственное отражение, она приняла его за незнакому красоту. Это задало женское любопытство богини, и она вышла из пещеры, чтобы посмотреть, кто посмел соперничать с ней в красоте. Мир тут же снова осветился, и жизнь на земле пошла своим чередом.

Из подобных легенд и состоит священная книга синто, которая называется Кодзики (что значит летопись). В ней, однако, вовсе нет каких-либо нравственных заповедей, норм праведного поведения или предостережений против грехов. Синто не имеет собственного этического учения, и его, пожалуй, даже нельзя назвать религией в том смысле, в каком мы привыкли говорить о христианстве, исламе или буддизме.

В сущности, синто — это обожествление природы, рожденное восхищением ею. Японцы поклонялись всем предметам и явлениям окружающего мира не из страха перед непостижимыми и грозными стихийными силами, а из чувства благодарности к природе за то, что, несмотря на внезапные вспышки своего необузданного гнева, она чаще бывает ласковой и щедрой.

Именно синтоистская вера воспитала в японцах чуткость к природе, умение наслаждаться ее бесконечной переменчивостью, радоваться ее многоликой красоте.

Синто не требует от верующего ежедневных молитв — достаточно лишь присутствия на храмовых праздниках и приношений за исполнение обрядов. В быту же исповедующие синто проявляют себя лишь религиозным отношением к чистоте. Поскольку грязь отождествляется у них со злом, очищение служит основой всех обрядов.

Присущее японцам чувство общности с природой, а также чистоплотность имеют, стало быть, очень глубокие корни.

Островное положение способствует долговечности национальных традиций: в этом смысле Японию часто сравнивают с Англией. Однако Корейский пролив, отделяющий Страну восходящего солнца от азиатского материка, примерно в шесть раз шире, чем Ла-Манш. Для древних завоевателей это была куда более серьезная преграда. Защищенная ею, Япония никогда не подвергалась успешному вторжению чужеземных войск.

Вскоре после походов Чингисхана в Европу его преемник Хубилай, монгольский правитель Китая, в 1274 году попытался захватить Японию, но был отбит.

В 1281 году Хубилай снова предпринял поход. На этот раз он, по свидетельству летописцев, задумал поставить поперек Корейского пролива десять тысяч судов, чтобы соединить их деревянным настилом и пустить по этому мосту монгольскую конницу. Однако этот гигантский флот был уничтожен внезапно налетевшим тайфуном, который получил в японской истории название Божественного ветра — Камикадзе. Именно поэтому летчики-смертники в конце второй мировой войны носили то же название: на самоубийц делали последнюю ставку в надежде, что они, подобно Божественному ветру, сумеют вновь отвратить от Японии угрозу чужеземного нашествия. Ведь Стране

восходящего солнца долгое время действительно удавалось быть в стороне от походов завоевателей и знать лишь междоусобные войны.

Впрочем, нашествие из-за морей все же произошло — еще за четырнадцать веков до американской оккупации и за семь веков до попыток Хубилая навести через пролив плавучий мост для своей конницы. Правда, это было нашествие идей, а не войск, причем мостом, по которому на Японские острова устремилась цивилизация Индии и Китая, послужил буддизм. Среди даров, посланных правителем Кореи в 552 году, в Японию впервые попали изображения Будды.

Буддистские сутры стали для японцев первыми учебниками иероглифической письменности, книгами, которые приобщали их к древнейшим цивилизациям Востока. Буддизм требовал углубленного изучения чрезвычайно сложных текстов. Именно этим занимались в ту пору многие выдающиеся умы Индии и Китая. Однако сама по себе грамотность была для японцев делом новым. Лишь немногие из них могли в ту пору посвятить себя изучению философской стороны буддизма с его теорией круга причинности, утверждающей, что день сегодняшний является следствием дня вчерашнего и причиной дня завтрашнего; с его концепцией перевоплощения душ (если человек несчастлив, стало быть, он расплачивается за грехи, совершенные в своем предыдущем существовании).

В основе учения Будды лежат четыре истины. Первая: жизнь полна страданий. Вторая: причиной их служат неосуществленные желания. Третья: чтобы избежать страданий, надо подавлять в себе желания. Четвертая: достичь этого можно, если идти по пути из восьми шагов, то есть последовательно сделать правильными свои воззрения, намерения, речь, поступки, быт, стремления, мысли, волю. Лишь тот, кто сделает эти восемь шагов, достигнет просветления, или нирваны, и вырвется из бесконечного круга перевоплощений.

Буддизм прижился на японской земле как религия знати, в то время как синто оставался религией простолюдинов. Сказания синто были куда понятнее народу, чем буддизм с его туманными рассуждениями о круге причинности и переселении душ. Средний японец воспринял лишь поверхностный слой буддийской философии, прежде всего идею непостоянства и недолговечности всего сущего (стихийные бедствия, которым подвержена островная страна, способствовали подобному мировоззрению).

Синто и буддизм — трудно представить себе более разительный контраст. С одной стороны, примитивный языческий культ обожествления природы и почитания предков, с другой — вполне сложившееся вероучение с глубокой философией. Казалось бы, между ними неизбежна непримиримая борьба, в которой чужеродная сила либо должна целиком подавить местную, либо, наоборот, быть отвергнутой именно вследствие своей сложности.

Не случилось, однако, ни того, ни другого. Япония, как ни парадоксально, распахнула свои двери перед буддизмом, и две столь несхожие религии мирно ужились и продолжают сосуществовать. Проповедники буддизма сумели поладить с восемью миллионами местных святых, объявив их воплощениями Будды. А для синто, который одушевляет и наделяет святостью все, что есть в природе, было еще легче назвать Будду одним из бесчисленных проявлений вездесущего божества.

Вместо религиозных войн, взаимных проклятий и обвинений в ереси сложилось нечто похожее на союз двух религий. У сельских общин вошло в обычай строить синтоистские и буддийские храмы в одном и том же месте — считалось, что боги синто надежнее всего защитят Будду от местных злых духов.

Подобное соседство порой приводит в недоумение, а то и вовсе сбивает с толку иностранных туристов.

Когда приезжий спрашивает, сколько же в Японии синтоистов и сколько буддистов, он слышит в ответ цифры, судя по которым общее число верующих в стране вдвое превышает численность населения. Это означает, что каждый японец причисляет себя и к синтоистам и к буддистам, участвуя в ритуалах обеих религий.

Чем же объяснить такое сосуществование богов? Как могли они найти место в душе каждого японца, чтобы мирно ужиться между собой?



Ответить на это можно так: благодаря своеобразному разделению труда синто оставил за собой все радостные события в человеческой жизни, уступив буддизму события печальные. Если рождение ребенка или свадьба отмечаются синтоистскими церемониями, то похороны и поминание предков проводятся по буддийским обрядам.

Новорожденного японца первым делом несут в синтоистский храм, чтобы представить его местному божеству. По истечении определенного срока, когда считается, что опасность детской смертности уже миновала, ребенка снова приводят туда уже как существо, окончательно вступившее в жизнь. Обряд этот сохранился до наших дней как праздник «семь—пять—три». 15 ноября каждого года семилетних, пятилетних и трехлетних детей всей Японии наряжают, как кукол, в яркие кимоно (девочкам к тому же румянят щеки и делают высокие старинные прически) и дарят им леденцы в виде стрел, символизирующих долгую жизнь.

Бракосочетания — также монополья синто. Весной и осенью, особенно в так называемые счастливые дни, у каждого синтоистского храма непременно увидишь молодоженов, сватов и родственников. Обычай обмахивать новобрачных зеленой ветвью, девять глотков саке, которые по очереди пьют жених и невеста, — все это очень древний ритуал.

Синто оставил за собой и все местные общинные празднества, связанные с явлениями природы, а также церемонии, которыми полагается начинать какое-либо важное дело: например, пахоту или жатву, а в наше время — закладку здания или спуск на воду судна.

События и ритуалы, связанные со смертью, — это, так сказать, компетенция буддизма. Похороны, поминки, уход за кладбищами — вот источники дохода для буддийских храмов, если не считать плату, которую они взимают с экскурсантов, и случайные приношения.

Едиственный народный праздник, связанный с буддизмом, — это «бон», день поминовения усопших. Его отмечают в середине лета, на седьмое полнолуние, причем отмечают весело, чтобы порадовать предков, души которых, по преданию, возвращаются тогда на побывку к родственникам. Существует обычай поминать каждого умершего свечкой, которую пускают в плавучем бумажном фонарике вниз по течению реки.

На фоне мирного сосуществования богов, присущей японцам религиозной терпимости проповедники христианства предстали в весьма неприглядном виде. Сама идея о том, что обрести спасение и обеспечить себе загробную жизнь в человеческом образе можно лишь взамен за отказ от всякой другой веры в пользу учения Иисуса Христа, — сама эта идея казалась японцам торгашеской и унижительной. Когда миссионеры втолковывали японцам, что их предки обречены вечно гореть в огне лишь за то, что умерли некрещеными, такие доводы скорее отталкивали их, чем привлекали.

К тому же люди, от которых местные жители впервые услышали о грехе, сами показали себя далеко не безгрешными. Миссионеры, сопровождавшие европейских первооткрывателей Японии в 1540-х годах, рвались к богатствам неведомого «острова Чипингу».

*Япония стала известна европейцам в половине XVI века; первые открыли ее государство португальцы; тогда дух завоевания новооткрываемых земель господствовал над сильнейшими морскими державами того времени в высочайшей степени. Португальцы, приняв намерение покорить Японию, начали, по обыкновению своему, с торговли и с проповедования мирным жителям сего государства католической веры. Миссионеры их, прибывшие в Японию, сначала умели понравиться японцам и, получив свободный доступ во внутренность сей земли, имели невероятный успех в обращении новых своих учеников в христианскую веру; но царствовавший в Японии к исходу XVI века светский император Тейго, человек умный, проницательный и храбрый, скоро приметил, что иезуиты более заботились о собирании японского золота, нежели о спасении душ своей паствы, почему и решился истребить христианскую веру в Японии и выгнать миссионеров из своих владений.*

*...главной, или, лучше сказать, единственною причиной гонения на христиан полагают они нахальные поступки как иезуитов, так и францисканцев, присланных после*

*испанцами, а равным образом и жадность португальских купцов: те и другие для достижения своей цели и для обогащения своего делали всякие неистовства; следовательно, и менее прозорливый государь, нежели каков был Тейго, легко мог заметить, что пастырями сими управляло одно корыстолюбие, а вера служила им только орудием, посредством коего надеялись они успеть в своих намерениях...*

*Но, несмотря на все это, изгнанные из Японии миссионеры, в свое оправдание и по ненависти к народу, не давшие им себя обмануть, представили японцев пред глазами европейцев народом хитрым, вероломным, неблагодарным, мстительным, словом, описали их такими красками, что твари гнуснее и опаснее японца едва ли вообразить себе можно. Европейцы же такие сказки, дышащие монашескою злобою, приняли за достоверную истину. Уверенность европейцев в мнимых гнусных свойствах японцев простирается до того, что даже в пословицу вошли выражения: японская злость, японское коварство и прочее. Но мне судьба предназначила в течение двадцатисемимесячного заключения в плену у сего народа удостовериться в противном.*

«Записки капитана В. М. Головнина в плену у японцев  
в 1811, 1812 и 1813 годах».

### ЭСТЕТИКА ВМЕСТО РЕЛИГИИ

Существование богов на японской земле отнюдь не всегда было мирным. Как и в других странах, здесь известны попытки власть имущих использовать религиозные чувства в собственных целях. С начала XVII века военные правители страны — сёгуны династии Токугава стали усиленно насаждать конфуцианство с его идеей покорности вышестоящим. Именно с той поры влияние буддизма в Японии пошло на убыль.

В 1868 году, как только правление сёгунов Токугава было свергнуто, сторонники восстановления власти микадо тут же объявили синто государственной религией и узаконили миф о божественном происхождении императора как прямого потомка богини Аматерасу. (Легенда эта стала потом идейной основой захватов под лозунгом «Собрать восемь углов мира под одной крышей».)

Итак, в японской душе оставили свой след три религии. Синто наделил японцев чуткостью к природной красоте, чистоплотностью и отголосками легенд о своем божественном происхождении. Буддизм окрасил своей философией японское искусство, укрепил в народе врожденную стойкость к превратностям судьбы. Наконец, конфуцианство принесло с собой идею о том, что основа морали — это верность, понимаемая как долг признательности старшим и вышестоящим.

Буддисты из Бирмы, мусульмане из Пакистана или католики с Филиппин, попадая в Токио, прежде всего поражаются религиозному безразличию японцев. Здесь не услышишь, чтобы на Будду или других богов ссылались в своих речах государственные деятели. Если писатели или художники порой берутся за религиозные темы, то чаще из дружественного любопытства, чем по наитию веры. Несмотря на обилие храмов, все обиходные молитвы сводятся к трем фразам: «Да минуют болезни», «Да сохранится покой в семье», «Да будет удача в делах».

Эти три молитвы произносятся безотносительно к какой-либо из религий, просто как житейские заклинания. Священнослужитель для японцев вовсе не наставник жизни, как, скажем, для католиков, а просто лицо, исполняющее по их заказу положенные обряды.

В общем, японцы, как и их соседи — китайцы, народ малорелигиозный. Но если китайцам религию во многом заменяет этика, то есть нормы взаимоотношений между людьми, то у японцев в подобной роли выступает эстетика, то есть поклонение прекрасному.

Не будет большим преувеличением назвать культ красоты национальной религией японцев. Именно эстетические нормы во многом определяют их жизненную философию.

Японцам присуще обостренное чувство гармонии. Художественный вкус пронизывает весь уклад их жизни. Эстетизм японцев основывается на убеждении, что красота присутствует в природе всюду и от человека требуется лишь зоркость, чтобы увидеть ее.

Любовь японцев к прекрасному коренится, таким образом, в их любви к природе. Вспомним, что в основу религии синто легло поклонение природе не из страха перед ее грозными явлениями, а из чувства восхищения ею. Эта же черта окрашивает и японское искусство.

Нужно воочию увидеть Японские острова, чтобы понять, почему населяющий их народ обожествляет родную природу, делает ее мерилом своих представлений о прекрасном. Здесь порой думаешь, что не только художники, но и сама натура — сосны на прибрежных скалах, зеркальная мозаика рисовых полей, сумрачные вулканические озера — следует одним и тем же, общепринятым в этой стране, канонам красоты.

На сравнительно небольшой территории Японии можно увидеть природу самых различных климатических поясов. Бамбук, склонившийся под тяжестью снега, — вот символ того, что в Японии смыкаются север и юг.

Японские острова лежат в зоне муссонных ветров. В конце весны и в начале лета массы влажного воздуха со стороны Тихого океана приносят обильные дожди, столь необходимые для рисовой рассады. Зимой же сухие холодные ветры со стороны Сибири набираются влагой, пролетая над Японским морем, и приносят на северо-западное побережье Японии самое большое в мире количество снега для этих широт.

Сочетание муссонных ветров, теплого морского течения и субтропических широт сделало Японию страной своеобразнейшего климата, где весна, лето, осень и зима очерчены чрезвычайно четко и сменяют друг друга на редкость пунктуально. Даже первая гроза, даже самый сильный тайфун приходятся, как правило, на определенный день года.

Японцы находят радость не только в том, чтобы следить за этой переменой, но и в том, чтобы подчинять ей ритм своей жизни. У их исследователей существует даже своеобразное определение японской культуры как «фольклора четырех времен года».

Став горожанином, современный человек во многом утрачивает свой контакт с природой. Она уже почти не влияет на его повседневную жизнь. Японец же даже в городе остается не только чутким, но и отзывчивым к смене времен года.

Подчиняясь календарю, он старается есть определенную пищу, носить определенную одежду, придавать должный облик своему жилищу. Он любит приурочивать семейные торжества к знаменательным явлениям природы: цветению сакуры или осеннему полнолуннию; любит видеть на праздничном столе напоминание о времени года: ростки бамбука весной или грибы осенью.

Жажда общения с природой граничит у японца с самозабвенной страстью. При чем любовь эта вовсе не обязательно адресуется одним только захватывающим дух крупномасштабным красотам — предметом ее может быть и травинка, на которой обосновался кузнечик, и полураскрывшийся полевой цветок, и причудливо изогнутый корень — словом, все, что служит окном в бесконечное разнообразие и изменчивость мира.

Японцам присуща не столько решимость покорять, преобразовывать природу, сколько стремление жить в согласии с ней. Этой же чертой пронизано их искусство. Японские архитекторы возводят свои постройки так, чтобы они сливались с окружающей средой, были открыты ей. Цель японского садовника — воссоздать природу в миниатюре. Ремесленник стремится выявить фактуру материала, повар — сохранить в кушанье вкус и вид продукта.

Стремление к гармонии с природой — главная черта японского искусства: она определяет подход художника к материалу. Как бы ни велика была общность культур Японии и Китая, здесь они в корне различны. Пафос китайского искусства утверждает всемогущество человеческих рук. Японский же художник не диктует свою волю материалу, а лишь выявляет заложенную в нем природой красоту.

*Природа страны влияет на человека не только своими отдельными элементами, но и всей своей совокупностью, своим общим характером и колоритом... Вырастая... среди богатой и разнообразной природы, любящая с детства изящными очертаниями вулканов, уходящих в небо своими конусами, и бирюзовым морем, усеянным тучей зеленых*

*островков, японец всасывает с молоком матери любовь к красотам природы и способность улавливать в ней прекрасное.*

*Чувство изящного, склонность наслаждаться красотой свойственны в Японии всему населению от земледельца до аристократа. Уже простой японский крестьянин — эстетик и артист в душе, непосредственно воспринимающий прекрасное в окружающей природе. Нередко он совершает отдаленные путешествия, чтобы полюбоваться каким-либо красивым видом, а особенно красивые горы, ручьи или водопады служат даже объектом благоговейного культа, тесно переплетаясь в представлениях простолюдина с конфуцианскими и буддийскими святынями.*

*Из этого культа красоты, основывающегося на дивном колорите всего окружающего, возникло и японское искусство.*

П. Ю. Шмидт, «Природа Японии» (СПб. 1904).

*При изучении истории, литературы и фольклора можно установить два главных источника развития японской культуры: один из них — это любовь к природе и второй — скудность материальных ресурсов. Любовь японцев к природе подобна тому чувству, которое дети испытывают к своим родителям, восхищаясь ими и в то же время побаиваясь их.*

*Хотя культура обычно рассматривается как антитезис природы, главная характерная черта японской культуры состоит в том, что это культура природоподражательная, то есть построенная по образцу природы и тем самым представляющая собой резкий контраст с культурой других азиатских стран, особенно Китая.*

Сюннити Акимото, «Изучая японский образ жизни»  
(Токио, 1961).

## КЕРАМИСТЫ И КУЛИНАРЫ

С утра я брожу по извилистой улочке Киото, спускающейся по склону от храма Кёмидзу. На ней теснится множество гончарен и лавочек, торгующих керамикой. Здесь рождается слава Кёмидку-яки, то есть керамики Кёмидзу.

Я брожу, вдыхая знакомый запах, рождающий воспоминания о только что вытопленной русской печи. Это дым сосновых дров смешивается с запахом обожженной глины.

Запах этот напоминает мне, однако, не только русскую деревню. Перед глазами тут же встал китайский город Цзиндэ — родина фарфора. Косо срезанные сверху трубы на фоне голубоватых гор. Берег реки, густо облепленный джонками с каолином — сырьем для изготовления фарфора. Грузчики на бамбуковых коромыслах уносили эти белые кирпичики вверх, к гончарням и печам. А другие катили навстречу им тачки с укутанными в рисовую солому связками готовой посуды.

Белизной подобен нефриту, тонкостью — бумаге.  
Блеском подобен зеркалу, звонкостью — цимбалу.

Разве скажешь лучше о фарфоре, чем говорит о нем это старинное изречение?

В начале VII века китайский купец Тао Юй сказочно разбогател. Он пустил в продажу новый, неизвестный дотоле тип керамики, выдав ее за изделия из нефрита. Белый, блестящий, чуть просвечивающий фарфор действительно напоминал этот высоко ценный на Востоке благородный камень. Тогда же, то есть еще в эпоху Тан, фарфор проник в Японию, затем в Индию, Иран, арабские страны, а оттуда — в далекую Европу.

Впервые мне довелось попасть в Цзиндэ в 1954 году. Город был похож на пчелиные соты. Он состоял из замкнутых двориков-ячеек. Каждый такой дворик действительно представлял собой первичную ячейку фарфорового производства. Все гончарни были похожи друг на друга: прямоугольник крытых черепицей навесов, а посередине — ряды кадок, в которых отмучивался каолин. Солнечный луч дробился в них, как в десятках круглых зеркал.

Человек в фартуке осторожно переливал плоским ковшиком почти прозрачную, чуть забеленную воду из одной кадки в другую. Через несколько дней самый светлый

слой ее вычерпывали в третью. Таким многократным отмучиванием достигалась тончайшая структура сырья.

Под навесом работали гончары. Каждый сидел над большим деревянным кругом, широко расставив ноги и опустив руки между колен. Он то раскручивал тяжелый маховик круга палкой, то склонялся к куску фарфоровой массы, нажимом пальцев превращая его в чашку или вазу.

От гончаров изделия поступали к точильщикам. Вооруженные лишь примитивными резаками, они доводили блюдо или чашу из хрупкой полусухой глины до толщины яичной скорлупы. Затем их окунали в похожую на молоко глазурь и отправляли сушить. К полудню серые крыши Цзиндэ становились белыми. Доски с необожженной керамкой клали иногда даже между крышами соседних домов, превращая переулки в коридоры. На этих же досках изделия доставляли к печам.

И, наконец, обжиг — таинственный процесс, при котором глина должна обрести свойства драгоценного нефрита. На искусство старшего горнового в Цзиндэ издавна смотрели как на колдовство. Проявлялось это уже с загрузки печи, с умения удачно «проложить дорогу ветру и огню». Нужно учитывать особенности каждого вида фарфора, качество дров, погоду и даже направление ветра. Впрочем, помимо знаний и опыта, тут играла роль чутье, риск, а порой и просто везенье. Недаром среди обжигальщиков ходила пословица: «Загрузить печь — что выткать цветок; обжечь — что ограбить дом!»

Я много фотографировал тогда мастеров одного из самых ранних видов росписи — «цинхуа». В отличие от других она наносится лишь одним цветом, причем еще до того, как черепок покрыт глазурью и обожжен. Кисть мастера «цинхуа» должна двигаться со строго определенной скоростью. Необожженный фарфор очень активно впитывает влагу. Нанося узор, художник видит только равномерный зеленый тон. Но там, где он помедлил лишнюю секунду, после обжига окажется темное пятно. Однако это же свойство черепка открывает перед виртуозным мастером и новые возможности: ускоряя или замедляя движение кисти, он может, располагая лишь одним цветом, создать узор с целой гаммой полутонов — от бледно-голубого до густо-синего. Овладеть искусством подглазурной росписи кобальтом может лишь хороший каллиграф.

Бродя по японской улице перед храмом Кёмидзу, я на каждом шагу вспоминал мастеров китайского фарфора. Нельзя было не сравнивать эти две ветви восточного искусства. Причем волей-неволей чаще приходилось противопоставлять их друг другу, чем сопоставлять.

Порой можно было подумать, что фарфор родился не в Китае, а в Японии и что, переняв грубый примитивизм гончарен Кёмидзу, китайцы развили затем этот стиль до академических форм.

Создавая фарфор — белый, как нефрит, тонкий, как бумага, блестящий, как зеркало, звонкий, как цимбал, — китайские керамисты сумели добиться от невзрачной глины этих, казалось бы, чуждых ей качеств.

Нельзя было не поражаться совершенству формы, которого добивались мастера Цзиндэ при обработке необожженного черепка. Качество его перед обжигом проверяли каплей воды: если, сбегав по внутренней стенке вазы, вода проступала снаружи ровной темной полоской, — отточка сделана безукоризненно. Китайские мастера были непримиримы к каким бы то ни было отклонениям от идеально правильных форм. Малейшую деформацию при обжиге они считали браком, говоря, что ваза в этом случае «потеряла тень».

Подобно резьбе по слоновой кости, производившей впечатление тончайших кружев, или вышитым из шелка панно, напоминавшим размашистые картины тушью, произведения мастеров Цзиндэ вновь и вновь утверждали мысль о всевластии художника над материалом.

Японская керамика на этом фоне поначалу показалась примитивной архаикой в сравнении с блистательным классицизмом. Лишь пропитавшись японским пониманием красоты, можно было по достоинству оценить ее.

Если китайцы демонстрировали свою искусность, то изделия японских мастеров подкупали естественностью. Причем в этом первородном несовершенстве отчетливо ощу-

щалась созвучность самым современным вкусам — например, обозначившейся повсюду тяге к изделиям народных художественных промыслов.

Японские керамисты считают, что их древние традиции не случайно сомкнулись с последним словом моды. В мире механической цивилизации, в мире бетона и стали, загрязненного воздуха и консервированных продуктов человек все больше испытывает тоску по природе. Поэтому искусство, утверждающее близость к природе своим подходом к материалу, подчеркивающее рукотворность своих произведений, искусство, которое поэтизирует, а не отрицает огрехи материала, огрехи труда, становится очень созвучным нашей современности.

Чем объяснить те особенности японской керамики, которые прежде всего бросаются в глаза тому, кто с ней знакомится? Например, отрицание симметрии и вообще геометрической правильности форм, предпочтение неопределенным цветам глазури, пренебрежение к какой-либо орнаментации?

Я беседовал об этом в одной из гончарен Кёмидзу с мастером по фамилии Морино.

— Мне кажется,— говорил Морино,— что суть здесь в отношении к природе. Мы, японцы, стремимся жить в согласии с ней, даже когда она сурова к нам. В Японии не так уж часто бывает снег. Но когда он идет, в домах нестерпимо холодно, потому что это не дома, а беседки. И все же первый снег для японцев — это праздник. Мы раскрываем створки бумажных окон и, сидя у маленьких жаровен с углями, попиваем горячий сакэ, любуемся снежными хлопьями, которые ложатся на кусты в саду, на ветви бамбука и сосен.

Естественность, натуральность японцы ценят прежде всего. Мастер не стремится продемонстрировать свою безраздельную власть над материалом, свою способность сделать фарфор похожим на бумагу, а слоновую кость — на кружево. Между художником и материалом здесь не существует отношений повелителя и раба.

Более того, японцы не считают нужным скрывать сам процесс труда художника над материалом, следы его усилий. Они не стремятся к тому, чтобы произведение искусства казалось словно созданным по волшебству. Они не только сохраняют черты рукотворности, но и любят ими, поэтизируют их.

— Материал,— продолжал Морино,— это живое существо, и процесс творчества должен быть чем-то похож на пробуждение взаимного влечения между мужчиной и женщиной. Лишь если я буду смотреть на материал как на любимую женщину, мы сможем сообща произвести на свет наше общее детище, в котором я выражу самого себя.

Роль художника состоит не в том, чтобы силой навязать материалу свой замысел, а в том, чтобы помочь материалу заговорить и на языке этого ожившего материала выразить собственные чувства. Когда японцы говорят, что керамист учится у глины, резчик учится у дерева, а чеканщик у металла, они имеют в виду именно это. Художник уже в самом выборе материала ищет именно то, что было бы способно откликнуться на его замысел.

— Если материал отворачивается от меня, я прохожу мимо,— заметил Морино.— Лишь если он смотрит на меня, если мы понимаем друг друга, если нас влечет друг к другу, я прилагаю к нему руки.

Итак, красота в понимании японцев должна не создаваться заново, а отыскиваться в природе. Выявить скрытую в природе красоту и порадоваться ей гораздо важнее, чем самому пытаться создать что-то прекрасное. Художник должен открыть людям глаза на красоту природы.

## КУЛИНАРИЯ КАК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

«Не сотвори, а найди и открой» — этому общему девизу японского искусства следует и такая полноправная его область, как кулинария. Когда сравниваешь японскую кухню с китайской, коренное различие в эстетических принципах этих двух народов предстает особенно наглядно.

Если китайская кулинария — это алхимия, это магическое умение творить неведомое из невиданного, то кулинария японская — это искусство создавать патюрморты на тарелке.

Китайская кухня в еще большей степени, чем французская, утверждает всевластие человека над материалом. Для хорошего повара, гласит пословица, годится все, кроме луны и ее отражения в воде. Пользуясь огромной палитрой красок, китайский кулинар к тому же постоянно придает им самые немислимые и неожиданные сочетания. Кантонское блюдо «битва тигра с драконом» своеобразно не только тем, что готовится из мяса кошки и змеи, но и сложнейшей комбинацией приправ.

Китайский повар гордится умением приготовить рыбу так, что ее не отличишь от курицы; он гордится тем, что может кормить вас множеством вкуснейших и разнообразных блюд, и вы при этом будете оставаться в полном неведении, из чего же именно сделано каждое из них.

Японская же пища, в противоположность китайской, чрезвычайно проста, и повар ставит здесь перед собой совсем другую цель. Он стремится, чтобы внешний вид и вкус кушанья как можно больше сохраняли первоначальные свойства продукта, чтобы рыба или овощи даже в приготовленном виде оставались самими собой.

Японский повар проявляет свое мастерство тем, что не делает его заметным, — как садовник, который придает дереву именно ту форму, которую оно само охотно приняло бы.

Приготовление сырой рыбы, например, часто ограничивается умелым нарезыванием ее на ломтики. Однажды вечером я познакомился в закусочной с человеком, который пытался объяснить мне знаками свою профессию. «Я повар, повар», — говорил он, стуча ребром ладони по столу, как если бы резал что-то ножом.

Примечательно, что повар связывает со своей профессией именно этот жест. Японский повар — это резчик по рыбе или овощам. Именно нож — его главный инструмент, как резец у скульптора.

Я никогда не забуду сельский постоялый двор, где мне подали утром чашку супа, в котором плавали ломтики моркови, нарезанной, как кленовые листочки. Это было напоминанием о сезоне, о золотой осени, потому что достаточно было поднять голову и взглянуть в окно, чтобы увидеть горы, покрытые багряными кленами.

Подобно японскому поэту, который в хайку — семнадцатисловном стихотворении из одной законченной поэтической мысли — обязательно должен выразить время года, к которому хайку относится, японский повар, помимо красоты и гармонии красок, должен обязательно выразить в пище ее сезонность.

Соответствие сезону, как и свежесть продукта, ценится в японской кухне более высоко, чем само приготовление. Излюбленное блюдо праздничного японского стола — это сырая рыба, причем именно тот вид ее, который наиболее вкусен в данное время года или именно в данном месте. Каждое блюдо славится натуральными прелестями продукта, и подано оно должно быть именно в лучшую для данного продукта пору.

Многим иностранцам японская кухня кажется примитивной и пресной. Японцам же однообразной кажется европейская кухня, почти не учитывающая сезона.

В ресторане с китайской кухней каждому из гостей полагается заказать для общего меню по одному любимому им блюду, а хозяин завершает этот ансамбль собственным выбором. В японском же ресторане принято лишь называть сумму, ассигнуемую на угощение. Повар сам должен решить, что подать к столу: ведь он лучше знает, какие продукты у него под рукой и какие из них наиболее соответствуют сезону.

В японской кухне нет места соусам или специям, которые искажали бы присущий продукту вкус. Васаби, или японский хрен, который смешивается с соевым соусом и подается к сырой рыбе, служит как бы ретушью. Не уничтожая присущий рыбе вкус, он лишь подчеркивает его. Суси — пример подобной комбинации — это рисовый шарик, на который накладывается ломтик сырой рыбы, проложенный японским хреном. Здесь вкус сырой рыбы оттеняется как пресностью риса, так и остротой васаби.

Универсальной приправой в японской кухне служит адзи-но-мото. Слово это буквально означает «корень вкуса».

Назначение адзи-но-мото — усиливать присущие продуктам вкусовые особенности. Если, скажем, бросить щепотку этого белого порошка в куриный бульон, он будет казаться более наваристым, то есть более «куриным». Морковь подобным же образом будет казаться более «морковистой», фасоль — более «фасолистой», а квашеная редька станет еще более ядреной. Каждый продукт, таким образом, в большей степени становится самим собой.

Можно сказать, что адзи-но-мото символизирует собой японское искусство вообще. Ведь его цель — доводить камень, дерево, бумагу до такого состояния, в котором материал наиболее полно раскрывает бы свою первородную прелесть.

И сколь бы модернистскими ни казались многие современные произведения искусства, подход японского художника к материалу остается прежним.

Модернизм в японском искусстве можно кое в чем уподобить классическому японскому саду. За его кажущейся безыскусственной простотой скрыта уйма труда и уйма традиций. Именно такова, например, современная японская архитектура. Она глубоко национальна не тем, что переняла от прошлого какие-то декоративные мотивы или пропорции. Она глубоко национальна своей верностью главной черте японского искусства — традиции подхода к материалу, ощущению искусства как неразрывной части природной красоты.

Сколько бы ни называли Кэндзо Танге ниспровергателем основ, он в то же время является верным наследником. Архитектор нашел красоту в соседстве грубого, необработанного бетона, зеркальной гладкости стекла и серебристого блеска алюминия.

Кэндзо Танге поднял современную японскую архитектуру тем, что впервые подошел к бетону так же, как древние японские строители подходили к дереву, не закрашивая его лаком, как китайцы, и подчеркивая прелесть каждой его жилки, каждого сучка. Отказавшись от облицовки фасадов, Кэндзо Танге раскрыл первородную красоту бетона тем, что сохранил на нем следы опалубки. Архитектор помог бетону как современнейшему строительному материалу выразить себя. Эта древняя традиция подхода к материалу проявилась в модернистской красоте самой новой архитектуры века.

Не твори, а найди — вот девиз японского искусства, которое черпает свое понимание прекрасного в близости к природе.

*Японцы сумели придать китайским формам искусства свой национальный характер, и не их вина, если иностранные туристы больше всего восхищаются теми памятниками прошлого, которые менее всего показательны для японского гения. В десятках английских и французских книг пагода-мавзолеем сёгунов Токугава в Никко описывается как шедевр японского зодчества. Этот храм, построенный в семнадцатом веке, громоздок, пестр, пожалуй, даже криклив. А сила японского искусства в его необычайной простоте, наготе, в пренебрежении ненужными подробностями, в понимании материала, который подается незамаскированным, скажу больше — в лирическом, взволнованном подходе к материалу. В Никко можно найти множество искусных деталей, но искусность еще не означает искусства: это, если угодно, японское барокко. Достаточно сравнить мавзолей в Никко с пагодой Хорюдзи в Наре, с более поздними дворцами Киото, чтобы понять, насколько украшательство, пышность, внешняя эффективность чужды японскому духу.*

И. Эренбург. «Япония, Греция. Индия».

*В вопросах вкуса японцы очень просты и превыше всего ценят естественность, как и показывает их образ жизни. Японцы любят жить в доме, построенном из простого дерева, в то время как китайцы никогда не оставляют куска дерева непокрашенным, любят обильную разнообразную пищу. Японцы тоже любят китайскую кухню, но лишь для разнообразия. Вряд ли можно найти семью, которая благодаря своим высоким доходам каждый день имела бы у себя на столе то, что готовит китайский повар.*

*В живописи китайцы любят все величественное, ясно очерченное, что кажется японцам вульгарным и безвкусным. Китайцы любят пионы, розы, орхидеи — все сильно пахнущие и ясно очерченные цветы, что во многом совпадает со вкусом западных*



*народов. Японцы же больше всего любят такие цветы, как сакура, которая не очень ценится в Китае, а также многие полевые цветы и даже безымянные травы.*

*Когда дело касается наслаждения искусством или природой, японцы становятся заядлыми консерваторами, ибо высоко ценят лишь критерии старой Японии. Они любят замшелые камни, карликовые кривые деревья, потому что во всем этом для них содержится особое очарование.*

Ивао Мацухара, «Жизнь и природа Японии» (Токио, 1964).

#### ЧЕТЫРЕ МЕРИЛА ПРЕКРАСНОГО

Мерилами красоты у японцев служат четыре понятия, три из которых (саби, ваби, сибуй) уходят корнями в древнюю религию синто, а четвертое — юэн — навеяно буддийской философией. Попробуем же разобраться в содержании каждого из этих терминов.

Слово первое — саби. Красота и естественность для японцев — понятия тождественные. Все, что неестественно, не может быть красивым. Но ощущение естественности можно усилить добавлением особых качеств.

Считается, что время само по себе способствует выявлению сущности вещей. Поэтому японцы видят особое очарование в следах возраста. Их привлекает потемневший цвет старого дерева, замшелость камня или даже обтрепанность — следы многих рук, прикасавшихся к краю картины.

Вот эти черты давности именуется словом «саби», что буквально означает ржавчина. Саби, стало быть, — это неподдельная ржавость, прелесть старины, печать времени.

Если такой элемент красоты, как саби, воплощает связь между искусством и природой, то за вторым словом — ваби — виден мост между искусством и повседневной жизнью. Понятие ваби, подчеркивают японцы, очень трудно объяснить словами. Его надо почувствовать.

Ваби — это отсутствие чего-либо вычурного, броского, нарочитого, то есть в представлении японцев вульгарного. Ваби — это прелесть обыденного. Это мудрая воздержанность, красота простоты.

Воспитывая в себе умение довольствоваться малым, японцы находят и ценят прекрасное во всем, что окружает человека в его будничной жизни, в каждом предмете повседневного быта.

Ваби — это опора моста, переброшенного между искусством и повседневной жизнью. Не только картина или ваза. в любой предмет домашней утвари, будь то лопаточка для накладывания риса или бамбуковая подставка для чайника, может быть произведением искусства и воплощением красоты. Практичность, утилитарная красота предметов — вот что связано с понятием ваби.

Ваби и саби — слова старые. Со временем они стали употребляться слитно, как одно понятие — ваби-саби, которое затем обрело еще более широкий смысл, превратившись в обиходное слово «сибуи».

Если спросить японца, что такое сибуй, он ответит: то, что человек с хорошим вкусом назовет красивым. Сибуй, таким образом, означает окончательный приговор в оценке красоты. На протяжении столетий японцы развили в себе способность распознавать и воссоздавать качества, определяемые словом «сибуй», почти инстинктивно. В буквальном смысле слово «сибуй» означает терпкий, вяжущий. Произошло оно от названия повидла, которое готовят из хурмы.

Сибуй — это красота простоты плюс красота естественности. Это не красота вообще, а красота, присущая назначению данного предмета, а также материалу, из которого он сделан. Кинжал незачем украшать орнаментом. В нем должна чувствоваться острота лезвия и добротность закалки. Чашка хороша, если из нее удобно и приятно пить чай и если она при этом сохраняет первородную прелесть глины, побывавшей в руках гончара. При минимальной обработке материала добиваться максимальной прак-

тичности изделия — умение гармонически сочетать эти две цели японцы считают идеалом.

Слово «сибуй» имеет самое различное, подчас даже неожиданное применение. Однажды в метро я слышал, как две девушки пользовались им, споря о киноактерах: Ив Монтан, например, обладает этим качеством, ибо ему присуща грубая мужественная красота, а вот Ален Делон — нет. Из японских же киноактеров понятию сибуй больше всего соответствует Тосиро Мифуне, в то время как кумир школьниц Юдзо Каяма, исполняющий под гитару песенки собственного сочинения, вовсе не сибуй, потому что слишком смазлив. Слово «сибуй» воплощено в терпком вкусе зеленого чая, в тонком, неопределенном аромате хороших духов.

Сибуй — это первородная грубость в сочетании с мудрой, трезвой сдержанностью. Все искусственное, вычурное несовместимо с этим понятием.

Когда знакомишься в музее с историей японского искусства, невольно рождается вопрос: где же здесь последовательное развитие стилей? Такая преемственность не сразу бросается в глаза, ибо сказывается она не в форме, а в содержании.

Японское искусство подобно напитку, который народ издавна готовит сам, по собственным и неизменным рецептам, порой перенимая из-за рубежа лишь форму посуды. Сколь ни совершенным было искусство, пришедшее когда-то из соседнего Китая, японцы заимствовали его лишь как сосуд. Так и нынешние веяния с Запада вплоть до самых модернистских служаг японцам лишь посудой, за которую они по-прежнему наливают напиток того же терпкого, вязущего вкуса.

Понятия ваби, саби или сибуй коренятся в умении глядеть на все предметы и явления как на существа одушевленные. Если мастер смотрит на материал не как властелин на раба, а как мужчина на женщину, от которой он хотел бы иметь ребенка, похожего на себя, — в этом явный отзвук древней религии синто.

Можно сказать, что понимание красоты заложено в японцах от природы — от природы в самом буквальном смысле этого слова.

Таинство искусства состоит в том, чтобы вслушиваться в несказанное, любоваться невидимым.

В этой мысли коренится четвертый критерий японского представления о красоте. Он именуется югэн и воплощает собой мастерство намека или подтекста, прелесть недоговоренности.

Заложенная в природе Японских островов постоянная угроза непредвиденных стихийных бедствий сформировала у народа очень чуткую к изменениям окружающей среды душу. Буддизм добавил сюда свою излюбленную тему о непостоянстве мира. Обе эти предпосылки сообща привели японское искусство к воспеванию изменчивости, бренности.

Радоваться или грустить по поводу перемен, которые несет с собой время, присуще всем народам. Но увидеть в недолговечности источник красоты сумели, пожалуй, лишь японцы. Не случайно своим национальным цветком они избрали именно сакуру.

Весна не приносит с собой на Японские острова того борения стихий, когда реки взламывают ледяные оковы и талые воды превращают равнины в моря. Долгожданная пора пробуждения природы начинается здесь внезапно и буйной вспышкой цветения вишни. Ее розовые соцветия волнуют и восхищают японцев не только своим множественным, но и своей недолговечностью. Лепестки сакуры не знают увядания. Весело кружась, они летят к земле даже от легчайшего дуновения ветра. Они предпочитают опсть еще совсем свежими, чем хоть сколько-нибудь поступиться своей красотой.

Поэтизация изменчивости, недолговечности связана со взглядами буддийской секты дзэн, оставившей глубокий след в японской культуре. Смысл учения Будды, проповедует дзэн, настолько глубок, что его нельзя выразить словами. Его можно постигнуть не разумом, а интуицией, не через изучение священных текстов, а через некое внезапное озарение. Причем к таким моментам чаще всего ведет созерцание природы в ее бесконечном изменении, умение всегда находить согласие с окружающей средой, видеть величие мелочей жизни.

С вечной изменчивостью мира, учит секта дзэн, несовместима идея завершенности, а потому избегать ее надлежит и в искусстве. В процессе совершенствования не может быть вершины, точки покоя. Нельзя достигнуть полного совершенства иначе как на мгновение, которое тут же тонет в потоке перемен.

Совершенствование прекраснее, чем совершенство; завершение полнее олицетворяет жизнь, чем завершенность. Поэтому больше всего способно поведать о красоте то произведение, в котором не все договорено до конца.

Чаще намекать, чем декларировать,— вот принцип, который делает японское искусство искусством подтекста. Художник умышленно оставляет в своем произведении некое свободное пространство, предоставляя каждому человеку по-своему заполнять его собственным воображением.

У японских живописцев есть крылатое выражение: «Пустые места на свитке исполнены большего смысла, нежели то, что начертала на нем кисть». У актеров издавна существует заповедь: «Если хочешь выразить свои чувства полностью, раскрой себя на восемь десятых».

Японское искусство взяло на себя задачу быть красноречивым на языке недомолвок. И, подобно тому как японец воспринимает иероглиф не просто как несколько штрихов кистью, а как некую идею, он умеет видеть на картине неизмеримо больше того, что на ней изображено. Дождь в бамбуковой роще, ива у водопада — любая тема, дополненная фантазией зрителя, становится для него окном в бесконечное разнообразие и вечную изменчивость мира.

Югэн, или прелесть недосказанности,— это та красота, которая скромно лежит в глубине вещей, не стремясь на поверхность. Ее может вовсе не заметить человек, лишенный вкуса или душевного покоя.

Считая завершенность несовместимой с вечным движением жизни, японское искусство на том же основании отрицает и симметрию. Мы настолько привыкли делить пространство на равные части, что, ставя на полку вазу, совершенно инстинктивно помещаем ее посредине. Японец столь же машинально сдвинет ее в сторону, ибо видит красоту в асимметричном расположении декоративных элементов, в нарушенном равновесии, которое олицетворяет для него мир живой и подвижный.

Симметрия сознательно избегается также потому, что она воплощает собой не только завершенность, но и повторение. Асимметричное использование пространства исключает парность. А какое-либо дублирование декоративных элементов японская эстетика считает грехом.

Посуда на японском столе не имеет ничего общего с тем, что мы называем сервизом. Приезжие изумляются: что за разницей! А японцу кажется безвкусием видеть одну и ту же роспись и на тарелках, и на блюдах, и на супнице, и на чашках, и на кофейнике.

Итак, наслаждаться искусством значит для японцев вслушиваться в несказанное, любоваться невидимым. Таков жанр сумие — словно проступающие сквозь туман картины, сделанные черной тушью на мокрой бумаге; живопись намеков и недомолвок.

Таковы хайку — стихотворения из единственной фразы, из одного поэтического образа. Эта предельно сжатая форма способна нести в себе поистине бездонный и безбрежный подтекст. Отождествляя себя с одним из четырех времен года, поэт стремится не только воспеть свежесть летнего утра в капле росы, но и вложить в эту каплю нечто от самого себя, давая фантазии читателя толчок, чтобы ощутить и пережить это настроение по-своему.

Таков театр Ноо, где все пьесы играют на фоне одной и той же декорации в виде одинокой сосны и где каждое движение актера строго предписано и стилизовано.

Во всем этом проявляется сознательная недосказанность, отражающая не бедность ума или недостаток воображения, а творческий прием, который уводит человека гораздо дальше конкретного образа.

Наивысшим проявлением понятия югэн можно считать поэму из камня и песка, именуемую философским садом. Мастер чайной церемонии Соами создал его в монасты-

ре Рёанзи в Киото за четыре столетия до того, как современные художники открыли язык абстрактного искусства иными путями.

Экскурсанты с американских военных баз прозвали этот сад теннисным кортом. Люди, привыкшие воспринимать красоту не иначе как в цифровом выражении, видят здесь лишь прямоугольную площадку, посыпанную белым гравием, среди которого в беспорядке разбросано полтора десятка камней.

Но это действительно поэзия. Глядя на нее, понимаешь, почему многие ультрамодернистские искания Запада представляются японцам вчерашним днем. Не следует разжевывать, как в некоторых туристских путеводителях, версии о том, что камни, торчащие из песчаных волн, олицетворяют тигрицу, которая со своим выводком переплывает реку, или что здесь изображены горные вершины над морем облаков. Чтобы ощутить подлинный смысл такого творения, его поражающую простоту, его асимметричную гармонию, которая выражает вечность мира в его бесконечной изменчивости, слова не нужны.

*При виде предметов блестящих мы, японцы, испытываем какое-то беспокойное состояние. Европейцы употребляют столовую утварь из стекла, стали либо никеля, начищают ее до ослепительного блеска, мы же такого блеска не выносим.*

*Я не хочу этим сказать, что мы не любим вообще ничего блестящего. Но мы действительно отдаем предпочтение тому, что имеет глубинную тень, а не поверхностную ясность. Это тоже блеск, но с налетом мути — лоска времени, или, говоря точнее, «засаленность»...*

*Европейцы стремятся уничтожить всякий след засаленности, подвергая предметы жестокой чистке. Мы же, наоборот, стремимся бережно сохранить ее, ввести ее в некий эстетический принцип. Мы действительно любим вещи, носящие на себе следы человеческой плоти, масляной копоти, выветривания и дождевых потеков. Мы любим расцветку, блеск и глянец, вызывающие в нашем представлении следы подобных внешних влияний. Мы отдыхаем душой, живя в такого рода зданиях и среди таких предметов.*

Дзенитиро Танидзани, «Похвала тени» (Токио, 1932).

*Вообще говоря, мы делаем вещи с расчетом на прочность, японцы же — на недолговечность. Очень мало обиходных предметов предназначено в Японии для длительного использования. Соломенные сандалии, которые заменяются на каждом этапе пути; палочки для еды, которые всегда даются новыми и потом выбрасываются; раздвижные створки — сёдзи, которые служат как окна или как перегородки, заново оклеиваемые бумагой дважды в год; татами, которые заменяют каждую осень. Все эти примеры множества вещей повседневной жизни иллюстрируют примиренность японцев с недолговечностью.*

Лафкадио Хэрн, «Юкоро» (Лондон, 1934).

*Чуткий ко всяким проявлениям д в и ж е н и я жизни, японец мало любит ф о р м у, этот предел подвижности. Симметричность всего живущего, форм животных и растений — это явное выражение стремления природы к равновесию — оставляет его совершенно равнодушным. Он наблюдает и ухватывает в природе а с и м м е т р и ч н о е, нарушенное равновесие, подчеркивает формы в момент изменения.*

Г. Востоков, «Японское искусство» (СПб. 1904).

*Архитектура с самых древних времен в Японии была связана с пониманием природы, зодчий являлся в известной мере садовником — деревья сажали, как возводят здание, а строили храмы, дворцы, дома, строго считаясь с пейзажем и включая деревянное строение в картину — горы, небо, вода, деревья. Архитекторы, как и садовники, быстро отказались от симметрии. Их постройки созданы не для патетических утверждений, не для того, чтобы удивлять, — они стояли и стоят, задумчивые, глубоко естественные в своем сложнейшем искусстве, предназначенные для созерцания, для размышлений.*

И. Эрнбург. «Япония, Греция, Индия».

## ОБУЧЕНИЕ КРАСОТЕ

Едва ли не все религии мира считают коллективные обряды, то есть совместное приобщение людей к какому-то догмату веры, важнейшим средством воздействия на человеческие души.

А поскольку место религии в Японии в значительной мере занято культом красоты, роль таких коллективных обрядов играют тут традиции и церемонии, предназначенные для того, чтобы люди сообща развивали свой художественный вкус. Японский образ жизни породил целую систему таких коллективных эстетических упражнений, к которым регулярно прибегает народ.

Способность ценить красоту и наслаждаться ею — это не какое-то врожденное качество и не какое-то умение, которым можно раз и навсегда овладеть. Сознвая это, японцы веками вырабатывали своеобразные методы, которые позволяют им развивать, поддерживать и укреплять свои эстетические способности.

Чувство красоты в ребенке незаметно для него начинает развивать уже сам японский язык. Некоторые исследователи называют его не только средством общения, но и формой постоянного упражнения в эстетике. В подобном высказывании содержится немалая доля правды.

Зарубежные специалисты признают, что эстетическое воспитание в японской школе поставлено шире и основательнее, чем в других странах мира. Уже второклассник пользуется красками тридцати шести цветов и знает название каждого из них. В погожий день директор школы вправе отменить все занятия, чтобы детвора отправилась на воздух рисовать с натуры или слушать объяснения учителя о том, как распознавать красоту в природе.

Однако ведущее место в эстетическом воспитании ребенка занимает обучение письму. Спору нет, иероглифическая письменность — тяжелое бремя для японского школьника, она отбирает у него в первые годы обучения непомерно много времени и сил. Вместе с тем нельзя не отметить и другое. Каллиграфия, или искусство иероглифической письменности, пришла в Японию из Китая в ту пору, когда она уже на протяжении тысячи лет считалась одним из видов изобразительного искусства. На иероглифы в ту пору смотрели не только как на средство письменного общения.

Достоинства человеческого почерка считались прямым отражением его характера. Лишь морально совершенный человек мог, по тогдашним представлениям, стать мастером каллиграфии. И, наоборот, всякий, кто овладел искусством иероглифической письменности, считался человеком высоких душевных качеств.

При обучении иероглифике стирается грань между чистописанием и рисованием. Когда освоены необходимые механические навыки, человек уже не пишет, а рисует, причем не пером, а кистью, приводя ее в движение не только рукой, но как бы всем телом.

При совершенном владении кистью и безукоризненном чувстве пропорций, нужных для иероглифического письма, каждый японец по существу становится живописцем. Ему ничего не стоит несколькими мгновенными, уверенными штрихами изобразить гнущуюся ветку бамбука с мастерством профессионального художника. Существование каллиграфии как одной из основ народного просвещения было важной причиной того, что многие традиционные черты японской культуры уцелели в обиходе современных поколений.

*Первые века работали только художники, — они создали категорию изобразительных иероглифов — первобытную китайскую энциклопедию в рисунках. Некоторые из этих рисунков-иероглифов с их предельно лаконической выразительностью, мудрой экономией линий и очаровательной изобретательностью являются незабываемыми шедеврами рисовального мастерства.*

*Посмотрите, например, на самую первую редакцию иероглифов женщины, дракона, лошади, хамелеона, телеги, рыбы, феникса и многих других. Голая широкобедрая женщина стоит, слегка расставив ноги, и с угловатой первобытной грацией прикрывает одной рукой низ живота. Может быть, русский академик Марр, этот Велемир Хлебни-*

ков от науки, когда-нибудь блистательно докажет, что поза милосской Венеры взята от китайского иероглифа женщины, который теперь читается «нюй» и смело ассоциируется с французским словом «ню».

Посмотрите на эти иероглифы. Лошадь, яростно развевая по ветру гриву, встала на дыбы. Дракон, победоносно подняв голову, колыхая усищами и изогнув донельзя гигантское туловище, летит по сине-золотому небу. Рыба, похожая на ящера, с разинутой пастью и грузным хвостом. Феникс, трактованный чрезвычайно дерзко: не видно ни головы, ни ног,— зато показан зигзаг плавного величавого полета и узор пышных огромных перьев. Телега, нарисованная по всем правилам конструктивизма европейского двадцатого века и как будто выкатившаяся из детской книжки, иллюстрированной В. Лебедевым,— здесь можно вас до вечера водить от одного иероглифа к другому, и вам не будет скучно.

Когда художники сделали свое дело и смогли уйти, пришли философы и начали, во-первых, осторожно упрощать эскизы художников, приспособлять к жизни, а во-вторых, конструировать отвлеченные иероглифы — создавать понятия, ибо философия всегда была «поэзией понятий».

Появились, например, такие иероглифы: «смерч, вихрь» — изображение трех псов; «шалить, дразнить» — двое мужчин тискают женщину; «покорность» — человек, а перед ним собака; «отдых» — человек, прислонившийся к дереву; «водопад» — вода и буйство; «грохот» — три телеги; «отчаянная борьба» — тигр, а под ним кабан; «спокойствие, мир» — женщина чинно сидит под крышей дома и др.

Вместе с изменением внешности иероглифы претерпевали интенсивную внутреннюю эволюцию — меняли свое значение, сбрасывали с себя старые имена и получали новые. Например, иероглиф «хамелеон» незаметно в беге веков обронил где-то свое первое значение и стал означать «проворный, юркий»; иероглиф «облака или клубы пара, поднимающиеся вверх» стал означать — «говорить», а иероглиф «вяленые куски мяса» — старый, древний и т. д.

Принципы рисовального мастерства Восточной Азии целиком построены на приемах иероглифописного искусства. Вот почему если на картинах наших мастеров рядом с извилистой горой и водопадом написано четверостишие, то этот пейзаж и эти письменные знаки взаимно дополняют друг друга, и зритель одновременно любуется живописью, внешним обликом иероглифов и смыслом начертанного.

Роман Ким. «Ноги к змее» (М. 1927).

Вспомним об алтаре красоты в японском жилище — о токонома, то есть нише, подле которой садится глава семьи или гость. Это самое почетное место в доме принято украшать свитком с картиной или каллиграфически написанным изречением, чаще всего стихотворным.

Здесь, где каллиграфия стыкается с поэзией, мы видим второй пример упражнений в эстетизме — всеобщее занятие стихосложением. Поэзия всегда была в Японии одним из любимых видов народного искусства.

Каждый образованный человек непременно должен владеть как мастерством каллиграфии, так и мастерством стихосложения. Излюбленными формами массового поэтического творчества служат танка или хайку, которые можно в какой-то мере сравнить с афоризмами или эпиграммами. Танка состоит из пяти строк и тридцати одного слога, чередующихся как 5—7—5—7—7, а хайку, ставшая очень популярной с XVI века,— это танка без последнего двустушия, то есть семнадцатисложное стихотворение из трех строк.

Один художественный образ, непременно адресованный к какому-то из четырех времен года, плюс определенное настроение, переданное через подтекст,— вот что должна содержать хайку. Вот, например, хайку об осени:

Гляжу — опавший лист  
Опять взлетел на ветку.  
То бабочка была.

А вот хайку о лете:

Торговец веерами  
Принес вязанку ветра.  
Ну и жара!

О месте поэзии в духовной жизни Японии можно судить по тому, что одним из первых письменных памятников была антология стихов, составленная в VII веке. Называется она «Манъёсю», то есть «Десять тысяч листьев».

В середине января в Японии устраивается традиционное поэтическое состязание. Десятки тысяч стихотворений на заданную тему поступают на этот общенациональный конкурс. Лучшие из них зачитываются на торжественной церемонии в присутствии императора, публикуются в газетах. Общественность проявляет живой интерес к авторам лучших хайку не только потому, что такой поэтический чемпионат проводится ежегодно с XIV века, но и прежде всего потому, что он остается неотъемлемой частью современной жизни.

Стихосложение в Японии — не только удел поэтов, а явление очень распространенное, если не сказать общенародное. Около двадцати ежемесячных журналов общим тиражом более миллиона экземпляров целиком посвящены поэзии. Читатели их — это обычные труженики, а не только профессиональные поэты или литераторы.

Еще задолго до появления иероглифической письменности как моста к искусству рисовать и слагать стихи в быту японцев прочно укоренились обычаи коллективно любоваться наиболее поэтическими явлениями природы.

Весной принято любоваться цветением сливы, азалий, вишни. Осенью — багряной листвой горных кленов и полной луной.

Речь идет не о каком-то избранном классе. Металлургические заводы, профсоюзы шахтеров, электротехнические фирмы, рыболовецкие артели заказывают для этого целые экскурсионные автоколонны. Благодаря специальным пассажирским поездам и дополнительным автобусным маршрутам с льготными тарифами такие путешествия, в общем, доступны для средней трудовой семьи и во многом скрашивают ее будничную жизнь.

Однажды я оказался в Киото в день девятого полнолуния по старому календарю, когда принято любоваться самой красивой в году луной.

Одним из лучших мест для этого в Японии считается храм Дайгакудзи в Киото. Мне посоветовали приехать туда еще до темноты, потому что уже в половине шестого из-за горы над озером поднялась неправдоподобно большая, круглая, выкованная из неровного золота луна.

По озеру среди серебрищихся листьев кувшинок двигались две крытые лодки — одна с головой дракона, другая с головой феникса. На каждой из них светились бумажные фонарики, похожие формой на луну.

Как и большинство посетителей, я тоже устремился прежде всего к этим лодкам и, лишь сделав круг по озеру, отправился на широкий помост перед храмом.

Оттуда было лучше всего любоваться луной и ее отражением в озере. Лишь тут я понял, что лодки с драконом и фениксом для того и плавали по озерной глади, чтобы еще больше облагораживать эту картину, создавать у нее передний план.

Конечно, было бы очень просто осмеять все это. Помню, сколь удручающее впечатление произвел на меня парк Уэно, когда я впервые отправился посмотреть, как любуются цветением сакуры жители Токио. Крошечный парк, едва уцелевший среди огромного города, кишел народом. Толпа сплошь заполнила пространство между деревьями. Люди принесли с собой циновки, снесь и, конечно, выпивку. Дети гонялись друг за другом, женщины болтали, мужчины пели песни, хлопая в ладоши и раскачиваясь в такт. На первый взгляд казалось, что людям было мало дела до розовых соцветий, украсивших деревья. Но только на первый взгляд..

Можно было бы теми же глазами посмотреть и на сцену любования луной. Осмеять вереницы автобусов, которые подбрасывали к храму все новые полчища экскурсантов, толпившихся на монастырском дворе, словно перед входом в метро. Можно было бы посмеяться над девушками из школы чайного обряда, которым предстояло уго-

стить тридцать человек за несколько минут, пока лодка совершает свой круг по озеру. Каждая из них должна была подойти к пассажиру, встать перед ним на колени, сделать полный церемонный поклон, почти касаясь лбом пола, а затем предложить ему пряники в виде луны и чашу с напитком, приготовленным по всем правилам чайной церемонии.

Можно было бы посмеяться над стариком, что сидел рядом со мной и все время ревниво следил за тем порядком, в котором девушки обслуживают гостей. А ведь им приходилось торопиться, как стюардессам в самолете, и в то же время сохранять необходимую для чайного обряда степенность. Можно было бы посмеяться над тем, что многие из пассажиров вроде бы и не взглянули в сторону, где висела над озером луна.

И все-таки это было бы несправедливо. Все-таки увиденное в тот вечер прежде всего вызывало чувство уважения. Полюбоваться самой красивой в году луной люди пришли как на народный праздник. Наслаждаться этой картиной из собственной уединенной беседки над озером, может быть, и лучше. Но что плохого в том, что такую возможность хотели иметь для себя не единицы, а сотни и тысячи людей? Все-таки это был повод лишний раз приблизиться к природе, приникнуть душой к ее красоте.

Толпы людей, собравшихся любоваться луной, свидетельствовали, что чувство прекрасного глубоко пронизывает повседневную жизнь народа.

Итак, японцы не религиозны. Но вместо икон в каждом японском жилище есть как бы алтарь красоты — ниша, где стоит ваза с цветами, висит картина или каллиграфически написанное стихотворение. Японцы не религиозны, однако вместо коллективных богослужений они создали обычаи, помогающие людям сообща развивать в себе художественный вкус.

Письменность, неотличимая от рисования, стихосложение, смыкающееся с каллиграфией, коллективное любованье природой — все эти традиции донныне сохраняют свою силу, свое несомненное влияние на жизненную философию и национальный характер японцев.

## ЦВЕТЫ И ЧАЙ

Помнится, как слово «икэбана» не давало мне покоя, когда я готовил репортаж о том, как жены погибших в забое горняков объявили голодовку на месте подземной катастрофы. Профсоюз шахтеров Миике славится на всю Японию своими боевыми традициями, причем значительная доля его славы принадлежит женщинам из Союза осиротевших семей.

Вот эти-то горнячки, сутки за сутками бастовавшие в подземном забое, который стал могилой их мужей, потрясли Японию своим героизмом. После того, как я побывал на месте стачки, ее участницы пригласили меня в контору профсоюза:

— Не беседовать же в темноте!

Мы подошли к ветхому бараку, над которым развевался красный забастовочный флаг. Я знал, что именно там отдыхали женщины, сменившиеся после трех суток голодовки под землей. Но могло ли прийти мне в голову, что я застану их за изучением искусства компоновать цветы? В увешанной лозунгами конторе в разгар стачки шло очередное занятие кружка икэбана.

— Мы гордимся нашим кружком, — сказали мне активистки. — Он помог нам встретить горе единой семьей. Именно занятия икэбана впервые сблизили здешних горнячек, и примеру Миике следуют теперь другие профсоюзы, когда создают у себя женские организации...

Я очень хотел описать эту сцену, но так и не нашел повода вставить ее в корреспонденцию. Вроде бы при чем тут цветы, если речь идет о забастовочной борьбе пролетариата? А упомянуть о кружке икэбана стоило. Ведь искать красоту в сочетаниях тюльпанов и сосновых ветвей, чтобы почерпнуть в этом новые силы после многодневной голодовки в мраке забоя, — в этом воплотилась типичная черта японского характера.

Или вот пример из совсем другой области жизни.

Японцы посмеиваются над американской привычкой судить об общественном положении человека по его доходу. Однако порой и этот критерий кое о чем говорит. Нет



причин удивляться тому, что самым богатым человеком в Японии, налогоплательщиком номер один, из года в год оказывался глава концерна «Националь» Коносукэ Маусита, человек, с именем которого связана послевоенная электрификация японского быта.

Но если отрешиться от дельцов и полигиков, от промышленников и торговцев и обратиться к так называемым «лицам свободных профессий», то есть представителям культуры, искусства, спорта, то здесь нас ждет сюрприз. Окажется, что самые высокооплачиваемые люди в этой области — мастера компоновать цветы в вазе. Они опережают даже звезд кино и телевизионного экрана, даже прославленных игроков профессионального бейсбола, не говоря уже о писателях, художниках, музыкантах.

Список налогоплательщиков среди лиц свободных профессий возглавляет Софу Тэсигахара — основоположник нового направления в искусстве икэбана. Основанная им в 1926 году школа Согецу («Травы и луна») имеет около миллиона последователей и сотни кружков по всей Японии. Полушутя-полусерьезно японцы говорят, что такого человека, как Тэсигахара, можно по влиятельности сравнить с руководителем политической партии, ибо он вполне мог бы проводить своих депутатов в парламент и уж во всяком случае набрал бы достаточно голосов, чтобы попасть туда самому.

В центре Токио высится здание, построенное архитектором Кэндзо Танге. Это штаб-квартира школы Согецу. Сюда со всей страны текут конверты с зеленой каймой — денежные переводы. В Японии вряд ли найдешь город, где бы не существовало кружка школы Согецу. Японка обычно проходит там двухлетний курс и треть платы за каждое полугодие посылает самому Тэсигахаре.

Я встретился с основателем школы «Травы и луна» после его возвращения из поездки в СССР. Мы долго беседовали тогда о философской основе икэбана.

Икэбана, по словам Тэсигахары, — это самостоятельный вид изобразительного искусства. Ближе всего к нему стоит, пожалуй, ваияне. Скульптор ваяет из мрамора, глины, дерева. В данном же случае в руках ваятеля — цветы, ветки.

Цель икэбана — выражать красоту природы, создавая гармонические композиции из цветов, керамики и других предметов. Но икэбана — это не только украшательство, не только один из декоративных приемов. Это и средство самовыражения. Даже используя одни и те же материалы, разные люди могут вложить в них разные настроения. Подлинного мастера икэбана не может удовлетворить лишь внешняя красота цветов. Он стремится заставить их заговорить на понятном людям языке.

Когда в процессе подражания учителю ученик освоит приемы икэбана, он сможет выражать в этом виде искусства собственные чувства и мысли.

Икэбана, повторил Тэсигахара, сродни ваияню. Когда скульптор хочет из куска мрамора изваять человеческое лицо, он, по словам Чехова, должен удалить с этого куска все, что не есть лицо. Такое ваияне можно условно назвать вычитательным, скульптурой со знаком минус. Икэбана, напротив, это как бы скульптура со знаком плюс, или добавляющее ваияне. Исходное здесь — пустое пространство, которое человек начинает заполнять, насыщать элементами красоты.

Для японского понятия икэбана в зарубежных языках до сих пор не найдено точного перевода. Принятое на Западе выражение «аранжировка цветов», так же как и русский термин «искусство составления букетов», не раскрывает сути икэбана как одного из видов ваияния. Иногда нероглифы икэбана дословно переводят как «живые цветы» или как «цветы, которые живут». Но и это определение нельзя назвать исчерпывающим. Ибо первый слог «икэ» не только означает «жить», но и является формой глагола «икасу», который значит «оживлять», «выявлять» и противоположен по смыслу глаголу «подавлять». Поэтому выражение «икэбана» можно перевести как «помочь цветам проявить себя».

Есть притча о мастере чайного обряда Рикю, сад которого славился на всю Японию цветами повилики. Взглянуть на них решил даже сам сёгун Хидеёси. Придя, однако, в назначенное утро в сад, он с удивлением обнаружил, что все цветы срезаны. Уже начавший гневаться, повелитель вошел в комнату для чайного обряда и тут увидел икэбана из одного-единственного стебля повилики. Рикю принес в жертву все цветы своего сада, чтобы подчеркнуть их красоту в одном, самом лучшем.

Эту притчу рассказывают каждому японцу на первом же занятии икэбана. Его приучают к тому, что выразительность скупа; что хотя икэбана в целом — это ваение со знаком плюс, с каждой отдельной ветки с листьями и цветгами надо так же безжалостно удалять все лишнее, как скульптор скалывает с куска мрамора все, что не есть лицо.

Икэбана — порождение японского образа жизни. Этот вид искусства создан нацией, которая веками воспитывала в себе умение обращаться к природе как к неисчерпаемой сокровищнице прекрасного. Искусство икэбана горячо любимо народом именно за его общедоступность, за то, что оно помогает человеку даже в бедности чувствовать себя духовно богатым.

И если признать, что поклонение красоте во многом заменяет японцам религию, то роль иконы в японском жилище издавна выполняет икэбана, стоящая в нише.

Помню, как в токийском пресс-клубе один заокеанский журналист, оказавшийся в Японии проездом во Вьетнам, иронизировал по поводу своего первого знакомства с чайной церемонией.

— Представьте себе, что парикмахер и еще три или четыре человека, ожидающих очереди побриться, уселись на полу совершенно пустой полутемной семиметровой комнаты. Действия парикмахера похожи на обычные: он насыпает в чашку мыльный порошок, заливает его кипятком, взбивает пену кисточкой для бритвы. Но делается все это так, словно он верховный жрец, выполняющий религиозный обряд. А все другие молча следят за этим священнодействием. Попробуйте теперь мысленно заменить мыльный порошок растертым в пудру зеленым чаем, который при заваривании взбивают бамбуковой метелочкой, очень похожей на кисточку для бритвы, и вы получите полную картину этого японского чуда...

Для заезжего иностранца чайная церемония в самом деле не больше чем неправдоподобно затянутое чаепитие, сопровождаемое непонятным ритуалом.

Но чайный обряд — это тоже ключ к национальному характеру, не менее важный, чем бусидо (путь воина) — моральный кодекс самурая, о котором на Западе так много писали.

«Он умеет жить» — это обычно обывательское выражение имеет для японца диаметрально противоположный смысл. Человек, умеющий жить, видит радости жизни там, где другие проходят мимо них. Чайная церемония учит находить прекрасное в обыденном. Это соединение искусства с буднями жизни.

Если страсти, бушующие в человеческой душе, порождают определенные жесты, то, считают мастера чайной церемонии, есть и такие жесты, которые способны обратным образом воздействовать на душу, успокаивать ее. Строго определенными движениями, их красотой и размеренностью чайная церемония создает покой души, приводит ее в то состояние, при котором она особенно чутко отзывается на вездесущую красоту природы.

В чайной церемонии участвуют не больше пяти человек. Даже если она происходит днем, в комнате должен стоять полумрак. На каждом предмете лежит печать времени. Есть только два исключения — белоснежный льняной платок и ковш, сделанный из спиленного куска бамбука, которые должны быть подчеркнуты свежими и новыми.

Комната для чайной церемонии оформляется с изысканной простотой, воплощающей в себе классическое японское представление о прекрасном. Причем эта подчеркнутая простота или даже изысканная бедность подчас дорого обходится хозяину, потому что кряжистое бревно может быть сделано из очень редкой породы дерева и к тому же иметь особую цену из-за своих художественных достоинств.

Конечно, приезжему может показаться странным, что не только большинство японских женщин, но и многие мужчины до сих пор изучают каждое движение чайной церемонии. Но уже сам по себе этот факт, что современная девушка учится следовать предписаниям стариннейшего из ритуалов, свидетельствует о том, насколько живучи в Японии традиции.

Влияние чайной церемонии сказывается во многих областях японской культуры. Именно отсюда берут начало такие понятия, как ваби, саби, сибуй. Порождением чай-

ной церемонии явилось и искусство икэбана. Японская керамика никогда не достигла бы таких вершин, если бы не этот ритуал.

Мост между искусством и природой, а также мост между искусством и будничной жизнью — ключевые характеристики японской культуры. В этой стране никогда не существовало деления искусства на чистое и прикладное. Японцы привыкли отождествлять прекрасное с целесообразным, и любой предмет их домашней утвари сочетает в себе красоту и практичность.

У западных искусствоведов существует выражение, что японская культура — это цивилизация пустышек. Видимо, верно то, что японцы преуспели в практических мелочах больше, чем в широких абстрактных идеях. В японском языке существует выражение «массё буммей» — «цивилизация сосновой иглы» (под этим имеется в виду умение наслаждаться красотой кончика сосновой хвоинки, вместо того чтобы пытаться охватить взором целое дерево).

От японцев часто слышишь, что иностранцы, и особенно американцы, предпочитают прекрасное в огромных порциях. Красоты одной капли росы им недостаточно — нужны километры расписанного полотна, галереи картин, уставленные скульптурой дворцы.

Японцы не любят оценивать искусство на бегу, приёма его лишь как часть повседневной жизни.

Чайная церемония, мастерство икэбана, стихосложение, любование природой — все это объединено у японцев общим названием «фурю», что можно перевести несколько старомодным термином «изящные досуги». Человека, который пренебрегает ими в жизни, считают ничтожеством.

Японцы, побывавшие в Соединенных Штатах, поражаются тому, как много там людей — и причем людей богатых — не имеют никаких художественных интересов. В противоположность этому у японцев, особенно в пожилом возрасте, непременно есть излюбленные увлечения: живопись, выращивание хризантем, коллекционирование керамики и т. д. «Изящные досуги» отнюдь не достояние одних лишь эстетов или кучки богачей.

Хороший вкус в Японии вполне уживается с бедностью. Здесь сказалось, во-первых, отсутствие деления искусства на чистое и прикладное, что привело к высоким художественным требованиям ко всем без исключения предметам домашнего обихода, а во-вторых, регламентация быта, которая доходила в феодальной Японии до поразительных размеров.

Земледелец, собиравший в год сто кулей риса, мог строить себе дом не длиннее чем в шестьдесят ступней и крыть его соломой, но не черепицей. Он не имел права есть рис, посеянный и жатый своими руками, как не имел права носить шелк крестьянин, выращивавший шелковичных червей. Род глины для его посуды и бумаги для его окон, гребень в волосах его жены и даже кукла у его дочери — все это было предписано и узаконено властями.

Развитие художественных ремесел пошло из-за этого невширь, а вглубь. Именно в эпоху жесткой регламентации быта простейшая утварь вроде чугунного чайника, бумажного фонаря или бамбуковой ширмы обрела своеобразную прелесть, неведомую дешевой массовой продукции Запада.

Так умеренность и сдержанность превратились в национальную черту. Строгий вкус стал как бы моральной нормой, а дурной вкус — чем-то вроде социального зла.

Услышав выражение «о вкусах не спорят», японец охотно согласится с ним, хотя вкладывает в эти слова совсем другой смысл, чем мы. В Японии о вкусах не спорят, но не потому, что у каждого человека может быть свой вкус, а потому, что хороший вкус стал неписанным законом.

Итак, культивируя и развивая в себе чувство прекрасного, японцы в то же время четко предопределили его рамки. И здесь утонченный вкус мог идти лишь вглубь вместо запретного стремления идтивширь, раздвигая эти рамки.

Утвердив в своем обществе вкус по указу, японцы издавна стремились распространить свое представление о красоте и гармонии на область человеческих взаимо-

отношений. Конфуций в Японии — не моралист, а проповедник эстетики этических норм. Выражение «некрасивый поступок» приобретает в Японии свой самый буквальный, первоначальный смысл.

*В японце мы находим мало понятное для нас сочетание артистичности природы с отсутствием чувства личности. У нас артистическая натура неразрывно связана с сознанием своей индивидуальности, своей личной особенности и своей личной самооценности, но у японцев сознание особенности и мерило ценности прилагаются, по-видимому, к индивидуальности не личной, а собирательной, каковою является нация.*

Г. Востоков. «Психология японцев и желтая опасность» (СПб. 1904).

*Иностранец в своем самодовольстве видит в чайном обряде лишь еще один пример тысячи и одной странности, которые составляют непостижимость и ребячливость Востока. Прежде чем смеяться над чайным обрядом, стоит подумать, как, в сущности, мала чаша человеческих радостей и сколь мудры те, кто умеет ее заполнить. Чайный обряд для японца — это религия. Это обожествление искусства жить.*

Какудзо Окакура, «Книга о чае» (Токио, 1906).

*Рожденные в стране, изобилующей теми элементами природы, которые стимулируют поэтическую практику и формирование чувствительной души, а именно горами, морями, а также четкой сменой четырех времен года, японцы усовершенствовали методы дистиллирования красоты из этих богатств до степени, неизвестной нам.*

*Обычай любоваться цветущими деревьями, падающим снегом или полной луной выдает некоторые главные черты японского вкуса. В целом этот вкус скорее строгий, чем необузданный, скорее коллективный, чем индивидуальный. Поскольку вкус в Японии находится в общественном пользовании, он никогда не носит на себе личного клейма. Образцы красоты обретают поэтому силу закона.*

Бернард Рудофски, «Мир кимоно» (Лондон, 1966).

*Минувшие века сделали японца человеком, который относится к жизни прежде всего как художник, эстет. Он не является человеком принципа. Основным законом его общественной и личной жизни служит не столько мораль, религия или политика, сколько нормы прекрасного. «Эстетическое объяснение Японии» — вот хороший заголовок для книги, которую следовало бы когда-нибудь написать.*

Робер Гиллен, «Япония» (Париж, 1961).

## ВСЕМУ СВОЕ МЕСТО

«Всему свое место» — эти слова можно назвать девизом японцев, ключом к пониманию многих сильных и слабых сторон их национального характера. Девиз этот воплощает в себе, во-первых, своеобразную теорию относительности применительно к морали, а во-вторых, утверждает субординацию как неизбежный, абсолютный закон семейной и общественной жизни.

Японцы избегают судить о поступках и характере человека в целом, а делят его поведение на изолированные области, в каждой из которых как бы существуют свои законы, собственный моральный кодекс. Вот излюбленное сравнение, которое они приводят на этот счет:

— Нельзя утверждать, что ехать на автомашине по правой стороне улицы всегда правильно, а по левой — всегда ошибочно. Дело лишь в правилах уличного движения, которые в Токио и Москве различны.

Японцам несвойственно обвинять человека в том, что он не прав вообще. В их суждениях прежде всего четко обозначается область, в которой он совершил ту или иную погрешность, то есть нарушил предписанные для данной области правила. Универсальных мерок не существует: поведение, допустимое в одном случае, не может быть оправдано в другом.

Вместо того чтобы делить поступки на правильные и неправильные, японец оценивает их как подобающие и неподобающие. «всему свое место».

Второе значение этого девиза также дает о себе знать на каждом шагу. Когда несколько японцев собираются у стола, все они точно знают, кто где должен сесть: кто у ниши с картиной, то есть на самом почетном месте, кто по левую руку от него, кто еще левее и кто, наконец, у входа. Любая попытка проявить тут какой-то демократизм вызовет лишь всеобщее смятение — ведь тогда никто из присутствующих не будет знать, что ему делать. (Именно это происходит, когда заезжий иностранец, желая прослыть скромным, упрямо отказывается от предназначенного ему места.)

Когда японец говорит о неразберихе, он выражает ее словами «ни старшего, ни младшего». Без четкой субординации он не мыслит себе гармонии общественных отношений.

Несмотря на свою модернизацию, Япония до сих пор в немалой степени остается иерархическим обществом. Каждый контакт, в который вступают между собой люди, тут же указывает на род и степень социальной дистанции между ними. Не только обращения, но и местоимения «я», «ты», «он» и даже глаголы, обозначающие простейшие житейские действия, в разных случаях звучат по-разному.

Японская домохозяйка ежедневно обменивается бесчисленным количеством церемонных приветствий и пустопорожних фраз о погоде с разносчиками и мелкими торговцами, которые, как правило, живут тут же, по соседству, в задних комнатах или на вторых этажах своих лавочек. Но домохозяйка, которая знакома с этими людьми много лет (нередко с детства) и которая общается с ними буквально каждый день, не знает не только их имен, но даже фамилий.

Овощи ей приносит зеленщик-сан, рыбу — рыбак-сан. Когда нужно подстричь куст азалий перед крыльцом, приглашается садовник-сан. Если сломался телевизор «Мацусита», звонят Мацусита-сану (разумеется, не президенту крупнейшего электротехнического концерна, а владельцу соседней лавочки, торгующей изделиями этой фирмы, у которого и был приобретен телевизор). Велосипедиста, который развозит по утрам газеты, женщины в переулке зовут Асахи-сан, хотя паренек этот известен им с младенческих лет как сын молочника-сана.

Чем же объяснить, что, несмотря на присущую японцам учтивость, доньше есть люди, которые вынуждены всю жизнь оставаться безымянными для других? Это наследие феодальных времен, когда японское общество строго делилось на четыре сословия: воины, земледельцы, ремесленники, торговцы.

Носить фамилии (а стало быть, и родовые гербы у ворота кимоно) могли тогда лишь воины. Торговцы же, как самое низкое среди последующих трех сословий, то есть среди простолюдинов, оказались даже и без имен. К ним было предписано обращаться по названию их дела.

Домохозяйка называет теперь своего соседа Мэйдзи-сан вместо молочник-сан не потому, что сословные пережитки наконец утратили силу, а потому, что знакомому лавочнику пришлось сменить вывеску и пойти в кабалу к фирме «Мэйдзи», которая монополизировала торговлю молоком.

На протяжении столетий сословные разграничения дополнялись в Японии подробнейшей регламентацией быта. Одежда, которую человек мог носить, пища, которую он мог есть, размеры дома, в котором он мог жить, — все это определялось его унаследованным от рода положением.

Иерархические отношения глубоко укоренились не только в обществе, но и в семье. Мы привыкли к тому, что в семейном кругу люди относятся друг к другу без особых церемоний. В Японии же именно внутри семьи постигаются и скрупулезно соблюдаются правила почитания старших и вышестоящих.

Каждый человек имеет в этой домашней иерархии четко определенное место и даже звание — как бы свой титул. Подобная субординация требует воздавать почести не только главе семьи, но и всякому, кто стоит хоть ступенькой выше тебя. Когда сестры обращаются к братьям, они обязаны употреблять иные, более учтивые выражения, чем те, с которыми братья обращаются к сестрам. Даже язык, которому японца учат с детских лет, определяется его положением среди других членов семьи.

Еще когда мать по японскому обычаю носит младенца у себя за спиной, она при каждом поклоне заставляет кланяться и его, давая ему тем самым первые уроки почтения старших. Чувство субординации укореняется в духе японца не из нравучений, а из жизненной практики. Он видит, что мать кланяется отцу, средний брат — старшему брату, сестра — всем братьям независимо от возраста. Причем это не пустой жест. Это признание своего места и готовность выполнить вытекающие из этого обязанности.

При любых обстоятельствах будничной действительности привилегии главы семьи подчеркиваются každодневно. Именно его все домашние провожают и встречают у порога. Именно он первым окунается в нагретую для всей семьи воду фуру — японской бани. Именно его первым угощают за семейным столом.

Мало найдется на земле стран, где детвора была бы окружена большей любовью, чем в Японии. Но печаль субординации лежит даже на родительских чувствах. Старшего сына заметно выделяют среди остальных детей. К нему относятся буквально как к наследнику престола, хотя престол этот — всего-навсего родительский дом.

С малолетства такой малыш часто бывает самым несносным в доме. Его приучают воспринимать поправки как должное, ибо именно на него ляжет потом не только забота о престарелых родителях, но и ответственность за семью в целом, за продолжение рода, за отчий дом. По мере того как старший сын подрастает, он вместе с отцом начинает решать, что хорошо и что плохо для его младших братьев и сестер.

Японец с детских лет привыкает к тому, что определенные привилегии влекут за собой определенные обязанности. Он снимает подобающее место как рамки дозволенного, то есть с одной стороны — как известные ограничения, а с другой — как гарантию известных прав.

Примером этой своеобразной диалектики служит положение женщины в семье. Феодалный домострой прославлял покорность и готовность к самопожертвованию как идеал женственности. Поныне сильны взгляды, что японка до замужества должна подчиняться отцу, после свадьбы — мужу, а став вдовой — собственному сыну. И тем не менее она имеет куда больше прав, чем женщины в других азиатских странах. Причем права эти — не результат каких-то современных веяний, а проистекают из самого толкования отведенного женщине «подобающего места».

Именно на плечи женщины возложены заботы о домашнем хозяйстве. Но ей же полностью доверен и семейный кошелек. О сбережениях на будущее должен думать глава семьи. Он решает, какую долю заработка потратить на текущие нужды. Но выделенными для этого деньгами японка вправе распоряжаться по собственному усмотрению. Именно она вершит дела внутри семьи, и мужчине не полагается вмешиваться в эту область.

Символом положения хозяйки издавна считается самодзи — деревянная лопаточка, которой она раскладывает домочадцам рис. День, когда состарившаяся свекровь передает самодзи своей невестке, принято было отмечать торжественной церемонией.

Обычай этот забыт, но суть его сохранилась. Мало того, от японцев часто слышишь, что после войны становится все больше семей, где женщины верховодят не только домашним хозяйством, но и самими мужчинами.

Со стороны это, впрочем, незаметно, да по японским понятиям и не должно быть заметно. Если пройти по токийскому переулку в утренний час, у каждой двери увидишь одну и ту же картину: жена провожает мужа до порога, подает ему пальто, кланяется ему вслепую. Знаки почтения и покорности оказываются главе семьи независимо от того, главенствует ли он дома фактически.

Это важная черта японского понимания субординации. Начиная от императоров, вместо которых страной столетиями правили военачальники (сёгуны), и кончая общиной или даже семьей, молчаливо признавалось, что номинальный глава иерархии отнюдь не всегда обладает фактической властью. Тем не менее положенные почести должны адресоваться именно ему. Какие бы силы ни заправляли делами из-за кулис, на сцене для видимости ничего не меняется.

Сжившись с субординацией еще в собственной семье, человек привыкает следовать

ее принципам и в общественных отношениях. Необходимость постоянно подчеркивать престиж вышестоящих сковывает в японцах чувство личной инициативы.

«Не прогуливай, не опаздывай, не усердствуй» — гласит заповедь, которую слышит японский служащий, впервые переступая порог фирмы. И пока он будет оставаться в роли исполнителя, он действительно постарается не делать ничего, что выходило бы за пределы его прямых обязанностей и ответственности. Особую склонность избегать самостоятельных решений проявляют в японском деловом мире люди, только что повышенные в ранге. Это в одинаковой степени присуще и столоначальнику, и вновь назначенному члену совета директоров.

Японская мораль не стимулирует появления выдающихся личностей. Она, словно молоток, тут же бьет по гвоздю, шляпка которого слишком торчит из доски. При всей кажущейся предприимчивости, японцы слабо наделены чувством личной инициативы. И этот недостаток творческого начала во многом объясняется их врожденным стремлением ни на шаг не переступить границ подходящего места.

Завет «делай, что положено» понимается в двояком смысле. Высовываться из шенги, забегать вперед старших недопустимо; братья же за дела, предназначенные для подчиненных, — унизительно. Вот характерный пример. Иностранец, работающий переводчиком в редакции японской газеты, закончил срочную статью и понес ее в типографию. У входа на лестницу он столкнулся с японским коллегой, который также направлялся вниз.

— Раз вы идете в типографию, то не передадите ли заодно этот текст литотипстам, — попросил переводчик.

Японец остолбенел, словно ему предложили броситься в лестничный пролет. Молча взяв текст, он с трудом превозмог себя и зашагал вниз. Лишь когда японские сослуживцы принялись корить иностранца, он понял, что нанес оскорбление.

— Как можно было обращаться с такой просьбой к отцу двух детей? Ему пришлось нести вашу статью вниз, словно простому курьеру. Это в его-то возрасте, в его-то положении...

Концепция подходящего места требует: не берись не за свое дело. Это лишает людей самостоятельности в множестве практических мелочей, из которых складывается повседневная жизнь. Почти никогда не увидишь японца, который мастерил бы что-нибудь дома своими руками.

Сборщик телевизоров не имеет представления о том, как отремонтировать электрический утюг. Если в конторе радиотехнической фирмы перегорят пробки, никто из служащих не вздумает заменить их сам.

Когда нужно что-нибудь починить или приладить, по всякому пустяку принято вызывать мастера. Причем каждый такой мастерской глубоко убежден, что лучше заказчика разбирается в своем деле, и потому философски относится ко всякого рода пожеланиям и советам, попросту пропуская их мимо ушей.

Бессмысленно, например, доказывать японскому портному, что костюм должен сидеть не так, а иначе. Горничная в японской гостинице может чуть свет зайти в комнату и раздвинуть оконные створки, даже если на улице холодно и постояльцу вообще хотелось бы поспать еще часок-другой. Она делает свое дело и лучше знает, когда надо вставать.

Знай свое место, веди себя, как подобает, делай, что тебе положено, — вот неписанные правила, регулирующие жизнь и поведение японцев.

## ВЕРНОСТЬ: ДОЛГ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Существуют невидимые нити, которые накрепко привязывают японца к подходящему месту. Это узы долга.

Краеугольным камнем японской морали служит верность, понимаемая как долг признательности старшим. «Лишь сам став отцом или матерью, человек до конца постигает, чем он обязан своим родителям» — гласит излюбленная пословица. Почитание родителей, а в более широком смысле покорность воле старших — вот в представлении

японцев самая важная моральная обязанность человека. Преданность, основанная на долге признательности, является для них первой из добродетелей.

Преданность семье, клану, государству должна быть беспредельной и безоговорочной, то есть человек обязан подчиняться воле старших и вышестоящих, даже если они не правы, даже если они поступают вопреки справедливости.

В этом наиболее существенное изменение, которое японцы внесли в заимствованную ими древнекитайскую мораль. Учение Конфуция основывалось на том, что сын должен быть сыном, а отец — отцом, подданный — подданным, а повелитель — повелителем. Это значит, что сыновней почтительности достоин лишь хороший отец, что на преданность младших или нижестоящих вправе рассчитывать лишь тот, кто сам человеколюбив и милосерден по отношению к ним.

Японцы, стало быть, выхолостили принцип «жэнь» (гуманность, человечность), служивший в китайской классической морали стержнем человеческих взаимоотношений. В японской трактовке принцип этот низведен до уровня благотворительности, то есть черты пусть даже похвальной, но необязательной, черты, которая воплощает добрую волю человека, выходящую за рамки его прямых обязанностей.

Сколько бы ни изменилась натура японца под влиянием современности, ему донныне присуща покорность родительской воле как выражение долга признательности. Конечно, в наши дни умножились примеры, когда молодежь так или иначе выходит из повиновения старшим, когда сын отказывается жениться на сосватанной невесте или наследовать семейную профессию. Видя, как молодые пары не таясь гуляют по улицам обнявшись, можно подумать, что жизнь не оставила от феодального домостроя камня на камне. А между тем это заблуждение.

Пусть японский язык заимствовал себе английское слово «дейт» — свидание, без которого он прежде обходился. Пусть самостоятельные знакомства и встречи между юношами и девушками все больше входят в обиход. Главное не изменилось — свадьба в Японии до сих пор остается делом не столько личным, сколько семейным. И хотя о браках по любви сейчас много говорят, они все-таки остаются скорее исключением, чем правилом.

В 1960 году родители были инициаторами 85 процентов свадеб. В течение последующего десятилетия число браков по сватовству сократилось, но по-прежнему составляет большинство.

Это значит, что молодые японцы все еще не обладают самостоятельностью при решении важнейшего из жизненных вопросов. Считается, что лишь старшие могут найти молодежи достойных спутников жизни.

Долг сына — жениться на девушке, избранной родителями, даже если он не чувствует к ней влечения. Хороший сын выплачивает долг признательности отцу и матери тем, что не ставит под вопрос их решение на этот счет.

Если мужчина последовал родительской воле и обеспечил продолжение рода, он может иметь сколько угодно внебрачных связей, не испытывая угрызений совести и не посягая, как ему кажется, на устои собственной семьи.

Помимо многочисленности браков по сватовству, есть еще один признак того, что старинный семейный уклад продолжает жить в Японии. Это широко распространенная практика усыновления. Феодальный домострой строго требовал от каждого обеспечить продолжение рода по мужской линии. Собственность семьи, оказавшейся без такого наследника, немедленно конфисковывалась, невзирая на остальных родственников.

Старые законы давно отменены, однако стремление непременно иметь сына по-прежнему присуще в Японии любой супружеской паре. Дело тут не только в продолжении рода. Не иметь сына значит для японца обречь себя на одинокую старость.

Доживать свой век под одной крышей с замужней дочерью здесь до сих пор не принято (существует множество японских пословиц о взаимоотношениях невестки и свекрови, но нет ни одной о зяте и теще). Сына оттого и почитают с рождения, словно наследника престола, что именно на него ложится потом долг заботиться о престарелых родителях.



Если в семье есть лишь дочери, отец и мать подыскивают одной из них жениха, согласного на усыновление. При такой свадьбе муж берет себе фамилию жены вместе с сыновними обязанностями по отношению к приемным родителям.

Устои патриархальной семьи — это устои японского образа жизни. Его столпы — субординация плюс семейственность. Право и неправота определяются здесь не абстрактными понятиями добра и зла, а признанием своего места в сложном переплетении взаимных обязанностей. Излюбленная американцами фраза: «Я никому ничего не должен» — немыслима в устах японцев. Человек в Японии постоянно чувствует себя частью какой-то группы — то ли семьи, то ли общины, то ли фирмы. Он приучен подчиняться мнению этой группы и вести себя соответственно своему положению в ней. Он готов выплачивать долг признательности своему покровителю столь же безоговорочно, как собственному отцу, то есть приучен ставить личную преданность выше личных убеждений.

В этом-то и коренятся причины неистребимой фракционности, а проще говоря — групповщины, или семейственности, которые пронизывают общественную и политическую жизнь Японии, проникая даже в деловой мир.

Японцы не упускают случая подчеркнуть свою принадлежность к тому или другому клану, а также свое положение в нем — без знания этого им трудно общаться друг с другом. Вот почему столь важной считается здесь процедура взаимного представления.

В прежние времена представляться друг другу обязаны были даже воины на поле брани. Описывая попытку монгольского вторжения в Японию в 1274 году, историк Бринклей замечает, что учтивые самураи были поражены, когда в ответ на их заявления об именах и титулах заморские варвары кинулись на них беспорядочной ордой, не проявляя интереса к выбору достойных противников.

На свадебных церемониях и сейчас еще можно видеть старинный наряд, предназначенный для самых торжественных случаев. черные кимоно с белыми родовыми гербами у ворота. В современной жизни место соперничающих родов заняли конкурирующие фирмы, а роль гербов на кимоно унаследовали значки этих фирм, которые обычно носятся служащими на лацканах пиджаков.

Еще шире вошли в японский обиход визитные карточки, сразу же позволяющие судить, кого представляет человек и каков его ранг. Японцы сейчас совершенно не могут обходиться без визитных карточек — и не только потому, что они упростили ритуал представления друг другу.

Как прежде родовым гербом, японец демонстрирует значком фирмы или визитной карточкой свою принадлежность к определенной группе, свою готовность ставить личную преданность ей выше личных убеждений. Такая беспредельная и безоговорочная верность, основанная на долге признательности семье, общине или какой-то другой группе, считается у японцев краеугольным камнем морали.

*Семейный строй в Японии выполняет, помимо своего специального назначения, еще одну социальную функцию чрезвычайной важности: семья является институтом страхования на случай старости. Глава японской семьи воспитывает старшего сына-наследника и всех прочих членов семьи и несет всю тяжесть семейных обязанностей до 50-летнего возраста. С этого времени он... сдает свою власть и всю деловую сторону семейной жизни своему старшему сыну, а сам больше ни во что активно не входит; остаток дней своих он и его жена проводят без всяких забот, сохраняя при этом в высшей степени достойное положение. Таким образом, строй японской семьи парализует, в громадном большинстве случаев, одно из крупнейших и наиболее вопиющих зол, свойственных Европе: небеспеченность рабочих людей на случай старости.*

Г. Востоков. «Общественный, домашний и религиозный быт Японии».

*Японские политики, дельцы, кинорежиссеры и даже спортсмены чрезвычайно безлики и бесцветны как индивидуальности, и никакие трюки пишущей машинки не способны оживить их настолько, чтобы средний читатель мог заинтересоваться ими.*

*Японское общество не признает выдающихся личностей, оно тянет назад всякого, кто стремится опередить остальных. Самые умные и расудительные японцы постигают*

это раньше других. Поэтому именно люди, талант которых мог бы сделать их яркими индивидуальностями, превращаются в наибольших приспособленцев и делают свою карьеру именно японским путем, как почти анонимные члены какой-то группы.

Даже в мире искусства индивидуальность является крамольным словом. Известна история дирижера Сейдзи Одзава. Когда он вернулся в Японию после шумного успеха за границей, ведущие японские оркестры отказались с ним играть. Известна также история с первой красавицей Японии актрисой Фудзико Ямамото, которая не захотела продлевать свой контракт с кинокомпанией и тут же была практически отстранена от японского экрана, ибо нарушила долг верности нанимателю.

В деловом мире человек известен просто по фирме, в которой он служит, но не по своим способностям. Без визитной карточки он ничего не представляет как личность, а с визитной карточкой и со значком на лацкане пиджака он разделяет славу своей фирмы независимо от того, как бы ни был мал его пост. Как бы бездарно он ни работал, его не уволят, какими бы яркими способностями он ни обладал, он почти не имеет возможности продвигаться быстрее, чем другие люди его возрастной группы.

Рафаэл Штейнберг, «Почему трудно писать о Японии»  
(Нью-Йорк, 1966).

С тех пор, как Япония открыла свои двери перед внешним миром, вряд ли был еще какой-нибудь народ, при описании характера которого столько раз повторялись бы слова: «Но также...»

Когда серьезный наблюдатель пишет о людях какого-либо народа и говорит, что они несравненно учтивы, вряд ли он станет добавлять: «но также дерзки и навязчивы». Когда он говорит, что эти люди чрезвычайно неподатливы, он не присовокупит: «но также восприимчивы ко всему новому». Когда он говорит, что люди эти послушны, он не станет тут же объяснять, почему их нельзя подталкивать. Когда он говорит, что эти люди преданны и великодушны, он не предостережет: «но также коварны и подозрительны». Когда он говорит, что эти люди поистине храбры, он не станет расписывать их робость. Когда он ведет речь о людях, которые охотно отдаются изучению всего, что приходит с Запада, он не станет также подчеркивать их непоколебимый консерватизм. Когда он пишет книгу о народе, который поклоняется красоте, славит актеров, художников и возводит в ранг искусства выращивание хризантем, такая книга обычно не требует приложения, посвященного культу меча и непререкаемому престижу, который принадлежит воинам.

Все эти противоречия составляют, однако, начало и конец книг о Японии, все они действительно существуют. Как меч, так и хризантема являются частью картины. Японцы в одно и то же время напористы и сдержанны; воинственны и эстетичны; дерзки и вежливы; замкнуты и восприимчивы; послушны и неподатливы; преданны и коварны; отважны и робки; консервативны и жадны до нового.

Рут Бенедикт, «Хризантема и меч» (Нью-Йорк, 1946).

### СОВЕСТЬ И САМОЛЮБИЕ: ДОЛГ ЧЕСТИ

Есть две скрытые пружины, которые исподволь движут сложным механизмом поведения японцев. О первой из них уже шла речь: это долг признательности. Но есть и вторая: долг чести.

На протяжении всей своей истории японцы рубили чужие головы и вспарывали собственные животы во имя долга чести — «гири». И хотя самуран с их обычаем совершать харакири сохранились сейчас лишь в кино- и телефильмах, понятие «гири» по-прежнему незримо присутствует в поступках современных японцев.

Если такая первейшая для японцев добродетель, как долг признательности, уходит корнями в древнекитайскую мораль, то долг чести — это сугубо японское понятие, не имеющее ничего общего ни с учением Конфуция, ни с учением Будды. Раскрыть смысл «гири» трудно, даже сами японцы не могут дать ему достаточно ясного толкования.

«Гири» — это некая моральная необходимость, заставляющая человека делать что-то порой против собственного желания или вопреки собственной выгоде. «Гири» можно было бы назвать совестью. Однако бывают обстоятельства, когда «гири» заставляет японца действовать вопреки великодушию и даже вопреки справедливости. Это «совесть», которая, однако, может толкнуть на бессовестный поступок, это честь, которая порой заставляет поступать бесчестно.

«Гири» — это долг чести, основанный не на абстрактных понятиях добра и зла, а на строго предписанном регламенте человеческих взаимоотношений, требующем подобающих поступков в подобающих обстоятельствах.

Вот типичный пример. Считается, что особенно тяжок долг чести для жениха, принятого в чужую семью и взявшего себе фамилию тестя и тещи. В прежние времена приемный сын должен был блюсти долг чести тем, чтобы безоговорочно вставать на сторону своих приемных родителей, даже если бы это требовало убить собственного отца или мать.

В отличие от неоплатного долга признательности японцы смотрят на долг чести как на некое добавочное бремя, неосмотрительного увеличения которого следует остерегаться.

Поскольку любая услуга вплоть до предложенной кем-то на улице сигареты требует взаимности, должна быть как-то вознаграждена, японцы подсознательно стараются избегать случайных одолжений со стороны незнакомцев.

Это отразилось даже в том, что речевые обороты, предназначенные для выражения благодарности, несут в себе, как ни странно, оттенок некоего сожаления. Например, наиболее широко известное иностранцам слово «аригато», которое мы привыкли переводить как «спасибо», буквально значит: «Вы ставите меня в трудное положение». Другой близкий ему оборот, «сумимасен», означает: «Теперь мне вовек с вами не рассчитаться». Таким образом, уже выражая благодарность, японец как бы с сожалением признает, что остался перед кем-то в долгу.

Стихийное стремление избегать случайных одолжений со стороны незнакомых людей порой производит впечатление, что японцы — люди черствые и неотзывчивые. Человек иногда даже не замедлит шага на улице, видя, как прохожему рядом с ним стало плохо. Но тот же человек способен проявить чудеса отзывчивости к соседу, у которого сгорел дом, или при сборе средств для жертв землетрясения на другом конце страны.

Речь, стало быть, идет не о черствости, а о своеобразии норм поведения. Сделать что-то для незнакомца без его просьбы — значит поставить его в положение морального должника, значит воспользоваться его затруднением в свою пользу — вот к какому абсурдному парадоксу приводит японцев их понятие о долге чести.

«Гири» подчас вынуждает человека уподобляться роботу, который слепо и механически выполняет заложенную в него программу подобающего поведения, который не рассуждает, а поступает так, как принято, чтобы окружающие его не осудили.

«Стыд служит почвой, на которой произрастают все добродетели» — распространность этого изречения выдает обостренную чувствительность японцев к суждениям других людей об их поступках. С детства поведение человека регулируется не только семьей, но и ближайшим окружением. Тому, кто не соблюдает общепризнанных обычаев, кто не считается с мнением общины, соседи или односельчане грозят отчуждением.

Поступай, как принято, иначе люди осудят и отвернутся, — вот что требует от японца долг чести.

«Гири», или долг чести, проявляется не только по отношению к окружающим (как разновидность нашего понятия «совесть»), но и по отношению к самому себе, к собственной репутации (что во многом соответствует тому, что мы называем самолюбием). Неверно полагать, что одна сторона этой добродетели требует от человека быть благодарным, а другая — мстительным.

Долг чести по отношению к самому себе отнюдь не ограничивается необходимостью мстить за нанесенное оскорбление. Обостренное самолюбие побуждает японца избегать положений, в которых как он сам, так и кто-то другой может оказаться униженным или оскорбленным.

Японцы с поразительной изобретательностью стремятся обходить случаи прямого соперничества, где выбор в пользу одной из сторон означал бы «потерю лица» для другой. Именно обоюдная боязнь «потерять лицо» рождает потребность в третьем лице, то есть в посреднике, без которого японцы не мыслят себе никаких переговоров, начиная от сватовства и кончая заключением торговой сделки.

Во время сватовства считается очень важным так обставить первую встречу жениха и невесты, чтобы в случае отказа какой-либо из сторон не унижить другую. Поэтому такие смотрины чаще всего устраиваются как якобы случайная встреча в каком-нибудь общественном месте, например, на ежегодной выставке хризантем или во время любования весенним цветением вишни в каком-нибудь хорошо известном парке. Такая «случайная» встреча, никого ни к чему не обязывая, позволяет молодым и их родителям познакомиться друг с другом.

Японский школьник вряд ли ответит, кто из его сверстников первый ученик и кто, наоборот, тянет класс назад. Если педагог хвалит или журит кого-то, он всегда исходит из способностей и прилежания данного ребенка, сравнивая его нынешнюю успеваемость с его же прежней и старательно избегая противопоставления одних учеников другим.

Японские рикши в прежние времена строго блюли неписанный закон о том, что молодой возчик мог обгонять старого, лишь изменив маршрут, чтобы его превосходство в силе и выносливости не бросилось людям в глаза.

Это стремление хотя бы внешне свести до минимума прямое соперничество донны пронизывает японскую жизнь. Даже проявления конкурентной борьбы японские дельцы ухитряются придавать видимость компромисса на основе «подобающего места» фирмы в данной отрасли промышленности или торговли.

Долг чести по отношению к собственной репутации не позволяет японцу проявлять свою неспособность в том, к чему он по своему положению обязан быть способен. Нежелание «потерять лицо» подчас мешает японскому врачу отказаться от ошибочного диагноза. По той же причине преподаватели не любят, когда ученики обращаются к ним с вопросами.

Бывалый иностранец, остановленный за нарушение правил езды на улицах Токио, прикидывается, что не знает японского языка. И регулировщик отпускает его, так как в свою очередь не хочет признавать, что не силен в английском, то есть ронять престиж столичного полицейского. Именно из-за такого представления о «потере лица» японцы никогда не говорят человеку чего-либо касающегося его профессиональных ошибок.

Насылавшись об учтивости японцев, нельзя преуменьшать их болезненной чувствительности. Японца ранит ироническая реплика личного характера, которую никто из нас не принял бы всерьез.

Сказать, что японцы очень самолюбивы, что они высоко ставят свою честь — значит показать лишь одну сторону их характера. Непримируемость к оскорблениям, болезненная уязвимость их личного достоинства не привели к тому, что месть стала у них главной чертой человеческих взаимоотношений. Понятие «гири» обрело как бы возвратное значение. Долг чести по отношению к самому себе с малолетства приучает японцев щадить самолюбие и достоинство других.

Лишь прожив в стране несколько лет, начинаешь понимать, что японская вежливость — это не низкие поклоны, которые выглядят весьма нелепо в современной уличной толпе или на перроне метро, и не обычай начинать разговор с множества ничего не значащих фраз. Японская вежливость — это умение щадить как собственное самолюбие, так и достоинство окружающих, это искусство избегать ситуаций, способных кого-либо унижить.

Раз мораль требует от человека хранить свою репутацию незапятнанной и мстить за нанесенные оскорбления, он, по логике японцев, должен всячески остерегаться случаев, когда в этом может возникнуть необходимость.

Итак, японская вежливость — это скорее всего проявление высокой культуры человеческих взаимоотношений, взаимное стремление людей при любых контактах не задевать самолюбия друг друга.

*Полагаю, что в мире нет народа, который относился бы к собственной чести более щепетильно, чем японцы, они не терпят ни малейшего оскорбления, даже грубо сказанного слова. Так что вы обращаетесь (и поистине должны обращаться) со всей учтивостью даже к мусорщику или землекопу. Ибо иначе они тут же бросят работу, ни секунды не задумываясь, какие потери это им сулит, а то и совершат что-нибудь похуже.*

*Они весьма осмотрительны в своем поведении и никогда не утруждают других жалобами и перечислениями собственных бед. Они с детства выучиваются не раскрывать своих чувств, считая это глупым. Важные и трудные дела, которые могут вызвать гнев, возражение или спор, у них принято решать не с глазу на глаз, а только через третье лицо. Обычай этот настолько в ходу, что применяется между отцами и детьми, между хозяевами и слугами и даже между мужьями и женами.*

Александр Валиньяно, «История деятельности ордена иезуитов в Восточной Азии» (Ватикан, 1642).

*Когда два американца должны решить между собой сложный вопрос, они инстинктивно стараются исключить третьих лиц и переговаривать с глазу на глаз. Когда такая проблема возникает между японцами, они столь же инстинктивно стремятся разойтись на почтительное расстояние и призывают посредника.*

Джон Рандольф. «Афоризмы о Японии» («Джэпэн Таймс», 1965).

## ОБЛАСТЬ ОГРАНИЧЕНИЙ И ОБЛАСТЬ ПОСЛАБЛЕНИЙ

Японская мораль постоянно требует от человека огромного самопожертвования ради выполнения долга признательности и долга чести. Логично было бы предположить, что та же мораль насаждает аскетическую строгость нравов, считая грехом физические удовольствия и наслаждения. Именно такую позицию, кстати говоря, занимает в данном вопросе буддизм.

Поэтому вдвойне неожидан факт, что японцы не только терпимо, но даже благожелательно относятся ко всему тому, что христианская мораль называет человеческими слабостями. Хотя Япония — буддийская страна, ее жизненная практика вступает здесь в резкое противоречие с учением Будды.

Воздержанность, строгий вкус, умение довольствоваться малым вовсе не означает, что японцам присущ аскетизм. На них давит гяжное бремя моральных обязанностей. Их связывают по рукам и ногам путы бесчисленных правил поведения. Но наряду с жесткими ограничениями японский образ жизни сохраняет и лазейки, которые ведут к распушенности нравов.

Японская мораль лишь подчеркивает, что плотским наслаждениям должно отводиться в жизни подобающее, то есть второстепенное, место. Двойственность японской натуры проявляется в контрасте между суровым, бескомпромиссным подавлением личных порывов во имя долга — и поразительной терпимостью к человеческим слабостям, которые в устах японцев звучат как человеческие радости. Драматизм жизни для японцев в том и состоит, что физические удовольствия сами по себе не заслуживают осуждения, не составляют греха, но человек в определенных случаях вынужден сам отказываться от них ради чего-то более важного.

Излюбленный афоризм американцев о том, что людьми прежде всего движет стремление к счастью, представляется японцам аморальным. Счастье, на их взгляд, — это лишь приятный момент отдыха, как бы перекур на пашне, но никак не движущая сила и не цель жизни.

«Избегай излюбленных удовольствий, обращай к неприятным обязанностям» — эта строка, завершавшая когда-то сто законов Иеясу<sup>1</sup>, донныне живет как пословица. Сила воли, способность ради высшего долга отвернуться от наслаждений, которые вовсе не считаются злом, — вот что японцы почитают добродетелью.

В противоречивом сочетании требовательности и терпимости опять-таки явно проявляется идея подобающего места. Жизнь разграничена на круг обязанностей и круг удовольствий, на область главную и область второстепенную, в каждой из которых действуют свои мерки, свои нормы поведения.

При всем том, что японскому образу жизни присуще суровое подавление личных порывов, секс в этой стране никогда не осуждался ни религией, ни моралью. Японцы никогда не смотрели на секс как на некое социальное зло, никогда не видели в нем греха, не видели необходимости окружать его завесой тайны, скрывать от посторонних глаз как нечто предосудительное.

Японец как бы ограждает в своей жизни область, которая принадлежит семье и составляет круг его главных обязанностей, от развлечений на стороне — область тоже легальной, но второстепенной.

Жена японского служащего привыкла к тому, что, как правило, видит мужа лишь два-три вечера в неделю. Она безропотно терпит эти отлучки, и, даже когда супруг является далеко за полночь, обязана ожидать его готовой, если потребуется, подать ему ужин. Существует выражение: «Вернуться домой на тройке», весьма своеобразно введшее русское слово в японский обиход. Приведенная фраза означает, что пьяный глава семейства вваливается в дверь среди ночи, поддерживаемый под руки двумя девицами из кабаре. Жена обязана в таком случае пригласить спутниц в дом, угостить их чаем, освесомиться, рассчитался ли муж по всем счетам, и с благодарностью проводить их.

Не забавы мужа на стороне, а проявления ревности жены — вот что в глазах японцев выглядит аморальным. Терпимость к такого рода похождениям касается, впрочем, лишь женатых мужчин, но отнюдь не распространяется на замужних женщин. При этом необходимо подчеркнуть, что восточные традиции многоженства не имели широкого распространения в Японии. И хотя, по законам Иеясу, наложницы допускались как особая привилегия высшего сословия, вовсе запрещенная для простолодинов, мораль в целом смотрела на это отрицательно. С точки зрения японца, ввести любовницу в семью значило бы нарушить границы двух областей жизни, которые всегда должны быть изолированы друг от друга, нанести ущерб главному ради второстепенного — короче говоря, нарушить заповедь: «Все-му свое место».

Итак, японская мораль весьма снисходительна к человеческим слабостям. Считая их чем-то естественным, она отводит им хотя и второстепенное, но вполне узаконенное место в жизни. Это никак не вяжется с укоренившимся на Западе взглядом на дух и плоть как враждующие в человеке силы, первая из которых олицетворяет добро, а вторая — зло. Двойственность человеческой природы японцы толкуют по-иному. Они считают, что у всякой души есть как бы две стороны — мягкая и жесткая, подобно тому, как одна и та же рука может разить врага и ласкать ребенка. Нельзя ценить лишь душевную мягкость, порицая жесткость, или наоборот. К жизни надо всякий раз обращаться именно той стороной души, какой надлежит.

Поскольку японцы не видят в людской природе противоборства духа и плоти, им также не присуще смотреть на жизнь лишь как на столкновения добра и зла.

Западная цивилизация с детских сказок приучает людей к тому, что в конце концов всякое добро вознаграждается. Именно из-за отсутствия подобных концовок многие произведения японской литературы кажутся иностранцам незавершенными. Японцев же куда больше, чем формула «порок наказан, добродетель воз-

<sup>1</sup> Иеясу Токугава (1542—1616) — основатель третьей династии военных правителей Японии — сёгунов, которая находилась у власти с 1600 до 1867 года.

награждена», волнует в искусстве тема человека, который жертвует чем-то дорогим ради чего-то еще более важного. Поэтому излюбленный сюжет у них — столкновение долга признательности с долгом чести или верности государству с верностью семье. Счастливые концовки в таких случаях вовсе не обязательны, а трагические воспринимаются как светлые, ибо утверждают силу воли людей, которые выполняют свой долг любой ценой.

Когда после капитуляции американцы конфисковали японские фильмы военных лет, представители оккупационных властей с удивлением отмечали, что им никогда не доводилось видеть более явной антивоенной пропаганды. Эти картины редко заканчивались чествованием победителей. Упор в них делали не на парадной стороне войны, а на ее тяготах — изнурительности маршей, окопной грязи, слепом случае, от которого зависит солдатская жизнь в бою. Они куда чаще показывали семьи, только что получившие с фронта весть о гибели кормильца, чем выздоровление раненых воинов.

Это было полной противоположностью военным лентам Голливуда. Но именно фильмы, превозносившие меру солдатского самопожертвования, лучше всего служили тогда интересам милитаристской клики. Создатели их хорошо знали это.

Нечто подобное ощущаешь сейчас у телевизионного экрана. Порой кажется, что многосерийные бытовые драмы задуманы как протест против закостенелого семейного уклада, как призыв жить, повинаясь голосу сердца. Японцы же отнюдь не обязательно воспринимают эти фильмы именно так.

Вот типичный сюжет. Родители требуют, чтобы сын разошелся с невесткой, которая пришлась им не по вкусу. И сын вынужден сделать это, хотя любит свою жену. Сила его характера проявляется, на взгляд японцев, не в том, чтобы сопротивляться родительской воле, а в том, чтобы смириться с нею.

Итак, есть время, когда человек руководствуется обязанностями, когда над ним довлеют ограничения; и есть время, когда наступает черед удовольствий, когда можно сделать вираж в область послаблений. Но там, где эти две стороны жизни вступают в противоречие, выбор бывает лишь один: человек должен поступать не так, как ему хочется, а так, как в его положении надлежит.

Деление жизни на область ограничений и область послаблений, где действуют разные законы, объясняет присущую японцам склонность к «зигзагу». Народ этот на редкость непритязателен во всем, что касается повседневных, будничных нужд, но может быть безудержно расточительным, когда речь идет о каких-то праздниках или торжественных случаях.

Обычай осуждать сверхмерное потребление донныне отождествляется у японца с грехом. Но требование умеренности касается лишь будней. Быть скаредным, прижимистым, даже разумно расчетливым в таких случаях, как, например, свадьба или похороны, столь же аморально, сколь аморально быть невоздержанным в повседневном быту.

*Японцы употребляют крепкие напитки; многие из них, а особенно простой народ, даже любят их и часто, по праздникам, напиваются дотьяна; но со всем тем склонность к сему пороку не столь велика между ними, как между многими европейскими народами; быть пьяными днем почитается у них величайшим бесчестьем даже между простолюдинами; и потому пристрастные к вину напиваются вечером, после всех работ и занятий, и притом пьют понемногу, разговаривая между собою дружески, а не так, как у нас простой народ делает: «тянул вдруг, да и с ног долой». Из пороков сластолюбие, кажется, сильнее всех владычествует над японцами. Хотя они не могут иметь более одной законной жены, но вправе содержать любовниц, и сим правом все люди с достатком не упускают пользоваться, часто даже чрез меру.*

«Записки капитана Головина в плену японцев в 1811, 1812 и 1813 годах».

*Секс в Японии так же легко доступен, как в Соединенных Штатах получение шоферских прав. И наоборот.*

Джон Рандольф, «Афоризмы о Японии».

### КОРНИ ДВОЙСТВЕННОСТИ

Нам кажется естественным, что самое сильное дисциплинирующее воздействие на человека оказывают в детские и юные годы, а затем ему предоставляется все больше личной инициативы. Японец же именно в среднем возрасте меньше всего сам себе хозяин. Но, как ни странно, приучают его к этому подчеркнутой, даже чрезмерной свободой в ранние годы жизни.

Многих иностранцев поражает, что японские дети вроде бы никогда не плачут. Кое-кто даже относит это за счет знаменитой японской вежливости, проявляющейся чуть ли не с младенчества.

Причина тут, разумеется, иная. Малыш плачет, когда ему хочется пить или есть, когда он испытывает какие-то неудобства или оставлен без присмотра и, наконец, когда его к чему-то принуждают. Японская система воспитания стремится избежать всего этого.

Первые два года младенец как бы остается частью тела матери, которая целыми днями носит его привязанным за спиной, по ночам кладет его спать рядом с собой и дает ему грудь в любой момент, как только он этого пожелает.

Даже когда малыш начинает ходить, его почти не спускают с рук, не пытаются приучать его к какому-то распорядку, как-то ограничивать его порывы. От матери, бабушки, сестер, которые постоянно возятся с ним, он слышит лишь предостережения: «опасно», «грязно», «плохо». И эти три слова вспоминаются ему как нечто однозначное.

Короче говоря, детей в Японии, с нашей точки зрения, балуют неимоверно. Можно сказать, что им просто стараются не давать повода плакать. Им, особенно мальчикам, почти никогда ничего не запрещают. До школьных лет ребенок делает все, что ему заблагорассудится. Прямо-таки с молоком матери впитывает он уверенность, что его самолюбия не заденут даже родители.

Японцы умудряются совершенно не реагировать на плохое поведение детей, словно бы не замечая его. Пятилетний карапуз, которому наскучило дожидаться мать в парикмахерской, может раскрыть банки с кремами, вымазать ими зеркало или собственную физиономию, причем ни мастер, ни сидящие рядом женщины, ни даже мать не скажут ему ни единого слова.

В разгар международного конкурса исполнительниц партии Чю-Чю-Сан несколько таких малышей затеяли возню в проходе перед самой сценой, а потом, надувая щеки, принялись подражать певицам, — в переполненном зале никто даже глазом не повел.

Воспитание японского ребенка начинается с приема, который можно было бы назвать угрозой отчуждения. «Если ты будешь вести себя неподобающим образом, все станут над тобой смеяться, все отвернутся от тебя» — вот типичный пример родительских поучений.

Боязнь быть осмеянным, униженным, отлученным от родни или общины с ранних лет западает в душу японца. Поскольку образ его жизни почти не оставляет места для каких-то личных дел, скрытых от окружающих, и поскольку даже характер японского дома таков, что человек все время живет на глазах у других, — угроза отчуждения действует серьезно.

Школьные годы — это период, когда детская натура познает первые ограничения. В ребенке воспитывают осмотрительность: его приучают остерегаться положений, при которых он сам или кто-либо другой может «потерять лицо».

Ребенок начинает подавлять в себе порывы, которые прежде выражал свободно, не потому, что видит теперь в них некое зло, а потому, что они теперь становятся неподобающими. Однако полная свобода, которой японец пользуется в раннем детстве, оставляет неизгладимый след на его жизненной философии. Именно воспоминания о беззаботных днях детства, когда неведомо чувство стыда, и порождают японский взгляд на жизнь как на область ограничений и область послаблений, порождают необъяснимую на первый взгляд противоречивость японского характера. Поэтому-то японцы и снисходительны к «человеческим слабо-



стям», хотя проявляют столь суровую требовательность к себе при выполнении многочисленных моральных обязательств. Всякий раз, когда японец сворачивает с главной жизненной колеей в «область послаблений», свободную от жестких предписаний и норм, он как бы вновь возвращается к дням своего детства.

Античная цивилизация Запада совершенствовала человека, подавляя в нем животные инстинкты и возвеличивая духовное начало. Что же касается японцев, то они и в своей этике всегда следовали тому же принципу, что и в эстетике: сохранять первородную сущность материала. Японская мораль не ставит целью переделать человека заново, а стремится лишь обуздать его сеть правил подобного поведения.

Инстинктивные склонности и порывы остаются в неизменности, лишь связанные до поры до времени этой сетью. Отсюда — противоречивость и даже взрывчатость японской природы.

*Японцы — загадка нашего века, это самый непостижимый, самый парадоксальный из народов. Вместе с их внешним окружением они столь живописны, театральны и артистичны, что временами кажутся нацией позеров; весь их мир — как бы сцена, на которой они играют. Легкомысленный, поверхностный, фантастичный народ, думающий лишь о том, чтобы понравиться, произвести эффект. Здесь невозможны обобщения, ибо они столь различны и противоречивы, столь не похожи на все другие азиатские народы, что всякие аналогии отпадают. Это природы самые чуткие, живые, артистичные и в то же время самые невозмутимые, тупые, примитивные; самые рассудочные, глубокие, совестливые и самые непрактичные, поверхностные, безразличные; самые сдержанные, молчаливые, чопорные и самые эксцентричные, болтливые, игривые. В то время как история объявляет их агрессивными, жестокими, мстительными, опыт показывает их покладистыми, добрыми, мягкими. Те самые времена, когда складывалась изысканная утонченность чайной церемонии, видели ни с чем не сравнимую жестокость. Те самые люди, которые провели половину жизни в отрешенном созерцании, в сочинении стихов и в наслаждении искусством, посвятили другую половину разрубанию своих врагов на куски и любованию обрядом хакари.*

Элиза Скидмор, «Дни рикши в Японии» (Лондон, 1891).

*Одной из первых поразивших меня вещей было сходство Японии с Италией. Если китайцев можно сравнить с немцами, то японцы — это итальянцы Востока. Налицо тот же контраст педантичной расчетливости и безалаберности. Подобно итальянцам, японцы смешливы, легкомысленный народ, для которого жизнь стоит так мало, что смерти нечего страшиться. Они тоже — дети природы по своим манерам, но коварны, мстительны и хитры в сделках. Они тоже — прирожденные артисты, с присущей художественному темпераменту леностью. Их бедняки, если не считать одежды, чем-то напоминают итальянских.*

К. Р. Стрэттон, «Живописная Япония» (Нью-Йорк, 1910).

*Не касаясь того, что после войны между американцами и японцами существовали взаимоотношения победителей и побежденных, что всегда затрудняет взаимопонимание, есть много причин, по которым даже в наиболее благоприятных обстоятельствах японо-американское сближение имело бы мало шансов на успех. С одной стороны — перед нами Америка, страна пуританских традиций; прямых, практических людей, лишенных подлинного, постоянного интереса к искусству и духовным ценностям вообще; людей, всегда готовых разрубить гордиев узел. С другой стороны — перед нами Япония, чей народ является столь же языческим, как древние обитатели Средиземного моря; люди, которые всегда склонны рассуждать терминами настроения и повиноваться обстоятельствам, чрезвычайно сложный народ, полный древнего страха и новой амбиции; обостренно чуткий ко всем формам красоты, духовным ценностям и эмоциональным порывам; люди, которые, оказавшись перед гордиевым узлом, всегда предпочтут не разрубить его, но завязать вокруг него новый, более крупный, и таким образом скрыть его из вида, перед нами, по существу, два подхода к жизни, которые столь глубоко несхожи, что трудно даже представить себе более разительный контраст.*

Фоско Маранни, «Встреча с Японией» (Рим, 1959).

## КУЛЬТ ПОКЛОНОВ И ИЗВИНЕНИИ

Если сравнивать разные народы или разные эпохи по их приверженности к этикету, то меркой здесь может служить энергия, которую люди затрачивают на взаимные приветствия. На Западе, например, после средних веков показатель этот неуклонно уменьшается. Были времена, когда людям приходилось совершать при встрече чуть ли не целый ритуальный танец. Потом от церемоннейшего поклона с расшаркиванием остался лишь обычай обнажать голову, который в свою очередь свелся до условного прикосновения рукой к шляпе и наконец просто до кивка.

Не удивительно, что на подобном фоне учтивость современных японцев выглядит как экзотика. Легкий кивок, который остался в нашем быту единственным напоминанием о давно отживших поклонах, в Японии распространен так, словно он заменяет собой знаки препинания. Собеседники то и дело кивают друг другу, даже когда разговаривают по телефону, хотя видеозэкран еще только начинает входить в быт.

Уже говорилось, что, встретив знакомого, японец способен замереть, согнувшись пополам, даже посреди улицы. Но еще больше поражает приезжего поклон, которым его встречает хозяйка японского дома или гостиницы. Женщина опускается на колени, кладет руки на пол перед собой и затем прижимается к ним лбом, то есть буквально простирается ниц перед гостем.

Правила поведения в японском жилище слишком сложны, чтобы их можно было освоить сразу. Главное поначалу — ни на что не наступать, ни через что не перешагивать и садиться, где укажут. Существуют предписанные позы для сидения на татами. Самая церемонная из них — опустившись на колени, усесться на собственные пятки. В таком же положении совершаются поклоны. Надо лишь иметь в виду, что кланяться, сидя на подушке, которую обычно предлагают гостю, неучтиво — сначала надо переместиться на пол. Бывает, что в комнате беседуют десять человек. Но стоит появиться одиннадцатому, как все они, словно крабы с камней, тут же сползают с подушек.

Сидеть скрестив ноги считается у японцев развязной позой, а уж вытягивать их в сторону собеседника — верх неприличия. Поэтому провести в японской комнате несколько часов для иностранца с непривычки сущее мучение. У него тут же затекают ноги, начинает ломить поясницу, появляется желание привалиться к стене или лечь.

У порога гостя встречает лишь хозяйка, а обмен приветствиями с хозяином совершается уже в комнате, то есть после того, как посетитель снял обувь и уселся на татами в необходимой для поклонов позе. Хозяин помещается напротив и ведет беседу, хозяйка молчаливо выполняет роль служанки, а все остальные члены семьи в знак почтения вообще не показываются на глаза.

Многokrатно пытался я поселиться на несколько дней в японской семье, чтобы непосредственно вникнуть в ее быт. Но этикет всякий раз отгораживал меня от семейных будней, словно ширмой. Меня держали в почетном одиночестве, будто гостиничного постояльца. Хозяйка приносила на подносе завтрак, обед и ужин. Хозяин заходил по вечерам обменяться парой вежливых фраз и выпить саке. Но посадить меня за общий стол с детьми и домочадцами, сделать меня участником общих разговоров представлялось им совершенно недопустимыми нарушениями правил гостеприимства.

При всем обновлении форм жизни, домашний очаг японцев по-прежнему остается крепостью старого этикета. Не говоря уже о семейных торжествах, даже в будни рассадка за столом следует незыблемому порядку. Каждого, кто уходит из дома или возвращается, принято хором приветствовать возгласами: «Счастливого пути!» или «Добро пожаловать!».

Мне часто доводилось видеть в Токийском аэропорту, как японцы встречают родственников, возвращающихся из далеких зарубежных поездок. Когда муж сходит с самолета, жена приветствует его глубоким поклоном. Никакие объятия или поцелуи на людях немыслимы. Муж отвечает жене кивком, гладит по голове сына

или дочь и почтительнейше склоняется перед родителями, если те сообразовали его встречать.

Мы привыкли подчас больше следить за своим поведением среди посторонних, чем в кругу семьи или друзей. Человек, который дома преспокойно возьмет в руки кусок жареной курицы, часто постесняется сделать это в гостях или в ресторане. У японца же все обстоит наоборот: за домашним столом он ведет себя более церемонно, чем где-либо.

Японец преспокойно разделется до нижнего белья перед незнакомцами в поезде, но если кто-то из родственников придет к нему домой с визитом, он станет поспешно переодеваться, чтобы принять его в подобающем виде. Не важно, если делать это приходится в той же самой комнате: считается, что до официально обмена приветствиями ни хозяин, ни гость не видят друг друга.

Иностранца, пожалуй, в равной степени поражает как церемонность японцев в домашней обстановке, так и их бесцеремонность в общественных местах. Уже говорилось, что человек, который безукоризненно ведет себя с родственниками и друзьями, перевоплощается в собственную противоположность среди людей незнакомых.

Вслед за вежливостью рано или поздно раскрывает приезжему свою изнанку и японская чистоплотность. Слов нет, японцы поистине боготворят чистоту. Но всегда ли это качество проявляется в одинаковой мере?

Можно сказать, что японцы чистоплотны в том смысле, в каком это касается чистоты их плоти. Подобно тому, как учтивость японцев проявляется лишь в личных отношениях и не распространяется на область общественного поведения, опрятность их часто кончается за краем татами.

На иностранца, который разгуливает в шлепанцах по своей комнате в японской гостинице, смотрят с изумлением и ужасом, как мы глядели бы на человека, шагающего в галошах по постели. Однако там, где кончается татами, для японца начинается улица. Он просто не представляет себе, чтобы какое-то помещение, где не нужно разуваться, могло быть чистым. В кинотеатре, в вагоне, в конторе люди преспокойно швыряют на пол окурки, пустые бутылки, банановую кожуру, обертки от конфет и прочий мусор. Насколько опрятность присуща японскому жилищу, настолько неряшливой выглядит японская контора.

Важно понять, что изнанка японской учтивости и японской чистоплотности порождена все той же двойственностью взглядов на жизнь.

Японская вежливость — это отнюдь не верность определенным нравственным принципам уважения к окружающим. Это нормы подобающего поведения, выдрессированные в народе острием меча.

Если на Западе вежливость в значительной степени выросла на религиозной почве, отталкиваясь от понятия греха, то в Японии она сложилась на основе феодального этикета, нарушение которого считалось тягчайшим преступлением. Все было строго регламентировано: как ходить, что надевать, как кланяться. Черты этой древней дисциплины донныне видны в поведении японцев. Грациозность, с которой они садятся на циновки или встают, принимают или передают что-нибудь, — все это доведенные до рефлекс предписанные жесты учтивости.

Отношения по вертикали — между повелителем и подданным, между отцом и сыном, между старшим и младшим — были четко определены, и мельчайшие детали их общеизвестны. Однако японская мораль почти не касалась того, как должен вести себя человек по отношению к людям незнакомым, что на Западе по праву считается одной из основ подобающего поведения.

Японская вежливость — это, если можно так выразиться, вежливость не по горизонтали: человек — общество, а по вертикали. Она как бы предписание устава, который обязывает солдата отдавать честь офицеру, но вовсе не каждому встречному.

*В обхождении японцы всякого состояния чрезвычайно учтивы: вежливость, с какою они обращаются между собою, показывает истинное просвещение сего народа. Мы*

*жили с японцами, которые были не из лучшего состояния, но никогда не видали, чтоб они бранились или ссорились между собой. Горячо спорить почитается у японцев за великую неблагопристойность и грубость; мнения свои они всегда предлагают учтивым образом со многими извинениями и с знаками недоверчивости к своим собственным суждениям, а возражений никогда ни на что открыто не делают, но всегда обиняками и по большей части примерами и сравнениями.*

«Записки капитана Головнина в плену у японцев в 1811. 1812 и 1813 годах».

*Наш этикет начинается с изучения того, как предлагать человеку веер, и заканчивается правильными жестами для совершения самоубийства.*

Какудзо Окакура, «Книга о чае» (Токно, 1906).

*Японцы вовсе не ожидают от иностранца, что он будет вести себя в соответствии с их правилами. Однако даже предоставленный самому себе, он скоро почувствует, что ослепительная улыбка, атлетическое рукопожатие или проникновенный голос, которые делали его неотразимым дома, в Японии отнюдь не приносят ему лавров. Что станет он делать, когда, придя с визитом в японский дом, он увидит перед собой прекрасную одетую женщину, распростершуюся у его ног? Поскольку ее коленопреклоненная поза не позволяет ей смотреть вверх, улыбка гостя остается незамеченной. Ладони японки касаются пола, так что его протянутую руку никто не пожимает. Как же должен иностранец, спрашивает он себя, поступать в такой ситуации? Должен ли он принять этот чрезвычайный знак почтения? А если да, то как? Ведь не тем, чтобы наступить ногой на ее шею! Должен ли он отвергнуть это архаическое приветствие, встать на колени и нежно поднять женщину с пола? А если да, то что сделать потом: наделять ли ее своими приветствиями, улыбкой и рукопожатием — во всяком случае ясно, что при первом же столкновении с японским этикетом его неуклюжесть была очевидной. А что делает положение особенно нестерпимым, так это отсутствие ответа на загадку: кто эта женщина — служанка или хозяйка дома?*

Бернард Рудофски, «Мир кимоно».

## ПОЧЕМУ МОЛЧАНИЕ КРАСНОРЕЧИВЕЕ СЛОВ

Помните детскую игру: «да» и «нет» не говорите, черного и белого не покупайте? Прежде чем ехать в Японию, весьма полезно потренироваться в ней.

Казалось бы, знакомство с любым языком начинается со слов «да» и «нет» как самых простых и ходовых.

Оказывается, однако, освоить слова «да» и «нет» в японском языке отнюдь не такое легкое дело. Слово «да» наверно тем, что вовсе не всегда означает «да». А слова «нет» надо остерегаться еще больше, потому что его положено обходить стороной, как в упомянутой выше игре.

Узнать и запомнить первое из этих двух ключевых слов легче всего. Достаточно хоть раз оказаться рядом с японцем, который разговаривает по телефону: непрерывно кивая головой невидимому собеседнику на другом конце провода, он без конца твердит: «хай». «хай», «хай».

Если вы спросите, что значит это слово, всякий ответит: «хай» по-японски — «да». Однако со временем вы убедитесь, что считать всякое «хай», сказанное японцем, за утверждение, то есть за слово «да», — значит проявлять непростительный оптимизм.

К примеру, вы остановились в японской гостинице. И наутро вместо традиционного японского завтрака — сушеных водорослей, риса и супа из перебродившей бобовой пасты с мелкими раковинами — вы попросили сварить вам пару яиц.

На все это вам ответили «хай» и утром действительно принесли яйца, хлеб и термос с кипятком. А поскольку баночка с растворимым кофе лежит у вас в чемодане, вы предвкушаете завтрак по-домашнему.

Но тут оказывается, что яйца нечем посолить. Вы просите по телефону принести вам соли, на что снизу бодро отвечают: «Хай».

Проходит пять, десять, двадцать минут, полчаса... Вы давно позавтракали, спускаетесь вниз, чтобы расплатиться. И только тут выясняется, что соль не появилась, ибо ее вовсе не было, да и не могло быть в японской гостинице (вместо того, чтобы солить кушанья, японцы добавляют к ним по вкусу соевый соус).

Никто не хотел «терять лицо», объясняя иностранцу такие сложности. А когда вам говорили «хай», имелось в виду совсем другое.

Слово это гораздо чаще, чем «да», означает: «слышу, понял». Пожалуй, ближе всего ему соответствует у нас флотское «есть», происшедшее от английского слова «йес». Японец, который на каждую фразу откликается словом «хай», отнюдь не всегда выражает согласие с вашими словами, а просто говорит: так, так, продолжайте, я вас слышу.

Еще больше сложностей таит в себе слово «нет». Начать с бесчисленных казусов, которые происходят на чисто грамматической почве, потому что двойное отрицание, весьма обиходное в русском языке, совершенно невозможно в японском.

Вы возвращаетесь домой и спрашиваете переводчика:

— Мне никто не звонил?

— Да, — отвечает он.

— Кто же?

— Никто.

В разговорах люди всячески избегают слов «нет», «не могу», «не знаю», словно это какие-то ругательства, нечто такое, что никак нельзя высказать прямо, а только иносказательно, обиняком. Даже отказываясь от второй чашки чая, гость вместо «нет, спасибо» употребляет выражение, дословно означающее «мне уже и так прекрасно».

Если токийский знакомый говорит: «Прежде чем ответить на ваше предложение, я должен посоветоваться с женой», не нужно думать, что перед вами поборник женского равноправия. Это лишь один из множества способов не произносить слова «нет».

К примеру, вы звоните японцу и говорите, что хотели бы встретиться с ним в шесть вечера в пресс-клубе. Если он в ответ начнет переспрашивать: «Ах, в шесть? Ах, в пресс-клубе?» — и произносить какие-то ничего не значащие звуки, вы должны тут же сказать: «Впрочем, если вам это неудобно, можно побеседовать в другое время и в другом месте».

И вот тут собеседник вместо «нет» с превеликой радостью скажет «да» и ухватится за первое же предложение, которое ему подходит.

Вежливость японцев, подобно смиренной рубашке, стесняет словесное общение между людьми. Если не считать хайку — пожалуй, самой сжатой и емкой поэтической формы в мире, — японцы отнюдь не кратки в выражении своих мыслей. Там, где вполне можно обойтись одним словом, они обрушивают на собеседника целые каскады ничего не значащих фраз. Каждое предложение нарезается на тоненькие ломтики и сдабривается огромным количеством приправы из вводных вежливых оборотов.

Смысл фраз преднамеренно затуманивается оговорками, в которых заложены неопределенность, сомнение в правоте сказанного, готовность согласиться с возражениями. Японцев из поколения в поколение приучали говорить обиняками, чтобы уклоняться от открытого столкновения мнений, избегать прямых утверждений, способных задеть чье-либо самолюбие.

Сами японцы подметили, что иностранцы, овладевшие их языком, способны выражать на нем свои мысли куда более стройно и точно, так как над ними не тяготеет обычай изъясняться только обиняками. Нечто подобное ощущают и японцы, в совершенстве изучившие зарубежные языки. Один из выпускников Университета дружбы народов в Москве признавался мне после возвращения в Токио, что многие вещи ему легче высказать по-русски, чем по-японски.

Японский этикет считает невежливым перелagать бремя собственных забот на собеседника или высказывать избыток радости, тогда как другой человек может

быть в данный момент чем-нибудь расстроен. Быть учтивым — значит не только скрывать свое душевное состояние, но порой даже выражать прямо противоположные чувства.

Если фраза: «У меня серьезно заболела жена» — японец произносит с улыбкой, дело тут не в каких-то загадках восточной души. Он просто хочет подчеркнуть, что его личные горести не должны беспокоить окружающих. Обуздывать, подавлять свои эмоции ради учтивости японцы считают логичным. Но именно эта черта чаще всего навлекает на них обвинение в коварстве.

В Токио мне часто приходилось слышать, как то иностранные, то японские коммерсанты сетовали на недостаток искренности друг у друга, однако каждый по-своему. Если обычно под этим словом понимается честность и прямота, отсутствие притворства или обмана, то для японца быть искренним значит всей душой стремиться к тому, чтобы никто из партнеров не «потерял лица». Это, стало быть, не столько правдивость, сколько осмотрительность и тактичность.

Японцы сами признают, что им трудно общаться друг с другом из-за правил поведения и жестких норм «подобающего места». Не случайно в деловом и политическом мире Японии принято решать наиболее сложные вопросы не на заседаниях, а за выпивкой, когда опьянение позволяет людям на время сбрасывать с себя эти путы.

Возможно, добровольный отказ японцев от откровенной беседы привел к тому, что у них, словно осязание у слепых, очень развита интуиция. На Западе много писали о загадочной улыбке японцев, об их искусстве скрывать свои мысли. Надо, однако, отметить и другое. Часто поражаешься, как, обменявшись с иностранцем лишь несколькими неуклюжими фразами, японец чутко улавливает настроение собеседника, его невысказанные мысли. В условиях, когда язык как средство общения оказался скован этикетом, японцы преуспели в умении понимать друг друга без слов.

*Эти дни — очень странные дни. Японцы, даже мои друзья, не говорят — нет, этого не допускают их традиции,— и когда надо сказать нет, они не понимают и не слышат меня.*

Борис Пильняк, «Корни японского солнца» (М. 1927).

*На Западе люди либо говорят вам правду, либо лгут, японцы же почти никогда не лгут, однако им никогда не придет в голову говорить вам правду.*

Боб Данхэм, «Искусство быть японцем» (Токио, 1964).

*Японцы довели свой язык до уровня абстрактного искусства. Им не нравятся поэтому дотошные иностранцы, которые добиваются от них разъяснений и уточнений, хотя докопаться до сути дела, пока не вскроют его до конца. Японец же считает, что не беда, если мысли не высказаны или если слова не переведены. Нюансы этикета для него куда важнее тонкостей синтаксиса или грамматики. Вежливость речи ценится выше ее доходчивости. И не удивительно, что высшим средством общения становится, таким образом, молчание.*

Бернард Рудофски, «Мир кимоно».

## В ТЕНИ ПОД НАВЕСОМ

Японский дом — настолько самобытное сооружение, что трудно сказать, кто на кого повлиял: то ли обитатель этого жилища выразил через него свою жизненную философию, то ли, наоборот, японский дом сформировал своеобразные привычки тех, кто в нем живет.

— Строя себе жилище,— говорят японцы,— мы прежде всего раскрываем зонт в виде кровли, чтобы на землю упала тень, а потом поселяемся в этой тени...

Действительно, японский дом — это навес, причем навес над пустым пространством. В жаркий день может показаться, что человек в такой комнате просто уселся посреди своего сада на небольшом затененном возвышении.

Японский дом — это прежде всего крыша, опирающаяся на каркас из деревянных стропил и опор; это кровля, возведенная над пустотой. Здесь нет ни окон, ни дверей в нашем понимании: в каждой комнате три стены из четырех можно в любой момент раздвинуть, можно и вовсе снять.

Когда такие легко вынимающиеся из пазов раздвижные створки служат наружными стенами, то есть выполняют роль окон, они оклеиваются белой рисовой бумагой, похожей на папиросную, и называются седзи. Те раздвижные створки, что делают собой внутренние помещения и одновременно служат дверьми, оклеиваются плотной раскрашенной бумагой и именуются фусума.

Мало, однако, сказать, что стены японского дома способны раскрываться, превращая его в подобие беседки. Это действительно навес над пустотой, потому что такие раздвижные створки ограждают одно лишь пустое пространство.

Когда впервые видишь внутренность японского жилища, больше всего поражаешься полному отсутствию какой бы то ни было мебели. Здесь нет ни диванов, ни кресел, ~~як~~ стульев, ни столов, ни буфетов с посудой, ни шкафов с одеждой, ни книжных полок, нет даже кроватей.

Вы видите лишь обнаженное дерево опорных столбов и стропил, потолок из выструганных досок, решетчатые переплеты седзи, рисовая бумага которых мягко рассеивает пробивающийся снаружи свет. Под разутой ногой слегка пружинят татами — жесткие, пальца в три толщиной маты из простеганных соломенных циновок. Пол, составленный из этих золотистых прямоугольников, совершенно пуст. Пусты и стены. Нигде никаких украшений, за исключением токонома — ниши, где висит свиток с каким-нибудь изображением — какэмоно, — а под ним поставлена ваза с цветами.

Поначалу рождается вопрос: что это — декорация для самурайского фильма, воссоздающая атмосферу средневековья, или сверхсовременный интерьер?

Начиная от презрительных отзывов миссионеров в XVI веке и кончая восторгами многих архитекторов Запада в наши дни, японский дом всегда вызывал самые противоположные толки. Одни считали его наиболее целесообразным, другие — наиболее далеким от здравого смысла видом человеческого жилья.

Бесспорно одно: традиционный японский дом во многом предвосхитил новинки современной архитектуры. Каркасная основа, раздвижные стены лишь совсем недавно получили признание наших строителей, в то время как съёмные перегородки и заменяемые полы пока еще удел будущего.

За четыре столетия до того, как Корбюзье впервые заговорил о минимальной мере пространства, необходимого для жизни человека, такая мера уже прочно вошла в обиход строителей японских жилищ. Татами есть не что иное, как наименьшая площадь, на которой взрослый человек может сидеть, работать, отдыхать, спать. А поскольку маты эти имеют раз и навсегда установленный размер — немногим более полутора квадратных метров, — комнаты в японских домах также бывают лишь определенной площади: три, четыре с половиной, шесть или восемь татами.

Стало быть, и весь каркас здания — стропила, опорные столбы, балки — должен принаравливаться к этим установившимся традиционным габаритам. Задолго до того, как мы начали думать о стандартизации строительных деталей, она уже существовала у японцев.

Разумеется, как конструктивные особенности японского дома, так и традиционная стандартизация его составных частей порождены и постоянной угрозой землетрясений. Хотя деревянный каркас ходит ходуном при подземных толчках, он, как правило, оказывается даже более стойким, чем кирпичные стены. А уж если крыша все-таки обрушилась, дом можно без особого труда и затрат собрать заново, заменив лишь поврежденные балки. Всегда поражаешься скорости, с которой японцы восстанавливают свои жилища, разрушенные стихийным бедствием.

А вот квартал современных многоэтажных жилых домов, которыми так гордился муниципалитет города Ниигата, надолго остался памятником землетрясения 1964 года. Многоэтажные корпуса не обрушились, нет, — их железобетонный кар-

нас оказался достаточно прочным. Как деревья, с корнем вырванные бурей, они завалились набор вместе с фундаментами. Я видел людей, которые ходили по стенам этих домов и, словно из трюмов, вынимали из окон свою домашнюю утварь.

На особенностях японского дома сказалась натура его обитателей. Раздвижные стены отражают стремление слиться с природой, вместо того чтобы отгораживаться от нее. Первородная красота некрашеного дерева, рисовой бумаги, соломенных матов, а также сама сезонность этих материалов (седзи полагается заново оклеивать каждый год, а тамами менять раз в два года) также напоминают о близости к природе.

Не только домашний быт, но и прикладное искусство японцев связано с татами. Все внутреннее убранство японского жилища складывалось так, чтобы соответствовать цвету и текстуре этих соломенных матов. Именно жизнь на татами привела к миниатюризации изобразительного искусства, так как японец привык любоваться картиной или вазой, сидя на полу.

Европейская мебель со своими башенными формами нарушила этот привычный эстетический горизонт. Взять хотя бы стул. Случайно ли, что японцы в свое время не включили его в число своих заимствований из Китая? Лишь тысячу лет спустя они приняли его вместе с волной европейской цивилизации, да и то не как домашнюю мебель, а как оборудование для школьных классов и контор. Даже правители Японии издревле предпочитали обходиться без тронов, восседая на подушках, положенных на те же татами.

Что же касается кроватей, то их первыми покупателями в Японии были владельцы борделей. До сих пор кровать чаще всего служит японцу лишь во время его свадебного путешествия, когда он останавливается в туристских отелях, а в дальнейшем — во время любовных походов вне семейного очага, потому что дешевые гостиницы, сдающие комнаты на два часа с платой вперед, также обставлены в Японии кроватями.

Обзавестись кроватью — значит использовать целую комнату лишь под спальню, что абсолютно неприемлемо для большинства японских семей. Но даже богатые люди, которым по карману выстроить себе особняк, все-таки оборудуют спальню в виде традиционных комнат с татами и спят так же, как и их деды.

Татами — это как бы основа японского образа жизни. Едва коснувшись этой золотистой циновки, едва вдохнув ее своеобразный запах, люди инстинктивно переплощаются. Позы, жесты, слова — все это как бы само собой наполняется духом традиционной Японии.

*Я смотрю направо и налево. И я вижу — удивительнейшее, до сих пор неизвестное мною. Я вижу, как японцы освободились от вещей, освободились от зависимости перед вещью. Народ создал свою архитектуру, которая определена бытом неостывшей земли, грибообразные дома без единого гвоздя и с бамбуковыми стенами, когда японский домик строится в два дня и в японском домике нет ни одной лишней вещи, вообще нет вещей в европейском понятии вещь: ни стула, ни шкафа, ни кровати — одно хибати, будда, пара какэмоно: весь свой скарб японец может снести на плечах.*

Борис Пильняк, «Корни японского солнца».

*Позади седзи, которые даже сегодня неохотно раздвигаются, чтобы допустить туда иностранца, лежит одна из святынь подлинно японской жизни. Там мы оказываемся в самобытнейшем окружении, которое состоит не только из труганого дерева, соломенных матов и бумажных перегородок, но и включает вдобавок некое невидимое сочетание из привычек, чувств и мыслей.*

Робер Гиллен, «Япония» (Париж, 1961).

(Окончание следует)





---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИННА СОЛОВЬЕВА

★

## ЗАМЕТКИ О СТИЛЕ ВС. ИВАНОВА

(К 75-летию со дня рождения писателя)

**И**ЗДАВНО выпущенный в свет двухтомник Всеволода Иванова<sup>1</sup> дает возможность достаточно многообразных читательских размышлений.

Он позволяет размышлять о «незнакомом Всеволоде Иванове», произведения которого оказываются в неожиданной и существенной связи с творчеством признанного мастера. В двухтомнике впервые после журнальных публикаций двадцать восьмого и двадцать девятого годов печатаются «Особняк», «Барабанщики и фокусник Матцуками»; в двухтомнике печатается проза, увидевшая свет лишь после смерти автора — «Вулкан», «Агасфер»; в двухтомнике, наконец, печатается «Бронепоезд 14-69», который тоже может оказаться для молодого читателя некоторой новостью: ведь, к примеру, в недавнем восьмитомном собрании сочинений Вс. Иванова помещен лишь поздний и весьма разнящийся от начального текста вариант. Быть может, этот вариант имеет самостоятельную цену, но, бесспорно, меньшую, чем повесть — первенец советской литературы.

Стоило бы, наверное, хоть раз дать факсимильно точное переиздание и «Партизан», какими их выпустило в двадцать первом году на скудной, недолговечной бумаге издательство «Космист», и «Бронепоезда» — из журнальной книжки «Красной нови», где он появился рядом со статьей Ленина о

продналоге и с впервые переведенными Гомеровыми «Гимнами Афродите», в соседстве с отчетностью о недосеве, с репортажем о Кронштадтском мятеже, с корреспонденцией крымского врача о детской смертности в голодовку, со всей этой документацией, поражающей правдивостью, которую не только позволяла — вменяла себе в обязанность разоренная страна революции. Многое откроется в писателе, если прочтешь его именно так.

Отчетность о севе, смерти, мятеже — и гимны, легенды; между ними, кажется, размещаются постоянные координаты прозы Всеволода Иванова.

Один из поворотов размышлений, которые позволяет новый двухтомник, — размышления о фантастическом у Всеволода Иванова; фантаст и творец мифов по своей природе, он напрасно пытался сводить фантастику к жанру и пробовал в поздние свои годы писать фантастические повести, как «Агасфер», легенды, как «Сокол», терпя художественные потери.

Всеволод Иванов — это нелегкая судьба; это диковинность и сложнейшая корневая система дарования; среди многих возможностей размышления, которые предоставляет новый двухтомник, есть возможность поразмыслить и об этом.

«Избранное» открывается «Похождениями факира» (в первой, авторской редакции 1934 года). В них — жизнь и корни дарования писателя, какими они представлялись ему самому.

Заглавие «Факира» усердно стилизовано наподобие заглавия старинного романа,

---

<sup>1</sup> Всеволод Иванов. Избранные произведения в двух томах. «Художественная литература». Составитель и автор вступительной статьи Е. Краснощечкова. М. 1968. т. I, 487 стр.; т. II, 630 стр.

персидского где-нибудь в глухомани пришедшим в отчаяние книгоиздателем, который решил приложить к повествованию все, что так или иначе может прельстить воображение провинциала и заставить его потратить пятиалтынный. На титульном листе значится:

**«ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ**  
**замечательных походов, ошибок,**  
**столкновений, дум,**  
**изобретений знаменитого факира и дервиша**  
**БЕН-АЛИ-БЕЯ,**  
**правдиво описанных им самим в пяти**  
**частях со включением очерков:**

о его «Соломенной собаке»; о поисках Волшебной библиотеки и восхитительной Индии; о его странствиях по Сибири и Уралу, о фауне и флоре виденных им местностей; о встречах и беседах с офицерами и солдатами времен империалистической войны; о Красной гвардии; об изучении им ремесел; о сочиненных им драмах; о стихах, написанных по разным поводам; о сборе им полезных сведений, общих и частных, во всех отраслях хозяйства, как-то: земледелии, огородничестве, садоводстве, лесоводстве, скотоводстве, птицеводстве, звериной, птичьей и рыбной ловле, в поваренном и кондитерском искусстве, в лечении обыкновенных болезней домашними средствами, во всем, что входит в круг хозяйственных занятий и может способствовать приумножению достатка; с присовокуплением, где нужно, изъяснений из естествознания, физики, химии, страстей и увеселений, производимых цифрами, картами, зверьми, а также пословиц, анекдотов, суеверий, например: «Судьба треножника Пифии, жрицы оракула Дельфийского, сопровождаемая краткой мифологией и каталогом листков персидской сивиллы Самбетты» и т. д. и т. п.

1895—1918 гг.»

Эта книга, с ее нарочито вычужденным заглавием,— откровенная книга о себе.

Весной 1933 года Вс. Иванов писал Горькому, что заканчивает «громоздкий том листов на 30-ть — нечто о своем детстве и юности... Очень хочется сказать о себе правду».

В «Похождениях факира» запечатлен тот самый мир, который представляешь себе, когда разыскиваешь в старых газетах юно-

шеские рассказы и корреспонденции Всеволода Иванова, тот самый пейзаж, где бесконечность степи (три года скачи — никуда не доскачешь) открывается из окон окраинного мещанского дома: «...Клокотал самовар. За крошечными окнами блистала широкая степная тишина. Каменные бабы торчали возле солончаковых озер. У тракта, по которому мчались лихие усатые почталыоны, беркуты рвали труп сдохшей лошади. Озера похожи на бельма, вокруг них камыши, за камышами — лога» (в последней фразе сведены два названия новелл Вс. Иванова: есть рассказ «Лога», есть рассказ «Камыши», они оба включены в двухтомник).

Здесь возникает «заштатный город Кольвань»:

«Широкие улицы заросли нетронутой лесной травой. Дома заколочены, церкви заколочены, тротуары сгнили.

Мы проезжаем весь город и, словно в сказке, не встречаем ни одного человека. Мы едем по высокой траве через громадную площадь. Собор тоже покрыт травой, окна выбиты. В трехцветной будке спит стражник, и спит каким-то неестественно громким сном.

Тепло, но я весь дрожу. Мне кажется, что дома смотрят подозрительно, и вот-вот сами собой откроются ворота, и телегу затянет в пустынный двор. Мы заснем и окаменеем навеки!»

Здесь возникает череда интерьеров: таниственные запахи спальни, невиданно широкая кровать, невиданно огромна раскрашенная красавица, лежащая в жару под атласным одеялом.. В жаркий полдень пышет самовар, протяжно течет в блюдечко варенье, колышутся тела над сладким столом, красавица ест торт...

К этим натюрмортам изобилия, к этим жарким и сонным пейзажам, к этим алым, лазоревым, телесно-розовым картинкам с красавицами присоединяются иные. На сельской ярмарке, под свист глиняных петушков, под веселый скрип мороза, среди сугробов, убивают конокрада: «Его кинули умирать у забора. Он лежал с пятнистым, сизо-багровым лицом, кудри у него не развились, плюсовые шаровары и желтая рубаха с туго застегнутым воротом были опрятны. Мальчишка долго стоял, смотря, как корчится цыган, хватая ртом снег и как на щеке его прыгает выбитый глаз».

Здесь — родословная Всеволода Иванова, здесь дом его, здесь чаевничает и пьянствует вся ивановская родня, населяя мир вокруг себя тяжеловесными и яркими мифами: «...поп Андрей приходится ближайшим родственником Ермаку и графу Демидову Сан-Донато. Крестный мой участвовал в штурме Варшавы, взял в плен моего деда и весь полк, которым тот командовал. А поселок Лебяжий раньше, несомненно, был столицей городом! А в Иртыше, по ту сторону, на отмелях можно найти неисчислимые сокровища турецких богдыханов».

Здесь, наконец, первейший среди этих степных пропойц и сновидцев — отец Всеволода, Вячеслав Алексеевич, учитель Иванов с неуместными его талантами, с его именной саблей за джигитовку, с его уроками чистописания под балалайку, с пешими его странствиями и с осмотром Иерусалима по пути из Волчихи в Москву, с его знанием шести восточных языков, с лирикой его коммерческих планов и деловитым намерением обольстить голубоглазую учительницу из той же беспросветной Волчихи: «Ножную швейную видала?.. так закручу, что она мне машинку отпишет, а сама от несчастной любви повесится...»

Здесь есть факты и последовательность автобиографии: Лебяжье, Волчиха, Павлодар... Лавки, церкви, чайные, провинциальные типографии... Мерзлые комнаты сельскохозяйственного училища, где Всеволод проучился один год; торговый филиал лыкошинского «дела», обосновавшийся в лесу, где приказчики лениво приобщали паренька к воровскому искусству; бессмысленная кровь драк...

Здесь есть скрип телег на трактах, парады бродячих цирковых трупп, самодельные чудеса факира, его хождения в Индию...

Еще в 1922 году Вс. Иванов написал цикл «Рассказов о себе». Рассказ «Отец и мать», где возникают дни бегства от белочехов, смерть отца, застреленного случайно и страшно («рыхлая мясистая кровь» и сизые мухи, спешащие к еще подергивающемуся лицу), где возникает буквально преследующий Иванова образ — как у человека заживо выматывают кишки, — рассказ этот заканчивается: «Нет горя большего, как говорить о себе... И нет большей радости...»

Константин Федин вспоминал спешку работы Вс. Иванова по его приезду в Петро-

град — спешку работы, словно спасавшей человека от преследующей физической памяти, от ее воспаленной яркости. Так были написаны и «Отец и мать», и «Встреча», и «Лощина Кара-Сор», и «Как создаются курганы». Способом освобождения от себя, от «горя говорить о себе» становилась возможность говорить о себе как о персонаже, как об объекте художественного произведения.

Автобиографичность прозы Вс. Иванова — способ «вытеснения» реальной своей биографии. Писателю кровно нужна «полоса отчуждения» между собой и персонажем, носящим его имя, переживающим его жизненную авантюру. Не оттого ли книгу, которую по-заведенному назвать бы «Детство», «Отрочество», «Юность», он снабжает заглавием, похожим на заглавие лубочного издания, отделяясь от себя еще и этим способом...

В старых номерах газеты «Пришимье», где еще до революции сотрудничал Вс. Иванов, мы отыщем заметку, чем-то помогающую понять «Похождения факира». Вс. Савицкий сообщает из Кургана: «Одним из кружков любителей драматического искусства намечена к постановке новая пьеса одного из молодых сибирских драматургов — «Черная занавесь»... Тут же — о выступлении куплетиста Вс. Таежного. То, что Вс. Савицкий и Вс. Таежный — псевдонимы одного и того же Всеволода Иванова, читатель, надо полагать, догадался. Добавим, что автором «Черной занавеси», драмы про любовь прекрасной графини Эрты к юному вожде ткачей Рудольфу и про злодейство старого ревнивца-графа, который дьявольски хохочет, сделав Эрту невольной убийцей ее возлюбленного, — добавим, что этим «одним из молодых сибирских драматургов» был опять же Всеволод Иванов... Тут есть наивная беззащитность провинциала, дважды пользующегося скромной газетной площадью, чтобы прорекламировать самого себя. Но тут есть и иной оттенок — оттенок «переодевания», лицедейства, существования в ином обличье, не тождественном скучному паспортному естеству. Так, герой «Похождений факира» наборщик Иванов называет себя индийским принцем в пламенном письме к Ирме Шмидт, девушке, именно этим нерусским, необычным именем пленившей осужденного на Павлодар юношу.

Это побег от себя, попытка прожить инкогнито в раз и навсегда знакомом мире, обмануть его однообразие передеванием, его неподвижность — своим бродяжническим.

В «Похождениях факира» мотив бегства постоянно дублирован мотивом подмены, подлога; само бегство оказывается обреченным хождением по кругу — герой все возвращается и возвращается в тот же Павлодар, в тот же Екатеринбург, в тот же Петропавловск, и сама смена городов выглядит лишь их взаимной подменой.

Мотив ухода, отплытия возникал в «Похождениях факира» с самого начала, противозвучал голосам громкой и злобной Волчихи. Мы уже сказали, как в монтажном стыке с картиной яркой ярмарки шла картина избения конокрада. Ни в одну из такого рода сцен герой не врывается, чтобы попробовать отбить истязуемого, не кричит даже, не бьется в удерживающих его руках. Но вслед за описанием убийства цыгана на ярмарке идут страницы мечтательного, чудаковатого детского дневника Всеволода, в котором он, под точными календарными датами, записывал совсем не то, что в эти дни на самом деле случилось с ним, а нечто «легкое и розовое»:

«Море тихое, 45 градусов восточной долготы и 56 западной. Острова. Люди тихие. Ветра нет. Бурана нет. Конокрадов нет»...

«Погода хорошая. Острова. Был дождь, но не сильный. Шесть градусов по Реомюру. Острова. Индия! Проехали дальше. Погода средняя, тучи, но тепло. Опять Индия! Опять проехали дальше».

Море мечтательства становится все тише, все тише, движение сменяется колыханием, море видится мальчику «молочно-белым, все в огромных застывших валах». Образ этого застывшего, недвижимого моря будет повторен: на морозной террасе сельскохозяйственного училища ученик Иванов мечтает над книгами о путешествиях: «Терраса похожа на пароход, особенно два деревянных столба, они совсем как мачты... снега, заполняющие площадь громадными валами (сюда мещане свозили навоз), очень похожи на Ледовитый океан... Смотришь и думаешь — сейчас кончатся снега, попадешь в теплое течение и корабль понесется к запашистым островам». Аромат этих дальних мечтательных островов в строке встречается с упоминанием о навозе и о мещане-

нах; мечта тут не уводит от насыпанных обывателями груд, а только лирически и фантастически маскирует их. «Я не понимал, чем Павлодар уныл, мне казалось, в нем могло сбыться все...»

Неподвижное море мечтательства обтекает неподвижную сушу действительности: «По краям темно-желтая, покрытая светло-фиолетовым небом, равнодушной степью окружала нас. Она ровна до неправдоподобия».

Ровность, доходящая до неправдоподобия... Образ этот существен для «Похождения факира». Существен здесь и другой образ: все вокруг героя движется, но словно бы не сдвигается с места, вращается вокруг неподвижной оси.

Круги повторяются, ширясь, — они начинаются со скрипа колеса печатной машины в провинциальной типографии пани Марины, с усилия и монотонности его верчения, с вечернего церемониала гулянья взад-вперед на яру над Иртышом... Во второй части «Факира» «Сиволот» бежит из Павлодара на пароходе; в Омске, на который возлагается столько упований, безбилетнику не удастся сойти на берег, пароход грозит уйти обратно — рейс из Павлодара в Павлодар... Беглец решает сойти на берег по канату, как переходят через пропасти отважные путешественники из романов. «Пар клубился внизу. Канат колебался. Ноги мои скользили. Тело мое беспомощно качалось». Беглец падает на обетованную пристань, ползет по ней, схваченный головокружением. Он в Омске. Но Омск равен Павлодару, уныл и буро-желт.

Беглец приходит по подсказанному ему адресу в церковную сторожку: на хозяйина возлагались какие-то надежды, оказалось, напрасные; хозяин кружит по комнатенке, хозяин состоит весь «из каких-то трудно описуемых кругов. У него большой круглый рот, круглые глаза, большие, дымчатые и недоумевающие. От его непрерывного хождения правильными кругами громадная площадь, которую я вижу в окно, кажется мне, тоже кружится вокруг церкви, а дымчатые деревянные тротуары кружатся вокруг площади».

Бегство отсюда — мнимо.

Мнимы люди: под видом аптекарских учениц набирают девок для публичных домов; канатоходец Антуанетта Сирбо практикует как юрист и мастерски клязуничает.

Клоун оказывается толстовцем. В роскошном ресторане Челпанова со звоном пропивают украденную монастырскую казну игумен и монашка; кутилам, сбросившим клубки, прислуживают лакеи, — и на этот раз опять переодевание, потому что ливреи носят инженеры, пошедшие сюда из-за безработицы.

Мнимы вещи: фрак и шиты из сермяги, драгоценный изумруд, который миллионерша дарит Всеволоду в знак любви, — паршивая стекляшка, звякают бутафорские ордена и медали.

Тщеславие, о котором еще на первых страницах «Факира» рассуждают сын и отец Ивановы, взаимно судя друг друга за него, — тоже вид поллога, когда человек выдумывает себе себя, тем от себя спасаясь. Тщеславие побуждает хилого Вячеслава Алексеевича тягаться с борцами; скупцов-миллионщиков — транжирить во время «камчуги», многодневного широкого загула; казака-погромщика — класть под конюта коню золотые часы, добычу погрома; пани Марину, очутившуюся среди «дам» челпановского ресторана, утверждать, что она в Екатеринбурге завязывает политические связи и набирает армию для освобождения Речи Посполитой.

Желание отделиться от себя — это прежде всего желание отделиться от своих корней, ибо ими слишком многое определено. И вот люди кичатся своей незаконностью: отец Всеволода считает себя генеральским сыном, Антуанетта Сирбо намекает, что она дочь адвоката Карабчевского, Всеволод рассказывает, будто он внебрачный сын некоего Софрония, даже кляча Нубия выдана за кровную лошадь с родословной то ли от прославленных английских «гэнтеров», то ли от еще более славных арабских скакунов линии «сеглави».

Тема мнимости в «Похождениях факира» раскрывается в обманном мерцании цирковых блистков и фальшивых драгоценностей, во всех настоящих и пестрых описаниях переодевания, раскрашивания, грима, в балетных розыгрышах и в хитростях машины для фокусов, в грубости ресторанного «плюэнонизма» и восковых фигур, смущающих пьяных: «Дотронешься до цветка, а на тебя сыплется мука или мел. Думаешь спяну обнять чучело медведя, а оно стучит тебя венником по плечам и по спине! Тут же за столом сидят два восковых пола в рисах

и с завитыми волосами... Один поп отвечает на заданные вопросы, а если спросишь другого, он раскроет рот и брызнет на тебя водой!»

В фабуле те же характерные снижения: три проститутки просят Всеволода выбрать из них прекраснейшую и вручить избраннице брюкву... Подобно этому снижению мифа, снижается традиционная поэтичность: «Как обычно, солнце склонялось к западу, и как обычно, было тепло, и я, как все прочие, «вдыхал полной грудью бальзамический воздух гор». Тут меня ударили в загривок, и я прямо с крыльца, минуя ступеньки, рухнул в пыль».

Движение авторской мысли в «Похождениях факира», кажется, можно истолковать примерно таким образом: «гниусная расейская действительность» заставляет искать спасения от ее свинцовых мерзостей в яркой выдумке, в мечтательстве, в «факирстве»; мало-помалу выясняется несостоятельность такого способа, и герой как бы учится видеть себя самого и окружающее — прямо, без спасительных выдумок. В романе вправду есть такие минуты. Куплетист Иванов перед зеркалом снимает красивый гумозный нос, вглядывается в свое лицо без грима. В кабинете доктора-окулиста он меряет стекла, и из тумана выплывает очень четкий мир. «Если хотите, я вам пропишу пенсне, но вообще вам можно жить и так. Предполагаю, что вы уточнили мир и без очков».

Как будто внутреннее действие романа — в том, чтобы герой «уточнил мир», уточнил свой конфликт с ним и несостоятельность своей позиции одиночки в этом споре. «Я стоял здесь один-одинешенек, не согласный со всей Российской империей, со всеми ее генералами, швейцарами, пушками, содержателями ресторанов, епископами, бандеришами и даже с Государственной думой! Я препирался и с уважаемыми писателями, и с царскими портретами, которые непрерывно таскали по улицам торговцы, и с гимнами оркестров, и со звоном бокалов... Я спорил, а мимо меня на поля Галиции и Восточной Пруссии неслась вооруженная армия, проходили полки за полками, ржали казачьи лошади, на лафетах, прикрытые брезентом, стояли пушки, горели красными крестами тихие санитарные поезда, офицеры в гибких сапогах пили кофе, на ходу покупая папирасы, солдаты, размахивая

чайниками, то и дело толкали меня, свистели кондуктора, ежеминутно раздавались третьи звонки...» Картина, кажется, вот-вот станет символичной (столкновение героя с реальностью наконец состоялось, вот он, третий звонок перед этой встречей!), но символичность ее тут же уничтожается: герой просто в очередной раз уезжает зайцем, возобновляется авантюрный, плутовской роман...

В том-то и дело, что в «Похождениях факира» — речь не только о конфликте с действительностью... Есть здесь сцена, когда в цирке ставят декорации пантомимы «Синяя борода»: «Натянутые на рамы полотнища, размалеванные зеленым и пурпуровым, изображали замок ужасного злодея. Нам трудно рисовать деревья, и поэтому мы нарубили настоящих сосен и поставили их в кресты, как это делается с рождественскими елками». И сосна со всеми ее иголками и живыми капельками смолы в таком противоестественном соседстве сама теряет достоверность. Так все оказывается фантастичным и дрянным вокруг факира: мир не реальней его размалеванных фантазий, не противостоит им, как и они не противостоят ему.

Герой работает в тюменской газете. Расшифровав телеграммы с театра военных действий, он крупно анонсирует «громкую победу русских войск: «Взято три города: Львов, Тире, Галич!» Газета-конкурентка не медлит с ехидным откликом насчет «города Тире» и его жителей-пошехонцев. Иванова увольняют. «Я шел, думая со злостью, что, пожалуй, мой город Тире более реален, чем ваш город Тюмень, по улицам которого развезжают уже совсем неправдоподобные люди, вроде коновала Григория Распутина. И Распутину, и нашему городу Тюмени место только в очень дурной и глупой солдатской сказке!»

Распутин, густобородос и живучее сибирское наваждение, существен в ивановском повествовании. Проезд его по Тюмени, масленичный, вскачь, на тройке, эстетически однозначен кульминационным сценам «Факира»: сценам балагана, сценам загула в челпановском ресторане.

Для факира сама действительность наделена фантомностью и незаблемостью вместе. Нас оглушает плотность, телесность ивановского фантастического письма, всех этих описаний его тяжеловесных миражей.

Каким мог быть выход факира — в реальную ли историю или хотя бы в «Индию духа» — из мира, который возникал под пером писателя, из этого пугающе телесного, недвижимого в своем разрастании мира?

Известно, что резкая критика, которой подвергся второй том «Похождения факира», на долгие годы прервала работу писателя над этой карнавалной эпопеей, задуманной в пяти частях и предположительно доведившей рассказ до восемнадцатого года.

В пятидесятых годах Вс. Иванов перепишет «Факира» наново, попробовав расположить материал по логике рассказа о юноше-мечтателе, вырывающемся из своей социальной среды и противостоящем ей, ищущем ее изменения. Появятся персонажи, обозначающие революционную эпоху, появятся намеки на движение исторических деятельных сил внутри сибирской толщи. Но в книге нет цельности, переделки выглядят поверхностными, неорганичными.

Гораздо больше удалась писателю другая его попытка заново обратиться к тому же материалу — роман «Мы идем в Индию». В «Истории моих книг» он рассказывает, как все мечтал и все не мог собраться написать для сегодняшних подростков книжку вроде тех, какими сам наслаждался лет в тринадцать; «Мы идем в Индию» — работа, так же близкая к этим планам создания приключенческого и героического романа для юношества, как и к большому автобиографическому циклу, оставшемуся незавершенным на протяжении более двадцати лет.

И снова Всеволод Иванов в кругу того же «личного» материала. И снова кроткая кляча Нубия везет своего мечтательного всадника причудливыми и экологичными дорогами в желанную Индию духа. Но среда здесь написана совершенно иначе, чем в «Похождениях факира»: действительность здесь словно бы разрежена, пронизана токами, которые подхватывают и несут легко героя.

Не случайно большая часть действия происходит где-то высоко-высоко в горах: есть здесь высокогорная чистота и разреженность воздуха, есть ритм радостной скачки коней, есть журчание сбегавшей сильной воды и такое же быстрое и прозрачное движение людских потоков. Толпы нищих переселенцев, городских забастов-

щиков, скитающихся безработных здесь словно просвечены встающим за ними солнцем — свет уничтожает тяжесть подробностей, создает четкость и легкость движущегося силуэта: даже сцена распри между новоселами и казаками из-за земли (вспомним описание таких сцен в «Отце и матери») здесь решена так, как решаются подобные сцены в героическом приключенческом романе.

Изменился и герой, обрел наивную и рыцарственную готовность мгновенно вмешаться во все, в чем ему видится обида человеку. Больше, чем на погруженного в созерцание факира, он похож на Дон-Кихота, но донкихотство его не трагикомично — это донкихотство счастливое и победительное. Кажется, что герой плутает, дает крюку в своем пути в Индию, задержанный поручениями стачечников и безземельных, — на самом деле он сокращает дорогу, идет напрямик, поскольку Индия тут — только мечтательное и поэтическое имя революции.

Может озадачить та простота, с которой Вс. Иванов меняет фактуру и тональность «рассказа о себе»: странствия «факира и дервиша Бен-Али-Бея» открываются читателю в одном случае как утомительные бесцельные кружения, чья замкнутость лишь подчеркнута огромностью радиуса этого путешествия по азиатской России («Похождения факира»), в другом же случае (роман «Мы идем в Индию») как восхождение по ясной тропе, когда многообразие дорожных приключений и встреч, многоцветная прозрачность бегущих ландшафтов своей нестрогой лишь оттеняет четкость дальней цели путника. Ведь все же своя жизнь не может быть с равной правдивостью рассказана один раз — как жизнь человека, вязнувшего в одуряющем быте, влекомого хаотическим внутренним его движением по спиральным кругам какой-то воронки, а по истечении скольких-то лет — как жизнь человека, с самого начала держащего четкий и радостный курс... Но не надо так уж буквально понимать автобиографизм «Похождений факира» и «Мы идем в Индию», сверять их как заполненные в разное время анкеты и ловить автора на расхождении.

И «Похождения факира» и «Мы идем в Индию» — это как бы рассказ о жизненном происхождении тех проблем, тем, мотивов, которые навсегда закрепятся в творчестве

писателя. Это также автобиография и родовая ивановской стилистики.

Вс. Иванов корнями своими, первыми своими впечатлениями связан с тем достаточно мощным слоем культуры, который становился предметом внимания исследователей лишь в редких случаях. Между тем эта культура городских мешанских низов — то клейменная именем базарной, лубочной, балаганной, то избранная объектом смакующего коллекционирования, — культура эта просвечивает не только за стилизационными сказовыми упражнениями Алексея Ремизова и его учеников, но и за пьесами Островского, прозой Лескова, за некоторыми ранними вещами Горького.

Малоподвижная, как малоподвижна сама среда, ее вскармливающая и потребляющая, самоповторяющаяся и отчужденная от исторического развития в той мере, в какой мало исторично само существование этой среды, — эта культура жила веками, смежная и фольклору, и эстетике господствующих классов, живучая в той же мере, в какой и неполноценная.

В «Похождениях факира» шумят ярмарки, несутся карусели, размалеваны балаганы, напряживают мышцы цирковые богатыри, тарыхтит полурифмованное балагурство, столь же похожее на раешный народный стих, сколь и на приказчищу скороговорку, на складную болтовню зазывалы... Трещащие и немые тени в дымном конусе света над головами зрителей первых «электротрагедий». В подвале газеты роман «Евгения, или Тайны французского двора»: «Немой ускользнул. Маркиза содрогнулась. За дверью шептались карлисты. В переулке, возле дворца маркизы, раздался выстрел». Подобно тому как описание тщеславной, талантливой, неистовой в многословии и в мечтательности родни героя должно объяснить нам самого героя, его сходство и нелады с нею, так и описание этой эстетической стихии должно объяснить нам писателя, его сходство и нелады с нею.

Вс. Иванов был напряженно, яростно внимателен к тому, что принято называть русской провинцией. Его взгляд на нее и отношение к ней были мощно определены влиянием Горького. Вслед за Горьким он видел в факте многосаженного залегания обыденной, самовоспроизводящейся жизни факт угрожающий.

Если бы Всеволод Иванов был просто

бытописателем, позволяющим поверять свои произведения житейскими наблюдениями и воспоминаниями других людей, вероятно, естественно было бы просто вести с ним спор, опираясь хотя бы на воспоминания его одногодка, прошедшего детство и юность в Сердобске, захолустном еще в большей мере, чем был захолустен Павлодар. Для художника Н. В. Кузьмина, чью книжку «Круг царя Соломона» мы сейчас имеем в виду, был его Сердобска представляет нормальную, дышащую почву, на которой могут, конечно, произрастать и чудачки, и дикие люди, а вообще-то она полна живых, деятельных сил и естественной духовности. Но в том-то и дело, что Вс. Иванов не пишет ни Павлодара, ни Сердобска; он пишет Окуров — город-символ. Символично и написанное им в цикле «Партизанских повестей», и в цикле «Тайное тайных» мгновенное, сопровождающееся взрывом и выделением огромной энергии сближение «не истории» с историей, существования — с революцией, плоти — с инородной ей мыслью.

Вс. Иванов писал Горькому: «Вы ведь, наверно, не поймете тоски провинциально-города. У-ух!» Этот воющий крик раздается из Омска осенью 1920 года; еще не отбушевала гражданская война, кажется, можно жаловаться на что угодно, только не на провинциальную тоскливость, однако ж Иванов не жалуется ни на холод, ни на голод, ни на лютующий повсеместно тиф, а именно на нее: «Обилием «советских мешан» — Омск тучен не в меру. Обидно. Это все равно, что при вспышках молний или северного сияния вшей бить», — пишет Иванов в другом письме.

Но, ненавидя почву обыденности наследственной горьковской ненавистью, Вс. Иванов связан с ее культурой художественной преемственностью. Речь не только о юношеских его «пришимских легендах», локальной и преувеличенной красочностью, героическими и чрезвычайными позами напоминающих столь травимые до наших дней базарные панно, где слиты воедино мечтательность и трафарет, где способом набойки печатаются рыцарские башни, ядовитая зелень лунного сада, красавица, склоняющаяся на грудь любовника, изгиб лебединых шей на густоголубом пруду, ревнивый муж, готовый коварным выстрелом прервать счастье юной

пары (в сцене этого рыночного свидания на коврике по белому платью дамы и четырехугольной тулье польской шапки кавалера вдруг угадываешь пана и панну из пушкинского «Воеводы»...).

Стоячая культура стоячего жизненного слоя оказывается местом стока эстетических вод из верхних слоев, резервуаром, где сохраняется, перемешивается и одновременно существует все — от отголосков рыцарских романов и житийной литературы до отголосков бульварного романа в «гувернантских» переводах восьмидесятых годов.

Стоячая эстетическая культура эта обладает, в свой черед, влиятельностью. Глаз Вс. Иванова «поставлен» всем этим цветением вывесочных роз, мельканием алой, вишневой, огненной кавалькады карусельных коней, лубком и олеографией. Вот пятнадцатилетнему «Сиволоту» предстоит обезжать подаренного ему жеребца, дважды падает он с него. «И вот третий раз подвели мне коня. Он был страшен, пар клубился над ним, пена струилась изо рта, от каждого удара его копыта лиловый клуб снега взлетал над толпой. Треск из его желудка походил на треск лопающихся льдин при крещенских морозах. А глаза у него были нежные, голубые». Этот клубящийся конь в круглых клубах пара и снега, голубой, лиловый, морозный, так же связан с зимней ярмарочной каруселью и с цветной лубочной картинкой, как связана с олеографией и эротикой рыночного панно спальня, где мальчик деревенеет от восторга: красавица возлежит на пуховиках лебяжьего пуха, все розовеет пронзительной телесностью, алеет атлас одеяла, солнце просвечивает сквозь занавески, как просвечивает сквозь рубашку красавица, и алым ртом красавица ест медовую коврижку.

С этой эстетикой в литературе XX века прослеживаются достаточно драматичные связи. Кстати, огромная, редкостная в своей всеобщности слава ранних рассказов Максима Горького — «Хана и его сына», легенды о юноше и фее и других — имеет своим объяснением еще и то, что эстетика этих рассказов сродни эстетике, о которой мы только что говорили. (Не случайно на странице «Похождений факира» перешла история о том, как мальчик Всеволод впервые услышал про Горького, — история, уже рассказывавшаяся в



ивановских воспоминаниях «Сентиментальная трилогия». О Горьком толкуют вечерами в глухой станции, на имя его ложится ответ тех ярко раскрашенных ярмарочных книг, рядом с которыми можно отыскать его рассказы на лотке офенги: «Шесть домов имеет четырехэтажных... выезд белых коней и сам саженного роста. Из генеральских сыновей, говорят. Может, даже из самого Скобелева...») Некоторые сюжеты и краски раннего Горького легко можно представить себе в «ковровом» переложении: «В лучах луны тело русалки казалось голубым и прозрачным, его осыпали тяжелыми прядями густые волосы, и оно сверкало между них ослепительно ярко. Она извивалась змеей на широкой груди казака, серебряные волосы его бороды мешались с зелеными волосами русалки, и глаза ее горели так ярко, ярко, как звезды, которые, сияя из густо-синего бархата неба, улыбались и обливали светом своих тонких лучей реку, и лодку, и тех, кто, сидя в ней, целовали друг друга... Это было красиво!»

Горький свою связь с этой эстетикой прервет очень рано, Вс. Иванов, в сущности, сохранит ее навсегда. Роман «Кремль», остающийся в архиве писателя, и многие другие страницы ивановской прозы написаны как декоративное панно — с его условностью соотношения масштабов фигур, ландшафта, предметов, с отсутствием глубины и перспективны, с разворачиванием фигур на плоскости, с его лубочным эротизмом и с лубочным же контактом легенды и натурализма, с полным отсутствием психологичности, когда всякий поступок всегда воспринимается как неожиданность, и неожиданностью же является для самого действующего лица (вспомним, как завораживала «Сивилога» «Евгения, или Тайны французского двора»: «Перед подвалом мелкий шрифт передавал содержание романа, все же нельзя понять, почему страдает маркиза, почему стреляют и куда ускользнул немой...»). С этой эстетикой Вс. Иванов будет полемизировать, стилизовать ее, взрывать — но всегда сохранит с ней хотя бы связь слора.

С этой эстетикой связана метафоричность ивановской прозы, когда предмет объясняется его приравнением — пусть самым парадоксальным — иному предмету, определяется по подобности, нередко на-

сильственной. Метафоричность, лишаящая предмет его единственности.

С этой эстетикой связано преобладание картинности над анализом. «Я, при всех моих хороших изобразительных способностях, неглубок по уму» — скажет однажды о себе Вс. Иванов, оценив так, конечно, не житейские, личные свои способности, а свою природу художника, нехватку истолковывающей силы в своем искусстве. «Похождения факира» — исповедь писателя в том же грехе, попытка разобраться — откуда он, этот грех.

Исповедуюсь в этом грехе, автор «Факира» тут же в него и впадает: цвет и пластика теснят тут все, для истолкования опять нет места. «Мой замысел не осуществился... Вместо того, чтобы ясно и просто рассказать о душах людей, я подчинился призрачному волшебству стиля и вместо душ людей показал их одежды, их внешность... вместо смысла книг и подвигов, смысла мешанских героев, описанных в этих книгах, показал только названия, блеск золоченых переплетов и танец имен...»

Исповедь надо уметь слушать, не спеша осуждать человека на основании того горького, что он сам о себе скажет. Себя, свое искусство, свою драму Всеволод Иванов сумел нам открыть в этой узорной, играющей прозе с редкой откровенностью.

Узорность слога, авантюрный сюжет, фантазмагории — не странно ли все это для автобиографии, для литературного самоанализа? Да, само собой, странно. Но не для Вс. Иванова. Это в его парадоксальной природе. Не случайно одним из наиболее постоянных и характерных выразительных средств в прозе Вс. Иванова становится то, что в теории литературы носит название оксюморон. Не столько в своем классическом варианте соединения существительного с контрастным по смыслу прилагательным вроде пушкинского «свирепого веселья»; оксюморон у Вс. Иванова разрастается, охватывая не только всю фразу («тени их тяжелы будто вылиты из чугуна»), но и все произведение. Создается оксюморон жанра и предмета; притча, восточная легенда, житие, хождение, авантюрный роман — жанры насмешливые, высокие и полные движения — применяются к материалу самодовольному, низкому и стоячему. Именно так строятся

и «Особняк» и «Барабанщики и фокусник Матцуками». И вот в финальном портрете тишайшей сволочи Ефима Сидорыча мерцает бронза и шуршат, как знамена, шелка, и вот гремиг весельем ярмарочный и фольклорный город А., справляя факт поступления миллионного по счету доноса. Щедроты образов тут насмешливы разом и по отношению к предмету, и по отношению к себе.

Вс. Иванов — писатель, для определения основного, отличительного свойства которого больше всего подходит слово «буйство». Какая-то диковинная, под огромным давлением изнутри фонтанирующая сила.

Плотность ранней ивановской прозы — плотность пружины, сжатой настолько, что мы видим только кусок металла, не замечаем ее готовности разжаться с ударом. Наоборот, фраза кажется написанной широко, размашисто. «Утрамч озером плыло алогрудое солнце». Но и эта наугад выбранная фраза таит в себе сжатость, заставляя видеть сразу и глазь озера, где в воде медленно проплывает отражение неба, и птицу, плывущую против встающего солнца, так что алеет выгнутая грудка. Эпитет, эмоциональный по отношению к определяемому, оказывается изобразительным по отношению к отсутствующему, не названному, но по ассоциации возникающему предмету. «Багроволосый ветер» — это образ, сжавший в себе каргичну лесного пожара со встающими дыбом, багрово вспыхивающими тонкими ветвями, с ветром, несущим огонь. Бронепоезд Незеласова несется ночью среди полной партизанами тайги, партизаны по обе стороны полотно жгут костры, «костры были широкие, величиной с крестьянские избы». Опять «пружинный», разворачивающийся образ. Он разворачивается и в образ зажженных деревьев — реально зажженных, выжженных карателями, против которых сейчас восстал «мужик», и в образ самого этого восстания, широкого костра, где с треском горит сырое, живое дерево (образ этот тут же поддержан следующей фразой: людям в бронепоезде кажется, что «выстрелы из тайги походили на треск горевших сырых поленьев»).

Той же способностью «разжиматься» в нашем сознании наделены сравнения Всеволода Иванова. «В падах там позади — темные и душные избы, и люди в них, как мухи, запеченные в хлеб».

В «Партизанских повестях» Иванов пишет мир — антитезу этой избяной духоты, мир, стронувшийся с места, в общем движении утративший свою разорванность, дробность. Люди отыскивают друг друга неведомо как — как отыскивают друг друга сливающиеся ручьи. Продираясь по каменным жарким гропам, среди изнывающих в духоте деревьев, отряд в общем движении ощущает сам себя как одно общее горячее тело. Причины, заставившие сжаться с места, могут быть и случайны и трагичны. Но земля, прощально прижимающая к себе своих сыновей как, что тяжело было идти, вдруг отпускает их — «партизаны, как на свадьбе, шли с ревом, гиканьем, свистом».

Это — эпос-празднество. Мир разубран золотом и бронзой, темнеет густой синью, как медом, обливается розовым светом, вспыхивает пурпуром: небо тут багряное, а пески голубые. Мир громок. Здесь краски и звуки пожара, но это праздник. И в ярко зажженном мире полно веселых людей: хохочет Васька Окорок, вообразив, как заверещит японский микадо, когда к нему придет черед становиться к стенке; у матроса-святого плещутся от веселья широчайшие штаны и гибкие рукава; радость красит нездоровые щеки подполыщика Пеклеванова...

Автор может рассказывать о смертном и страшном и неизбежно сам себя перебьет: вступит ликующий голос лирических отступлений. От издания к изданию Всеволод Иванов сокращал эти отступления, стыдился их цветистости и громогласия, но вырвались они у него именно такими — воплями «неутолимой радости».

Кажется, никто еще не говорил так — вместо привычной «неутолимой печали», «неутолимой тоски», «неутолимой жажды».

Эту неутолимую радость дает героям и автору ощущение людской слитности в едином, все нарастающем движении. В «Партизанских повестях» все ускоряется, несется вскачь, кони грызут удила, кто-то кричит с ковровой алой кошевы — и не поймешь, что кричит, а уже подхватили...

Для Всеволода Иванова прекрасна та минута, когда пашня перестает держать пахаря, когда земля становится дорогой и тысячи ног толкут ее в прах; прекрасна та минута, когда все сливается в многолюдство — образ многолюдства в «Партизанских повестях» тем крупнее, что место

действия тут степи, горы, тайга,— в пустыне вдруг становится тесно,— необъятность пространств и их переполненность впечатляют одновременно.

К человеку, который остается «на земле», к статике мужицкого быта писатель в ту пору относится напряженно и подозрительно. Если дорога и движение в «Партизанских повестях» — постоянная метафора революции, образ «спокойных земель», хозяйственной оседлости становится ее антитезой.

В ранней прозе Вс. Иванова постоянно противостояние повторяющихся образов — образа движущегося праздничного «мирового пожара», опустошительного и одухотворяющего,— и образа неподвижной хлебной избяной духоты. Запах хлеба, исконно сладкий для человека, в двадцатые годы кажется Вс. Иванову запахом почти грозным, потянет ли им из сумы Калистрата, отошедшего от революции («Цветные ветра»), или из огромных бревенчатых домов в рассказе «Лога».

«Лога заковали село кольцами темной жирной земли — не то свадебные кольца, не то острожные Трава в логах — скот плутает, молоко приносит из них густое, как сметана, и сладкое, как мед». Таков пейзаж рассказа. Через село в «Логах» проходят «тощие, с широкими пустыми мешками». Проезжают арбы с умирающими от голода: село невозмутимо любопытствует, рассматривает, рассуждает: «Не выживут». У мужиков в рассказе «черная, точно уваженная борода,— земля, сто лет не паханная», сами они «огромные, широкие, как земля, из твердого мяса сбитые». Дома их громадны, точно из камня рублены, и в них «пахнет вечным силным хлебным духом. Все лето окна настежь — не выходит дух».

«Лога» написаны в двадцать втором году. В двадцать первом году в «Красной нови» можно было прочитать вслед за сухим очерком «Голодающие» (статистические данные: в Саратовской губернии от голода умерло 183 человека на тысячу населения) очерк Артема Веселого «В деревне на масленице» с непристойно великолепным натюрмортом: «На столе блинов — гора. Щерьбы блюдо с лоханку. Рыбы куца — без порток не перепрыгнешь. Пирожки по лаптю. Курники по решетку. Ватрушки по колесу. Пшенички и лапшенники в масле плавают. Пар в потолок. Сметаной

и медом залейся. Огурцов, капусты — Волгу запрудить. Самогонки маловато — почесть всю высосали». В избе «разит махрой, овчинами, духами, шами». Изобилие здесь не только бесстыдно, оно почти угрожающе. Всеволод Иванов был не одинок в своем отращении к запаху хлеба...

В «Логах» возникает образ дороги под угрозой, дороги, которую сжирает трава. Он повторяется несколько раз: «Дорогу трава заедает. И заела бы...», «Жмут дорожку лога», «Дорога — убогая, тонкая, как киргизы те на арбах, голодные». Дорога «пьет сердце» героине рассказа Аксинье, не умеющей сжиться с хозяйственным бездушным села, ей жаль дорожку, как жаль умирающих, которым она ночью тайком носит хлеб. Прекрасна в «Логах» сцена — своего рода трагический плач героини, плач ее и по мертвым, и по «Рассее», и по этой пропадающей в траве дорожке.

Люди, «твердо и властно» стоящие на земле, и люди дорожки сведены у Всеволода Иванова как враги. Читая в «Логах» строки о том, как хозяйственные мужики собираются «дань брать» с «людишек, не слушающих земли, невольно вспоминаешь записанные К. Фединым горьковские опасения тех же лет о том, что деревня «закрепит» пролетария, за хлеб и квас превратит его в полукустаря, обслуживающего ее. Ученик Горького, Всеволод Иванов к деревне тоже относится настороженно, а людей ее принимает лишь в той мере, в какой они способны преодолеть тягу хозяйства, дома, пашни... Иной разговор, насколько ошибался Иванов в этих своих тревогах, но сами тревоги характерны для литературы того времени.

Образ мира, замкнутого в логах, иссякающей тропы возникает и в другом рассказе Всеволода Иванова — в «Синем зверюшке». По плотному, плодovитому миру ходит Кондратий Никифорович, «идет и щупает». Все хвалит. «Хорошая лесина, народу крепкие избы рубить можно». Про камень: «Хороший камень, душевный. И он понадобится, скажем, литовки точить». Щупает березу, понюхает лист: «Ядреная ось получится. Надобно мужикам сказать».

Этот проход хозяина знаком читателю «Партизанских повестей»: Антон Селезнев из «Партизан» на привале поглаживал и одобрял траву; рыжебородый Наумич из «Цветных ветров» в перерыве между боями заглядывал в тайгу, оставив слезя-

шился смолой зарубки на стволах, намеченных в дело. Но для автора это возвращение к обычному мужицкому расчету — не в радость, оно отзванивает опасностью.

«Синий зверюшка» — сказка и притча. Притча о раздвоении мужицкого характера.

Кондратий Никифорович зазывает к себе в дом мечтателя и бессребреника Ермаму. Увещевает его рассудительно: «Никаких кумыний нету, жрать хочет, ну и выдумал. Оно для еды-то не токмо кумынию придумашь, тут тебе все в голову полезет...» Кондратий Никифорович «говорит неторопливо, и мысль у него внутри, как мышшь в полном закроме, лениво шмыгает». «Баба у него толстая, жирная, и тело ее в ткани яркие обернуто: желтые, синие, красные». Все хорошо у Кондратия Никифоровича, всего много — и символом, и хозяином всего этого нагловатого благополучия живет в доме волшебный синий зверюшка с человеческими и непонятными глазками — лапастый, узкий, хищный зверюшка счастья.

Ермама знает свое: «Желаю я об других заботиться, и никаких!» Трижды пробует он уйти через горы. В первый раз тропу ему переходит медведь, второй раз — кабан: стоят и не сдвигаются, разом — угроза и добыча. Ермама убивает медведя, убивает кабана, раз и другой возвращается в село — не бросать же в горах добро... Кондратий Никифорович только приговаривает, удовлетворенно рассматривая тушу: «Медведь ноне добрый, крепкий медведь растет!» И в третий раз Ермаму выносит туда же, откуда он уходит и не может уйти, — обратно в лога, в духоту изб. И «все таков же Кондратий Никифорович — толст, широк, как стог сена, и голос у него сухими травами и черноземами пахнет.

— Пришел, гришь?

У ног его об колено зверюшка трется с хитрым человечьим взглядом, смотрит на Ермаму...

— Иди ко мне в работники. Харч у меня и обува добрая, а ты мужик хороший».

Жаль, что в «Избранное» этот рассказ не вошел: без «Синего зверюшки» не очень поймешь, например, повесть «Хабу», в двухтомник включенную (Хабу — это тоже имя зверюшки, пушистого князька, сказочной лисицы счастья и богатства, чью синеватую шкурку в конце концов прибивют за ушко на могиле героя повести, строите-

ля дороги); не поймешь, как Всеволод Иванов разрешал ту антитезу духовного подъема и грузной житейской плоти, которая изначально живет в его прозе. А она живет постоянно и все нарастая. И бездуховное и духовное здесь обретает нетерпимость и испуганность.

Свирипа бездуховная деревня в «Логах» и «Цветных ветрах», свирипа ее поглощающая утроба — свирипа и усмиряющая эту утробу беспощадная духовность.

Так появляется один из любопытнейших персонажей «Партизанских повестей» — Никитин.

В тайге скрываются красногвардейцы. Их преследуют, за их головы назначена награда, только что одного из них на тайном привале подстрелил кто-то из талицких мужиков, повез труп — предьявлять и получать за него деньги. Один из оставшихся в живых, серб Микеша, говорит, ломая чужой язык: «Здэс мягкий народ. Нэ хорроший». Кажется, Микеша выбрал не те слова (при чем тут мягкость, после всех преследований и убийств?). Но его товарищ, питерец Никитин, понимает его. «Сделаем крепким», — отрывисто отвечает он.

И вот те же крестьяне приходят в тайгу, где скрываются красногвардейцы, и Наумыч сговаривает Никитина, степенно прошупывая, сколько тот запросит за согласие быть их вожаком: «Идут, значит, наши парни под твое начальство и под остальных двух большаков-то. Жалованью какую положим — воюй!»

В этой сцене, когда восставшие против Колчака сибирские мужики нанимают себе вожда, на поверхности, конечно, анекдотическое (Вс. Иванов к анекдоту вообще склонен), но анекдотическим тут дело не исчерпывается.

В «Камышах», где рассказывается о скитаниях самого Всеволода Иванова, скрывавшегося после победы мятежа в Омске от белочехов, есть лирическая, мечтательная и убежденная концовка: «Через степь — на солнце... Пески превратим в камни. Камни — в хлебы». Образ этот расшифровывается всей ранней прозой писателя: сыпучая, как песок, крестьянская страна должна каменно отвердеть, прежде чем совершится обетованное превращение камней в хлебы. И Никитин, с его испуганной духовностью, бескорыстный, почти бестелесный, виделся Вс. Иванову одним из тех, кто превращает песок — в камень.

Потому-то выкрикнет лирический герой свое «да!» всему, что бы ни делал вожак.

Размышляя о том, как наладить будущую жизнь, герой «Цветных ветров» мужик Калистрат с сомнением переспрашивал своего собеседника: «Без любви?» — и решительно обрезал в ответ Никитин: «Без». Вс. Иванов почитал его правым.

Людам, возненавидевшим бездуховность своего существования, Никитин дает веру. Именно поэтому Калистрат, то допытывавшийся у «лесного попа» Исидора: «Про новую веру не слышал, отец?.. Новая вера, бают, объявлялась», то взглядывавший в странное раскосое лицо шамана, которого везут через Талицу на диких степных лошадях, то сам пытавшийся творить чудеса, — именно поэтому Калистрат рвется за Никитиным: «Веру я, думал, поймал...»

В «Избранном» нет «Цветных ветров», где действует Никитин — вождь, вынесенный крестьянской стихией, железно обуздывающий ее и одновременно развязывающий ее инстинкты (вплоть до инстинктов националистических), поднятый ею и топчущий ее. Но при всем том тема «крестьянство в революции» и тема революции в крестьянской стране прослушивается в двухтомнике Вс. Иванова.

В противовес каноническому образу Всеволода Иванова — «автора одной книги» двухтомник открывает нам картину некоей «разбегающейся литературной вселенной» — картину разнонаправленных поисков писателя, поражающего нас и избилем и неравноценностью сделанного...

И вот в «Похождениях факира» сквозь все — сквозь шутовство, игру слов, сквозь насмешку, направленную на себя, со дна всех карнавальных «снижений» — отчетливо подымается постоянная, тихая тема громкой прозы Всеволода Иванова — тема пробуждения души, не стихии духовности, а именно души — отдельной, размышляющей и лично ответственной.

В грандиозной коде полифонического творчества Всеволода Иванова, какую нам видятся его автобиографические произведения, она, эта важнейшая и потаенная тема, не могла не прозвучать.

Пробуждение души, просветление ее не

случайно буквально с первых книг Вс. Иванова становится темой равноправно важной в соседстве с темой революции, с темой триединства «человек — толпа — масса». Ведь для того, чтобы в результате сплочения тысяч возникла не толпа, а революционная масса, внутри которой каждый действует выше, благородней, мужественней, чем он же действовал бы в одиночку и в повседневности, существует не только характер идеи. Вот сцена расправы с Верещагиным в «Воине и мире» Льва Толстого: толпа, которая здесь ужасно и ненужно убивает, руководствуется вовсе не звериным инстинктом, но, кажется, патриотической идеей, диктующей ненависть к предателю, переметнувшемуся (как ей, толпе, внушили) на сторону француза. В чем же разница этого сплочения, вроде бы и идейного по своему характеру, со сплочением людей, собравшихся во множестве слушать, скажем, речь лейтенанта Шмидта в 1905 году, или речь Махатмы Ганди о движении гражданского неповиновения в Индии, или — возвращаясь к прозе Вс. Иванова — со сплочением людей в сцене «упропагандирования» американца из «Бронепоезда 14-69»?.. Думается, разница вот в чем. В первом случае человек в толпе механически электризуется идеей, теряет личную волю, как теряет и чувство личной ответственности, — короче, теряет себя. Во втором же случае возвышение над собственным повседневным поведением возникает в результате полного сохранения или (как у героев Вс. Иванова) пробуждения индивидуального самосознания. Только этим пробуждением индивидуального самосознания и обеспечивается высота действия революционной массы. Сам писатель ни где, кажется, не сделал подобного вывода — Всеволод Иванов вообще не склонен к ясно читающимся выводам, — но нам он кажется достаточно внимательным. Способность или неспособность множественного человека российского захолустья к такому личному «пробуждению души» потому и была для Всеволода Иванова проблемой первостепенной. И в прозе его об этой способности и идет речь — то патетически, то гротескно-скептически, то с верой простой и сильной.



# ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Ст. Рассадин.** «Мальчик пристально вглядывается вдаль». — **З. Паперный.** Прочная память. — **Ник. Атаров.** Москва, Москва... — **М. Коган.** Трагедия великого мореплавателя — **С. Сивоконь.** Под глянцево́й обложкой. — **В. Седелник.** Игра и жизнь.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Е. Гнедин.** Революционер-дипломат ленинской школы. — **Л. Леонтьев.** Проблемы хозяйственной реформы. — **Вл. Фокин.** «Строго по шкурку...» — **М. Волков.** Судьбы русской газеты. — **А. Ястребицкая.** Удивительный учебник. — **Ан. Васильев.** Кибернетика: успехи и проблемы.

## Литература и искусство

### «МАЛЬЧИК ПРИСТАЛЬНО ВГЛЯДЫВАЕТСЯ ВДАЛЬ»

**Анатолий Рыбаков.** Повести. «Художественная литература». М. 1969. 624 стр.

За книгу детских повестей Анатолия Рыбакова я брался не без опаски. Не из-за «Приключений» и «Каникул Кроша», написанных и прочитанных сравнительно недавно, в 1960 и 1965 годах, а из-за «Кортика» и «Бронзовой птицы»: ведь «Кортик» был читан впервые двадцать лет назад.

Возвращаться к книгам собственного детства всегда немного страшновато. Не только потому, что иная книга, трогавшая прежде, вдруг оказывается до смешного пустяковой, но и потому, что мы сами переменялись и восприятие наше, став зреее, что-то и утратило. Например, ту особую детскую непосредственность, благодаря которой самым обычным для всякого нормального ребенка является счастлирое состояние, выраженное Пушкиным: «Над вымыслом слезами обольюсь...»

«Кортик» не разочаровал. Читая его — после столь внушительного перерыва, — я вспоминал не только полузабытую книгу, не только ее сюжетные ходы, но и собственную ребяческую реакцию на их неожиданные повороты.

«Кортик» принадлежит к той литературе

для детей, которая истолковывает свою специфику не как скидку на читательскую малоопытность, но как необходимость причаститься к своеобразию детского мышления, к бурному восприятию мира, к обостренному нравственному чувству ребенка. Такие книги не теряют для тебя смысла, сколько бы лет ни прошло; они — при всякой новой встрече — продолжают апеллировать к детскому в твоей душе, воскрешать в тебе память детства.

И все же, пожалуй, интереснее для меня было то новое, что открывалось в старом «Кортике», то, на что прежде не обращал внимания. Да и не в одном «Кортике»: четыре разновременные повести, написанные о детстве и для детей, впервые собраны в одном томе. Это заставляло сопоставлять их, размышлять об эволюции писателя.

...Начало двадцатых годов. Белая банда, врывающаяся в маленький город. Танцевальный старинный кортик (его тщетно разыскивает главарь банды Никитский, а о том, где он спрятан, знаю: лишь двое — матрос-комиссар Полевой да мальчик Миша Поляков). Затем — Москва, жизнь ма-

леньких героев, бурно переживающих все новшества революционного быта, но на первом плане — вновь тайна, связанная с кортиком. Вернее, сразу несколько тайн: герои пытаются расследовать причины гибели линкора «Императрица Мария», разгадать шифр, нанесенный на лезвие кортика, и выследить скрывающегося Никитского. Разумеется, заканчивается повесть разгадкой всех тайн.

Может быть, даже беглый пересказ дает возможность заметить, что сюжет повести последовательно выдержан в испытанной традиции приключенческого жанра. В самом деле, многие черты «Кортика» находятся в соответствии с требованиями и допущениями детектива: скажем, обилие совпадений, которое могло бы показаться надуманным в книге иного рода. Или то, что для автора в данном случае острота действия важнее тщательной разработки характеров. Тем более что острота предельна: действие стремительно переламывается от одной короткой главы к другой. Стиль динамичен и сжат. Например: «Бой продолжался недолго. Бандиты удрали, оставив убитых. Одинокие лошади металась по полю». Это так явно рассчитано на досказывающее воображение читателя-ребенка, что напоминает строчки из сказки Чуковского:

И грянул бой! Война! Война!  
И вот уж Ляля спасена.

Традиционны и отдельные мотивы повести: можно, допустим, вспомнить нечто похожее на ребячьи попытки разгадать тайну кортика. Причем автор не скрывает схожести, а порою даже демонстративно обнажает ее. Вот герои разглядывают кортик, испещренный загадочным шифром, и один из них вспоминает: «У Эдгара По...» А другой подхватывает: «Знаем, знаем!.. «Золотой жук».

Пожалуй, и еще одна аналогия неотвязна. Быть может, особенно неотвязна — книги о Томе Сойере. Это сказано вовсе не в укор, потому что традиция воспринята не механически. Напротив, выбор ее говорит о чуткости писателя.

Автор хорошего предисловия к книге Е. Старикова заметила: «Надо было заново воплотить в сюжет и образы законы, по которым вечно живут бессмертные Том Сойер и Гекльберри Фини. Время Миши Полякова и его друзей подходило для этой задачи».

Действительно, эпоха начала двадцатых годов давала богатейший материал для подобных увлекательных историй. Сословия и судьбы, перетасованные революцией, и неожиданнейшие ситуации, возникавшие в самой реальности, — все это позволило органически сочетать авантюристичность сюжета с исторической достоверностью, с духом времени.

Эпоха предстает в повести «Кортик» в противоречивом и тем не менее цельном облике — от причудливых бытовых зарисовок до образов-символов. Тому времени принадлежат и одноногий инвалид, устроивший на базаре безвыигрышную игру и резонно отвечающий одуроченным: «Ежели я всем буду проигрывать, то последнюю ногу проиграю. Понимать надо»; и почти монументальный комиссар Полевой, недаром ассоциирующийся для Миши Полякова с революционным плакатом: «Перед глазами его стоял эшелон, красноармейцы, Полевой в серой солдатской шинели и мускулистый рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающие земной шар».

Эпоха ощущается и в героико-романтических приключениях, выпавших на долю даже самых маленьких героев повести, и в характерах этих ребят. Как все дети, забавные и естественные, самолюбивые и доверчивые, легко идущие «на подначку», герои «Кортика» при этом твердо знают азбуку политики, непримиримы в суждениях, даже в стенгазете трактуют свои школьные дела в масштабах страны: «Тот, кто режет парты, увеличивает разруху». Это категоричность детства. Но и времени.

Когда Маяковский писал в своем детском лубке «о Пете, толстом ребенке и о Симе, который тонкий», он не просто поддельвался под восприятие детей; когда сегодня Е. Винокуров вспоминает о своем детстве: «И в каждом человеке толстом буржуя я подозревал», — он говорит не только о своеобразии мышления ребенка, а и о времени, нуждавшемся в таких — резких и прямых — суждениях. Без оттенков.

Анатолий Рыбаков и в «Кортике», и — особенно — в написанной восемью годами позже «Бронзовой птице» (продолжении «Кортика») иногда опровергает прямолинейность героев. Допустим, они видят людей, кажущихся им подозрительными. «Это же нэпманы, — объявил Генка. — Как нелепо расплылась рожа нэпа... Он толстый, лы-

сый, в очках, у нее тоже волосы крашенные...» Но незнакомцы оказываются иностранными коммунистами.

Однако чаще Рыбаков словно бы нарочно идет навстречу прямолинейности героев. Иной раз даже внешность отрицательного героя точь-в-точь соответствует представлению Миши или Генки: «Подошли еще два мальчика. Один, толстый, мордастый, с носом кнопкой,— Сенька, сын кулака Ерофеева...» Столь же выразительно-карикатурны и бывший жандарм Филип, и сын его Борька-Жила...

Это вновь не кажется мне недостатком повести; скорее это верность ее жанровым особенностям. Писатель намеренно обратился к ясным средствам плаката и политической карикатуры.

Что до недостатков, то они как раз в недовольности замысла: Миша порою становится резонером, а история о вступлении ребят в пионеры (в иной книге она могла стать центром) кажется порой лишь придатком к авантурному сюжету.

Неорганичность, едва-едва дающая себя знать в «Кортике», мне кажется, значительно возросла в «Бронзовой птице». Рыбаков не стал писать хуже, наоборот, мастерство его здесь увереннее и совершеннее; кроме того, он пытается в «Бронзовой птице» сделать новый шаг в изображении психологической сложности человеческих отношений. Но счастливой цельности «Кортика» тут уже нет. Детективный сюжет не выдержал непосильного груза.

То, что не удалось (или не вполне удалось) Рыбакову в «Бронзовой птице», он сумел сделать в двух повестях о Кроше, о Серее Крашенинникове, московском мальчишке шестидесятих годов.

Причем тут все наоборот. Вторая повесть, «Каникулы Кроша», сильнее первой, «Приключений Кроша». Вероятно, отчасти потому, что на этот раз в основе сюжета — не действие, а характер, не приключение, а размышление. Вторая повесть не эксплуатирует увлекательность первой, а продолжает ее раздумье.

Впрочем, детективный элемент очевиден и здесь. В «Приключениях» Крош, как заправский сыщик, выслеживает похитителей казенных амортизаторов. В «Каникулах» он ведет целое следствие по делу о клевете. Однако если детективность повестей о Мише Полякове, так сказать, рождали обстоятельства, в водоворот которых попадали

маленькие герои, то в повестях о Кроше ее рождают свойства его характера.

Кроша все время тянет доискиваться правды. У него отвращение ко лжи и показухе, воспитанное и обостренное его временем. Одна из главок «Приключений Кроша», рассказывающих о производственной практике школьников на автобазе, кончается так: «Происходит неувязка. Но об этом пусть думает штаб во главе с Игорем, их для этого выбирали. Что касается меня, то мне надоело вмешиваться во все дела». И вот начало следующей главки: «Все же мне было интересно знать, как намерен действовать штаб в сложившейся обстановке». И т. п. Крош опять «вмешивается».

Нередко — на беду себе. Он и сам клянет свою привычку всюду совать нос: «Почему у меня всегда так получается? Хочу сделать лучше, а получается хуже». Он наивно и забавно анализирует свои импульсы (Крош вообще большой аналитик), но остановиться — не может.

В первой повести, в «Приключениях Кроша», ему наиболее резко противопоставлен его сверстник Игорь, начинающий, но уже сложившийся карьерист. В «Каникулах» конфликт, пожалуй, куда крупнее. И интереснее.

Эти повести достаточно известны, кроме того, они уже — по отдельности — рецензировались «Новым миром», и потому я не стану пересказывать фабулу. Напомню лишь: в «Каникулах» Крош уличает уважаемого и наиболее известного искусствоведа Везна (так ребята зовут их немолодого приятеля Владимира Николаевича), который в свое время написал клеветническую статью о собственном учителе Мавродаки, чем и толкнул его на самоубийство. А теперь он лжет сыну погибшего — Косте, валя вину на его нынешнего отчима, сея рознь между хорошими людьми.

В лице Везна Крош впервые в жизни встретил столь серьезное зло. И положение его тем сложнее, что Везн — не плакатно-карикатурное воплощение порока. Его по крайней мере мучит совесть. Он, как Раскольников, все время тянется к месту преступления: вмешивается в судьбу Кости, по-своему желая ему добра. Везн неглуп и образован, он искренне любит искусство и коллекционирует наэцке, японскую миниатюрную скульптуру, вряд ли вульгарно преследует торгашеские цели (намек на этот счет Игоря, того самого, перешедшего



сюда из «Приключений Кроша», можно оставить и без особого внимания). Предал же он скорее всего по слабости. Струсив.

Но мягкий, добрый, доверчивый Крош не прощает ему ничего.

Кто он? Мститель? Но чтобы мстить, надо носить в себе прошлое, помнить прошлые обиды. У Кроша обид нет. Да и родился он как раз в тот год, когда Веэн напечатал свою проклятую статью.

Дело не в мести. Крош видит разлад в Костином доме. Видит отчуждение добрых и нравящихся ему людей. Хочет помочь им. И выясняет, что воцарению добра и справедливости в этой семье мешает зло, содеянное давным-давно.

Крош познает, что восстановление добра — дело нелегкое. Не просто хлопотное, но душевно нелегкое: уличенный Веэн жалок настолько, что Крош теряется перед зрелищем вдруг сразу постаревшего человека. Но если уж последовательно восстанавливать из праха добро, то зло просто не может остаться наказанным. Даже давнее. Потому что оно тянет в современность свои побеги. Как ни наивен Крош, он это понимает: «Хорошим отношением к Косте Веэн хотел искупить свою вину. Но ведь он хотел сделать Костю таким же проходивцем, каким был сам. Какое же это искупление вины? Это усугубление вины!»

Последнее, что говорит в повести Веэн: «Максимов — это не я. Максимов — это время...» (Максимов — псевдоним, которым он подписал статью о Мавролаки).

Крош отвечает: «Плохого времени не бывает, бывают плохие люди» Вернее, не отвечает, а уже потом думает, что хорошо было бы ответить вот так — горжественно и афористично. Конечно, такое заявление (как верно замечает Е. Старикова) излишне

категорично. Вероятно, тут на Кроша повлиял стереотип, распространенный во множестве вариантов. Ну, хотя бы: «Не бывает маленьких ролей, бывают маленькие актеры». Но ведь афористическая категоричность этого стереотипа лишь подчеркивает принципиальную его правоту. Да, бывают маленькие роли. И бывают неслегка времена. Но актер все равно должен стремиться к тому, чтобы быть большим. А человек — добрым и честным.

Крош прямолинеен, как был прямолинеен такой непохожий на него Миша Поляков. И представления его о жизни тоже чисты и благородны. Они пока что, как говорится, книжные, однако вычитаны-то из хороших книг. Им еще предстоит сложиться в стройную систему подлинного мировоззрения, не пасующего перед сложностями мира, — но как важно сохранить в неприкосновенности эту юношескую, «книжную» чистоту, непримиримую ко лжи и грязи...

Рыбаков и начинает и заканчивает вторую повесть с Кроше пересказом японской притчи, истолковывающей одну из нэцке, изображение мальчика с книгой: «Мальчик пристально глядявается вдаль. Что видят его глаза? Таинственные образы проносятся в детских мечтах, подобно песням птиц. Но что мы сделали для того, чтобы королевство фантазии стало рядом с нами навсегда?»

Контекст повести заставляет символику притчи звучать определенно и конкретно. Критический анализ характера Кроша, характера, в котором уже воплотилось время, превращает аллегорию в ясную и важную мысль: все мы лично ответственны за то, чтобы мир оправдывал лучшие надежды своих детей.

Ст. РАССАДИН.



## ПРОЧНАЯ ПАМЯТЬ

Борис Слуцкий. Память. Стихи 1944—1968. «Художественная литература». М. 1969. 288 стр.

Борис Слуцкий. Современные истории. «Молодая гвардия». М. 1969. 160 стр.

Поэт вспоминает свое детство:

На берегу дороги,  
У самого синего рельса,  
Зябко поджавши ноги,  
Мальчик сидел и грелся  
Черным дымом грелся,  
Белым паром мылся...

Картина возникает как будто на месте другого пейзажа, привычно романтического. На берегу... моря? Нет, дороги. У самого синего... рельса. И вместо черноморского белопенного прибоя — черный дым, белый пар. Морской пейзаж перечеркнут сугубо сухопутным.

Не хочется пользоваться ходовыми терминами, но оборот «у самого синего рельса» — своего рода модель стихов Бориса Слуцкого. Своеобразие его поэтического мышления начинается с полемического низведения «красот» и «высот». Отвлеченные понятия с упрямой последовательностью переводятся на язык вещей, реальных и осязаемых.

Засыпаю, а это значит:  
Засыпает меня, как песок,  
Сон, который вчера был  
начат,  
Но остался большой кусок...

Словно крошки с табачным сором,  
Вытряхнулись печаль и беда...

Даже не просто крошки, а еще конкретнее — с табачным сором, скорее всего солдатские крошки.

Играет музыка, гремит духовой оркестр — выдает «по пуду мажора на брата и по пуду минора», бьет марши, «тяжелые, словно арбузы». И так естественно в этом же стихотворении: «басовитая, мужеподобная лира» («Духовые оркестры»).

Мир, мироздание, вселенная — все это, беспрдельное, заземляется:

Мир, как дом, был досрочно принят —  
без проводки и санузла...

И даже непостижимое для нас, смертных, понятие вечности дается наглядно и предметно:

У времени вечный завод,  
как будто Второй часзавод  
его собирал на конвейере...

Романтик Светлов звал «несуществующее трогать». Слуцкий, наоборот, верит только в то, что видит воочию, трогает своими руками.

Ежели увижу — опишу  
То, что вижу, так, как вижу.  
То, что не увижу, — опущу.  
Домалевыванья ненавижу.

Перед нами программное заявление антиромантика. Чтобы не оставалось никаких недоговоренностей и неясностей, он заключает:

Прожил жизнь. Образовался этакий  
Впечатлений зрительных  
навал.  
Всю свою нехитрую эстетику  
Я на том навале основал.

Здесь все — и подчеркнуто снижающая рифма к эстетике «этакий», и полемически-простоватый эпитет «нехитрая» и грубо разговорное «навал» — предупреждает нас от воспарений.

Б. Слуцкий провел нечто вроде десятикратной денежной реформы слова, заменив звонкий гривенник скромной копеечкой. Там, где другой стал бы оплакивать тонущих в океане лошадей, он скуповато цедит: «Вот и все. А все-таки мне жаль их — рыжих, не увидевших земли».

«Все-таки» тут не случайно: «все-таки» жаль, несмотря на то, вопреки тому, что жалость и тем более публичное ее выявление как бы недожеланы.

Б. Слуцкий часто говорит о своей поэзии в характерной для него интонации — как будто разъясняя, растолковывая ее «нехитрые» начала. В стихотворении «Творческий метод»:

Поэты отличаются от прочих  
Людей  
приверженностью к прямоте  
И краткости.

Краткость — почти телеграфная. В другом месте поэт и называется «не телефонным, а телеграфным проводом»:

Восстания и войны,  
Рождения и гибели  
Единственно достойны,  
Чтоб их морзянкой выбили.

А вот для поздравления  
Мне телеграфа жаль  
И жаль стихотворения  
На мелкую печаль...

Тут, однако, закрадывается сомнение. Конечно, поэзия должна говорить о важном и действительно не размениваться «на мелкую печаль». Но если она пожалеет себя «для поздравления», если станет отрешаться от темы «и личной и мелкой» — не обеднит, не обделит ли она себя?

Впрочем, как бы вы ни сомневались в полной правоте поэта, вы чувствуете, что его слова о прямых путях стиха — не обмолвка. В них выражается суть его поэзии, его творческого «маршрута»:

Та линия, которую мы гнули,  
Дорога, по которой юность шла,  
Была прямою от стиха до пули —  
Кратчайшим расстоянием была.

Пройдя сквозь войну, Борис Слуцкий написал на войне только одно стихотворе-

ние — «Кельнская яма». Все остальное писалось после войны — поэт шел к ней дорогами памяти, воспоминаний. Его первая книжка, вышедшая в «Советском писателе» в 1957 году, называлась «Память». Эта книжечка, тоненькая, как брошюрка, какая-то «несовершеннолетняя» по объему, с коричневой обложкой — солдаты штурмуют город в огне, — была книгой поэта, резко определенно, определившегося, убежденно в своей правоте и прямоте.

И когда мы сегодня читаем сборник стихов 1944—1968 годов, составленный пятидесятилетним поэтом и носящий то же название «Память», — для нас это не просто поэтический тезка того, первого сборника. Вернее сказать, что перед нами та же книга — выросшая, раздавшаяся шири, но сохранившая свой крепкий костяк. Почти все стихи первой «Памяти» вошли во вторую: «Памятник», «Кельнская яма», «Госпиталь», «Как меня принимали в партию», «Я говорил от имени России...», «Баня», «Лошади в океане», «Блудный сын» (характерно, что Б. Слуцкий не ставит даты под стихами: он отказывается от оправдывающих ссылок на давность, исходит только из одного — живет стихотворение сегодня или нет, независимо от даты).

В этой краткой связи двух одноименных одновременных книг, в самой возможности заново повторить свою книжку-дебют, не переписывая ее, но дописывая, — внутренняя прочность, крепость и долговременность поэтики Бориса Слуцкого.

В предисловии к «Памяти» 1969 года Л. Лазарев верно говорит о роли войны в творческом развитии поэта, о военных источниках его образов и ассоциаций. Думается, что роль войны еще значительнее. Она не только подсказывала метафоры и сравнения — «прямая от стиха до пули» определила самый строй, порядок, поэтический уклад лирики Слуцкого.

В книге стихов «Современные истории» он продолжает отстаивать принципы своей поэзии. По-прежнему он против романтических взлетов, «смуты», нагромождений, против всего, что усложняет, обволакивает, прячет грубую, бьющую, как удар, суть вещей.

Хорошо быть протоном в потоке  
искусства,  
Быть частицей, элементарно пусть...

«Прямая», отстаиваемая поэтом, противостоит и «параболе» А. Вознесенского, и «овалу» Н. Коржавина.

Можно было бы еще и еще приводить примеры, иллюстрирующие важнейшую черту поэтического облика Бориса Слуцкого — приверженность «безжалостной» прямой. И поставить точку, удовлетворившись выводом, что эта прямая ограничивает его от других поэтических индивидуальностей — «параболических» и «овальных».

Но вряд ли это была бы вся правда о поэте. Он действительно ведет войну с романтикой. Но иногда объявляет перемирие. А то и вступает с ней в союз.

Речь идет не о тех случаях, когда с его пера срываются несвойственные ему слова. Например, в стихотворении «Кругосветный путешественник»: «А земля поклонилась тому земляку, дорогому до слез и родному до дрожи». Это просто неудачно, и никакой романтики нет в приведенных строчках, достаточно банальных.

Я имею в виду другие стихи, написанные в полную силу и опровергающие нашу характеристику поэта, который, мол, только и делает, что снижает, выпрямляет, опредмечивает высокие и отвлеченные понятия. Ведь это он, сказавший о себе:

Очков я не добрал. Очков  
врачи не подобрали,  
чтоб разглядеть без дурачков  
те голубые дали:  
наверно, в цифрах не сошлось  
в той лотерее странной.  
Мне увидеть не довелось  
те золотые страны.—

(«Существовали города»)

он же, возражая себе, пишет:

Хорошо быть юным, голодным.  
Тощим, плоским, как нож, как медаль.  
Парусов голубые полотна  
Снова мчат в белоснежную даль,—

в ту самую белоснежную даль, которая, казалось, совершенно была заслонена, закрыта черным дымом, белым паром.

Это он, не веривший в обманчивые паруса романтики, неожиданно заявляет:

Я вдруг надуваюсь, как парус.  
Я вдруг, как тростник, распрямляюсь,  
И с каждой великой задачей  
Я в полном объеме справляюсь.

(«Распрямление»)

Пускай этот парус существует в самом прозаическом контексте, рядом с подчеркнутым обиходным оборотом, все равно это — парус, дальний потомок того, лермонтовского, который в тумане моря голубом, в той самой «белоснежной дали».

Вот еще одно стихотворение Б. Слуцкого, одновременно и характерное для него, и, если можно так сказать, антихарактерное:

Сгорели в танках мои товарищи  
 До пепла, до золы, дотла.  
 Трава, полмира покрывающая,  
 Из них, конечно, проросла.  
 Мои товарищи  
   на минах  
 Подорвались,  
   взлетели ввысь.  
 И много звезд, далеких, мирных,  
 Из них,  
   моих друзей,  
   зажглись.  
 Про них рассказывают  
   в праздники,  
 Показывают их в кино,  
 И однокурсники и одноклассники  
 Стихами стали уже давно.  
   («Мои товарищи»)

Сгоревшие, погибшие не просто проросли травой — трава эта покрывает полмира; взрываясь, они загорелись звездами.

Здесь мы тоже узнаем интонацию Б. Слуцкого, его голос как будто со специальным ограничителем громкости. И в то же время мы ощущаем отличие этих строк от других, привычных для поэта, построенных на снижении понятий, когда, например, о смерти говорится:

Они болтали о смерти, словно  
 Она с ними чай пила ежедневно,  
 Такая же тощая, как Анна Петровна,  
 Такая же грустная, как Марья  
   Андревна.  
   («Старухи без стариков»)

В чем же дело? Автор не сводит концы с концами? Поэтическая прямая начинает гнуться?

Нет ничего бессмысленней, чем ловить поэта на противоречиях. На нашей читательской памяти достаточно стихотворцев, у которых все сходилось, делилось и извлекалось без остатка, а радости от этого не было никакой.

Мне кажется, что отмеченное противоречие — признак того, что поэт Борис Слуцкий не исчерпывается собственными харак-

теристиками. Они верны как исходный момент, ведущий творческий принцип, но не имеют, да и не могут иметь силы универсального закона. И напрасно он называет себя «элементарной частицей» в потоке искусства. Не потому только, что время наше сложное, а и потому еще, что и сам он далеко не прост. Его рассуждения о поэзии подчас назидательней, проще, категоричней, чем поэзия вообще и его — в частности.

Сборник «Современные истории» построен предельно четко — состоит из четырех разделов, которые можно было бы озаглавить: «Родина», «Поэзия», «Война», «Время». Композиционно книга напоминает большое четверостишие. Четыре раздела — четыре кита, на которых стоит поэзия Б. Слуцкого.

Каждый из этих разделов заслуживает основательного разбора, я остановлюсь лишь на втором. Стихи, напечатанные здесь, имеют непосредственное отношение к вопросу о «прямой» в поэзии. В лучших из них звучит убежденность в извечной и не ослабевающей в нашу эпоху мощи поэтического слова. Автор «Физиков и лириков», с горечью признававшийся:

Значит, что-то не раскрыли  
 Мы, что следовало нам бы!  
 Значит, слабенькие крылья --  
 Наши сладенькие ямбы... —

пишет сегодня совсем иное:

В эпоху такого размаха  
 столкновений добра и зла  
 несгораема только бумага.  
 Все другое сгорит дотла.

Только ямбы выдержат бомбы,  
 их пробойность и величину,  
 и стихи не пойдут в катакомбы,  
 потому что им ни к чему.

Здесь «слабенькие крылья» ямба обретают такую силу, что само это слово «ямбы» перекрывает «бомбы».

Слуцкий не боится уподоблять стих технике, сверхпрочному металлу, сложным аппаратам («Солнечные батареи и большие поэты работают прямо от солнца»).

Все это читаешь, как говорится, с чувством глубокого удовлетворения. Но в какой-то момент определения стиха перестают тебя радовать.

Краткость, портативность стиха,  
 его переносность...

Не слишком ли просто?

В стихотворении «Изящная словесность»:

В этом деле, как в саперном деле,  
никому еще не удавалось  
ошибиться дважды.

Может быть, это и выигрышное уподобление — поэзия и саперное дело, но есть в нем большая неточность.

Маяковский тоже сравнивает стих с оружием. Но когда он говорит о военном поэтическом параде: «Стихи стоят свинцово тяжело, готовые и к смерти и к бессмертной славе», — мы чувствуем, что стихи здесь — между двумя бесконечностями.

А «краткость, портативность стиха, его переносность» — слишком «конечные» определения. Поэзия — вся — езда в неизвестное — превращается в слишком знакомое дело. Почему поэт, как сапер, не может ошибиться дважды? Разве Маяковский, Есенин, Пастернак, Хлебников мало ошибались?

В некоторых определениях стиха, даваемых поэтом, и в некоторых других его признаниях настораживает успокоенность — хорошо, конечно, что автор убежден, но спокойное пребывание в своей убежденности таит порой и опасность — рискуешь впасть в излишнюю уверенность.

Когда ты в расчете с самим собой  
и расплатился с собой до рубля —  
стой неизменно, как собор,  
под которым вся земля.

Сильные стихи, убежденные, но вдруг — вспоминаешь Маяковского:

За всех расплачусь,  
За всех расплачусь...

Очевидно, мало поэту рассчитывать с самим собой, он еще отвечает за время, и об этом в лучших стихах «Памяти» сказано достаточно веско и сильно.

Снова мы подходим к выводу: в некоторых своих стихах автор стремится сказать о поэзии (иногда — о жизни) с исчерпывающей краткостью. А она не исчерпывает, эта краткость. Прямота — великое качество — не охватывает, оказывается, всей поэзии, как, впрочем, и другие определения — простота, сжатость, твердость, «портативность стиха» и «его переносность».

В последнем разделе «Современных историй», где поэт говорит о времени, есть небольшое стихотворение, всего десять строк:

Повезло мне, счастье привалило.  
Словно небо в щелчку рavelина,  
повалило счастье на меня.

Навалило счастья, словно снега  
после ночи, двух ночей пурги.

Завалило счастьем, как породой  
в старой шахте.

Обваляло счастьем, как мукой.

Дурака со мной свалило счастье.  
Лучше не играло бы со мной!

«Счастье» нравится мне уже тем, что автор не старается исчерпать поэзию стихотворением, отказывается от резологичной категоричности и безоговорочной окончательности. Конец стихотворения не оказывается «конечным». И автора никак не назовешь «элементарной частицей» даже в самом условном, переносном смысле.

«Память» — книга-итог. «Современные истории» — сборник новых стихов, книжка-начало. Не станем пытаться подкашивать поэту, в каком направлении ему следует двигаться дальше. Пользуясь военной терминологией, поэты — орудия самоходные. Ограничимся только одним замечанием: сравнение поэта с телеграфным проводом недостаточно. Лирика богаче морзянки — при всем уважении к языку важных и срочных сообщений.

И хорошо, что лучшие стихи Бориса Слуцкого говорят именно об этом.

### 3. ПАПЕРНЫЙ.

★

## МОСКВА, МОСКВА...

Д. Голубков. Милёля. Роман. «Советский писатель». М. 1969. 286 стр.

Была старая Москва — со студией Художественного общедоступного театра, с Алексеевским военным училищем, с фарфором фабрики Гарднера, «Биржовкой» по утрам за завтраком, с колоколами Елоховской церкви, с дымным трактиром на Ка-

ланчевке, с шляпинскими концертами, со студенческими маевками в Сокольниках.

И была Леля.

О ней — роман. Небольшое по объему произведение — около трехсот страниц. Но разве об одной Леле, Милёле, роман? Это

и роман о братьях Милели, о семье мужа Андрея, о его брате Степане, о детях детей. Роман о трех поколениях коренных москвичей, включая нашу послевоенную молодежь с ее новомосковским «сленгом», с ее раздумьями, спорами и новыми горизонтами. Многие вмещает в себя этот небольшой роман — лебют в прозе поэта Дм. Голубкова.

Роман построен как семейная хроника. Мы как-то отвыкли от родословных, нас мало занимают деды и прадеды наших современников — что там старая Москва с ее Параскевой Пятницей, что там крепостное право. Почувствовать, как «кровь дела вихорнулась» во впуке, живущем в напидни в «столице нашей родины», — это уже то, что можно поставить в заслугу писателю. Вся нитка сюжета, размышлений о назначении жизни в романе «Милеля» вытянута по вертикали, как в былых русских романах. И получилась книга об отчем-дедовском доме, о старых гнездах, о людях.

«Вот живет человек. Вроде травы. Знаешь, есть такая травка, ее и не видишь, не примечаешь. А скосят — и так она пахнет, сладко, внятно, даже голова кружится. Надолго запах запоминается. Вот и иной человек...»

Кажется по началу романа, что и наша Милеля со всей ее московской и подмосковной родней из двух семей — Скворцовых и Триодинных, — со всем их бытом-прозябанием всего лишь по замыслу автора травка. Пусть и пахучая — и все-таки не больше, чем трава. Тогда, при всей несомненной одаренности автора, это произведение не заслуживало бы никакого одобрения. Мы знаем этот нищичный взгляд, унижающий человека, по многим талантливым образцам западной литературы.

С тем большей радостью, вчитываясь в хронику трех поколений, начинаешь постигать иную, глубоко неравнодушную позицию автора. Роман этот потому и в русской традиции, что он — разбирательство о жизни человеческой, все едино, из какого поколения, разбирательство о том, как жить, чем жить, зачем жить? Убывает ли добро в размножившемся человечестве, как убывает кислород в воздухе больших городов? Или нет — не убывает. Перепаханы ли души, как перепаханы земли? Или же не перепаханы.

В нравственное поле романа входят и самые молодые люди — нынешние Вадим, Саня, Римма. Напряженные споры моло-

дых людей, обсуждающих жизнь стариков — в том числе тети Милели, — в конце романа занимают многие его страницы, но не напоминают надуманные диалоги недавних рыцарей «кальвадоса» из повестей некоторых «модных» молодых.

Нет, перед нами серьезное произведение.

Деллет его таким именно глубокое внимание к людям. Прежде всего они не подразделяются, как часто принято, на людей города и деревни, не разделяются они и по социальной схеме. Все гораздо сложнее. Социальная гуща вмещает в себя, например, мужа Милели — попа-расстригу с великолепным голосом: мог бы стать солистом императорских театров, стал волею судьбы деревенским попом. А когда расстригся — душа была подготовлена, давно уже надоело, — «сбросил рясу и словно голый остался, и никакой одежды под рукой». И тогда он поступает в цирк — зверей лечить. А в войну он фельдшер на фронте.

Поп Андрей «голос прогулял», а брат его Степан, коммунист с восемнадцатого года, человек деятельной жизни, из тех, что по праву от имени народа управляли государством, что-то большее, в самой душе, прогулял в трудные годы. И хотя об этом сказано очень косвенно, даже туманно, но верно и в это.

Художественный принцип, сообщающий чувство правды жизни — правды искусства, состоит у Дм. Голубкова в том, что в жизни трех его поколений многое «устроено несклеписто», не по схеме. Живут герои Дм. Голубкова «в нижнем этаже», но вот вместе с внятной философской идеей романа, вырастая рядом с ней и в ней самой, растет перед нами и образ Милели. Разве же трава она? Вот брат Николай высказывает ей то, что позже признает и читатель: «Не будь тебя, все гнездо ветром бы сдуло, все б мы... Может, и Руси не жить, если б перевелись такие, как ты, тетки...» Только на этой странице мы узнаем, что тетка «крутится по депутатским делам» и «сшибла» формалиста — председателя сельсовета, который не хотел помочь отстроиться погорельцу с большой семьей и не разрешал старикам пасти своих коров в колхозном стаде.

А вот коммунист Степан «объясняет» Милеле ее самою: «Такие, как ты, это... Как маленькие печки. — Степан улыбнулся, словно извиняясь за неловкое уподобление. — Помнишь, были в войну такие печки —

«буржуйки». А еще «пчелками» их кто-то окрестил... Войдешь, бывало, в город. Все разграблено. В доме холодище, пустыня. И все мы хмурые, злые. В глазах стужа и жесткость. Глядь — тащит кто-то железную печурку: «пчелку» раздобыл! И все оживятся. Кто щепочек несет, кто газету... Она мало берет, а дает много. Тепло от нее так и пышет».

Проходят годы, и уже в наше время ученая наша молодежь в лице Милелиного племянника — Вадима — скажет свое суждение: «Даже самое маленькое добро порождает круги». Кто же ему «мозги впривил»? Да именно Милеля — жительница старого дома в Дугине, предназначенного на слом.

Многократно развернут и опозитизирован в романе Дм. Голубкова и в пейзаже, и в его осмыслении образ растущей нашей Москвы, которая вбирает в себя старые пригородные посадки и деревушки.

«А как широко веяло здесь когда-то клевером и теплым хлебом, как кричал в ольхах дергач — мерно, рывками, словно проволоку вытягивал и обрывал. И дальше волновалось веселое подсолнуховое поле, и бархатно рыхлела темная полоса сплошного ельника. Теперь не было этого золотого, качающегося, манящего взгляд «дальше». Впереди маячили бело-голубые, ровно-прямоугольные корпуса микрорайона...»

Милеля дивится — в молодости жалела, что уехали из Москвы, а теперь столица сама к ней припожаловала.

Дети детей. Все эти новомодные Вадимы, Риммы, Сани... Пожалуй, в их обрисовке автор несколько изменяет себе, отклоняясь от богатой сложности жизни, схематизируя некоторые черты молодого поколения. Хочет понять причину этого искажения: Дм. Голубков подсказывает мысль, что в поисках дополнительных ресурсов нравственной силы многим представителям послевоенного поколения москвичей не худо бы припожаловать иногда и к старой тетке Милеле, вникнуть в значительность и правду ее жизни.

Очень сильно звучит в романе мотив гуманистического неприятия зла, разоблачения механизма его воздействия. Вот послушайте:

«Понимаешь — зло легче усваивается. Оно хитрое, клейкое. Оно любит на какую-нибудь идею опереться. Возьмем, к примеру, политику. Гитлер сумел как-то лживой идеей чуть не всю страну заразить. Вроде

как все заболели гриппом и друг дружке передают... И самое крошечное зло, сделанное одним, — это уже микроб общего, большого зла. Они совесть выедают, эти микробы. И вот — почти полная гражданская бессовестность. Плюс бессловесность. На каждого обывателя — по дольке. Все становятся соучастниками. Как бы акционерами зла».

Пишет Дм. Голубков зримо, ясно, вещно. Это совсем не похоже на «прозу поэта», которую у нас принято хвалить. До осязаемости он доводит наше знание о вещах, о лицах. Вот хотя бы один пример:

«Сосед покойного, слушатель партшколы, белобрысый лысоватый парень с высокомерным лицом, взял крышку гроба, украшенную алюминевыми веночками, надел ее, словно корыто, на голову и двинулся к воротам. Детишки толклись по двору, пытались заглянуть в окошко сарайчика, где лежал мертвый. Особенно старался мальчуган с белесым лишаиным шрамом, выстриженным на затылке. В окошке мелькала зажженная свеча; качнулся серебряный крест, послышалось гудение священника. Скрюченная старушка поймала его руку и, всхлипнув, поцеловала. Оранжевобородый батюшка в потертой рясе, похожей на старое байковое одеяло, гудел под нос: «Новопреставленный Николай... Блаженный Василий... Младенец Александра...»

На этом можно было бы и заключить, если бы не хотелось сделать маленькое предостережение: ставка на крайнюю степень живописности прозы таит в себе опасность потери меры. У Дм. Голубкова в его прозе это тоже чувствуется: в ней слишком много «эссенций». Вадик «вприскок помчался по коридору», «сухонько кивнула соседка Клавдия Алексеевна — Класевна». «Жуть одна — жутядна..», «Дверь зябка скрипнула», «А тут, лишь оторвался поезд от грязной платформы, от черных, не то каменных, не то железных сараев — время понеслось ветром, сразу стало светлей, и яркая, синяя в тенях, оранжевая на свету белизна резанула по глазам». И дальше: «Здесь потемки шли вольно, сплошной стеной, грозно опускались на поле, всасывая редкие черные елки и глинисто-желтые осины». Перегущено!

Но эти издержки не в счет, они не мешают ощущению, что ты прочитал хорошую, добрую книгу.

**Ник. АТАРОВ.**

## ТРАГЕДИЯ ВЕЛИКОГО МОРЕПЛАВАТЕЛЯ

Яков Свет. Севильская западня. Тяжба о Колумбовом наследстве. «Молодая гвардия». М. 1969. 304 стр.

«Севильская западня» — это повесть о последних днях Христофора Колумба и о его тяжбе с испанской короной, тяжбе поистине беспрецедентной. Она началась при жизни великого мореплавателя и тянулась сто семьдесят два года, принесла немало страданий и мук сыновьям, внукам, правнукам и праправнукам Колумба.

«Благодарные» монархи Испании оспаривали те права и привилегии, которые они пожаловали Колумбу весной 1492 года, накануне его первого плавания к берегам Нового Света. Корона применяла любые средства — дозволенные и чаще недозволенные, — дабы умалить заслуги Колумба, опочить его имя и очернить его замыслы.

Документы знаменитого процесса почти четыре столетия хранились за семью замками в испанских архивах, и только в самом конце XIX века кое-какие материалы Колумбовой тяжбы были опубликованы в Мадриде. Как ни странно, но современные биографы Колумба прошли мимо этих любопытнейших документов, проливающих свет не только на трагическую судьбу Колумба, но и на многие аспекты политики испанского абсолютизма.

Я. Свет, работая над «Севильской западней», шел непроторенными путями, стремясь не только восполнить большой пробел в «колумбианской» литературе, но и воссоздать силой художественного воображения историческую обстановку великих открытий и первых завоевательных походов в Новом Свете. Эти задачи автор решил весьма успешно.

В немалой мере успех повести объясняется тем, что эпоха Колумба полностью входит в круг постоянных интересов автора. Я. Свет — переводчик дневников и писем Колумба, его перу принадлежат многие специальные исследования из истории великих географических открытий. Автор великолепно знает источники времен Колумба, и это определяет безусловную достоверность «Севильской западни». Однако даже не в этом заключаются прежде всего достоинства исторической повести Я. Света, а в том, что автор сумел передать живой дух бурной эпохи и нарисовать выразительные и колоритные портреты самого великого адмирала «моря-океана» и его современ-

ников — непосредственных участников судьбоносной трагедии далеких времен.

Наибольшая удача повести — образ Колумба, доживающего свой трудный век в опале, великого искателя, обреченного на унижительное бездействие, истомленного отчаянными просьбами о признании его бесспорных прав. Человек этот, пишет Я. Свет, «живет на грани двух эпох, и грань эта врезана в его душу. Быть может, поэтому он безмерно удивляет своих современников. Удивляет близких друзей и заклятых врагов, великих ученых и дремучих невежд, испытанных мореходов и простых матросов.

Он никого не обманывал, утверждая, что Куба лежит на краю Китайской империи, или доказывая, будто от берегов Панамского перешейка десять дней пути до устья Ганга. Он вечно обманывался сам, и сам же дорогой ценой расплачивался за свои упрямые иллюзии».

Это точная и верная характеристика. Она отражает особенности духовного склада человека, мировоззрение которого выросло на рубеже двух эпох, двух общественно-исторических формаций. Мечтатель, слававший хвалебные гимны золоту, и бесребренник, одержимый грезами о земном рае, человек своего времени, свято веривший в древние схемы Птолемея, в темные суеверия веков, в догматы церкви и своими открытиями опрокидывавший географические предубеждения и каноны былых эпох, — таким был Колумб. Непоправимую ошибку совершают исследователи, либо причисляющие Колумба к лику безгрешных праведников, либо не жалеющие черной краски, рисуя его облик.

В судьбе Колумба немалую роль сыграли не только его личные трагические заблуждения. Беда была еще и в том, что все плоды Колумбовых открытий присвоили католические короли Изабелла и Фердинанд и клика алчных царедворцев, сплотившаяся вокруг трона в годы создания кастильско-арагонской державы. Меткая, хоть и сжатая оценка подлинной сущности этих слуг и апостолов испанского абсолютизма содержится в той главе повести Я. Света, где эти деятели слетаются к ложу умирающей королевы Изабеллы. «Не евангельской кротостью дышат лики ее (королевы. — М. К.)



двенадцати апостолов. На этой тайной вечере решаются их грядущие судьбы. Из праха, из ничтожества вышли эти черпильные дунни, эти мастера цифирных дел и дипломатических козней, эти главные сутяги и генеральные инквизиторы... Нет, не сложат перед доном Филиппом Бургундским своего оружия ее верные апостолы, ее ценимые псы, натасканные на травле нехристей и еретиков, обученные волчьей хваткой стискивать горло врагам короны»

Нравственный климат государства, во главе которого стояли эти охранители основ единоверия и единодержавия, отлично и красочно передан в повести. И Колумб, и его старший сын Диего, «наследник всех отцовских злосчастий», становятся жертвами жестокой системы, насаждавшей всеобщее доноительство и основанной на безудержном произволе.

В обществе, которое возводит безнравственность в государственный принцип, а законы использует для прикрытия беззаконий, Колумб был обречен на проигрыш тяжбы. Режиссеры судебной комедии вели свою игру умело, прибегая к тонким и неотразимым приемам.

Интересны портреты «оппонентов» Колумба — главного организатора процесса епископа Хуана де Фонсеки, правой руки короля Фердинанда, его секретаря Лопе Кончилиоса, королевского клеветника, угрюмого молчуна Мигеля Пасамонте. Быть может, несколько сгущены краски при обрисовке самого короля Фердинанда, но в его художественном образе есть убедительность и он совпадает с характеристикой, данной королю самим Макиавелли.

Удачно вплетена в ткань повествования история борьбы за власть между Фердинандом и его зятем Филиппом Габсбургским. История запутанная и темная, с жестоким финалом, и разыграна она теми же лицами, которые в процессе Колумба отстаивали интересы венценосных ответчиков.

Тяжба Колумба разворачивалась в годы зарождения испанской колониальной империи. Автор повести закономерно уделил большое внимание горьким судьбам индейцев Нового Света, ставших жертвами испанских колонизаторов.

Печален исход неравной борьбы Колумба за свои права, печальна доля его наследника дона Диего, печальна участь индейцев Эспаньолы и Кубы, сумрачна атмосфера феодальной монархии, в которой пылают

костры святой инквизиции — ведомства, обеспечивающего тотальное единомыслие. И тем не менее, читая повесть, ощущаешь, что действие происходит в век великой переоценки всей старой системы. Талые воды бурлят под ледяным панцирем. Ростки свободной мысли уже невозможно затоптать охранителям феодального строя.

Глубокую симпатию вызывает один из героев повести — сельский священник дон Андрес Бернальдес, мудрый скептик и верный друг униженного и одинокого, больного и слабого адмирала «моря-океана». Думается, что дон Андрес выдвинулся в повести на первый план в какой-то мере вопреки замыслам автора, однако это не имело, к счастью, негативных последствий.

Остается в памяти и четвероногий спутник Бернальдеса — его старый мул Матаморос, наперсник сокровенных дум своего доброго хозяина.

В повести имеются и погрешности. Они касаются реалий быта и легко устранимы при переиздании, которое, мы уверены, потребуется. В «Севильской западне» при дворе короля Фердинанда рекою льется шампанское, но оно тогда еще не изготовлялось. Оводы не сосут кровь животных, в чем их упрекает автор, а лишь откладывают на кожу свои яйца. Коперник не доказывал и не мог доказать свою гипотезу — доказательства придут лишь в XVII веке, когда их даст Кеплер. Не опроверг Коперник и церковной догмы о трех китах, на которых якобы стоит наша планета, ибо легенда об этих трех китах — позднейший фольклор, в библии ее нет, и церковь ее никогда не пропагандировала. Задолго до Колумба утвердилось мнение о шарообразности Земли, и в XV веке об этом знали даже школьники. Напрасно автор подчеркивает неприязнь испанцев к пиву, напиток фламандцев: пиво варили в Испании испокон веку, различных сортов, и пили в огромных количествах. Не убедил нас автор в том, что король Филипп Красивый («дон Петушок») отравлен по повелению его тестя Фердинанда. Рапорт лейб-медика Парра, на который ссылается Я. Свет, не доказывает факта отравления.

Эти промахи немногочисленны, не слишком существенны и не умаляют достоинств живой и яркой повести о горестной судьбе Христофора Колумба.

**М. КОГАН.**

Ленинград.

## ПОД ГЛЯНЦЕВОЙ ОБЛОЖКОЙ

И. Лупанова. Полвека. Советская детская литература. 1917—1967. Очерки.  
«Детская литература». М. 1969. 672 стр.

Такую книгу ждали давно. Ждали с нетерпением — как несколько лет назад возобновления журнала «Детская литература». Да ведь и то сказать: пятидесятилетний юбилей — поистине уникальный феномен в истории мировой литературы — не удостоился пока что ни одного исторического исследования, кроме книги Л. Кон, охватывающей лишь первое пореволюционное десятилетие, небольших биографических очерков да нескольких слабеньких учебников.

И вот появляется объемистый том в яркой глянцевої суперобложке и, как любят выражаться издатели, богато иллюстрированный портретами детских писателей и обложками детских книг. Издание явно юбилейное. Что ж, юбилей не может помешать подвести итоги, оглянуться на пройденное, добрым словом помянуть тех, кто внес особенно весомый вклад в нашу литературу для детей.

Впрочем, И. Лупанова оговаривается: она решила рассказать не только о «командах производства», но и о «мастеровых» литературного «горячего цеха», «о том, как все они вместе выполняли на разных этапах развития Советского государства большую работу по воспитанию детей». Замысел вроде бы вполне резонный. Только ведь в литературном цехе, в отличие от цеха обычного, основную работу выполняют не рядовые «рабочие» или «мастеровые», а именно «командиры», ибо главное тут вовсе не в занимаемой должности, а в таланте. Кроме того, на практике у И. Лупановой получилось так, что масса просто хороших, средних и даже плохих писателей поглотила чуть не всех «командиров». Человеку, впервые знакомящемуся с нашей детской литературой по этой книге, при всем желании невозможно уловить подлинную «расстановку сил». И если С. Маршак, А. Гайдар, С. Михалков, А. Барто, Л. Кассиль сравнительно меньше пострадали от подобного «гуртового» метода исследования детской литературы, то прочим мастерам нашей детской книги повезло значительно меньше. На долю В. Бианки («признанного шефа юных советских натуралистов», как справедливо именует его

автор), Е. Чарушина («мастера природо-ведческой книги», опять по словам самого автора) пришлось по одному-два абзаца текста; немногим более получили Л. Квитко, М. Ильин, С. Григорьев, Е. Шварц и Д. Хармс; о К. Чуковском говорится только в начале книги, словно в сороковых — шестидесятых годах он уже никакой роли в детской литературе не играл.

Могут, конечно, заметить, что объем даже такой весьма солидной по размерам книги далеко не беспределен: обо всех подробно не скажешь. Но нашлось же место для многочисленных иллюстраций из детских книжек (один перечень их занимает в книге восемь страниц!) и для огромных — во всю страницу — портретов детских и даже многих недетских писателей. А кроме того, нехватка места отнюдь не объясняет, почему многим далеко не выдающимся произведениям («Плен» Л. Гумилевского, «Демид Шапки» А. Кожевникова, «Судьба товарища» Е. Немировой и другие) уделяется внимания больше, чем всему творчеству некоторых писателей, оставивших значительный след в литературе для детей. Разумеется, в историческом исследовании полезно вспомнить о книгах, заметных на том или ином этапе развития литературы, а после утративших свое значение, но все-таки роль В. Бианки, С. Григорьева или Е. Шварца в литературе для детей, право же, выше, нежели роль Е. Немировой или А. Кожевникова...

Но даже о писателях, которые привлекли более пристальное внимание исследовательницы, говорится только в общем обзоре. Связное представление о роли того или иного, даже самого крупного, художника в литературном процессе вы можете получить лишь в том случае, если прочтете всю книгу подряд (а это тем затруднительней, что никакого, даже самого элементарного, указателя в этом огромнейшем фолианте нет).

Нельзя сказать, чтобы И. Лупанова не сознавала этого недочета. Нет, она сознает, но оправдывает его — правда, несколько оригинальным образом. «Есть ли смысл,— говорит она,— пересказывать критико-биографические очерки В. Смирновой, Б. Соловьева, Е. Приваловой, А. Ивича, М. Петровского, Вл. Николаева, Б. Галанова и др.?

Не проще ли отослать читателя к первоисточникам?»

Но почему надо непременно пересказывать критические очерки? Разве не найдется у И. Лупановой своих слов о каждом из писателей? Характер книги вовсе не требовал давать эти очерки в объеме брошюр. Кратко же охарактеризовать творческий путь корифеев нашей детской литературы было бы, как нам кажется, не только нелишне, но совершенно необходимо.

Впрочем, и при рассмотрении того, что в этой книге есть, читающего не оставляет ощущение, что слово «пересказывать» было у И. Лупановой не случайным. На протяжении всей книги, за крайне редкими исключениями, ее анализ художественного произведения ограничивается именно пересказом содержания, а то и просто голой фактулы, все рассуждения автора почти всегда строятся вокруг темы.

Из общего ряда следует выделить, на мой взгляд, две книги: повесть М. Гершензона «Летчик Мишка Волдырь» (1926) и повесть П. Голубева «Буран» (1925). Первая, не отличаясь от многих других в смысле облегченности показа перевоспитания беспризорных в массе, очень выигрывает от введения в нее мотива влияния на заблудившегося в жизни подростка взрослого положительного примера. Сказано не слишком вятно и живо, но вполне соответствует подходу автора к художественному произведению. Ни малейшего намека на самую возможность эстетического взгляда на детскую книгу обнаружить тут не удается.

Фантазия И. Лупановой по части придумывания «тем» и подгонки под них живых детских книжек, даже самых веселых и беспечных, поистине неисчислима. Есть у нее тема «дальних стран» и тема «национальной окраины», тема борьбы за мир и тема «родных детей», тема «ответственности взрослой жизни и взрослого долга» и даже тема «увлечения ребят пчеловодством»... Встречаются у нее также «проблемы», «идеи» и «мотивы», порой довольно своеобразные. Есть, скажем, «проблема судьбы товарища», «проблема горя» (!) и «идея борьбы с черным цветом в мире», ярко проявившаяся, как ей кажется, в поэме А. Барто «Петя рисует». Поскольку И. Лупанова, по всей видимости, горячо одобряет эту идею, несколько неясно, куда же, по ее мнению,

идея должна быть отослана при этом людям с черным цветом кожи?

Наилучшим расположением автора пользуются те произведения, где наиболее полно и правильно раскрыта тема, либо те, где затронута наиболее важная проблема — будто детские книжки и не писатели пишут, а политики или политэкономы. А уж если «автору удалось увязать» в своем произведении сразу две темы — допустим, «тему борьбы против расизма с темой борьбы за мир», попутно «сцементировав их идей интернационального братства простых людей земного шара», — такая книга, конечно же, удостаивается у И. Лупановой самой высокой оценки.

И так с первой до последней страницы. Отдельные и, надо прямо сказать, поразительно редкие исключения — когда если и не исследуются, то хотя бы упоминаются художественные достоинства книг, можно буквально по пальцам перечислить, они точно крохотные островки в необъятном океане. «Эта сторона замысла повести Катаева позволяет выделить книгу из ряда уже названных выше не только по причине ее очень высоких художественных достоинств, но и как первую в советской детской литературе попытку показать духовное прозрение и возмужание ребенка из непролетарской семьи, происходящее не в конфликте с последней, но, напротив того, стимулируемое ею» (Разрядка моя. — С. С.). Даже здесь, в разговоре о повести «Белеет парус одинокий», заметно выделявшейся среди историко-революционных детских книг той поры, о художественной стороне речь заходит походя, мимоходом — основной упор делается на тему, на сюжет.

Сталкиваться со столь однобоким подходом к детской литературе в книге, помеченной 1969 годом, более чем странно. Хотя, с другой стороны, такой подход как раз и объясняет, отчего И. Лупанова почти не касается творчества В. Бианки или Е. Чарушина: произведения-то их не сведешь к анализу «глубины постановки вопроса», да и «сюжеты» их пересказывать нелегко...

С поэтами тоже не просто. Но в конце концов И. Лупановой удастся и их произведения охватить тематической рубрикой. И вот результат: веселые стихи К. Чуковского («Телефон» и «Путаница»), Д. Хармса («Врун»), С. Маршак («Три зверюшка», «Человек рассеянный» и «Багаж»), Ю. Вла-

димирова («Евсей» и «Чудаки») попали в главу «Полюбите, дети, труд...». Случайно попали, по недосмотру? Нет, отчего же. Двумя страничками ниже автор специально разъясняет: «Являясь гимнастикой для развивающегося детского ума, смешные стихи Чуковского, Маршака, Хармса, Владимировича предлагали малышу столь необходимые для него витамины смеха далеко не в разжеванном виде: нужно было подумать, взять на вооружение маленький жизненный опыт, сравнить факты, противопоставить обнаруженному алогизму правильное представление о связи вещей и явлений реально мира,— словом, потрудиться!»

После этого уже просто любопытно становится: а куда же отнесет автор, скажем, касилевскую «Швамбранию»? Оказывается, к теме «дальних стран», как и одноименную повесть А. Гайдара, и повесть К. Чуковского «Солнечная», рассказывающую о детях — пациентах костнотуберкулезного санатория. Причем и здесь все неотразимо аргументировано: например, повесть Л. Касиля отнесена к этой теме, оказывается, потому, что земля Швамбрения, открытая «в квартире врача из слободы Покровской двумя его сыновьями», вошла «в жизнь героев как заменитель «дальних стран», удачный их эквивалент...»

Не менее любопытно узнать, что замечательная сказка В. Одоевского «Городок в табакерке» относится «к производственной теме»; что Мишка, герой широко известных веселых рассказов Н. Носова «Мишкина каша», «Дружок», «Телефон», «Огородники», — прямой наследник гайдаровского Тимура, ибо рассказы эти исследовательница относит к теме «искатели мозолей — наследники Тимура»; что папа из повести В. Голявкина «Мой добрый папа» — духовный родственник Иванушки-дурачка...

Есть, однако, в книге И. Лупановой находки и посущественней. Исследуя рассказы и повести Н. Носова, она открывает несколько совершенно неизвестных литературоведческой науке видов юмора: «юмор интеллектуальной жизни героя», «юмор эмоционального восприятия полезного дела» и, наконец, «юмор его осмысления». Заглянув на страницу 451-ю, где совершаются все эти открытия, читатель может совершенно самостоятельно открыть еще один вид юмора — юмор неумелого теоретизирования...

Исследовательница упорно считает, что детская книга лишь тогда хороша, когда де-

ти получают возможность подражать кому-то из ее героев. «Читатель может выбирать себе в товарищи... либо Юрку, либо Петьку», — пишет она про «Повесть об Атлантиде» Ю. Томина. И — чуть дальше — о другой книге того же писателя — «Борька, я и невидимка»: «Читателю этой книги тоже есть из кого выбирать». А если выбирать не из кого — книга плохая? Скажем, в любимейшей сказке ребят — в «Бременских музыкантах» — кого прикажете «выбирать себе в товарищи»: осла, кота, петуха или, может, разбойников?

Обильно цитируя отзывы критики о рассматриваемых ею произведениях, И. Лупанова не просто ссылается на чужие оценки, но и снисходительно «рецензирует» их, ступая как бы в роли верховного судьи над давно опубликованными статьями. «А. Ивич правильно назвал приведенную сцену «философским центром» рассказа. И столь же верно заметил, что эмоциональная его кульминация — в конце повествования, когда появляется та самая Манька, которую прочит Мотя в свои заместители» (Разрядка моя.— С. С.; о рассказе Л. Пантелеева «На ялике»).

При всем том в этой объемистой книге не нашлось места даже для самого беглого разговора о роли критики в развитии литературы для детей и о тех, пусть и не слишком пока многочисленных, представителях критического жанра, которые посвятили себя этой архиважной отрасли литературы. Посочувствовать критикам могут детские художники, оказавшиеся в сходном положении: работы их широко «цитируются», а о них самих — ни слова! Будто художник в детской книге равным счетом ничего не значит.

Язык этого солидного труда, причисленного автором к очерковому жанру, явно неоднороден. Пока И. Лупанова пересказывает содержание разбираемых ею произведений, пока ссылается на чужие мнения — все идет более или менее хорошо. Но стоит ей начать рассуждать самостоятельно — язык перестает слушаться своего владельца и начинает выдавать фразы отнюдь не очерковые: «Удалось заполнить «производственную» книжку не просто вещами, но живыми, запоминающимися образами»; «...оснащенная смешными реалистическими деталями история»; «По мощь коллектива заблудшему товарищу идет в основном... по линии за-

бот»; «...пугающее превалирова-ние сухой рассудочности над свойственным возрасту эмоциональным восприятием мира»; «Названное несоответствие вскрывается не в процессе реализации рекламируемых способностей, но по ходу самой автохарактеристики»; «Под углом зрения осуждения бесконфликтности...» (Во всех случаях разрядка моя.— С. С.).

Удивительно? Да несколько! Просто на помощь автору, озирающему детскую литературу взглядом сугубо утилитарным, приходит «стиль, отвечающий теме»... Порою сам автор настолько запутывается в этом стиле, что начинает говорить даже двусмысленно. «Сцене, где Галя уходит, бросающая на мать небрежный стол, соответствует сцена, где Галя находит Анку за стиркой белья» (о повести Р. Фрармана «Дальнее плавание») (Разрядка моя.— С. С.).

Критического анализа И. Лупановой хватает в основном только на первую половину ее исследования. Если о недостатках детских книг двадцатых — тридцатых го-

дов она говорит полным голосом, о недостатках книг сороковых — пятидесятих годов — вполголоса (причем многое тут списывается за счет некоего педагогического деятеля Т. Корнейчика, под пером исследователницы обретающего прямо-таки монументальные черты, точно он один был во всем виноват), то о просчетах и проблемах сегодняшней литературы для детей уже и вовсе ничего не говорится — тут все писатели одинаково хороши: С. Баруздин и Ю. Яковлев, Р. Погодин и В. Голявкин, А. Алексин и Ю. Коринец, В. Драгунский и И. Дворкин, В. Степаненко и Ю. Томин, Ю. Сотник и Е. Чеповещкий, Г. Мамлин и Э. Шим,— все смешалось в волнующем единстве и многоцветии... Нашей детской литературе развиваться уже некуда, она достигла непревзойденных высот — вот закономерный и, по-видимому, единственный вывод, который тут можно сделать. И приходит на память глянцева обложка, в которую укутан этот солидный юбилейный труд...

С. СИВОКОНЬ.



## ИГРА И ЖИЗНЬ

Герман Гессе. *Игра в бисер. Перевод с немецкого Д. Каравкиной и Вс. Розанова. «Художественная литература». М. 1969. 544 стр.*

«Игра в бисер», или «Игра стеклянных бус»<sup>1</sup>,— последнее большое произведение крупнейшего немецкого писателя XX века Германа Гессе (1877—1962), вершина его творчества, итог почти полувековых исканий. Годы работы над романом (1933—1943) пришлись на самый мрачный период европейской истории. Сразу же после написания книга была издана в Швейцарии — стране, где писатель прожил более пятидесяти лет и гражданином которой был с 1923 года. В Германии «Игра в бисер» появилась только после войны и многими была воспринята как протест против фашизма. В 1946 году Герман Гессе был удостоен за нее Нобелевской премии.

«Игра в бисер» — не роман в обычном понимании: здесь нет острых сюжетных хо-

дов, интриги, почти нет женских образов и, следовательно, любовных линий. Характеризуя жанровые особенности своих книг, Гессе писал: «Почти все мои прозаические вещи — это биографии души, в них идет речь не об историях, не о сюжетных осложнениях и напряжениях; в основе своей это монологи, в которых рассматривается одна-единственная личность... в ее отношениях к миру и к собственному «я». Эти произведения называют романами. В действительности же они не являются романами...» «Игра в бисер» — это философская утопия, использующая элементы притчи, сказания, роман «духа», по-исследовательски остро ставящий вопрос о судьбах современной культуры. Он предназначен для читателя серьезного, вдумчивого, умеющего разобрататься в сложности философской символики, оценить затаенную иронию, воздать должное богатству содержания и строгой продуманности композиции.

«Игра в бисер» во многом напоминает «Доктора Фаустуса» Т. Манна: та же

<sup>1</sup> Авторы перевода пользуются обоими вариантами, хотя в оригинале здесь одно слово — «Glasperlenspiel»; на мой взгляд, второй вариант предпочтительнее, так как не вызывает привходящих ассоциаций, связанных с русским словом «бисер».

«итоговость», та же зашифрованная «исповедальность», то же стремление к философскому осмыслению действительности, то же тяготение к разработке проблемы «культура и жизнь». Томас Манн, прочитав «томительно-прекрасный труд» своего швейцарского друга, «почти ужаснулся», по его словам, сходству с тем, что поглощало его самого во время работы над «Доктором Фаустусом»: «Та же идея вымышленной биографии — с присущими этой форме элементами пародии. Та же связь с музыкой. И здесь критика культуры и эпохи, хотя и с преобладанием мечтательного культур-философского утопизма, дающего критический выход страданию и констатирующего всю трагичность нашего положения... В целом связь потрясающая».

Это внутреннее родство двух выдающихся творений человеческого (немецкого!) духа не случайно. Они создавались почти в одно и то же время («Игра» появилась на несколько лет раньше «Фаустуса») и явились откликом на одни и те же события. Германская катастрофа непосредственно отразилась в романе Т. Манна, который и был задуман как своеобразное художественное исследование духовных истоков этой катастрофы, проливающих свет на историю болезни империалистической Германии. Действие романа Г. Гессе происходит где-то в XXIII столетии, а повествование ведется от имени летописца, живущего в еще более далеком будущем, на рубеже XXIV—XXV веков. Однако напрасно было бы искать в этом произведении намеков и фантастических домыслов, связанных с образом жизни в описываемое время: на голые стены будущего спроецированы в виде гигантских фресок судьбы современной культуры, а символический мир «Игры стеклянных бус» итается реалиями XIX—XX веков. Это создает парадоксальную ситуацию, порождающую целый ряд на первый взгляд нелепых анахронизмов, логических несуразностей и стилистических курьезов. Так, летописец XXV века пишет хотя и добротной, но все же несколько старомодной прозой, люди отдаленного будущего ничего не знают о гелевидении (хотя оно оказало бы им неоценимую услугу в культивировании Игры), путешествуют в экипажах с кучером и т. д. Но дело не в достоверности деталей, так как перед нами, повторяю, не фантастический роман, а философская утопия. Анахронизм здесь становится средством скрытой

иронии, нарочитая архаичность и внешняя бесстрастность повествования лишь усугубляют чувство тревоги, вызванной симптомами распада европейской культуры. Для нас важно отметить, что в обоих романах — Т. Манна и Г. Гессе — сделана попытка разрешить загадку современности, понять причины немецкой трагедии.

В одном из писем Г. Гессе подчеркивал, что его обращение к вымышленной стране чистой духовности явилось своеобразной протестующей реакцией на неоварварство гитлеризма: «Среди угроз и опасностей для физического и духовного существования поэта, пишущего на немецком языке, я обратился к спасительному средству всех художников — к творчеству... Передо мной стояли две задачи: создать духовное пространство, где я мог бы дышать и жить вопреки этому чуждому, отравленному миру... и, во-вторых, выразить сопротивление духа против варварских сил и по возможности укрепить моих друзей там, в Германии, в выдержке и стойкости».

Роман состоит из трех в известной степени самостоятельных, разных по жанру частей. Первая написана в форме ученого трактата и представляет собой опыт общедоступного введения в Игру стеклянных бус. Вторая и основная, выполненная в традициях немецкого воспитательного романа, носит название «Жизнеописания Иозефа Кнехта, Магистра Игры». Третью часть составляют произведения, якобы принадлежащие самому Кнехту, — юношеские стихотворения, варьирующие тему чистой игры духа как гарантию высокой культуры, и три небольших новеллы в форме жизнеописаний, являющиеся вариантами жизненной судьбы Кнехта в разных исторических и географических одеяниях.

Замысел «Игры в бисер» родился из сознания грандиозной катастрофы буржуазной культуры в «фальстоницистическую эпоху», то есть в XX столетии, которое, по словам писателя, «не знало, что делать со своей духовностью, не находило для духа подобающего места в структуре жизни и государства». Что же такое духовность, искусство, наука: некий ритуал для избранных, обряд интеллектуальной элиты, пустая игра по произвольным правилам или нечто значительно большее, связанное с жизнью, выходящее из ее потребностей и в свою очередь воздействующее на них? Чтобы отве-

тить на этот вопрос и заодно испытать «обиженный» жизнью дух на прочность, Гессе вычленил культуру из общества, придал ей автономные формы и поместил в особую область — провинцию Касталию.

Касталия — это нечто вроде монашеского ордена, в котором созданы все условия для высшей — объективной и субъективной — концентрации духа. Она возникла после опустошительных войн и общественных потрясений, якобы завершивших XX век, когда группа мужественных служителей духа, пронеся через лихолетье зерно доброй традиции, дисциплины и интеллектуальной честности, вынужденно обособилась от общества, научилась преодолевать «культурную ярмарку» с помощью духовной аскезы, медитативной муштры духа, воплотившейся в символе Игры стеклянных бус.

Что, собственно, представляет собой эта Игра, охватывающая все духовные занятия и устремления человечества, не ясно не только в начале чтения, но и посленего. Минимый автор «общедоступного введения» не претендует ни на объективное освещение истории и проблематики Игры, ни тем более на систематическое изложение ее теории. Да и не в этом дело. Читателю достаточно самого общего представления об игре, стремящейся к сопряжению внутренней сущности всех областей знания, к поискам общего знаменателя. Главное здесь — приобщение к тревожным размышлениям писателя о судьбе современной культуры.

Сама же идея алхимической игры экстрактами культуры очень противоречива. С одной стороны, приведение к общему знаменателю всех ценностей науки и искусства, изобретение для этой цели особого языка, состоящего из формул, аббревиатур и всевозможных комбинаций того и другого, — мысль, в общем, не новая (кибернетический принцип), ибо лежит в основе многих попыток сблизить точные и гуманитарные науки, примирить науку и искусство; с другой стороны, за всем этим скрывается убеждение, что все явления внешнего мира таинственным образом связаны друг с другом, сопряжены с неким божественным духом. Оторванная от реальной жизни, Игра постепенно превратилась в изысканную, символически многозначительную форму исканий совершенства, стала для узкого круга адептов своего рода богослужением, служением магическому единству мира.

Эволюция Игры и всей Касталии показана на примере жизненной истории одного из наиболее выдающихся касталийцев, в совершенстве овладевшего Игрой, — Иозефа Кнехта. Величие и трагизм Кнехта в том, что он идет путем сомнения, ничего не принимает на веру, следуя совету своего учителя Магистра музыки: «Истина должна быть не преподана, а пережита». Жизнь Кнехта («кнехт» по-немецки значит «слуга») подчинена идее жертвенного служения духу, он поднимается все выше по ступеням касталийской иерархии, становится Магистром Игры стеклянных бус, но в душе его идет, то затухая, то разгораясь с новой силой, вечный спор между этическим и эстетическим, между служением чистому духу и служением людям. Жажда иной жизни, иного — не касталийского — мира всегда жила в нем, временами рождая шемящее, неопределенное чувство — «нечто среднее между буйным стремлением куда-то и нечистой совестью», побуждая «преступить предел», постоянно расти и совершенствоваться. Он называет эти редкие мгновения «пробуждением», воспринимает как голос самой жизни, которому нельзя не следовать, как нечто родственное гётевскому «умри и возродись»:

Не может кончиться работа жизни...  
Так в путь — и все отдай за обновленье!

Убедившись в бесплодности и ущербности касталийской попытки спасения духа в изоляции от внешнего мира, Кнехт покидает провинцию. Накануне ухода он обратился к руководству ордена с посланием, в котором подробно мотивировал свой поступок. Основная мысль послания — нежелание служить делу, обреченному на гибель. А что дни Касталии и Игры стеклянных бус сочтены — в этом он больше не сомневался. Погрузившись в чисто духовные спекуляции, Касталия забыла о главном — об ответственности за происходящее в мире, о конкретной, исторически обусловленной миссии, а высокоинтеллектуальная Игра, лишенная животворных связей с внешним миром, выродилась в забаву, в эстетический дендизм, в бесплодное самоуслаждение ума. И не удивительно, что в среде касталийцев, этих ревнивых хранителей культурных ценностей и жрецов «чистого искусства», Кнехт обнаруживает симптомы декаданса,

внутреннего распада. Индивидуализм, служение культуре смерти, болезненность чужды духу Касталии, но тем не менее они родились в ее атмосфере, пыльным цветом расцвели в Тегуляриусе, человеке необычайно одаренном, но ущемленном, имеющем много общего с композитором Леверкюном из «Доктора Фаустуса».

Уход Кнехта из Касталии — не бегство, не отречение, не дезертирство. «Напротив, — говорит он главе ордена, объясняя свой поступок, — я жажду риска, осложнений, опасностей, я изголодался по реальной задаче, по делу, по лишениям, по мукам». Он не намерен поступаться своими кастальскими принципами во имя материальных выгод — это было бы предательством. «Трусом назовем мы того, кто уклоняется от трудов, жертв и опасностей, выпавших на долю его народа, — пишет Кнехт в послании. — Но трусом вдвойне будет тот, кто изменит принципам духовной жизни ради материальных интересов, кто, например, согласится предоставить власть имущим решать, сколько будет дважды два». Ему дорога Касталия как хранительница гуманистических традиций, как резерват свободного интеллекта, но он знает о ее обреченности и не хочет делать вид, будто ничего не произошло. «Если ученый с трибуны, с кафедры или в книгах сознательно говорит неправду, сознательно поддерживает ложь или фальсификацию, — пишет Кнехт все в том же послании, — он не только погрешает против органических законов бытия, он, вопреки всякой видимости и злобе дня, и народу своему приносит не пользу, а тяжкий вред, отравляя ему воздух и землю, пищу и питье, отравляя мышление и чувство справедливости и помогая всем злым и враждебным силам, которые грозят ему уничтожением».

Решив поставить свою духовность на службу жизни, Кнехт берется за воспитание единственного сына своего друга-касталийца Плинио Дезиньори. Но в самом начале своей новой деятельности он нелепо погибает во время купания. Этот финал придает роману оттенок трагичности. Гессе как бы хочет сказать, что ни культура вне общества, ни общество без истинной культуры немислимы, но синтез общественной и духовной деятельности для него, как и для его героя, невозможен, ибо это значит стать политиком. А Гессе больше всего боялся «политизации и милитаризации ду-

ха»<sup>1</sup>, то есть как раз того, в пику чему и была изобретена Касталия. Круг, казалось бы, замкнулся. Но финал романа не пессимистичен. Смерть учителя привела к прозрению ученика, юного Дезиньори, который может развиваться в человека, более чем Кнехт приспособленного для деятельности в мире.

Как это произойдет и будет ли это решением всего сложнейшего комплекса поднятой в романе проблематики — этого Гессе, очевидно, не знает. Он заканчивает роман все тем же мучительным вопросом: что станет с культурой в современном мире? Как видим, социальные причины трагедии буржуазной культуры идеалисту Гессе не ясны. Не случайно сам факт возникновения Касталии в романе мотивирован чисто духовными факторами — неугасающим стремлением романтиков, «паломников в страну Востока» (которым, кстати, и посвящен роман), к совершенству, к спасению духа.

Но роман «Игра в бисер», как и все творчество Гессе, пронизан одной мыслью, одним желанием — уберечь культуру от распада, очистить ее от элементов бездумного легкомыслия «фельетонистической эпохи», привить ей чувство ответственности не только за происходящее в мире, но и за себя самое. В этом — высокий гуманистический смысл романа, его значение и притягательная сила. Советский читатель, без сомнения, примет и по достоинству оценит это произведение, ставшее наконец достоянием нашей культурной жизни.

Особо следует сказать о работе переводчиков. Перед ними стояла задача огромной трудности — передать неповторимое своеобразие произведения необычайной интеллектуальной широты, впитавшего в себя самые разнообразные слои культуры — от глубокой древности до наших дней. В художественной ткани романа сплавлены воедино увлечения автора античностью и немецким романтизмом, средневековыми житиями и литературными теориями XX века, древнекитайскими и древнеиндийскими учениями и современными философскими системами, музыкой и историографией, филологией и поэзией. Причем прошлое и современность пе-

<sup>1</sup> Критикуя Гессе за выступления против «политизации духа», Т. Манн справедливо замечал, что «в наше время ничто живое не может избежать политики. Аполитичность — это та же политика, но только политика вредная».



решлены не только в образном строе романа, но и в его языке, в ироничности повествования, в комизме собственных имен. Надо сказать, что авторы перевода вкупе с редактором справились со своей задачей и с честью вышли из нелегкого испытания.

Впереди у советского читателя встречи с другими произведениями Германа Гессе, ждущими своих переводчиков, — прежде

всего с романом «Степной волк», повестями «Курортник», «Нарцисс и Златоуст» и, конечно, со стихами; представление о высоком ранге Гессе-поэта дают включенные в роман «Стихотворения школяра и студента Юзефа Кнехта», прекрасно переведенные С. Аверинцевым.

**В. СЕДЕЛЬНИК.**

Орехово-Зуево.



### Политика и наука

## РЕВОЛЮЦИОНЕР-ДИПЛОМАТ ЛЕНИНСКОЙ ШКОЛЫ

**З. С. Шейнис.** Очерки о жизни и деятельности М. М. Литвинова: «Папаша» («Прометей», № 7, 1969); Агент «Искры» («Наука и жизнь», № 6, 1966); Водворитель оружия («Наука и жизнь», № 7, 1966); Дипломатическое поручение («Москва», № 10, 1966); Сражения у голубого озера («Октябрь», № 8, 1967); Вашингтонская миссия («Москва», № 9, 1967); в Генуе и Гааге («Новая и новейшая история», №№ 3 и 4, 1968); Неопубликованные письма М. М. Литвинова В. И. Ленину («Новая и новейшая история», № 4, 1966); «Моему дальнейшему потомству» («Юность», № 7, 1966).

**В** плеяде ближайших соратников В. И. Ленина своеобразное место занимают революционеры-дипломаты. Достаточно назвать имена: Г. В. Чичерин, М. М. Литвинов, Л. Б. Красин, В. В. Воровский, А. М. Коллонтай, Л. М. Карахан, — и перед нашим мысленным взором предстанет вереница своеобразных и блестящих деятелей. Все это — яркие индивидуальности, каждый пришел в революцию своим путем, у каждого из них была своя профессия (инженер, литератор, адвокат, рабочий, служащий), но все они, прежде чем стать дипломатами, были профессиональными революционерами. Именно эта черта позволяет объединить их в одну общую группу, отличающуюся неповторимым своеобразием, какой история еще не знала. Образы этих революционеро-дипломатов представляют большой интерес и для историка и для писателя.

За последние годы в ряде изданий появились работы З. С. Шейниса, посвященные теме: Максим Максимович Литвинов — революционер, дипломат, человек (выше перечислены не все публикации). Как активный деятель большевистских нелегальных организаций, М. М. Литвинов был до революции близок к Ленину в большей степени, нежели другие будущие советские дипломаты. После Октября он вошел в состав ленинского «дипломатического штаба», а с 1930 по 1939 год был народным комиссаром иностранных дел СССР.

Как это ни странно, о М. М. Литвинове до недавнего времени не было никакой литературы; его речи и доклады не переиздавались вот уже свыше тридцати лет; вышедшая в 1936 году книга Н. Корнева «Литвинов» давно исчезла с книжных полок.

Между тем в выходящей в свет многотомной «Истории Коммунистической партии Советского Союза» Литвинову уделено много внимания и его деятельности дана высокая оценка.

Труды З. С. Шейниса заполняют существенный пробел в истории советской дипломатии, тем более что автор связал политическую биографию Литвинова с освещением важнейших этапов внешней политики СССР, уделит должное внимание образу и делам Г. В. Чичерина и других крупнейших дипломатов Советского государства. Одна из ценных сторон работ З. С. Шейниса заключается, на мой взгляд, в том, что в них на конкретном материале раскрывается связь между политической биографией и психологическими чертами тех деятелей, которые посвятили себя революционной борьбе, а затем дипломатической работе под руководством Ленина.

Работы З. С. Шейниса посвящены также важным событиям из истории партии до 1917 года. Автор использовал и опубликовал ранее неизвестные, а в некоторых случаях уникальные документы и воспоминания участников революционной и дипломатической деятельности.

Первая крупная веха удивительной жизни Литвинова — знаменитый побег из Лукьяновской тюрьмы в Киеве в августе 1902 года; Литвинов был участником и одним из организаторов этого необычайно смелого побега группы социал-демократов. Оказавшись в эмиграции, он, однако, недолго там задержался. Уже в сентябре 1902 года его избрали секретарем всех транспортных групп, то есть практическим руководителем всего транспортного дела организации «Искры». В марте 1904 года Литвинов становится членом нелегального рижского комитета РСДРП. С этого времени Литвинов находится в постоянной дружеской и деловой переписке с В. И. Лениным и Н. К. Крупской (одно из ее неизвестных писем опубликовано З. С. Шейнисом в альманахе «Прометей», а десять писем Литвинова — в журнале «Новая и новейшая история»).

В конце 1904 года Литвинов вместе с Р. С. Землячкой организовал в нелегальных условиях конференцию РСДРП; протоколы были пересланы Ленину, и он откликнулся радостным письмом, адресованным Землячке и через нее «папаше» (Литвинову): «Ура! Вы работали великолепно, и Вас (вместе с папашей, мышью и другими) можно поздравить с громадным успехом». Касаясь дальнейшей работы, Ленин замечает: «Транспорт будет, пока есть папаша»<sup>1</sup>.

В тот же период Ленин писал Литвинову: «Дорогой друг! Спешу ответить на Ваше письмо, которое мне очень и очень понравилось. Вы тысячу раз правы, что надо действовать решительно, революционно и ковать железо, пока горячо... Наконец, Вы тысячу раз правы также, что надо действовать открыто»<sup>2</sup>. Мысль о том, что убежденность в своей правоте позволяет действовать открыто, сформулированная в переписке Ленина с революционером-подпольщиком, через многие годы не раз была повторена в ленинских указаниях революционерам-дипломатам в их переписке с В. И. Лениным.

Весьма романтическая сторона нелегальной деятельности Литвинова — это организация доставки оружия в годы первой русской революции. Пути большевистского «водворителя оружия» порой скрещивались с путями царских агентов. Так, например, летом 1906 года Литвинов в облище офице-

ра армии республики Эквадор прибыл в Карлсруэ для закупки партии оружия. На стрельбище немецкого завода он оказался одновременно с приемочной комиссией российского правительства. «Пришлось... — вспоминал Максим Максимович, — познакомиться с русскими офицерами и на несколько часов подружиться с ними. Они дали мне весьма ценные авторитетные указания при испытании патронов...»

Интереснейшая страница дореволюционной деятельности Литвинова — это организация в 1905 году по поручению Ленина газеты «Новая жизнь»; находясь на нелегальном положении, Литвинов тем не менее выступал в роли издателя большой ежедневной газеты.

Постепенно практик-организатор превращается в крупного деятеля партии. Накануне войны 1914 года он был, под псевдонимом Максимович, представителем большевиков в Международном социалистическом бюро, вел там нелегкую полемику с крупнейшими деятелями II Интернационала — Вандервельде, Каутским, Гюисмансом. Во время первой мировой войны Литвинов находился в Лондоне; там, в политических организациях эмиграции, началось сотрудничество между ним и Г. В. Чичериным, продолженное после Октября на дипломатическом поприще.

После 1917 года каждая веха в биографии Литвинова является и вехой в развитии внешней политики Советского государства. Первый советский дипломатический представитель в европейской столице, «народный посол в Лондоне» — М. М. Литвинов. В работе З. С. Шейниса приведено до сих пор неизвестное советскому читателю первое интервью Литвинова в качестве дипломатического представителя только что возникшего Советского государства. Крайне интересно теперь познакомиться с ходом мыслей недавнего «водворителя оружия», когда его важнейшей задачей стало осуществление Декрета о мире.

Беседа 3 января 1918 года в своей скромной квартире политического эмигранта с корреспондентом буржуазной «Дейли кроникл», Литвинов сразу подчеркнул, что «задача посла будет заключаться в распространении правды о России». Говоря о внешнеполитических задачах, вытекавших из Декрета о мире, Литвинов, по сообщению его собеседника, сказал: «Чрезвычайно глупо изображать большевиков сторонниками нем-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 46, стр. 432.

<sup>2</sup> Там же, стр. 417.

цев или противниками союзников, или же, — тут Литвинов сделал паузу, — простыми пацифистами... Большевики прекрасно ионимают, что кайзеризм и юнкерство представляют собой величайшее препятствие на пути международного пролетариата к своему освобождению. Но большевики убеждены, что не только в Пруссии произрастают ядовитые растения милитаризма. Они выступают против замены прусского милитаризма милитаризмом русским, французским или английским...»

В этих словах о необходимости бескомпромиссной борьбы против всяческого милитаризма любопытнейшим образом сочетаются идеи предыдущего этапа революционной борьбы с ростками формирующейся внешней политики Советского государства.

Следующим характерным шагом первого «народного посла в Лондоне» было опубликование Конституции РСФСР на английском языке с предисловием, в котором Литвинов высказал ту мысль, что «эта конституция не плод индивидуального мозга ученого-теоретика или даже государственного деятеля-практика, а в полном смысле слова — органический продукт, стихийное творение революции, воля коллективного созидательного гения русских трудящихся масс». Вместе с тем автор предисловия подчеркивал дальновидность В. И. Ленина, увидевшего в Советах, «этой чисто революционной деловой организации, носившей, казалось бы, только временный характер», — «краеугольный камень будущей организации российского социалистического содружества наций».

Не надо забывать, что Литвинов сделал приведенные заявления, находясь в полном отрыве от Москвы и Петрограда: ведь радиосвязи тогда еще не было, а советские дипломатические курьеры лишь начинали свою деятельность. Характеризуя личные представления Литвинова о задачах революционера-дипломата и задачах советской власти, эти высказывания вместе с тем свидетельствуют о поразительной идейной близости, существовавшей между соратником Ленина.

После возвращения Литвинова в Россию он был, по предложению Ленина, окончательно направлен на работу в Народный комиссариат по иностранным делам. В конце 1918 года Литвинов вместе с В. В. Воровским находился в Стокгольме. Переслаив оттуда мирное предложение правительства РСФСР державам Антанты и Соеди-

ненным Штатам, Литвинов обратился с личной нотой к президенту США Вильсону.

Он писал: «Именно они (русские рабочие и крестьяне. — Е. Г.) впервые прокламировали и действительным образом дали народам право на самоопределение, они, которые понесли столько жертв в борьбе с империализмом и милитаризмом как дома, так и на чужбине, они, которые нанесли самый тяжелый удар тайной дипломатии. Они подверглись неистовым нападениям со стороны бывших правящих классов России и их соучастников отчасти именно за эти нововведения в политике». Весьма характерно, что революционер-дипломат связал борьбу за самоопределение народов с борьбой против тайной дипломатии. Впрочем, и все его письмо Вильсону имеет неустаревающий характер.

После завершения миссии в Стокгольме Литвинов выехал в Копенгаген, где успешно закончил переговоры с представителем английского правительства о возвращении на родину русских военнопленных. Затем он работает в Москве на посту заместителя наркома иностранных дел и, в частности, уделяет большое внимание организации дипломатического аппарата. Дальнейшие вехи деятельности Литвинова: Генуэзская конференция в 1922 году и Гаагская конференция, на которой председатель советской делегации Литвинов совместно с Л. Б. Красным отбил атаки бывших владельцев национализированных предприятий. Хотя об этих конференциях имеется обширная литература, работы З. С. Шейниса по этим вопросам содержат свежий материал и представляют самостоятельный интерес.

Вслед за установлением с важнейшими странами мира нормальных дипломатических отношений развертывается борьба за безопасность страны и против экономической блокады; ведутся сложные переговоры об урегулировании конфликтов и обеспечении границ. С именем Литвинова связана советская инициатива и энергичная деятельность в борьбе за разоружение. В 1933 году происходит встреча Литвинова с президентом США Рузвельтом, приведшая к установлению дипломатических отношений между СССР и США.

Наступают годы борьбы против агрессии гитлеровской Германии и против подготовки фашистским агрессором второй мировой войны. Литвинов произносит известные речи в Лиге Наций, в которых он от имени советского народа, да и всего встревоженно-

го человечества призывал защитить мир от агрессора. «Мир неделим...— говорил Литвинов.— Пора признать, что нет безопасности лишь в собственном мире и спокойствии, если не обеспечен мир соседей — ближних и дальних»<sup>1</sup>. По поручению Советского правительства Литвинов ведет интенсивные переговоры с правительствами стран, которым угрожало нападение гитлеровской Германии. В те годы при постоянном деловом общении с Литвиновым мне особенно бросалось в глаза присущее ему сочетание трезвости и предусмотрительности государственного деятеля с острым чувством справедливости и ненавистью к фашистскому мракобесию. Литвинов, революционер-подпольщик, боровшийся против царизма, и Литвинов-антифашист на посту наркома — это один и тот же характер.

В мае 1939 года Литвинов был освобожден от обязанностей наркома, однако, когда началась Великая Отечественная война, он вновь, после двух с половиной лет вынужденного бездействия, получил возможность включиться в борьбу против фашизма: в ноябре 1941 года, в момент напряженных боев за Москву, его направляют в США в качестве посла СССР. Этот период жизни Литвинова освещен пока лишь в работе З. С. Шейниса, опубликованной в начале 1969 года в советском журнале на английском языке «Совет лайф». Плодотворная, кипучая деятельность Литвинова в США, посвященная борьбе за открытие второго фронта и наряду с этим закладыванию основ будущего справедливого мира, продолжалась до апреля 1943 года: после перелома в войне в результате победы под Сталинградом его отозвали в Москву.

Последние годы жизни — с 1946-го до своей смерти в 1951 году — Литвинов находился на положении пенсионера, весьма тягостном для активной натуры революционера-ленинца.

Мне пришлось напомнить о фактической стороне деятельности Литвинова, так как она мало известна новым поколениям читателей. Между тем только в свете фактов можно получить представление о своеобразии и вместе с тем цельности такого сложного «синтетического» образа, как революционер-дипломат.

Я отдаю себе отчет в том, что этот образ может истолковываться по-разному, хотя бы

уже потому, что каждое из входящих в него понятий в отдельности не поддается однозначному определению. И революционеры и дипломаты бываю́т разные.

В прошлом сочетание этих двух понятий было вообще невозможно: «революционер» — в обычном словоупотреблении синоним ниспровергателя государственных основ, дипломаты же всегда причислялись к высшему слою государственных деятелей, охраняющих интересы и благополучие государства. В составленном Густавом Флобером «Словаре прописных истин» буржуазного обывателя имеется и такое суждение: «Дипломатия — привилегия благородного сословия». В XX веке сохранились подобные чванные и мешанские представления, выражающие пренебрежение к «среднему человеку». Именно Литвинов дал однажды отповедь защитникам этих взглядов; он заявил на заседании комиссии Лиги Наций в 1928 году: «Тяжесть бремени милитаризма несет... именно этот средний человек, человек улицы... Мы, советская делегация, не претендуем на представительство так называемых «высших слоев общества», мы представляем здесь рабочих и крестьян, интересы которых нам понятны и дороги»<sup>1</sup>.

Противопоставление понятий «революционер» и «дипломат» имеет, наконец, и аспект чисто нравственный: революционер — это пылкий, бескомпромиссный, прямолинейный характер, тогда как дипломат, в обывательском понимании, это человек двуличный, скрытный, склонный к компромиссам. Но и такое противопоставление, относящееся не к политической области, а к сфере социальной психологии, также теряет свое значение, когда речь идет о характере и стиле работы соратников Ленина, сумевших и на дипломатической работе не изменить своей революционной сущности.

Дело заключается, конечно, не только в их личных качествах, но и в общем понимании задач, связанных с революционным преобразованием общества.

В ноябре 1921 года Ленин писал в статье «О значении золота теперь и после полной победы социализма»: «Для настоящего революционера самой большой опасностью, — может быть, даже единственной опасностью, — является преувеличение революционности, забвение граней и условий

<sup>1</sup> М. Литвинов. Внешняя политика СССР. М. 1935, стр. 92.

<sup>1</sup> М. Литвинов. Внешняя политика СССР, стр. 147.

уместного и успешного применения революционных приемов. Настоящие революционеры на этом больше всего ломали себе шею, когда начинали писать «революцию» с большой буквы, возводить «революцию» в нечто почти божественное, терять голову, терять способность самым хладнокровным и трезвым образом соображать, взвешивать, проверять, в какой момент, при каких обстоятельствах, в какой области действия надо уметь действовать по-революционному и в какой момент, при каких обстоятельствах и в какой области действия надо уметь перейти к действию реформистскому»<sup>1</sup>. Нетрудно заметить, что условия подлинной революционности, перечисленные Лениным, не противоречат требованиям, которые предъявляются к государственному деятелю, опытному дипломату. Кому-кому, а дипломату надобно сохранять хладнокровие и трезвость в оценках, уметь взвешивать, когда и какие методы действия уместны и когда их надо менять. Сила советских дипломатов ленинской школы состояла в том, что они обладали достоинствами дипломата, не теряя подлинной революционности.

«Буржуазная дипломатия,— писал Ленин,— не способна понять приемов нашей новой дипломатии открытых прямых заявлений»<sup>2</sup>; «старый мир имеет свою старую дипломатию, которая не может поверить, что можно говорить прямо и открыто»<sup>3</sup>. Под открытой дипломатией следует подразумевать не только отказ от тайной дипломатии, от секретных соглашений с спиной народов и общества, отвергнутых Советским правительством с первых же дней революции. Речь идет о такой продуманности и такой уверенности в своей правоте, которые позволяют действовать открыто, не прибегая к лживым уверткам.

Этим не исключается гибкость и маневренность.

Г. В. Чичерин в статье «Ленин и внешняя политика» подчеркивал «бесподобную гибкость и политический реализм Владимира Ильича» и привел, в частности, такой пример: «Когда перед нашим отъездом в Геную... предлагались обличительные фразы в духе наших прежних выступлений, Влади-

мир Ильич написал приблизительно так: «Не надо страшных слов»<sup>1</sup>.

Замечание Ленина, приведенное Г. В. Чичериным, очевидно, относилось не только к стилю выступлений наших дипломатов, но и к существу. Революционная дипломатия, озабоченная сохранением мира и укреплением своей страны, не допускает подмены принципиальности бесплодной непримиримостью, твердости — показной «решительностью». Эту мысль можно проиллюстрировать эпизодом, о котором рассказал С. Дангулов в одном из своих очерков. А. М. Коллонтай присутствовала при том, как некий молодой дипломат заявил, будто главное достоинство дипломата — уметь вовремя сказать «нет». Александра Михайловна живо возразила, что главное — это «искусство завязывать отношения с людьми и развивать эти отношения». «Дипломат, не давший своей стране новых друзей, не может называться дипломатом»<sup>2</sup>. Эти слова принадлежат виднейшей участнице революционных боев, вложившей в дело революции намного больше сил и темперамента, нежели начинающий работник, собиравшийся отличиться своим умением сказать «нет».

Разумеется, эти замечания не означают, будто речь идет о людях уступчивых или слабохарактерных. Все, кто знал Литвинова, помнят, что это был человек твердый, отлично умевший дать отпор неуместным притязаниям, никогда не скрывавший своего несогласия с неприемлемой точкой зрения и мужественно защищавший свои взгляды в самых сложных и неблагоприятных условиях. Но именно личное мужество и принципиальность являлись предпосылкой для искусного маневрирования в интересах страны и народа и в согласии с революционным мировоззрением.

Автор упомянутой книги, вышедшей в 1936 году, Н. Корнев рассказал о том, как на дипломатическом приеме в Москве один американский журналист, не очень дружелюбно настроенный к Советской стране, говоря о Литвинове, заметил, что он видит в наркоме иностранных дел СССР «одного из классических представителей русских революционеров». Действительно, революционер-дипломат — это не революционер, превратившийся в дипломата, а революционно мыслящий человек, на посту диплома-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 223.

<sup>2</sup> Там же, т. 41, стр. 281

<sup>3</sup> Там же, т. 44, стр. 299.

<sup>1</sup> Г. В. Чичерин. Статьи и речи. М., 1961 стр. 282-284

<sup>2</sup> «Дружба народов», № 5, 1969 стр. 3-4.

та борющийся за благо своей страны и всего человечества.

Советская дипломатия неизменно подчеркивала, что правительство СССР, добиваясь мира и борясь за него, тем самым открывает путь к благополучию всех стран. Известно, что Ленин предложил выдвинуть в Генуе «пацифистскую программу»<sup>1</sup>; Литвинов в своей записке накануне Генуэзской конференции рассматривал наряду с основными проблемами, стоящими перед нашей страной, также и планы экономического восстановления в сей Европы. Чичерин уже в 1924 году заявил: «Наша политика мира это — созидательная политика. Мы говорим нашему народу, что Советская республика — это мир. Мир не только для развития наших производительных сил, но и для развития мирового производства, неотъемлемой частью которого является наше производство. Эти идеи... являются одними из основных творений гения Ленина»<sup>2</sup>.

Нет сомнения, что указание Г. В. Чичерина на прямую связь между политикой мира и развитием мирового производства и выдвинутая через десятилетие Литвиновым известная формула «Мир неделим!» выражают одну и ту же идею. Связь между экономическим прогрессом и делом мира —

тема для особого исследования, имеющего злободневное значение в эпоху научно-технической революции. Здесь же достаточно отметить: стремление к социальному освобождению и благополучию своей страны неизбежно сочетается в нашем веке с борьбой против империалистической политики и тайной дипломатии не только потому, что они угрожают военной катастрофой, но и по той причине, что политика внешнеполитических авантюр и тайных соглашений препятствует мирному социальному, экономическому и культурному прогрессу всего человечества.

За этой политической стороной дела скрыта также психологическая и моральная ответственность, значение которой прекрасно сознавали революционеры-дипломаты. Интернационализм — не только политическая, но и этическая категория.

Таковы некоторые соображения, возникающие при чтении работ Э. С. Шейниса, посвященных деятельности и образу М. М. Литвинова — революционера, дипломата и человека. Остается лишь выразить пожелание, чтобы эти работы, будучи собраны в книге, стали достоянием еще более широкого круга читателей.

Е. ГНЕДИН.



## ПРОБЛЕМЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РЕФОРМЫ

В. Д. Белкин, В. В. Ивантер. Экономическое управление и банк. «Экономика». М. 1969. 144 стр.

Какие требования предъявляет хозяйственная реформа к кредитно-банковской сфере, какие возможности открываются перед ней в новой системе планирования? Этот круг вопросов освещается как в общеэкономической, так и в специальной литературе. Вносятся немало практических предложений о повышении роли кредита в функционировании хозяйственного механизма, об усилении воздействия банка на процесс расширенного социалистического воспроизводства. Определенные мероприятия в этом направлении проводятся в жизнь, другие находятся в стадии подготовки.

Небольшая по объему монография

В. Д. Белкина и В. В. Ивантера, посвященная роли кредита и банков в новых условиях, выделяется вдумчивым подходом к теме и широким ее освещением.

Заметим с самого начала, что практические рекомендации, содержащиеся в этой работе, далеко не бесспорны, в чем авторы отдают себе отчет, завершая свое исследование главой под названием «Приглашение к дискуссии». В дискуссионном характере предлагаемых мероприятий нет ничего удивительного: в современной экономической проблематике вообще нет легких решений (хотя можно найти сколько угодно легковесных предложений), а к сфере кредита это относится в особенности. Но ценность рецензируемой работы заключается в том, что место кредитно-банковской системы в современной социалистической экономике рассматривается в ней не изоли-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 164.

<sup>2</sup> Г. В. Чичерин. Статьи и речи, стр. 285.

рованно, а под углом зрения коренных свойств, главных объективных закономерностей развития нашей экономики, в аспекте важнейших проблем хозяйственной реформы в целом. Вследствие этого книга на узкую, казалось бы, тему представляет несомненный интерес не только для финансистов и не только для экономистов вообще, но и для широкого круга читателей.

Что такое экономическое управление, в чем его суть, его особенности? Авторы справедливо отмечают, что любое расширение оперативно-хозяйственной самостоятельности предприятий не избавляет общество от необходимости управлять ими. Кибернетика — наука об управлении — учит, что никакая сколько-нибудь сложная система в природе или в обществе не может обходиться без управления. Это в полной мере справедливо как в отношении экономической системы социализма в целом, так и в отношении ее подсистем — отраслей и отдельных звеньев — предприятий.

Общество в лице социалистического государства и его органов, управляя народным хозяйством, выполняет определенные административные функции. Административные методы — в отличие от того, что принято называть «администрированием», — составляют столь же необходимый элемент управления, как и экономические. И те и другие методы должны быть направлены к одной цели — к обеспечению оптимального функционирования хозяйственного организма. В этом заключается единство административных и экономических методов управления.

Но единство не означает тождества, оно не исключает различий. Между тем в последнее время в некоторой части экономической литературы наблюдается тенденция к отождествлению административных методов с экономическими; иной раз дело представляется таким образом, будто административные методы руководства хозяйством и являются самыми что ни на есть экономическими методами. Тем самым фактически снимается — если не в жизни, то на бумаге — вопрос о необходимости найти на каждом данном этапе хозяйственного развития наиболее целесообразное их сочетание, замазывается необходимость повышения роли экономических методов за счет административных в условиях новой системы планирования.

В работе В. Д. Белкина и В. В. Ивантера проводится отчетливое различие между административными и экономическими методами управления как по содержанию, так и по способу воздействия на управляемые объекты. Выражаясь языком кибернетики, управляющие сигналы административного характера в преобладающей части индивидуализированы, направлены каждому конкретному предприятию, а детальная регламентация, переходящая в мелочную опеку, не оставляет места для должного развития творческой инициативы. Экономические же сигналы относятся к совокупности предприятий, к отрасли в целом или даже ко всему народному хозяйству, имея задачей направить деятельность предприятия в должное русло, не сковывая его инициативы. «Изменение методов руководства предприятиями, — пишут авторы, — означает, что административные указания — что произвести, в какие сроки, из какого сырья, при какой численности работников, на каком оборудовании, с какой себестоимостью — заменяются инструментами экономического управления: ценами, ставками платы за производственные фонды, рентными платежами, процентами за кредит, финансовыми льготами и санкциями (штрафы, пени, неустойки)».

Экономическим методам управления присущ всеобъемлющий характер, что, однако, не только не означает игнорирования особенностей отдельных предприятий и отраслей, но, напротив, обеспечивает оптимальные для каждого предприятия условия работы. Речь идет, таким образом, об использовании целого арсенала средств, которые только в комплексе обеспечивают рациональное плановое ведение хозяйства. о целостной системе социалистических товарно-денежных отношений, о системе стоимостных категорий, в которой каждый экономический рычаг занимает свое место, служа инструментом для решения определенной задачи.

Отсюда ясна нецелесообразность попыток использовать отдельные инструменты для решения несоместимых задач. Эта мысль иллюстрируется в книге на примере такого важнейшего экономического инструмента, как цена. Стремление при помощи цены разрешить различные задачи — измерять общественные издержки производства, перераспределять национальный доход и т. д. — обернулось в недавнем прош-

лом существенными недостатками в ценообразовании.

В то же время необходимо иметь в виду, что все экономические рычаги и ориентиры должны быть согласованы, увязаны, непротиворечивы. Комплексная разработка целостной системы экономических рычагов и практическое управление этими рычагами требуют единого, хорошо осведомленного аппарата, охватывающего все народное хозяйство.

Таким аппаратом, по мнению авторов, является или, точнее говоря, должен стать банк. Между тем в отношении банка, как они считают, до сих пор не изжита предвзятость, напоминающая господствовавшую еще недавно предвзятость в отношении закона стоимости, прибыли и других категорий товарно-денежного хозяйства. Выступая против такой предвзятости, авторы ссылаются на известные высказывания Маркса и Ленина, придававших большое значение использованию кредитно-денежной системы в процессе строительства социалистической экономики.

Читатель найдет в рецензируемой монографии подробный и, можно сказать, целеустремленный анализ главных сторон деятельности банка в социалистической системе хозяйства. В книге рассматривается содержание банковских операций, расчетные функции банка, организация банковского кредита, движение документов, отражающих эти операции. Особое внимание уделяется анализу путей и каналов, по которым к банковской системе устремляются потоки экономической информации, дающей целостную картину конкретного хода социалистического воспроизводства и вместе с тем отражающей деятельность отдельных хозяйственных единиц — предприятий, экономические отношения и хозяйственные связи между ними. Подробно анализируются возможности применения современной вычислительной техники для обработки и использования информации, притекающей в банк.

Осуществление экономического управления через банк требует определенных предпосылок. Речь идет о последовательном претворении в жизнь новой системы планирования и экономического стимулирования, принципов хозяйственной реформы.

Совершенствование централизованного планирования, повышение его действительности и научного уровня предполагают все-

стороннее использование всей системы экономических рычагов социалистического товарно-денежного хозяйства. Это имеет существенное значение для обеспечения закономерности и пропорциональности развития, повышения эффективности общественного производства и подъема жизненного уровня народа. В системе экономических рычагов особое место занимают цена и деньги — главные инструменты соизмерения затрат и результатов производства, экономического счета и хозяйственного расчета. Разбирая проблемы межотраслевых балансов, авторы подчеркивают значение процесса реализации общественного продукта и приводят высказывание видного советского экономиста И. С. Малышева о том, что диспропорцией, наиболее отрицательно сказывающейся на ходе расширенного воспроизводства, является превышение суммы обращающихся денег (как в виде наличных денег, так и в виде кредита) над совокупностью обращающихся материальных ресурсов.

К числу важнейших условий успешного экономического управления относится установление экономически обоснованных цен, совершенствование их путем все большего приближения к общественно необходимым затратам, предусмотренное Программой КПСС. Определенным шагом в этом направлении явился последний пересмотр цен. Однако в ценообразовании осталось еще немало проблем, ждущих своего разрешения. Поскольку при новой системе планирования рентабельность исчисляется как отношение прибыли к фондам, стоит сложная задача устранения неоправданной пестроты рентабельности, создания условий, при которых отпадет деление на продукцию выгодного и невыгодного ассортимента.

Интересна мысль авторов о том, что при дальнейшем совершенствовании ценообразования следует учитывать возможное различие фактических и необходимых общественных затрат труда. Обеспечение соответствия производства общественным потребностям составляет важнейшую задачу централизованного планирования народного хозяйства, но проверяется это соответствие в конечном счете социалистическим рынком. Если, к примеру, производство определенного товара превышает общественную потребность, часть фактически затраченного труда не может (и не долж-



на) быть признана общественно необходимой. В этом случае цена должна отклоняться вниз от цены производства. В противоположном случае, когда общественная потребность в данном товаре удовлетворяется в меньшей степени, чем в других товарах, цена товара также должна отклоняться от цены производства, но уже вверх. В. Д. Белкин и В. В. Ивантер справедливо считают, что совершенствование цен составляет «непременное условие успешного осуществления всей экономической реформы в том ее объеме, который уже определен решениями партии и правительства, и тем более условие дальнейшего развития и углубления реформы».

Другим важнейшим условием является совершенствование денег, превращение их в действительный всеобщий эквивалент. Деньги служат универсальным средством реализации принципа эквивалентности в экономических отношениях, в экономическом стимулировании производства. Существенное значение для повышения роли денег как всеобщего эквивалента будет иметь предусмотренный экономической реформой переход к планомерному распределению средств производства путем оптовой торговли и связанная с развертыванием такой оптовой торговли планомерная организация стабильных прямых связей между предприятиями-поставщиками и предприятиями-потребителями.

«Таким образом,— гласит резюме автора,— объективной тенденцией развития нашей экономики, требованием времени является дальнейшее приближение цен к

затратам общественно необходимого труда, превращение денег в действительно всеобщий эквивалент, проведение широкой финансово-кредитной реформы, что создаст более благоприятные условия для использования банка в управлении хозяйством».

В книге развернута весьма широкая программа функционирования банка в области экономического управления народным хозяйством. Как отмечено в начале нашей рецензии, авторы сознают дискуссионный характер своей программы. Предвидя возможные возражения, они подчеркивают, что ни в какой мере не посягают на функции и прерогативы Госплана, хозяйственных министерств и ведомств. «Мы исходим из того,— пишут они,— что не только сохранится, но и будет усовершенствовано централизованное планирование и отраслевое управление. Соответственно и Госплан, и хозяйственные министерства, конечно, сохранятся, но функции и формы их деятельности изменятся и уже изменяются в результате хозяйственной реформы».

В какой мере реально выдвинутая в книге программа экономического управления через банк? Во всяком случае ясно одно: она предполагает в качестве непременных условий полную реализацию принципов хозяйственной реформы. Относительно же предлагаемой программы в целом можно сказать словами Н. Г. Чернышевского: «Что подлежит спору в теории, нацисто решается практикой действительной жизни».

**Л. ЛЕОНТЬЕВ,**

*член-корреспондент АН СССР.*



### «СТРОГО ПО ШНУРКУ...»

**А. П. Трофимов. Семья и дети. «Просвещение». М. 1969. 256 стр.**

**Взрослым о детях. Составитель Н. Буковская. «Молодая гвардия». М. 1969. 160 стр.**

Родителей нынче не забывают. В центральных и местных издательствах выходит немало брошюр по семейному воспитанию. Некоторые написаны столь живо, что читают их даже люди, отнюдь не страдающие от семейных забот.

Но брошюры и есть брошюры. Они затрагивают лишь частные проблемы педагогики. А родитель не может ждать, когда эти проблемы сплетутся в законченный круг воспитания: ребенок день ото дня ставит его перед новыми и новыми сложностями.

Оттого так велик интерес к довольно редким пока книгам, универсально раздвигающим перед родителями проблемы семейного воспитания.

Перед нами книга А. П. Трофимова «Семья и дети». Тут рассматривается множество жизненно важных проблем. И роль семьи в коммунистическом воспитании, и общие условия воспитания в семье, и частные вопросы семейной педагогики: трудовое воспитание, помощь детям в учебе, воспитание коллективизма, культуры пове-

дения и чувства прекрасного. И все аккуратно расписано по возрастам: дошкольный, младший школьный, подростковый, ранний юношеский. Родитель, несомненно, откроет книгу с интересом.

Откроет — и сразу же окажется в положении воспитуемого, с которым разговаривают назидательно и строго.

«Мы рекомендуем беседы с первоклассниками о школе подчинять воспитательным целям»; «желательно, чтобы отец и мать заинтересовались, как их начинающий школьник вел себя на уроках»; «нужно посмотреть письменные упражнения первоклассников в тетрадях»; «важно, чтобы каждый учащийся I класса чувствовал ответственность за свое поведение на уроках»; «радио и телевизор должны быть выключены»; «необходимо преградить посторонние разговоры».

Все это взято с одной-единственной 150-й страницы книги А. П. Трофимова. На следующей то же самое: «не следует», «желательно», «надо», опять «надо», «нужно», снова «нужно», «не рекомендуется» и т. д.

Читатель, не лишенный логики, подумает при этом: ну, ладно, словечки эти изрядно раздражают, но если автор так уверенно ими пользуется, то, по-видимому, он большой специалист в этой области и твердо знает, что надо, а чего не надо, что можно, а чего нельзя.

В издательской аннотации говорится, что автор — «опытный педагог, много лет посвятивший изучению актуальных вопросов обучения и воспитания детей», что «особое внимание» уделяет он семейному воспитанию, что «по этим вопросам им было опубликовано несколько десятков статей» и что, наконец, «настоящая книга является продолжением творческой работы автора».

Теперь читаем, что сказано об А. П. Трофимове и о его труде в предисловии кандидата педагогических наук Н. Щербова: «В книге собран большой фактический материал, отражающий опыт воспитания детей в различных семьях»; «обоснованность рекомендаций автора, четкая целенаправленность, учет особенностей возраста детей, жизненность примеров делают книгу убедительной и доходчивой».

Наконец, вступает в разговор и сам автор: «По мере того как накапливался материал, я обрабатывал его в форме отдельных статей, которые опубликовывались

в печати, и текстов лекций, которыми я пользовался как действительный член Всесоюзного общества «Знание».

Чьи лекции имеет в виду автор, не очень ясно. «Пользоваться» своими лекциями вроде бы не совсем логично, но не более логично и обрабатывать материал в форме чужих лекций... Что же до изучения и обобщения опыта семейного воспитания, то речь идет явно о чужом опыте. О воспитании детей в семье самого автора в книге не говорится ни слова.

Это, однако, не значит, что у А. П. Трофимова нет своей педагогической системы. Она есть, хотя и трудно ее назвать оригинальной. О подобной системе писал еще Макаренко в своей знаменитой «Книге для родителей»: есть немало родителей, которые «слишком преувеличивают значение педагогических бесед. Воспитательную работу они рисуют себе так: воспитатель помещается в некоторой субъективной точке. На расстоянии трех метров находится точка объективная, в которой помещается ребенок. Воспитатель действует голосовыми связками, ребенок воспринимает слуховым аппаратом соответствующие волны. Волны через барабанные перепонки проникают в душу ребенка и в ней укладываются в виде особой педагогической соли». Но Макаренко-то, как видим, писал об этом без восхищения. Автор книги «Семья и дети» ту же воспитательную методику рекомендует читателям вполне всерьез.

Воспитывать ребенка, полагает он, значит прежде всего приучить его твердо следовать правилам поведения. Это одно из любимейших словосочетаний А. П. Трофимова. Желая продемонстрировать образцовую семью, он непременно сообщит, что в этой семье «для ребят были установлены определенные правила поведения...» (стр. 44).

А что же делать с правилами? Надо их внушать (еще одно любимое понятие А. П. Трофимова): «Рекомендуется внушать воспитанникам, чтобы они ходили и бегали со свободными, естественными движениями рук, поднимая ноги» (стр. 201). Как внушать? Автор полагает, что лучше всего это достигается непрерывными напоминаниями и окриками. Вот его рассказ об одной из передовых, в его понимании, семей: «Помощницей матери в воспитании мальчиков являлась старшая дочь. Она

следовала советам мамы и выполняла ее поручения. «Ты куда повесил пальто? Как постель убрал?» — раздавался часто ее голосок, требовавший от мальчиков соблюдения установленных в семье правил поведения» (стр. 41).

Если сеансы внушения увенчались успехом — дети освоили правила поведения и послушно следуют им. — они становятся примерными детьми: «Учителя отмечали, что этот мальчик любил свою маму, слушался ее, являлся примерным учеником» (стр. 198). В устах А. П. Трофимова это лучший комплимент по адресу воспитателей и воспитуемых.

Автор настойчиво заверяет нас, что предлагаемая им система воспитания отвечает и целям и задачам формирования нового человека — строителя коммунизма, но ведь новый человек, человек будущего, — это в нашем представлении личность, развитая гармонически. А. П. Трофимова же интересует только одна сторона — связанная с послушанием, беспрекословным подчинением старшему. «Старших дошкольников учат, — удовлетворенно сообщает он, — чтобы они... при встрече со взрослым знакомым человеком говорили «здравствуйте», опустив руки по швам и наклонив голову» (стр. 202).

И это вовсе не оговорка, не случайный эпизод. А. П. Трофимов — сторонник весьма суровой воспитательной методы. Даже когда он говорит об эстетике, в голосе его звучат металлические нотки: «Следует воспитывать у младших школьников чувство прекрасного не только в процессе бытового, но и сельскохозяйственного труда. Как приятно выглядят, например, свежие побеги огородных культур на грядках, если они посажены строго по шнуру или в ином порядке» (стр. 114).

«Важное место в системе семейного воспитания принадлежит мерам наказания», — учит А. П. Трофимов (стр. 93). Эта мысль подчеркивается неоднократно: «В наказание за непослушание ребенка дошкольного и младшего школьного возраста полезно бывает погасить у стены, в угол, у стола, посадить на стул в то время, когда он мог бы побегать, порезвиться, заняться какой-нибудь игрой» (стр. 94). Правда, «физическое наказание» автор признает «вредной мерой воздействия», проявлением «рутины, господствовавшей в системе воспитания подрастающего поколения» в былые времена.

Не либеральничает А. П. Трофимов и по отношению ко взрослым. С особой старательностью перечисляет он «меры воздействия на нерадивых отцов и матерей». Тут и штрафы, и привлечение к административной и уголовной ответственности, и лишение родительских прав, и опять штрафы. Так что когда после этого читаешь: «Был собран материал об осени...» — прямо даже оторопь берет: уж не намеревается ли автор и осень к ответственности привлечь?

Подобные казусы возникают в книге нередко. Глаголы, одно из значений которых имеет оттенок официальной суровости — привлекать, предлагать и пр., — А. П. Трофимов применяет в таком контексте, что невольно вводит читателя в заблуждение. «В этой семье старшие дети привлекались...» — думаете, к ответственности? Нет! Всего лишь «к контролю за поведением младших» (стр. 44). Или: «...в школах с учащимися младших классов проводятся воспитательные беседы на темы: «О моем папе», «О моей маме», в ходе которых детям предлагается рассказать о своих родителях» (стр. 51). Правда, в последнем случае этот глагол приносит все же некоторую пользу, оттеняя казенный характер этой воспитательной затеи.

«Нет границ многообразию форм и методов проведения мероприятий», — пишет А. П. Трофимов. В воспитательное «мероприятие» так или иначе выливается решительно все, что он предлагает родителям. Дружеское участие для него ценно не само по себе, а лишь как «одна из главных форм помощи старшекласснику» (стр. 81); дружеское общение родителей с детьми — потому, что оно «имеет воспитательное значение» (стр. 67). В одном месте автор ратует даже за то, чтобы такое общение составляло «часть общего распорядка дня и недели» (стр. 70).

Поражает в книге обилие сухих, казенных оборотов — кажется, что беседуешь не с человеком, а с машинной какой-то: «наблюдение за учением детей осуществлялось...» (стр. 45), «наблюдается непонимание отдельными отцами и матерями общественно полезного труда детей...» (стр. 125), «перед детьми часто подчеркивается...» (стр. 203).

Специального изучения заслуживают обильно применяемые автором эвфемизмы — тоже, как на подбор, канцелярского

свойства. А. П. Трофимов никогда не скажет: «Отец дрался», но непременно — «применял грубые методы воздействия» (стр. 33). никогда — «подросток начал пить», а только — «употреблять спиртные напитки...» (стр. 15). Игрушки для него — «детский инвентарь» (стр. 104), мальчишеский — «юбиляр» (стр. 213).

Родителя, впервые приобщающегося к педагогическому знанию, книга А. П. Трофимова отпугнет с первых же страниц, и отпугнет не только от самой себя, но, пожалуй, и от всей педагогики. Родитель же, знакомый с подлинными ценностями педагогики — трудами Макаренки, Корчака, Выготского, Шацкого, Теплова, — останется в недоумении: как можно после них писать подобным образом?

Но если и случится такое диво — какой-то чудак-родитель воспитает своего ребенка в духе советов А. П. Трофимова, — трудно не пожалеть бедное дитя: из него никак не вырастет «всесторонне развитый человек, активный участник коммунистического строительства», который, по справедливому утверждению автора предисловия, является «нашим идеалом».

Всесторонне развитый человек — фигура активная: он умеет не только уважать пункты правил (разумных), но и решительно протестовать, если пункты эти сковывают развитие его личности. Вспомним Януша Корчака: «Теоретизируя, мы забываем, что обязаны учить ребенка не только ценить правду, но и распознавать ложь, не только любить, но и ненавидеть, не только уважать, но и презирать, не только соглашаться, но и возмущаться, не только подчиняться, но и бунтовать». А. П. Трофимов же идеалом считает абсолютное, беспрекословное подчинение младшего старшему. В одном случае он искренне возмущен тем, что иные дети «проявляют склонность разговаривать с отцом или матерью как с равными себе людьми» (стр. 238), в другом восхищен молодой учительницей, которая «быстро восприняла советы и указания директора и заведующего учебной частью, создавалось впечатление, что она и сама так думала, как говорили ей опытные руководители» (стр. 122).

Местоположение книги А. П. Трофимова в педагогической науке определить нетрудно: она явный курьез (хотя и печальный) даже на не слишком обильной педагогиче-

ской ниве. Но курьез, помеченный 1969 годом, все же кое о чем говорит. Такая книга не могла появиться совсем уж случайно, точно с неба свалившись.

После наставлений А. П. Трофимова, будто к живительному источнику, припадаешь ко второй книге, вышедшей одновременно, — сборнику «Взрослым о детях». Читаешь его — и отлегает от сердца: нет, русский язык не погиб, он способен на что-то и в области педагогики.

«Взрослым о детях» — сборник пятнадцатиминутных бесед, прозвучавших по радио в одноименном цикле передач. Несмотря на скромную толщину, на понятную беглость разговора, книжка эта служит прямым укором предыдущей, где все рассуждения строятся в расчете на «примерного», то есть пассивного ребенка, лишённого инициативы. На первых же страницах сборника «Взрослым о детях» читаем в беседе учительницы М. Картавцевой: «Я знаю семью, где дети не садятся за стол в присутствии отца, где дети действительно никогда ни в чем ему не противоречат, очень тихие и очень покорные дети — жалкие дети...»

Особенно интересна в книге статья В. Крамова «Школа доброты и мужества». Среди литературы для родителей это довольно редкий случай, когда специально затрагивается вопрос о воспитании нравственного иммунитета к плохому. «Настоящая школа — это не то место, где поучают. Это то место, где учат. Не разводят сиропных прописных истин на киселе, вроде «не дружи с плохими мальчишками», а учат правильному поведению. Больше того — учат борьбе...»

Сборник современен — вот главное его достоинство. Авторы замечают происшедшее за последнее время изменения в общественной обстановке и стараются их учесть. «Уже ведь давно прошла пора, — нишет та же М. Картавцева, — когда по красной косынке на голове судили о пролетарском происхождении. Ведь совсем не то важно, какие брюки на сыне, узкие или клеш, — важно другое: какой он, как относится к жизни — трус, принципиален?»

В книге же Трофимова о времени можно судить только по названиям соответствующих документов — кроме этого, решительно ничего современного здесь нет.

Вместе с тем сборник довольно легковесен, живой разговорный стиль переходит

порой в некоторую болтливость, становится цветистым: «Остальные отцы, конечно же, любя своих детей ни капельки не меньше, раскрывают перед детьми не души свои, а цветную, яркую бумажку шоколадок» (стр. 12). Материал нередко подается по одной и той же схеме: тезис — пример — вывод, причем тезис берется чаще всего доводно-таки элементарный.

«Хороший человек — это прежде всего чуткий, добрый, деликатный.

Бесценные ростки добрых чувств, чуткость к людям надо бережно выращивать с детства.

Шестилетний Андрюша подобрал во дворе пожелтевший от долгого стояния в какой-нибудь вазе букетик ландышей. Он радостный пришел в кухню к бабушке и сказал так, как говорит папа, вручая маме 8 Марта цветы: «Тебе — от меня...»

— Ты что — с ума сошел? — воскликнула рассерженная бабушка. — Кто-то выбросил, а он мне в подарок!.. — И не договорил: по лицу мальчика струнулись слезы! Ведь он и не думал обижать бабушку — напротив, он хотел сделать ей приятное...

Бабушке следовало...» (стр. 41) — дальше идет ворох указаний и рекомендаций. В подобных случаях авторы невольно приближаются к системе «комментированных правил», так настойчиво применяемой А. П. Трофимовым.

Да и рецидивы казенности не вполне миновали эту книгу. По мнению автора одной из бесед, дети — это хоть и «необыкновенный», но «материал» (стр. 82); другой автор советует время общения с детьми использовать «для откровенной, теплой беседы» (стр. 11); третий, рассказывая о

мальчишке, у которого не было в классе друга, всерьез советует «обратиться за помощью к учителю, в пионерскую и комсомольскую организации, в школьный родительский комитет» (стр. 55).

Педагогическая книга для родителей — это не перечень воспитательных приемов или правил, а прежде всего способ заставить родителей задуматься над своей воспитательной ролью. Ну и, конечно, эта книга должна быть непременно голосом науки. Десятки же однообразных и доволно случайных историй с участием каких-нибудь Вали, Миши, Коли или Саша, которыми пестрят обе книги, можно сочинить и не будучи ни писателем, ни ученым.

Кроме того, знать педагогические принципы и приемы — только половина дела, и не самая трудная. Гораздо труднее эти приемы и принципы применять. Причем применять творчески, и не в искусственно упрощенной, а в реальной ситуации.

Не только А. П. Трофимов, но и авторы сборника «Взрослым о детях» и близко не подходят к кардинальной идее современной педагогики, идее, составляющей самую суть воспитательного процесса, сердце его: истинное воспитание невозможно без духовного соприкосновения людей, без человеческого взаимодействия индивидуальностей. Слово «человеческого» мы написали бы большими буквами, ибо взаимодействие только в рамках системы «учитель — ученик», «воспитатель — воспитуемый» не дает серьезного результата. Целые груды правил и наставлений не заменят одной минуты полноценного человеческого общения.

Вл. ФОКИН.

★

## СУДЬБЫ РУССКОЙ ГАЗЕТЫ

А. И. Станько. Русские газеты первой половины XIX века. Издательство Ростовского университета. 1969. 202 стр.

Издательство Ростовского университета выпустило книгу, которая по новизне поставленных в ней проблем, по тщательности и квалифицированности их научной разработки заслуживает внимания и благодарности читателя. Теперь мы располагаем по крайней мере одним обобщенным исследованием по истории отечественной газетной периодики. До сих пор не существовало даже полного библиографического описания русских газет. И дореволюцион-

ный указатель Н. М. Лисовского «Библиография русской периодической печати 1703—1900 гг.» (Пг. 1915), и выпущенный в советское время справочник «Русская периодическая печать» (М. 1959) имеют немалое количество пробелов. Изучение источников, проведенное А. Станько, позволило ему составить собственный указатель, вошедший в его монографию в качестве приложения и включающий «около ста газет, причем более трети приведены с ис-

правлением ошибок, допущенных при их описании в существующих библиографических пособиях. Названы также ранее не зарегистрированные издания».

Книга А. Станько посвящена наименее исследованной области истории русской журналистики. Авторы существующих работ, как дореволюционных, так и советских, сосредоточивали преимущественное внимание на журналах, газеты же неизменно оставались на периферии их научных интересов. Из всех газет первой половины XIX века более или менее изучены лишь «Литературная газета» А. Дельвига, «Молва» Н. Надеждина и «Северная пчела» Ф. Булгарина и Н. Греча. Между тем этот период занимает в истории развития газетной печати особое и очень важное место. Это период становления русской газеты, период, когда на газетных страницах впервые начала разворачиваться идейная борьба, когда многократно возросло влияние газет на общественное развитие, несоизмеримо расширился характер поднимаемых и обсуждаемых в них вопросов, когда, по словам А. Станько, «происходили существенные количественные и качественные изменения в русской газетной периодике. Складывались различные типы изданий, улучшалось их оформление, появлялись новые жанры. Эти перемены были вызваны экономическим и культурным развитием страны, активизацией деятельности передовых общественных сил».

К 1800 году в России выходило только две газеты — «Санкт-Петербургские ведомости» и «Московские ведомости». Обе они были учреждены как официальные издания, отличались закостенелой консервативностью, тенденциозно отбирали информацию, беззастенчиво извращали факты и оказывали мертвящее воздействие на провинциальные газеты, создававшиеся по их образу и подобию. В 1825 году существовало уже 11 газет, а к 1847-му их количество возросло до 68: 17 выходило в Петербурге, 4 — в Москве, а остальные в провинции. Среди них наряду с общенационально-политическими изданиями, столичными и местными «Ведомостями» были газеты литературные, промышленные, сельскохозяйственные, медицинские и прочие.

Обследовав весь этот обширный материал, а наряду с ним многочисленные мемуары сотрудников газет, цензурные дела и другие архивные документы, широкий

круг исторических и историко-литературных источников, А. Станько убедительно показал, что «без газет невозможно достаточно полно представить картину журнальной борьбы, соотношение прогрессивных и реакционных сил в этой борьбе». Газетные издания имеют свою специфику, проявляющуюся в их дешевизне, массовости, большей в сравнении с журналами оперативности. Они были поэтому доступны читателям, которые не могли себе позволить тратить деньги на книги, и оказывали влияние на более широкий круг читающей публики, чем журналы. Уже в 1802 году Карамзин отмечал, что «многие дворяне, и даже в хорошем состоянии, не берут газет; но зато купцы, мещане любят уже читать их. Самые бедные люди подписываются... Пятеро из них складываются и берут московские газеты, хотя четверо не знают грамоты; но пятой разбирает буквы, а другие слушают». А Станько справедливо связывает интерес к газете с пробуждающейся политической активностью народных масс. Царизм с тревогой следил за этим процессом. В официальном донесении военному министру от 25 апреля 1848 года подчеркивалось, что «русские газеты читаются и всеми мелкими чиновниками, и на гостином дворе, и в трактирах, и в лакейских, рассыпаясь таким образом между сотнями тысяч читателей». Отсюда делался вывод, характерный для царского самодержавия, — необходимо любыми средствами обеспечить безраздельный контроль властей за всеми появляющимися в газетах материалами.

Прогрессивные силы русского общества дали этой политике царизма достойную оценку. В своем известном этюде «Проект о введении единомыслия в России» Козьма Прутков рассуждал о необходимости «установления единообразной точки зрения на все общественные потребности и мероприятия правительства» и рекомендовал властям «целесообразнейшее для сего средство»: «учреждение такого официального повременного издания, которое давало бы руководительные взгляды на каждый предмет. Этот правительственный орган, будучи поддержан достаточным полицейским и административным содействием властей, был бы для общественного мнения необходимою и надежною звездою, мяяком, вехою. Пагубная склонность человеческого разума обсуждать все про-

исходящее на земном круге была бы обуздана и направлена к исключительному служению указанным целям и видам. Установилось бы одно господствующее мнение по всем событиям и вопросам».

«Директор пробирной палатки» ничего не выдумал и почти не гиперболизировал действительности. Таковы именно и были устремления и чаяния правящих кругов России и в «дней александровых прекрасное начало» и в годы «мрачного семилетия» — «превратить ежедневную массовую печать в официальный рупор самодержавия». Газета в России, говорит А. Станько, «была призвана оправдывать и пропагандировать меры, предпринимаемые правительством». Эту цель правительство Александра I преследовало «как с помощью материальной поддержки официозов, так и путем административного подчинения частных изданий официальным учреждениям». Иногда это делалось более или менее скрытно, провозглашались лицемерные декларации о свободе и независимости печатного слова и рекомендовалось «издание газет таким образом устроить, чтобы сколь можно менее приметно было, что сии газеты издаются от правительства». А иногда маска отбрасывалась — и на газеты, в частности провинциальные, оказывался самый откровенный, драконовский нажим, они подвергались мелочной опеке министерства просвещения, унифицировались, лишались возможности касаться важных, наболевших вопросов, хирели и зачастую быстро прекращали свое существование. Такова была описанная в книге А. Станько судьба «Казанских известий», «Восточных известий», «Харьковского еженедельника» и ряда других газет. В результате такой политики в первой четверти XIX века «создалось положение, при котором «столичная газетная печать вместе с провинциальной представляла в основном лагерь близких к правительству изданий, который фактически противостоял передовой журналистике, представленной декабристскими альманахами и журналами».

Но навечно превратить газетную периодику в заповедник реакционности и мракобесия оказалось невозможным. В тридцатые годы центром притяжения сил, которые не склонили головы перед самодержавным режимом, становятся передовые литературные газеты. «Тот факт, что оппозиционные силы группировались вокруг лите-

ратурных изданий, не являлся случайным, — справедливо утверждает А. Станько. — В годы николаевской реакции литература сделалась единственной трибуной для общения писателей с народом, и народ видел в писателях, по известному выражению Белинского, «своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности».

Возрастающее влияние литературы и журналистики на умы людей вызывало у николаевских жандармов страх и озлобление. В 1830 году Бенкендорф сообщал царю о наличии в Москве и Петербурге партий, которые «находятся вполне под влиянием нескольких литераторов, стремящихся во что бы то ни стало овладеть общественным мнением», «парализовать намерения правительства и особенно распространение монархических идей».

История борьбы передовых кругов русского общества против «умственных плотин», сооружаемых аракатеевыми и уваровыми, дубельтами и бурачками, относится к наиболее интересным частям рецензируемой работы. В выходящих до сих пор исследованиях специфике газетной цензуры первой половины XIX века не уделялось особого внимания. Между тем современникам было хорошо известно, что она отличалась особой нетерпимостью и жестокостью. «При суждении о какой бы то ни было русской газете, — писал Белинский, — всегда должно брать в соображение, до какой степени простирается у нас вообще возможность хорошего издания в этом роде и до какой степени зависит от редактора его совершенство». Анализируемые в книге дела о запрещенных и искаженных цензурой статьях, приводимые автором цитаты из доносов цензоров, наглядно иллюстрируют условия, в которых существовала русская газета в эпоху, блестяще охарактеризованную ленинскими словами: «Проклятая пора эзоповских речей, литературного холопства, рабьего языка, идейного крепостничества!»<sup>1</sup>.

Но сколь ни тяжел был гнет этой «гнусности, от которой задыхалось все живое и свежее на Руси»<sup>2</sup>, многоступенчатая система надзора и репрессий, созданная царским самодержавием, была бессильна

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 100.

<sup>2</sup> Там же.

отучить людей думать и иметь собственное мнение. Как видно из книги А. Станько, «многие литературные газеты с первых же дней существования изыскивали различные способы, чтобы поведать читателям правду о важнейших политических событиях — как-то: французской революции 1830 года, польском освободительном восстании 1830—1831 годов и т. п.». Автор показывает, как русские газеты в эпоху николаевского безвременья, ведя полемику по вопросам, на первый взгляд абстрактным, оторванным от жизни или малозначительным, в действительности делали предметом дискуссий самые жгучие проблемы современности. Автор пишет: «Писатели и публицисты разработали целый ряд специальных терминов, условных понятий, которые, будучи ясными читателям, открывали возможность авторам говорить с ними на языке, не вызывавшем придинок цензуры. «Читатель,— как глубоко верно заметил Герцен,— знающий, насколько писатель должен быть осторожен, читает его внимательно; между ним и автором устанавливается тесная связь: один скрывает то, что он пишет, другой — то, что понимает».

В первой части книги, представляющей собой общий очерк развития газетной периодики в России за полвека, значительное внимание уделено идеологической характеристике, стилю и тематическому кругу отдельных газет, как столичных, так и провинциальных. Эти характеристики большей частью убедительны, вдумчивы, новы по аргументации. Прослеживая полемику, которую вели между собой те или иные печатные органы, А. Станько умело использует ее для уяснения и демонстрации их позиций в социальной борьбе. Вторая часть — «Оформление, отделы, жанры газет», — на мой взгляд, менее удалась авто-

ру. Здесь анализ в немалой мере уступает место описательности; обильный материал, собранный А. Станько, сам по себе представляет интерес, но он вошел в книгу сыроватым, недостаточно разработанным для того, чтобы подвести исследователя к значительным и весомым выводам.

Разумеется, в такой небольшой по объему книжке не представлялось возможным осветить всю многосложную, многоаспектную, богатую фактами и тесно переплетенную с различными сторонами идейной и литературной борьбы историю русской газеты за полстолетия. Поэтому было бы несправедливо предъявлять автору пространный перечень проблем, которые не разрешены в его работе в полном объеме, о которых он сказал вскользь или даже вовсе не затронул. Столь же естественно, что первая часть книги дает несколько фрагментарную картину развития газетной печати (не случайно она и озаглавлена — «Из истории газетной периодики 1800—1847 гг.»), что во второй части охарактеризованы не все, а некоторые газетные жанры. Книга А. Станько же является той всеобъемлющей монографией о русской газете, которая дала бы исчерпывающие ответы на все вопросы, охватываемые подобной темой. Но это подступ к созданию такой монографии, здесь затронуты малоизученные проблемы, даны своеобразные и обоснованные оценки многих явлений, деталей, фактов, введены в научный оборот неизвестные материалы. Если целью А. Станько было создать первую, пусть не исчерпывающую, но исследовательски выполненную работу об истории отечественной газеты за полвека, то нельзя не признать: эта цель достигнута.

**М. ВОЛКОВ.**



## УДИВИТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНИК

**Эразм Роттердамский. Разговоры запросто. Перевод с латинского С. Марниша. «Художественная литература». М. 1969. 704 стр.**

Выпущенная стотысячным тиражом и тут же раскупленная книга одного из замечательнейших гуманистов Дезидерия Эразма Роттердамского (1469—1536) «Разговоры запросто» была залумана как руководство для обучения разговорному латинскому языку. В начале XVI века, когда «Раз-

говоры» выходили в свет (они выдержали около сотни прижизненных изданий), латынь была языком науки и в немалой степени языком литературы. Она служила средством общения и единения интеллектуальной элиты. Популярность книги Эразма в те годы естественна. Не приходится



удивляться тому, что еще сравнительно недавно «Разговорами» Эразма продолжали пользоваться для обучения латыни. Но зачем современному русскому читателю составленный четыре с половиной века тому назад учебник мертвой речи, да к тому же еще в переводе? Весь секрет, однако, в том, что, написанная как разговорник, как учебное пособие, книга Эразма — это памятник литературы и общественной мысли одного из критических моментов в истории Европы, когда она резко поворачивала от средневековья к новому времени, от феодализма к капиталистическому обществу.

«Разговоры запросто» — серия диалогов, участники которых ведут беседы на самые разные темы, повседневные и научные. Они затрагивают вопросы, которые были злободневны для современников Эразма, они говорят о войнах тех лет, о поисках и открытиях тех лет, о героях и о черных силах тех лет. «Разговоры» должны были охватить самые разные стороны латинской лексики и вместе с нею — самые разные стороны тогдашней европейской политической и культурной жизни.

Как, однако, далеки Эразмовы диалоги от стереотипных учебных разговоров! Вот один из самых маленьких разговоров — «Эхо» (нереальная, но вместе с тем традиционномифологическая сценка). Юноша беседует с эхом, которое, как и полагается, повторяет концы его фраз, иной раз чуть-чуть видоизмененные.

Юноша: А мне какую идти в жизни дорожкой?

Эхо: Строгой.

Юноша: Не жениться ли, благослови боже?

Эхо: Позже.

Юноша: А что, если жена попадется и нескромная, и бесплодная — шутка ль?

Эхо: Ужутко!..

Юноша: Может быть, браку предпочесть тонзуру?

Эхо: Сдуру!

Двусложные ответы-ассонансы придают вопросам Юноши (вопросам, впрочем, довольно серьезным, хотя и несколько упрощенно-прямолинейным) развлекательный оттенок. В других случаях игра Эразма оказывается более сложной: серьезные проблемы словно оттеняются типично средневековой буффонной перебранкой, которую так любили и другие великие писатели XVI века, к примеру Рабле и Шекспир

Любимейший прием Эразма — спор. Чтобы такой спор оказался занимательным для читателя, силы его участников должны быть примерно равными и аргументы той и другой стороны должны казаться читателю убедительными.

Фабулла: Сколько я понимаю, мужчина, по-твоему, лучше и крепче женщины по природе.

Евтрапел: Да, по-моему, так.

Фабулла: Мужское мнение беспорно! Но разве мужчины долговечнее женщин? Разве никогда не хворают?

Евтрапел: Нет, но в целом они сильнее.

Фабулла: Да, но верблюды еще сильнее.

Евтрапел: И вдобавок мужчина сотворен ранее.

Фабулла: Да, но Адам сотворен раньше Христа. И художники в более поздних творениях часто превосходят самих себя.

Евтрапел: Но бог подчинил женщину мужчине.

Фабулла: Не всегда повелевает лучший.

Эразмовы «Разговоры» — игровые и условные. Художник не забывает, что его предмет — не сама жизнь, но учебные разговоры на жизненные темы. Однако «Разговоры запросто» — не только живая, озорная, искрящаяся смехом игра, но и средство для изложения авторской программы. Конечно, многие предметы, которые были важны для Эразма, настолько тесно привязаны к своему времени, что умерли вместе с ним. Игра в бабки или алхимия вряд ли могут взволновать сегодняшнего читателя, да и сифилис, который то и дело вспоминают герои Эразма, давно уже перестал быть общественным бедствием. Потеряли актуальность и многие богословские споры, в XVI веке разделившие Европу на два больших лагеря — католиков и протестантов. Но есть у Эразма проблемы куда более широкие и куда более живучие. Проблемы счастья и чести. Проблемы, как строить жизнь. Этические проблемы.

Герой диалога «Филодокс, или Славолуб» говорит своему собеседнику Симбулу, что значит «Подающий советы»: «Мне опротивела безвестность. Я хотел бы прославиться. Укажи мне путь». Выраженная в столь категорической форме мысль Славолуба кажется откровенно шутливой — но вдумавшись в нее ловимательнее. «Славы в преступ-

лениях,— продолжает Славолуб,— пусть ищут другие, а мне нужно имя доброе и честное». Симбул отвечает ему: «Если ты желаешь славы, приобретенной доблестью, то высшая доблесть в том, чтобы пренебречь славой». Герои «Разговоров» думают, таким образом, о «высшей доблести»; у остроумца Эразма открывается еще одно лицо — наставника, учителя жизни.

Он вырос в трудное, переломное время. Человечество переживало бурный подъем науки, колоссальный рост знаний. Обнаружилась и раскрылась античная сокровищница. Границы мира необычайно расширились: ведь при жизни Эразма Колумб высадился в Вест-Индии, а Магеллан совершил первое кругосветное путешествие. Возросло и уважение к знаниям: книгопечатание придало слову невиданную прежде силу, гуманисты становились советниками королей. Без знания классического наследия нельзя было ни руководить политической жизнью, ни вести эlegantные застольные беседы. Прогресс промышленности, рост богатства наряду с культурным подъемом внушали надежду на коренное изменение общественного устройства, на исправление человеческих пороков. Друг Эразма Томас Мор нарисовал картину счастливого государственного строя. Не имевшая пространственных координат, блаженная Утопия, по мысли Мора, должна была со временем обрести свое бытие.

Эразм был вознесен на гребне гуманистического подъема. Монах по социальному статусу, он был человеком невиданной образованности. Герои Греции и Рима так же близки ему, как и герои христианства. Он равно преклоняется перед Сократом и перед апостолом Павлом. Он верит в силу разума и, отнюдь не отвергая христианство, хочет очистить религию, опираясь на рационализм и достижения филологии.

Однако, несмотря на открытие Америки, книгопечатание и быстрый рост мануфактурного производства, счастливое будущее не наступило. Напротив, XVI столетие принесло междоусобицы, религиозные войны и гонения, разорение итальянских городов, заступление Германии, тиранию абсолютизма, вторичное закрепощение крестьянства. Не царство разума видел перед собой Эразм, но царство Глупости. Мир, который он рисует, это мир перевернутой логики, мир бессмыслицы и несправедливости. Дело не только в том, что ослы слынут учеными, чи-

новники и рыцари «по праву» грабят купцов, монахи воздвигают пышные храмы, тогда как бедняки умирают с голода. За всеми этими противоестественными вещами хоть стоят социальные интересы. Но вот Антроний, богатый купец, о котором идет речь в разговоре «Скарелный недостаток», и сам ест впроголодь, и своих челядинцев морит голодом — зачем? Красавица Ифигения выходит замуж за Простофилю Блина, известного только своим враньем и паршой, у которого нет ничего, кроме хвастливого имени рыцаря, — зачем? Люди отправляются в бессмысленные паломничества, которые приносят им одни неудобства; поступают в солдаты, что сулит только раны и бедность; распутничают, хотя результат этого — преждевременное одряхление. Мир кажется Эразму сошедшим с ума.

Человек, трезво видящий пороки современности, Эразм, однако, постоянно предупреждает против попыток резкой ломки, решительного поворота. Выход он ищет не в общественном перевороте, но в личном самосовершенствовании. Конечно, многое вокруг бессмысленно, смешно, нелепо, но, по его убеждению, «то, что проникло глубоко в души, прочно укоренилось благодаря долгому применению и словно бы вошло в самую природу человека, не может быть вдруг отменено без большой опасности для общего спокойствия». Эразм опасается, что из-под власти одних тиранов можно попасть под иго других. И как показательно, что Эразм, который всей своей деятельностью подготовил реформацию, «снес яйцо, которое высидел Лютер», как тогда говорили, — не прикнул к Лютеру, а некоторое время спустя даже выступил против него с прямой полемикой.

Идеал Эразма — не переворот и отнюдь не народовластие. Его идеал — дружеское застолье мудрых, не слишком богатых, но и не чересчур нуждающихся в деньгах людей, умеренных в своих повседневных потребностях, но чутко чувствующих прелесть луга, аромат свежего ветерка, очарование картины и книги, не боящихся смерти и — самое главное — терпимых. Если можно говорить о главной идее Эразма, то это терпимость, толерантность. Как старательно подчеркивает он возможность существования разных и противоречащих мнений, которые высказываются и обсуждаются без малейшей враждебности! Как настаивает на терпимом отношении к иноземным нравам и к одеждам,

кажущимся странными! Как требует снисходительности к слабостям своих близких! Эразм хорошо знает, что человек не ангел, и выступает против ригористических и лицемерных требований от человека ангельского поведения.

Но терпимость, толерантность, высокая снисходительность не превращаются у Эразма во всеядность. У этого терпимого книголюба были свои враги, он хорошо знал их и не склонен был распространять на них христианское всепрощение. Две общественные фигуры, пожалуй, вызывают самую свирепую ненависть Эразма: во-первых, воин, рыцарь, культивирующий грабеж, разврат, безжалостность к слабым и трусость перед сильными, и, во-вторых, невежественный богослов, монах-лицемер, у которого Евангелие в руках, но не в сердце.

**Полифем:** Но ты не считаешь, что носить Евангелие — это святое дело?

**Канний:** Нет, если только ты не признаешь, что самые святые существа в мире — это ослы.

**Полифем:** Как так?

**Канний:** Да ведь одного осла довольно, чтобы нести три тысячи подобных книжек. Я уверен, что и ты поднял бы этот груз, если приладить тебе на спину хорошее вьючное седло.

**Полифем:** Ничего странного не будет, если мы признаем святость за ослом, — ведь он тоже нес на себе Христа.

**Канний:** Такую святость можешь взять себе всю целиком.

Книга Эразма прекрасно переведена С. П. Маркишем. Озорной, причудливо богатый язык голландского гуманиста было нелегко передать — достаточно вспомнить такую трудную вещь, как «Эхо». Тактичный комментарий дает самые необходимые сведения для понимания намеков Эразма на античную литературу и на современные ему события. Наконец, в предисловии С. П. Маркиш характеризует творчество Эразма. Ему удалось избежать соблазнительной ошибки: он не модернизирует своего героя, показывая, насколько тесно он был связан со средневековьем, и потому новое у Эразма предстает перед читателем значительно более существенным. Вместе с тем С. П. Маркиш не идеализирует Эразма, хотя и отходит от пренебрежительной оценки, которая была свойственна нашей литературе некоторое время тому назад, когда в великом гуманисте видели филистера, а его сочинениям, помимо одной «Похвалы глупости», отказывали в литературных достоинствах.

Книга отлично оформлена (художник А. Брусиловский). Издательство «Художественная литература», выпустившее к пятидесятилетнему юбилею Эразма первый полный перевод «Разговоров», заслуживает самую искреннюю благодарность.

**А. ЯСТРЕБИЦКАЯ.**



## КИБЕРНЕТИКА: УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ

**Н. Винер.** Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине.

Второе издание. Перевод с английского И. В. Соловьева и Г. Н. Поварова.

Под редакцией Г. Н. Поварова. «Советское радио». М. 1968. 328 стр.

**Н. Винер.** Мое отношение к кибернетике. Ее прошлое и будущее. Перевод с английского Г. Н. Поварова. «Советское радио». М. 1969. 24 стр.

**П**роблемами кибернетики в настоящее время интересуются самые широкие читательские круги. Кибернетика, главным образом как составная часть космической темы, обильно представлена на страницах научно-фантастических романов. На каждом шагу встречаем: «...корабль внезапно подбросило и завалило набок, так что киберпилот обиделся...»

Первые поступления литературы по кибернетике на русском языке, числом три, относятся к 1956 году. Бурный рост интереса к кибернетике начинается с 1958 года, когда издается русский перевод «Киберне-

тики». В том же году выходит на русском языке другая книга Винера — «Кибернетика и общество». В дополнительном, 51-м томе БСЭ появляется весьма фундаментальная статья «Кибернетика», написанная академиком А. Н. Колмогоровым, труды которого Винер, кстати сказать, относит к числу работ, положивших основание этой отрасли науки.

В наши дни серьезные книги по кибернетике издаются неслыханными для специальной литературы тиражами. Второе издание «Кибернетики» вышло тиражом в семьдесят тысяч экземпляров — и разошлось

мичовенно. Программная работа ныне покойного Винера «Мое отношение к кибернетике» издана восьмидесяти тысячным тиражом.

Следует отметить работу переводчиков указанных изданий — Г. Н. Поварова и И. В. Соловьева. Они сумели избежать обычной в технических переводах русификации текста, а в тех случаях, когда это действительно необходимо для точной передачи всех оттенков мысли автора, не побоялись ввести элементы дословного перевода. Таким образом, бережно сохранены все особенности стиля Винера. Переводы сопровождаются тщательным, даже, можно сказать, любовно составленным комментарием.

К издержкам бурного роста интереса к кибернетике нужно отнести массовое распространение представлений о всеобъемлющем могуществе электронных вычислительных машин, в том числе уже существующих<sup>1</sup>. В большом числе публикаций, особенно зарубежных научно-фантастических, начал культивироваться страх перед грядущим (по утверждениям некоторых авторов, прямо неизбежным) порабощением или уничтожением человека порожденными им роботами. Сам Винер подходит к этим крайностям достаточно осторожно. Посетив летом 1960 года Москву, он в интервью для журнала «Природа» говорил: «В некоторых странах, в том числе в США, заметна тенденция к «обожествлению» машин, к попытке приписать им такие возможности, которыми они в действительности не обладают».

Г. Н. Поваров продолжает эту мысль: «Что касается столь возбудившей умы проблемы роботов, то она и сегодня принадле-

жит более научной фантастике, нежели положительной науке. Роботы — это будущее кибернетики. Кибернетике, конечно, свойственно внутреннее стремление к созданию искусственного разума и искусственной жизни, однако предстоит еще громадная теоретическая и экспериментальная работа, чтобы узнать, как далеко можно пойти по этому пути».

Каково настоящее кибернетики? Каковы ее сегодняшние реальные возможности и подлинные научные проблемы?

Если говорить о «классическом», корнем вопросе кибернетики — настоящем и будущем цифровых вычислительных машин (ЦВМ), — то можно отметить весьма значительные успехи, достигнутые как при жизни Винера (они отражены в его монографии), так и после его смерти. Основными же техническими проблемами развития ЦВМ являются повышение быстродействия, надежности, миниатюризация элементов, увеличение объема оперативной памяти.

Быстродействие первой серийной отечественной ЦВМ УРАЛ-1 составляло сто операций в секунду. Современная машина БЭСМ-6 производит в секунду миллион операций. Однако ученые, инженеры, экономисты вошли во вкус. Сейчас нередко выдвигаются задачи, решение которых уже практически невозможно и на таких машинах, как БЭСМ-6, и требует еще большего быстродействия.

Первые электронные вычислительные машины уже содержали десятки тысяч радиотехнических элементов. Внезапное повреждение любой из этих деталей выводило машину из строя. Винер отмечает, что для первых вычислительных машин время, которое приходилось тратить на устранение неполадок, составляло более восьмидесяти процентов общего времени эксплуатации машины. Современные большие ЦВМ характеризуются более или менее приемлемой надежностью, которая, впрочем, обеспечивается лишь в тепличных условиях (кондиционированный воздух и др.). Большую роль в повышении надежности ЦВМ должно сыграть резервирование, широко использованное природой при создании живых организмов. Оно обеспечивается наличием в машине запасных, автоматически взаимозаменяемых блоков.

Рука об руку с повышенным надежностью шла миниатюризация элементов вычисли-

<sup>1</sup> Приятным исключением на общем фоне явились шуточные строки Владимира Лифшица, продемонстрировавшие возможность трезвого подхода к проблеме:

Включаются контакты,  
Раздается  
Басовое шмелиное гуденье,  
И тотчас возникают на бумаге  
Единственно возможные слова.  
А сам поэт в удобной спецодежде  
Лишь изредка подвинчивает клеммы  
Да деловито протирает замшей  
И без того сверкающий металл.  
Чтоб вечером в кругу своих собратьев  
Сказать, сдувая с толстой кружки пену.  
— Сегодня поработалось на славу!  
За смену выдал сорок тысяч строк!..

тельных машин. Значение миниатюризации элементов вычислительных машин Винер поясняет наглядным примером: если бы элементами некоторых ЦВМ начала шестидесятых годов оставались электронные лампы, то эти машины имели бы размеры здания Эмпайр Стейтс Билдинг — самого большого, стодвухэтажного здания США. В области миниатюризации достигнуты впечатляющие успехи. Сейчас уже речь идет о микроминиатюризации; разработаны новые принципы создания элементов ЦВМ предельно малых размеров. Как известно, ЦВМ входят в оборудование космических аппаратов. Такие ЦВМ, наиболее неприхотливые и миниатюрные, успешно использовались экипажами лунных кораблей «Аполлон-11» и «Аполлон-12».

Объем оперативной памяти у УРАЛА-1 составлял тысячу ячеек, у БЭСМ-6 он составляет тридцать две тысячи. Уже имеются машины с объемом оперативной памяти, превышающим миллион ячеек.

Таким образом, мы являемся свидетелями поистине гигантских успехов в решении технических проблем, связанных с разви-

тием ЦВМ. Им сопутствует, конечно, оромный рост могущества ЦВМ. Машины проводят численное решение сложнейших математических уравнений, умеют играть в шахматы. Более того, в процессе работы машины могут самообучаться и самоусовершенствоваться. И все же «интеллектуальный уровень» современных ЦВМ остается довольно низким. Могущество ЦВМ обусловлено не их интеллектом, а возможностью безошибочного и фантастически быстрого выполнения сложной системы команд, разработанной человеком. На основе выполнения тщательно регламентированных команд идет и процесс самообучения.

«Стало ясно,— писал Винер,— что человеческий мозг служит своего рода показателем того, на что способна автоматическая машинерия». Показатель достаточно высокий. Каковы реальные перспективы продвижения машин в этом направлении? Этот вопрос не получил пока достаточного освещения в литературе, доступной широкому читателю.

**Ан. ВАСИЛЬЕВ.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**А. БИРМАН.** Самая интересная наука. «Молодая гвардия». М. 1969. 192 стр.

От монографий по теории советских финансов до книги для молодых рабочих «Учись хозяйствовать» — таков диапазон этого автора. Его новая книга написана для школьников, решающих: кем быть? А. Бирман настоятельно советует: подумайте об экономике.

От литератора требуется определенная смелость, чтобы взяться заинтересовать школьника этой не школьной наукой. Такие попытки уже предпринимались последнее время — можно вспомнить, например, книгу В. Стороженко «Семь раз отмерь...», выпущенную издательством «Детская литература» в 1968 году. Но и в этой несомненно удачной книге, и в некоторых других чувствуется как бы неуверенность в том, что экономика способна заинтересовать юного читателя сама по себе. Поэтому привлекается множество побочных любопытных фактов — своего рода приманка для читателя, который должен вместе с нею проглотить и основную информацию. Конечно, нужно немалое искусство и для того, чтобы сделать интересной книгу о неинтересном. Но А. Бирман идет иным путем. Он глубоко убежден в том, что его наука интересна в самом своем существе. Он рассказывает о ней прямо и просто, хотя и без упрощения. Он верит в читателя и не боится уже на первых страницах вводить такие понятия, как «общественный характер труда» или «товарно-денежные отношения».

Но простое изложение сложных вопросов само по себе еще не дает успеха. Секрет притягательности книги в другом. Автор рассказывает без утайки о «белых пятнах» науки, о нерешенных проблемах ее, о трудностях, о спорах. Он показывает, что труд экономиста нередко тяжело, что этот труд требует не только знаний, но и смелости.

Прочитав эту книгу, еще не узнаешь ответа на все вопросы экономики. Но сами вопросы поставлены, характер проблем показан без снисхождения к возможному низкому уровню подготовки читателя. Вот, например, один из поставленных вопросов: «Почему же в этих условиях, когда труд имеет непосредственно общественный характер, нужны деньги? Научная мысль

бьется над этим вопросом вот уже скоро полвека. Многие в этой области выяснено, но до единого мнения еще очень далеко.

Заметим, что для широкого круга людей, в том числе и для многих революционеров, необходимость денег после свержения капитализма оказалась неожиданной. В течение сотен лет сочинения социалистов-утопистов рисовали будущий социалистический строй прежде всего как общество, в котором нет денег. В «Утопии» Томаса Мора из золота и серебра изготавливаются ночные горшки. В «Государстве Солнца» Кампанеллы деньги используются лишь во внешней торговле при отношениях с другими, несоциалистическими странами. В «Идеальном государстве» английского утописта Уинстелли за куплю и продажу виновные подвергаются тяжелой каре вплоть до смертной казни. И даже Маркс и Энгельс, создатели и основоположники научного коммунизма, вряд ли предполагали, что деньги в социалистическом обществе будут существовать столь долго. Почему же необходимы деньги в СССР?»

А вот как автор показывает реальную сложность выбора, который предлагает экономисту сама жизнь: «...индустриализация страны, а затем коллективизация сельского хозяйства происходили в обстановке значительной отсталости нашего народного хозяйства от передовых зарубежных стран. Во всем была крайняя нужда, и естественно было желание как можно скорей выбраться из нехватки, пробежать быстрее путь, отделявший нас от передовых в экономическом отношении стран... Однако исторический опыт показывает, что всякий раз, когда при решении экономических вопросов выходят за пределы объективных возможностей, народное хозяйство терпит урон, и конечный результат меньший, а не больший, чем мог быть при строгом соблюдении реально возможного темпа... В то же время научная строгость и объективность никак не могут быть отождествлены с робостью, нерешительностью, мелкотравчатостью».

Едва ли автор хотел, чтобы каждый школьник, прочитавший эту книгу, кинулся поступать в экономический институт. Но он, несомненно, достиг другой цели: каждый, у кого есть к тому склонность, получит конкретное представление об этой профессии. И более того: получилась хорошая кни-

га, интересная не только для школьников, но и для любого читателя, который, не будучи специалистом в экономике, хотел бы узнать о ее основных проблемах.

Т. Смирнов.

★

**ТАМАРА КАЛЕНОВА.** Не хочу в рюкзак. Повести. «Молодая гвардия». М. 1968. 301 стр.

«Не хочу в рюкзак» — не хочу сидеть за чужой спиной, не хочу прятаться от жизни, — с прямолинейностью и задором молодости провозглашает писательница-сибирячка Тамара Каленова, утверждая в своих повестях личность активную, деятельную, энергичную.

Главная героиня повести «Не хочу в рюкзак» юная цирковая гимнастка Маша только вступает в ту полосу жизни, когда хочешь не хочешь, а приходится самому, без подсказки принимать решения. И сразу с места в карьер девушка выходит замуж и остается в городе, где должна была провести лишь несколько недель.

Вместе с ощущением радости пришла растерянность. Действительность оказалась трезвее и жестче мечты. Маша словно бы раздвоилась: одна половина ее была полна любимым, другая рвалась вслед уехавшему цирку. Маша в раздумье: что делать, как жить дальше?

Вторая повесть Каленовой, «Временная учительница», рассказывает о первых трудовых шагах вчерашней студентки Лиды. Девушка стала учительницей в санаторно-лесной школе, где, что ни год, новые ученики. Больше всего ее угнетает сознание временности своего влияния на ребят.

Лида из тех цельных личностей, для которых не может быть разрыва между словом и делом, между тем, какие убеждения исповедует человек и как живет. Все ее посылки освещены искренностью, честностью, душевной чистотой. Добрая, сердечная, умная девушка... Многое дано ей, кроме одного — взаимности в любви. В студенческой среде таких, как Лида, полусхотливо, полулюбовно называют «свой парень». К ней парни доверчиво обратятся за помощью в трудную минуту, а тосковать будут... о другой.

Как ни различны по содержанию повести «Не хочу в рюкзак» и «Временная учительница», в идее, заложенной в них, они схожи. Человек не может, не должен жить без любимого дела. И совсем не важно, кем ты работаешь, гимнасткой в цирке или учительницей в школе, главное, чтобы это было твое, необходимое для тебя дело. Отказаться от него, служить ему воплотию, спустя рукава — значит обкрадывать себя.

Стремясь художественно воплотить эту общеизвестную истину, писательница превращает свою власть над судьбами героев. Откровенно вмешиваясь в происходящее, она расставляет образы, словно фигуры на шахматной доске.

Первая повесть кончается розовым эпилогом, из которого читатель узнает, что Маша отправилась на гастроли, оставив маленького сына на попечение мужа и его друзей в туристическом лагере. Этот благополучный эпилог как-то принижает сомнения, метания, раздумья молодой женщины, ослабляет интерес к столь просто разрешившемуся конфликту между желаемым и действительным (ведь именно на этом и держится сюжет повести!). Придуманной автором для Маши выход переводит повествование из русла духовного поиска в однозначный событийный план.

Посочувствовала писательница и неустроенной в личной жизни Лиде — и познакомила ее с молодым (и, конечно, не женатым) офицером.

Подобное отдающее торопливостью и недодуманностью разрешение жизненных сложностей мешает до конца поверить авторскому слову.

У молодой писательницы немало тонких наблюдений, ярких и точных психологических деталей, однако отдельные удачные частности еще не сложились в полнокровное целое. Недостает пока прозе Т. Каленовой глубины и многомерности изображения. Ее мысль часто лежит на поверхности, не вызывая сораздумья и созереживания. Все это говорит о том, что пора писательской зрелости у Тамары Каленовой впереди.

И. Данченко.

★

**В. А. ЖАМИН.** Экономика образования (Вопросы теории и практики). «Просвещение». М. 1969. 334 стр.

Расходы на народное просвещение занимают, как известно, все большее место в нашем государственном бюджете, и естественно, что наше общество заинтересовано в наиболее эффективном расходовании этих средств.

Система народного образования и экономика страны связаны тысячами нитей. Мы видим из опыта всех развитых промышленных стран, что все большая часть национального дохода идет в настоящее время на нужды народного просвещения. Однако эти вложения, так же как и вложения в науку, являются крайне важными для общества, они приносят в конечном счете огромный экономический эффект. Образование играет решающую роль в воспроизводстве квалифицированной рабочей силы, рост производительности труда и развитие экономики страны находятся в прямой зависимости от образовательного и технического уровня трудящихся. Поэтому подготовка кадров является сейчас таким же решающим фактором научно-технического прогресса, как и техническая оснащенность предприятия, научная организация труда и экономические стимулы. Большое значение имеет сейчас не только изучение экономической эффективности обра-

зования, но и изучение более узких вопросов. Речь идет о таких проблемах, как планирование образования и подготовки кадров, планирование капитальных вложений в создание и обновление основных фондов в области образования. Следует глубже изучить принципы оплаты труда учителей школ и преподавателей вузов. Все большую роль в методике обучения приобретает использование разнообразных технических средств, что связано с созданием многих новых предприятий по производству учебно-наглядных пособий, разнообразной аппаратуры, специальных станков для учебных мастерских и т. д. Здесь также есть о чем подумать экономисту.

При всем значении экономики образования, эта область знаний развивается у нас пока крайне медленно. Должного внимания не уделяли ей ни экономические институты, ни Академия педагогических наук СССР. Только в последние годы вопросы экономики образования стали разрабатываться более интенсивно. И вот перед нами книга, в которой впервые дается систематическое изложение коренных проблем этой новой отраслевой науки. Автор — доктор экономических наук В. А. Жамин, один из немногочисленных еще энтузиастов экономики образования.

По своей структуре и характеру изложения книга В. А. Жамина является скорее учебным пособием. Автор старается охватить почти все важнейшие разделы экономики образования. Естественно, что это не позволяет ему рассмотреть многие проблемы подробно, некоторые из глав книги уместаются всего на нескольких страницах. В первых главах говорится о предмете экономики образования, о главных этапах развития системы образования, об организации управления народным образованием, о взаимосвязи образования с экономикой страны. Важное место в книге занимают вопросы планирования общего образования (планирование численности учащихся и самого учебного процесса).

В главах VI и VII идет речь о подготовке кадров квалифицированных рабочих и специалистов в СССР. Затем В. А. Жамин рассматривает основные проблемы материально-технической базы народного образования и подготовки кадров для народного образования, вопросы организации и оплаты труда работников образования как в средней, так и в высшей школе. Заключительные главы книги посвящены финансированию народного образования, перспективам его развития и эффективности народного образования. Книга снабжена подробной библиографией и предметным указателем.

Как отмечает автор, его работа не претендует на исчерпывающее освещение всех проблем экономики народного образования. И действительно, в ряде случаев В. А. Жамин дает лишь описание эмпирически сложившихся методов планирования, организации и управления народным образова-

нием, которые не всегда являются достаточно эффективными. Известно, что многие неудачи при тех или иных перестройках школы были связаны не в последнюю очередь с пренебрежением к экономике народного образования. Проектерство и субъективизм в области просвещения осуждены на октябрьском Пленуме ЦК КПСС, это требует глубокого критического изучения опыта советской школы также и с точки зрения экономики образования.

А. Михайлов.

★

**Б. Н. ДВИНЯНИНОВ.** Меч и лира. Очерк жизни и творчества П. Ф. Якубовича. «Наука». М. 1969. 176 стр.

В первые же месяцы после Октябрьской революции творчество П. Якубовича, как и других прогрессивных писателей, было официально объявлено народным достоянием. Однако долгие годы произведения выдающегося писателя, поэта и публициста по разным причинам не были известны советскому читателю. А в литературоведении были попытки фальсификации идейной направленности творчества П. Якубовича, в частности доказывалось, что поэт был певцом «умирающего народничества».

Книга Б. Двиганинова спорит с этими неверными представлениями о П. Якубовиче.

Связав свою судьбу с революционным народничеством, П. Якубович прославился прежде всего как поэт революционного подполья. Арестованный в 1884 году за активное участие в деятельности «Народной воли», Якубович затем около девятинадцати лет провел в тюрьмах, на каторге и в ссылке. Поскольку произведения его в этот период жестоко преследовались цензурой, ему пришлось выступать в легальной печати под псевдонимами. Б. Двиганинов отмечает, что из всех поэтов, выступавших после Некрасова, Якубович «испытал наибольшее давление цензуры». Последнее цензурное дело было закончено уже после смерти Якубовича. На основе многочисленных архивных материалов и малоизвестных статей в периодике автор рисует трагическую судьбу поэта-гражданина, отдавшего жизнь борьбе за освобождение своего народа.

Популярность Якубовича необычайно возросла после опубликования в журнале «Русское богатство» его книги «В мире отверженных» (под псевдонимом Л. Мельшин), написанной на каторге и переправленной друзьями в столицу. Книга печаталась в семнадцати номерах журнала и вызвала бурное обсуждение специалистов — врачей, юристов, экономистов, а также писателей и журналистов. В обсуждении принял участие и сам автор, разумеется, под псевдонимом. Критика высоко оценила этот выдающийся труд писателя — лучшее художественное произведение о царской каторге после «Записок из мертвого дома» Достоев-



ского. Оно известно советскому читателю по изданию 1964 года, в предисловии к которому Б. Двинянинов подробно изложил историю создания книги, прокомментировал ее содержание, идейную направленность и художественные достоинства.

Поэт верил в будущее родной страны, в справедливость, которая в конце концов восторжествует. Находясь на каторге, он писал с глубокой верой в торжество истины:

Потомство узнает, потомство услышит  
Все ваши неправды, всю нашу печаль.  
Оно заклемит вас, оно нас запишет  
В кровавую славы окожижало!

В своем исследовании Б. Двинянинов подчеркивает, что и в поэзии, и в прозе, и в публицистике П. Якубович ставит тему человеческого достоинства, которое он связывает прежде всего с «политической борьбой народа за свое освобождение, против порабощения, основанного на культуре грубой силы». Обращаясь к будущим поколениям, П. Якубович завещал: «Человека достоинство читате!»

И. Ярославцев.

★

**АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН.** Поле боя. Лирика. «Молодая гвардия». М. 1968. 64 стр.

Название новой книги Анатолия Жигулина не стоит толковать чересчур буквально. Поле боя для автора — это и солнце, светящееся «на змейках пулеметных лент», и наивный детский восторг, что «винтовочных и автоматных патронов всюду просто тьма», и радость, уже не детская, а взрослая, что «меж черных проволок минных нас божьи ангелы вели», и страшная картина, которая всегда будет стоять перед глазами: «Там был один окоп оплывший. И в нем, откинувшись назад, стоял, как памятник,— застывший, погибший осенью солдат». Незабываемы приметы военного времени, увиденные подростком и навеки вошедшие в его сознание.

Но поле боя — это, в сущности, вся жизнь с ее поражениями и победами. «Путем извилистым и длинным — уже который год подряд — я вновь и вновь иду по минам моих печалей и утрат».

Тематически новая книга А. Жигулина близка предыдущим его стихотворным сборникам. Поэт, как и раньше, видит свой долг в том, чтобы без утайки рассказать о пройденном, но, сознавая, что он вступил в пору зрелости, автор испытывает потребность с высоты сегодняшнего дня взглянуть на прошлое и осмыслить жизненные факты в их сцеплении. Он думает о том, что окружающий его мир стал его собственным миром, частью его существа («Как уйду я, кому оставлю этот мир, где роса чиста,— эту полную солнца каплю, что вот-вот упадет с листа?..»). Мысленно возвращаясь к испытаниям, которые выпали на его долю, он приходит к выводу,

что они, эти испытания, принесли ему не только беды. Они научили его дорожить товариществом, они помогли ему отделить ценности подлинные от мнимых («Магадан, Магадан, Магадан! Давний символ беды и ненастья, может быть, не на горе — на счастье ты однажды судьбою мне дан?..»).

«Через тернии к звездам», — говорили древние. Автор «Поля боя» сознает, что не на пути самодовольного погружения в себя — истоки творческих побед. Они в другом — в страстной причастности к тому, что совершается вокруг, чем живут современники, в том, что входит в сердце поэта и образует его душевный опыт. «Хорошо то пишется, что выжжется болью, раскаленной добела».

Л. Левицкий.

★

**ГРАНОВСКИЙ ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ.** Библиография (1828—1967). Под редакцией С. С. Дмитриева. Издательство Московского университета. 1969. 238 стр.

Готовил Родине ты честных сыновей,  
Провидя луч зари за непроглядной

далью.

Как ты любил ее! Как ты скорбел

о ней!

Как рано умер ты, терзаемый печалью.

Эти строки, посвященные профессору истории Московского университета Т. Н. Грановскому, принадлежат Некрасову.

«Грановский и Белинский, вовсе не похожие друг на друга, принадлежали к самым светлым и замечательным личностям нашего круга».

К концу тяжелой эпохи... когда все было прибито к земле, одна официальная личность громко говорила, литература была приостановлена и, вместо науки, преподавали теорию рабства, цензура качала головой, читая притчи Христа, и вымарывала басни Крылова, в то время, — встречая Грановского на кафедре, становилось легче на душе. «Не все еще погибло, если он продолжает свою речь», — думал каждый и свободнее дышал — это слова Герцена.

Недавно в актив литературы о Грановском вошла научная библиография всех публикаций произведений ученого и упоминаний о нем в русской и советской печати.

Книгу открывают вступительные очерки С. С. Дмитриева «Грановский и Московский университет» и Е. В. Гутновой «Грановский как историк». В них поставлены вопросы о роли Грановского в идейной и научной жизни его времени, о значении его вклада в историю русской общественной мысли и в развитие исторической науки, в частности русской медиевистики (истории средневековья). Поднят вопрос о серьезном нравственном влиянии Грановского — педагога, учителя и наставника на современную ему учащуюся молодежь и последующие поколения студентов.

С. С. Дмитриев в своей статье акцентирует внимание на проблеме — Грановский и история общественной мысли, общественно-го движения в России. Отношение к Грановскому рассматривается как своего рода показатель умонастроений в различные исторические эпохи.

Структура самой биобиблиографии, принцип расположения справочных материалов органически связан с этой проблематикой. В специальный раздел выделена переписка письма Грановского и к Грановскому. В особый раздел отнесены документы к биографии, как-то: некрологи Т. Н. Грановского и его супруги Е. Б. Грановской, работы с посвящениями Т. Н. Грановскому и Е. Б. Грановской. Еще один раздел: Грановский в письмах, дневниках, стихотворениях и воспоминаниях его современников. Подобное членение биобиблиографического материала дает конкретное представление об общественном резонансе, который имела деятельность и личность Грановского в тридцатые—пятидесятые годы прошлого столетия.

Существующая литература о Грановском расположена в хронологическом порядке. Старая поговорка гласит: хронология — око истории. В данном случае это оказывается именно так. В общем перечне в зависимости от времени публикации указаны монографии, статьи, рецензии, очерки, юбилейные речи. Возможно, это усложняет практическую работу со справочником, но указанный принцип создает возможность составить суждение о том, какое место занимал Грановский в отечественной историографии, какие стороны в жизни и деятельности Грановского привлекали внимание исследователей и литераторов в разные годы, что само по себе весьма симптоматично. Рецензии в периодической печати, появившиеся вслед за новыми публикациями, их количество и названия печатных органов, в коих они обрели жизнь, позволяют понять, насколько близок оказывался Грановский потомству и общественно значим на разных этапах истории русской интеллигенции.

За исключением брошюры Н. В. Минаевой «Грановский в Москве», вышедшей в издательстве «Московский рабочий» в 1963 году и представляющей собой увлекательный научно-популярный очерк, правда, несвободный от некоторых фактических огрехов, на счету советской историографии до сих пор нет, к сожалению, ни одной работы о жизни и деятельности Грановского в целом. Наши историки как-то больше вспоминали о нем попутно — в связи с Герценом, Огаревым, Белинским, Чернышевским, идейными спорами западников и славянофилов. Взаимосвязанное рассмотрение всех сторон жизни и деятельности Т. Н. Грановского, представленное в живой форме, со знанием дела, со свежим взглядом на источники, думается, было бы очень любопытно читателю сегодня, когда интерес к истории духовной жизни русского общества столь велик.

**Н. Рабкина.**

**БРУНО ВАЛЬТЕР. Тема с вариациями. Воспоминания и размышления. «Музыка». М. 1969. 361 стр.**

Книга выдающегося немецкого музыканта, одного из крупнейших дирижеров нашего времени Бруно Вальтера написана им в 1947 году и лишь теперь переведена у нас, в Советском Союзе. «Это история жизни, до краев наполненной музыкой» — так охарактеризовал ее сам Вальтер. «После долгих странствий по жизненному пути вдруг захотелось остановиться, обратиться в прошлое взгляд, до тех пор всегда устремленный вперед, посмотреть на пройденный путь. Так, в возрасте шестидесяти восьми лет я решил отдохнуть год, чтобы все вспомнить, проверить и рассказать о моей жизни».

Новая для советского читателя книга Бруно Вальтера не первое произведение этого музыканта, переведенное на русский язык. В первом выпуске издающейся у нас серии «Исполнительское искусство зарубежных стран» были напечатаны заметки Вальтера «О музыке и музицировании». «Тема с вариациями» составляет четвертый выпуск названной серии. В книге описана масса интереснейших событий из жизни дирижера, его встречи со многими крупнейшими музыкантами, работа в лучших оперных театрах мира, приезд с гастрольями в Россию, а затем в Советский Союз. Обо всем этом Вальтер повествует легко и живо, с тонким юмором и вместе с тем благоговейно перед музыкой.

Мы совершаем увлекательное путешествие в музыкальный мир его молодости, следим за все новыми и новыми успехами молодого дирижера: восемнадцать лет — помощник знаменитого Малера, двадцать — самостоятельно ставит «Волшебную флейту» Моцарта, двадцать два года — должность первого капельмейстера Рижского оперного театра, место, которое в свое время занимал сам Рихард Вагнер! Ярко, как будто о событиях совсем недавнего прошлого, рассказывается о концертах Ганса фон Бюлова, о его «странностях» (например, об исполнении им Девятой симфонии Бетховена дважды в одном концерте; или же о «перепосвящении» Третьей симфонии Бетховена Бисмарку, реакции на это публикации и поведении Бюлова). Исключительное место в воспоминаниях отводится Густаву Малеру — другу, наставнику, кумиру Вальтера. В зрелые годы в своем творчестве Вальтер соприкасается с С. Рахманиновым, И. Менухиным, О. Габриловичем, Т. Манном и многими другими.

В качестве предисловия к «Воспоминаниям» опубликована (впервые на русском языке) статья Т. Манна «Бруно Вальтеру к семидесятому дню рождения» — далеко выходящее по содержанию за рамки данного «жанра» обращение к другу.

В большом «Приложении» собраны рецензии на рижские выступления Вальтера (подготовил И. Браун), а также на его московские и ленинградские концерты

(публикация В. Кулешовой и Э. Хорольской). Кроме освещения собственно деятельности Вальтера, его исполнительской манеры, отношения к нему публики и т. д. (очень интересно, например, упоминание об исполнении им «Дон Жуана» Моцарта, где в речитативах он сам аккомпанировал певцам на клавишине), эти документы имеют и историческое значение. По многим деталям мы можем составить себе представление о формах музыкально-концертной деятельности в начале века. Среди рецензентов встречаются имена А. Римского-Корсакова, Л. Сабанеса, В. Музалевского и других.

Советские любители музыки получили замечательную книгу, прекрасно составленную (составитель Г. Эдельман) и хорошо оформленную.

А. Майкапар.

★

**В. В. НАЛИМОВ и З. М. МУЛЬЧЕНКО.** Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса. «Наука». М. 1969. 192 стр.

В середине XVII века сформировалась группа английских ученых, которая несколько позднее образовала Лондонское Королевское общество — Академию наук Великобритании. Эта группа не была официально оформленной организацией, члены ее обменивались письмами о результатах новых исследований в целях взаимной информации и закрепления приоритета научных открытий.

Подобные «незримые коллективы» возникают и сейчас, например, в виде непрерывно действующего международного заочного конгресса, работающего при посредстве почты. Их возникновение связано с необходимостью преодолеть информационный кризис, заменить дорогостоящие и безбожно запаздывающие традиционные публикации фотокопиями, которые оперативно рассылаются членам коллектива. Так метод трехсотлетней давности обрел вторую жизнь — на новом техническом уровне.

«Незримые коллективы», их роль в развитии современной науки — один из наиболее интересных сюжетов книги профессора Московского государственного университета В. В. Налимова и научной сотрудницы З. М. Мультченко. Они назвали свою книгу на первый взгляд странно: «Наукометрия». Как понять это необычное заглавие?

В развитии науки можно выделить две ее функции. Одна — созидательная, это процесс производства знаний. Другая — процесс передачи знаний от их творцов к потребителям. Обе функции тесно связаны: процесс научного творчества, особенно сейчас, немыслим без информации; с другой стороны, наука, данные которой не становятся достоянием общества, теряет свое практическое значение. Поэтому мы с полным правом можем говорить о развитии науки как об информационном процессе. Но если нау-

ка как процессу производства знаний посвящено большое количество работ, то изучение науки как информационного процесса только начинается.

Рассматриваемая книга представляет собой серьезную монографию по количественным методам изучения развития науки как информационного процесса. Тем самым кладется начало новому направлению исследований, которое авторы и назвали наукометрией. В книге освещен широкий круг вопросов: рассматривается информационная модель процесса развития науки и рост информационных потоков, проводится статистический анализ содержания этих потоков, обсуждаются пути выхода из информационного кризиса. Большое внимание авторы уделяют библиографическим указателям: читатель узнает, как можно использовать язык библиографических ссылок для установления внутренних связей между научными публикациями. Особый интерес представляет глава об изучении научных журналов как каналов связи и об оценке вклада, вносимого отдельными странами в мировой научный информационный поток.

Созданная на основе широкого круга источников, с привлечением новейших методов исследования, книга имеет немаловажное научное значение. Однако ее с благодарностью встретят не только специалисты, но и все, кто интересуется вопросами развития науки и научной информации.

А. Черняк.

★

**А. УРБАН.** Возвышение человека. Заметки о современной поэзии. «Художественная литература». Л. 1968. 251 стр.

А. Урбан — ленинградский критик, пришедший в литературу в конце пятидесятых годов. Он очень начитан. Он хорошо знает русскую советскую поэзию и пишет о ней с любовью и пониманием. За проблемами литературы он чувствует самое литературу, ее живое дыхание.

В его книге «Возвышение человека» много имен и цитат: Н. Асеев и Н. Ушаков, А. Твардовский и А. Ахматова, Н. Тихонов, А. Тарковский, Е. Винокуров, А. Межиров, Р. Рождественский, А. Кушнер, Ю. Панкратов и другие. Поэты, как видим, очень разные. Конечно, творчество не всех их проанализировано с одинаковой глубиной. Но А. Урбан нигде не переходит на ту скороговорку, когда имена и факты называются только для пушечной полноты картины. В своих частных наблюдениях автор доказателен и чуток. Самые строгие художественные приговоры А. Урбан высказывает спокойно. Иногда даже слишком осторожно. Зато в его книге нет суетливости, взвинченности спором, которая неприятно поражает в иных сборниках критических статей...

Самое ценное в работе А. Урбана — конкретные наблюдения. В своих общих выводах она менее интересна. «Возвышение человека» не стало сквозной мыслью

книги, ее нервом. Получились именно «заметки о современной поэзии», как сказано в подзаголовке. Причем разные поэты, оригинальность которых А. Урбан так хорошо «ухватывает» в деталях, становятся вдруг похожими, когда автор переходит к обобщениям. Смысл поэзии Б. Слуцкого, например, он видит в «утверждении истины, добра и умной работы как непреходящих устоев человеческого бытия». Это очень напоминает характеристику А. Твардовского: «Работа и творчество, посвященные благоустройству жизни, утверждение правды и нравственной высоты духовно богатой и открытой перед миром личности». Такие выводы характеризуют всех сразу и никого в частности...

В разных вариантах А. Урбан повторяет одну и ту же мысль: поэзия — «особый мир со своими внутренними законами». Мысль верная, разумеется, хотя и не новая. Но, рассуждая о творческих биографиях поэтов, автор здесь иногда сам себе противоречит. Он связывает эти биографии с «переменами в жизни», довольно узко толкуя эту «жизнь». Вот пример: «Школы, группы, кружки чаще всего привлекают поэтов в молодые годы. Пишутся коллективные манифесты, программы, устанавливаются общие правила. Но потом участники самых тесных содружеств избирают свою дорогу. Так распались многие группы — символистов, футуристов, имажинистов, конструктивистов». Пожалуй, такие сложные литературно-общественные явления невозможно объяснить одной «молодостью». Правда, абзацем ниже автор намечает более серьезное решение проблемы. Он пишет: «Разных этих поэтов объединило отношение к главным тенденциям времени...» Но и это еще не ответ, так как были советские поэты — Есенин, скажем, и Маяковский, — которые к «главным тенденциям» относились тоже по-разному...

Думается, что интересная в целом работа ленинградского критика только выиграла бы, если бы автор больше сосредоточился на том, что ему лучше всего удается — на конкретном анализе живых явлений поэзии.

А. Обертынский.

Ростов-на-Дону.

★

**И. И. ГОРДЕЕВ, Е. Д. ГЛИНКОВ.** Саниаторий «Воробьево». Приокское издательство. Калуга. 1968. 106 стр.

Маленькая книжечка, выпущенная тиражом в 15 тысяч экземпляров, обращает на себя внимание среди подобных изданий прежде всего тем, что в ней рядом с практическими сведениями, полезными для лечащихся, есть глава, посвященная Сергею Петровичу Федорову. Выдающийся врач приобрел в 1897 году поместье «близ селца Воробьева, что в Мало-Ярославцеком уезде». Этот странный помещик лишь поздно занялся строительством своего жилого дома (он сохранился до сего дня, не очень краси-

вый и неудобный). Сперва он построил аптеку и амбулаторию, в которой со своими студентами принимал больных из окрестных деревень. Буржуазная благотворительность? Да, отчасти, может быть, и так. А впрочем, едва ли нужно набрасывать тень сомнения на полезную и вполне бескорыстную деятельность врача. Тем более что С. П. Федоров, как мы читаем, кроме того, скрывал от полиции революционно настроенных студентов. И делал он это в то время, когда был петербургской знаменитостью и «лейб-медиком» царя.

Набросок биографии наводит на мысль, что жизнь этого человека заслуживает большего внимания. Добросовестный, но слишком краткий очерк кажется грубоватым. На странице 16 брошюры читаем: «Великую Октябрьскую революцию 1917 года Федоров встретил враждебно, хотя и не принимал активного противодействия!... и не участвовал в саботаже...» Это сказано точно, слишком приблизительно. Вряд ли уместно говорить о враждебности, когда человек совсем не робкий ничем ее проявил в самый острый момент борьбы, а в скором времени после Октября стал одним из выдающихся работников советской медицины, профессором Военно-медицинской академии.

При переиздании брошюры, которое, вероятно, понадобится, хорошо было бы поместить в ней очерк об С. П. Федорове более обстоятельный. Желательно было бы не так скупиться и на справку «Исторические места и сооружения» в близлежащей местности (им дано лишь три страницы малого формата). Сведения об истории усадьбы и санатория лучше было бы отнестись в специальный отдел книги, не перемешивая с лечебными советами. Кто знает, может быть, интересные сведения краеведческого характера тоже могут в некоторой степени сыграть целебную роль.

А. Я.

★

**ШЕЙЛА БАРНФОРД.** Невероятное путешествие. Перевод с английского М. О. Игнатченко. Издательство «Лесная промышленность». М. 1968. 112 стр.

Белый английский бультерьер Боджер, большой рыжий лабрадор Люас и сиамский кот Тао совершают полное приключенное путешествие по бескрайним лесам Канады. Пройдя около трехсот миль по глухотамани, в царстве диких зверей, они достигают летней дачи на берегу озера, где живут их хозяева — семейство Хантеров: родители и дети Элизабет и Питер.

Свою книжку об удивительных похождениях двух собак и кота Шейла Барнфорд озаглавила «Невероятное путешествие». Строго говоря, невероятным назвать его нельзя. Известны и довольно часты случаи, когда животные издалека находили дорогу домой. Только никто не знает, как они

<sup>1</sup> Грамматический недосмотр авторов.

сумели это сделать. Ученым еще предстоит разгадать эту загадку. Но автор рецензируемой книжки, вышедшей в 1961 году в Канаде и США и переведенной на многие языки, не задаваясь сложной научной проблемой, поставил перед собой более скромную цель: силой своего знания и воображения и любви к животным нарисовать картину путешествия, каким оно могло бы быть.

Нет смысла взвешивать на весах науки, не преувеличила ли Шейла Барнфорд способности и возможности той тройки героев, о которых она рассказывает, их порою почти человеческую сообразительность и взаимную помощь. Главное в книге — пробуждение в читателе интереса и любви к живым существам, и притом не только к собакам или кошкам, но и ко всему живому. В критические минуты своих опасных приключений кот Тао и обе охотничьи собаки получают помощь от встреченных ими людей: индейцы накормили бультерьера, девочка и ее отец-фермер спасли едва не утонувшего, нахлебавшегося воды кота. Другой фермер выгнал иглы дикобраза из морды лабрадора и спас его от мучений. За редким исключением люди добро относятся к нашим путникам и дают им пищу и приют.

Боджер, Люас и Тао, наверное, запомнятся и полюбятся многим читателям — и детям и взрослым, и книжка Шейлы Барнфорд внесет свою лепту в воспитание гуманного отношения к живым существам. Не будем удивляться, что эта книжка выпущена издательством «Лесная промышленность», — там существует редакция «Живая природа». Как видим, она делает хорошее дело. Но хотелось бы пожелать ей более внимательно относиться к редактированию текста. Опечатки начинаются со второго предложения, в книге их не так уж мало. Попадают и неуклюжие сочетания: он «вспомнил, что не напомнил...»; пса «накрыли... одеялом» и он «приоткрыл один глаз»; «когда взошла луна, они уже отошли на несколько миль»; «ненастный дождь»; «пустил... вопль». Неточность есть и в предисловии: собаки и кот не заскучили по своему временному хозяину Лонгриджу и не его отправились разыскивать, а пошли, увлекаемые Люасом, к себе домой, к своим настоящим хозяевам. Эти и другие мелкие промахи надо будет исправить в новом издании, которое наверняка скоро понадобится.

Ф. Левин.

★

**«ЧТО ТАКОЕ? КТО ТАКОЙ?».** Спутник любознательных. В двух томах. «Просвещение». М. 1968.

Перед нами — своеобразный словарь для школьников третьих-четвертых классов. В нем объяснена всего тысяча слов. «Это, — пишет редакция, — книжки... для любознательных ребят, которые вслушиваются и

всмагиваются в окружающую их жизнь, хотят понять хотя бы основной смысл многих слов, звучащих и дома, и в школе, и по радио».

Есть разные способы учить людей нравственности. Самый обычный и наименее действенный — дать им десять или двадцать моральных правил, которые они заучат и будут выполнять под неусыпным контролем. Но контроль не проникает в мотивы поведения. Да и обойти его не столь трудно: лицемерие и ханжество умеют казаться перед судом общества наилучшими исполнителями его моральных законов. Между тем сама нравственность весьма мало зависит от чего бы то ни было надзора. Она держит ответ перед судом собственной совести, ею движет самосознание человеческой личности. Книга, о которой идет речь, целиком посвящена именно этой цели — пробуждению самосознания. И делается это без нажима, без нудной морали, без вколачивания прописных истин.

В наши дни универсальность Леонардо да Винчи невозможна, зато стало реальностью невиданное распространение образования вширь (наряду с его углублением). Однако рост интеллигентности отнюдь не столь прямо соответствует численному росту вузовских дипломантов. Интеллигентность выражается прежде всего и более всего в сознании своей причастности к делу народа, в неравнодушии к злу и отсюда — в чувстве своей вины за любой общественный недостаток. Об этом неплохо сказано в рассматриваемой книге, в статье «Интеллигентия»: «По-настоящему интеллигентный человек обладает еще одним ценным качеством — это человек с чуткой совестью, справедливый, уважающий достоинство окружающих».

Книга «Что такое? Кто такой?» неназриво учит важнейшей из всех наук — науке быть человеком.

М. Байтальский.

Нальчик.

★

**Б. ШОУ. Пьесы. Вступительная статья, составление и примечания З. Гражданской.** «Художественная литература». М. 1969. 704 стр.

Переиздание пьес Бернарда Шоу — хороший подарок не только любителям театра, но и читателям так называемой интеллектуальной литературы: Шоу был одним из первых, но отнюдь не последним в ряду тех, кто стал писать пьесы, предназначенные для чтения. Кроме того, книга превосходно издана: иллюстрации, выполненные художником А. Васиным, уместно театральны, а качество бумаги и переплета — редкое даже для «Художественной литературы». Одним словом, издание во всех смыслах подарочное.

Что касается состава сборника, то его характер выявляется в соответствии с основным направлением творчества писателя.

«Журналистика по праву может считаться высшей формой литературы, ибо самая высокая литература — всегда журналистика», — писал Шоу, и в этом парадоксе — кредо писателя. Он всегда был политическим бойцом, и с этой точки зрения естественным выходом для него в художественной литературе стала сатира, а наиболее естественным приемом в драматургии — парадокс. Шоу пользовался им чрезвычайно широко, и в английском языке, пожалуй, никто не сделал в парадоксе больше Шоу, как в афоризме — никто больше Шекспира. Афоризм и парадокс, глубина мысли и блеск диалога, проникновение в тайники человеческого духа и разоблачение морали были доведены этими двумя драматургами до предельной выразительности.

Основная тенденция творчества Шоу в последнем сборнике выдержана сравнительно строго. Все вновь переизданные пьесы — «Профессия миссис Уоррен», «Кандида», «Ученик Дьявола», «Цезарь и Клеопатра», «Пигмаллон», «Дом, где разбиваются сердца», «Святая Иоанна» и «Тележка с яблоками» — относятся к лучшим его вещам, а переводы общезвестны, сценичны, легко читаются. Исключение составляет лишь впервые публикуемая пьеса «Шэкс против Шэва», перевод которой, на мой взгляд, неудачен.

Дело в том, что в этой небольшой «шуточной пьесе для марионеток» — в ней всего пять страничек, — построенной на диалоге Шекспира и Шоу и написанной белым стихом, то и дело встречаются пародийные «реминисценции» и выражения из разных пьес Шекспира (кстати, следовало бы переводить все-таки «Шекс», в соответствии с общепринятой русской транскрипцией фамилии Шекспира; утверждение переводчицы З. Гражданской о том, что «в переводе заглавия пьесы мы стремимся точно передать звучание оригинала», кажется малоубедительным). Переводчица пошла по пути наименьшего сопротивления и целиком заимствовала эти выражения из разностильных переводов пьес Шекспира, связав «реминисценции» и цитаты перемычками из белого стиха, которым она в отличие от Шоу владеет не блестяще. В результате переводу явно не хватает той органичности, которая отличает остальные пьесы.

Разумеется, сказанное не должно испортить праздника любителям книги и любящим Шоу. Советским зрителям всегда были близки его блестящее остроумие и парадоксальная убедительность его разоблачений ханжества буржуазной морали — спектакли Шоу обошли театры всей страны, — а читатели, несомненно, и с не меньшим удовольствием прочтут знакомые по радио-, теле- и театральным постановкам пьесы одного из лучших сатириков XX века.

Вл. Кирзов.



**МЕЙРИН МИТЧЕЛЛ. Эль-Кано. Первый кругосветный мореплаватель. «Мысль». М. 1968. 192 стр.**

Как известно, Магеллан не завершил свою знаменитую экспедицию: он погиб в сражении на Филиппинах. Но его корабли достигли Островов Пряностей — цели плавания, а затем один из них — «Виктория» — пересек с горсткой экипажа неведомые волны Индийского океана и Атлантики и вернулся в Испанию, впервые обогнув земной шар. Командиру «Виктории» — Хуану Себастьяну де Эль-Кано, первому кругосветному мореплавателю, посвящена книга английской писательницы Мейрин Митчелл.

Капитан Эль-Кано был сыном Страны басков — родины искусных китобоев и рыбаков. История не сохранила нам его подробной биографии и достоверного портрета, но его поступки, свидетельства очевидцев и документы рисуют этого необыкновенного человека так ярко и полно, что он предстает перед нами как живой.

В юности он был военным моряком, участвовал в мавританском походе, стал собственником и капитаном большого судна. Недоразумения с властями заставили его вести довольно скрытный образ жизни. В экспедиции Магеллана он был назначен штурманом самого большого корабля флотилии. В начале плавания Эль-Кано рассорился с адмиралом и принял участие в мятеже, происшедшем у берегов Патагонии. Однако Магеллан, ценивший его как прекрасного моряка и человека безукоризненной честности, восстановил его в должности штурмана. После заключения союза с молуккским раджей и погрузки в трюмы драгоценной гвоздики, что и являлось целью экспедиции, Эль-Кано, командовавший в это время небольшой «Викторией», единственным кораблем флотилии, который мог еще выйти в море, снова взял курс на запад. Переход «Виктории» от Молукк до Севильи и стал выдающимся подвигом в истории мореплавания.

Эль-Кано вышел в море на обветшавшем корабле, с командой измученной изнурительным переходом через Тихий океан. По пути на родину он не мог зайти ни в один из портов и должен был избегать встречи с любыми кораблями: португальцы, опешенные об экспедицию, приняли все меры, чтобы перехватить испанскую каравеллу. У Эль-Кано не было ни карт, ни руководства, ни сколько-нибудь надежных приборов (их еще попросту не существовало). Он должен был прорваться свой корабль путем, которым не ходил еще ни один капитан, и мог рассчитывать лишь на свой мореходный опыт.

Эль-Кано направил свою каравеллу далеко на юг Индийского океана, навстречу неблагоприятным ветрам. На «Викторию» обрушились жестокие штормы. Матросы напрягали последние силы, работая у снастей. Ледяной холод понижал плохо одетых людей. Вскоре к этим испытаниям

прибавились муки голода. «Виктория» потеряла половину своей команды. Эль-Кано понатрудилась вся его незаурядная воля, чтобы поддержать веру в успех у отчаявшихся людей. Каждому приходилось работать за четверых на протекающем, потерявшем фок-мачту судне. Жители Севилии не верили своим глазам, когда корабль, давно считавшийся погибшим, с восемнадцатью моряками на борту — живыми скелетами, одетыми в рубище, — на исходе третьего года кругосветного плавания вошел в родную гавань. Мореплаватели, обошедшие земной шар, представлялись современникам сверхлюдьми.

Теперь Эль-Кано, знаменитый мореплаватель, национальный герой и государственный человек, находится в зените славы. Однако ему не по душе его блестящее, но спокойное положение. Новый дерзкий замысел влечет его в океан. Он подает королю прошения и проекты. Король назначает его главным кормчим второй флотилии, снаряженной к Молуккам.

Кажется, нет таких тягчайших испытаний, какие не пришлось бы пережить участникам экспедиции. В книге Митчелл это малоизвестное плавание описано с захватывающей выразительностью. Корабли флотилии были рассеяны бурей. Эль-Кано, фактический руководитель экспедиции, не выдержал нечеловеческого напряжения сил. Тихий океан стал могилой отважного мореплавателя. Он скончался, когда корабль, оставив за кормой большую часть пути, был уже вблизи заветной цели Эль-Кано: первым достиг с запада берегов Японии.

Перед смертью он продиктовал завещание. Этот удивительный документ — ключ к внутреннему миру Эль-Кано. Блистательный ум и память, честолюбие, соединенное с искренней скромностью, любовь к родине и забота о близких, традиционный баскский демократизм и редкая в те времена гуманность к туземцам, щепетильная честность составляют замечательно цельный, гармоничный характер.

Обладая достоинствами лучших приключенческих книг, книга Митчелл вместе с тем представляет собой серьезное жизнеописание. Написанная выразительным языком,

живо передающая облик эпохи, она возвращает нам человека, бывшего более четырех веков в несправедливом забвении

Е. Третьяков.

★

**Н. И. САХАРОВ. Шахматная литература СССР. Библиография (1775—1966). «Книга». М. 1968. 208 стр.**

Любители шахмат, и особенно те из них, кто любит шахматную книгу, восприняли выход книги Н. И. Сахарова как большое событие. Недаром ее так высоко оценил автор предисловия — Тигран Петросян.

Шахматная библиография давно манила к себе исследователей. Еще в прошлом веке немало потрудились на этом поприще известный историк шахмат М. К. Гоняев. В советское время круг разысканий заметно расширился. Н. И. Сахарову удалось вскрыть пласты, укрывшиеся от взора самых осведомленных знатоков нашей шахматной книги. Материал сведен в систему, описания книг дополнены справочными аннотациями и ссылками на важнейшие рецензии, указатели позволяют без труда ориентироваться в содержании.

Как и всякое справочное издание, книга выглядит сухо, но сколь выразителен этот сухой язык фактов и цифр! За 142 дореволюционных года автор насчитал 219 шахматных изданий, за 49 советских лет — 889. В советское время шахматная литература выходила во всех союзных республиках, на девятнадцати языках, в том числе у народов, которые прежде не имели письменности. СССР явился родиной новых форм шахматной литературы, например массовой газеты или бюллетеней соревнований.

Лишь одно омрачает радость шахматистов по поводу выхода книги Н. И. Сахарова: ее невозможно достать. Только при полном незнании спроса можно было выпустить книгу Н. И. Сахарова тиражом 4600 экземпляров, который едва ли на одну десятую способен удовлетворить потребность в этом долгожданном и очень нужном издании.

И. Романов,

кандидат исторических наук.



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Тетради по аграрному вопросу. 1900—1916. 664 стр. Цена 1 р. 19 к.

**Как В. И. Ленин готовил свои труды.** 192 стр. Цена 50 к.

**К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина.** Тезисы ЦК КПСС. 64 стр. Цена 6 к.

**Ленинизм и мировое революционное рабочее движение.** Проблемы борьбы за единство пролетариата и всех антиимпериалистических сил. Коллективная монография. 543 стр. Цена 1 р. 12 к.

**В. И. Ленин и проблемы научного коммунизма.** 494 стр. Цена 99 к.

**Ленинский план социалистической индустриализации и его осуществление.** Монография. 382 стр. Цена 92 к.

**Переписка семьи Ульяновых. 1883—1917.** Сборник. 462 стр. Цена 1 р. 22 к.

**Плечом и плечу.** Сборник очерков. 287 стр. Цена 43 к.

**США: от «великого» к больному...** Сборник. 447 стр. Цена 90 к.

**М. И. Ульянова.** О Ленине. 184 стр. Цена 59 к.

## «МЫСЛЬ»

**Вопросы научного атеизма.** Выпуск 8. Ленинское атеистическое наследие и современность. 380 стр. Цена 1 р. 46 к.

**С. Выгодский.** Современный капитализм. Опыт теоретического анализа. 592 стр. Цена 2 р. 16 к.

**А. Здравомыслов.** Методология и процедура социологических исследований. 205 стр. Цена 62 к.

**Ф. Кретов.** Борьба В. И. Ленина за сохранение и укрепление РСДРП в годы столыпинской реакции. 195 стр. Цена 74 к.

**В. Нестеров.** Труд и мораль в советском обществе. Проблемы взаимосвязи. 189 стр. Цена 72 к.

**Переписка В. И. Ленина и редакции газеты «Искра» с социал-демократическими организациями в России 1900—1903 гг.** Сборник документов. В трех томах. Том 1. Сентябрь 1900 г.— май 1902 г. 597 стр. Цена 1 р. 86 к. Том 2. Июнь—декабрь 1902 г. 590 стр. Цена 1 р. 92 к.

**Е. Рыженков.** Валовой и чистый доход колхозов. 150 стр. Цена 50 к.

**А. Хрущев.** География промышленности СССР. 438 стр. Цена 1 р. 69 к.

**А. Шигер.** Новое на карте зарубежного мира. Справочник 1969 г. 48 стр. Цена 8 к.

**А. Шлепанов.** Биография статуи Свободы. Исторический очерк. 116 стр. Цена 17 к.

## «ЭКОНОМИКА»

**Л. Бадалов.** Экономическое регулирование качества промышленной продукции. 127 стр. Цена 32 к.

**Г. Егизарян, Л. Хейфец.** Проблемы материального стимулирования в промышленности. 166 стр. Цена 56 к.

**Политическая экономия социализма.** Учебное пособие. 583 стр. Цена 1 р. 6 к.

**Л. Сердюк.** Хозяйственное руководство промышленным предприятием. 188 стр. Цена 47 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Б. Ахмадулина.** Уроки музыки. Стихи. 159 стр. Цена 42 к.

**К. Бальмонт.** Стихотворения. Вступительная статья В. Орлова («Библиотека поэта»). 710 стр. Цена 1 р. 42 к.

**И. Варламова.** Третьего не дано. Роман и рассказы. 349 стр. Цена 62 к.

**Л. Жуховицкий.** Остановиться, оглянуться... Роман. 334 стр. Цена 70 к.

**А. Каалз.** Сааремааские напевы. Лирические очерки. Перевод с эстонского. 359 стр. Цена 46 к.

**П. Марниш.** Стихотворения и поэмы. Вступительная статья С. Наровчатова («Библиотека поэта»). 702 стр. Цена 3 р. 20 к.

**Б. Мейлах.** Талант писателя и процессы творчества. 446 стр. Цена 1 р. 9 к.

**В. Рождественский.** Золотая осень. Книга лирики. 118 стр. Цена 57 к.

**Н. Рыленков.** Душа поэзии. Портреты и раздумья. 271 стр. Цена 60 к.

**М. Стельмах.** Зачарованный ветряк. Пьесы. Перевод с украинского. 280 стр. Цена 68 к.

**Стихотворная сказка (новелла) XVIII — начала XIX века.** Вступительная статья и составление А. Соколова («Библиотека поэта»). 720 стр. Цена 1 р. 50 к.

**В. Юрезанский.** Исчезнувшее село. Роман. 280 стр. Цена 57 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**М. Галиб.** Лирика. Перевод с урду В. Потаповой. Предисловие Б. Гафурова. 199 стр. Цена 31 к.

**Т. Гарди.** Отчаянные средства. Роман. Перевод с английского Н. Трениевой. Вступительная статья М. Урнова. 432 стр. Цена 85 к.

**Д. Димов.** Табак. Роман в двух частях. Перевод с болгарского. Часть 1. 567 стр. Цена 1 р. 84 к. Часть 2. 440 стр. Цена 1 р. 48 к.

**Е. Евтушенко.** Идут белые снеги... Избранные стихи. Предисловие Е. Винокурова. 431 стр. Цена 2 р. 7 к.

**Итальянская новелла XX века.** Переводы с итальянского. Составление Г. Богемского. Вступительная статья Ц. Кин. 632 стр. Цена 1 р. 90 к.

**К. Лафорет.** Ничто.— Остров и демоны. Романы. Перевод с испанского Н. Снетковой и В. Спасской. Предисловие И. Тертерян. 464 стр. Цена 1 р. 46 к.

**Литература и современность.** Сборник девятый. Статьи о литературе 1968 г. Составители С. Машинский, Е. Осетров и Л. Якименко. 511 стр. Цена 1 р. 36 к.

**А. Матуте.** Солдаты плачут ночью. Перевод с испанского Н. Трауберг. 152 стр. Цена 43 к.

**Медресе любви.** Персидская народная поэзия. Переводы Н. Гребнева. 176 стр. Цена 15 к.



**А. Писемский.** Рассказы, 109 стр. Цена 26 к.

**Б. Полевой.** Избранные произведения. В двух томах. Предисловие В. Галанова. Том 1. Мы — советские люди. Встреча с легендой. Саянские записи. Наш Ленин. 528 стр. Цена 97 к. Том 2. На диком берегу. Роман. 560 стр. Цена 1 р. 5 к.

**Х. Прието.** Компаньон. Роман. Перевод с испанского и предисловие В. Столбова. 216 стр. Цена 44 к.

**Стихи о Ленине.** В переводах с языков народов СССР. Составитель Б. Яковлев. 605 стр. Цена 1 р. 68 к.

**Л. Фейхтвангер.** Лже-Нерон. Испанская баллада. Романы. Перевод с немецкого. 848 стр. Цена 2 р. 60 к.

#### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**М. Ганина.** Записки о пограничниках. 175 стр. Цена 26 к.

**Литература и ты.** Выпуск 3. Составитель В. Породоминский. 288 стр. Цена 94 к.

**Д. Мулдагалиев.** Избранная лирика. Перевод с казахского. 30 стр. Цена 12 к.

**А. Мухтар.** Избранная лирика. Перевод с узбекского. 32 стр. Цена 13 к.

**Панорама-3.** Время, жизнь, искусство. Ежегодник. 240 стр. Цена 58 к.

**А. Турнов.** Александр Блок. 319 стр. («Жизнь замечательных людей»). Цена 85 к.

**С. Чаплин.** Соглядатаи и поднадзорные. Перевод с английского. 343 стр. Цена 1 р. 17 к.

#### «ПРОГРЕСС»

**С. Дичев.** Путь к Софии. Исторический роман. Перевод с болгарского Л. Баша и Т. Рузской. 558 стр. Цена 1 р. 87 к.

**Л. Живкович.** Теория социального отражения. Перевод с сербохорватского. 454 стр. Цена 1 р. 73 к.

**А. Зегерс.** Доверие. Роман. Перевод с немецкого Н. Ман и Н. Каринцевой. 400 стр. Цена 1 р. 42 к.

**Г. Караславов.** Избранное. Перевод с болгарского. 472 стр. Цена 1 р. 57 к.

**М. Селимович.** Дервиш и смерть. Исторический роман. Перевод с сербохорватского. 384 стр. Цена 1 р. 20 к.

#### «НАУКА»

**В. И. Ленин в Октябре и в первые годы Советской власти.** Сборник статей. 348 стр. Цена 1 р. 51 к.

**В. И. Ленин и проблемы истории.** Сборник статей. 435 стр. Цена 1 р. 99 к.

**Ленинская внешняя политика Советской страны. 1917—1924.** Сборник статей. 393 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Вопросы истории физической географии в СССР.** Сборник статей. 204 стр. Цена 1 р. 10 к.

**С. Газиорович.** Физика элементарных частиц. 742 стр. Цена 3 р. 47 к.

**Э. Б. Генкина.** Государственная деятельность В. И. Ленина (1921—1923). 520 стр. Цена 3 р. 24 к.

**А. Б. Резников.** Первая классовая битва пролетариата. 309 стр. Цена 1 р. 45 к.

#### «ИСКУССТВО»

**С. Агафонов.** Горький, Балахна, Макарьев. Художественные памятники XIII — начала XX в. старинных волжских городов. 223 стр. Цена 1 р. 28 к.

**А. Бейлин.** Аркадий Райкин. 166 стр. Цена 1 р. 65 к.

**Г. Вагнер.** Скульптура Древней Руси. Владимир. Боголюбovo. XII в. 480 стр. Цена 6 р. 42 к.

**В. Вишневская.** Хохлома. 71 стр. Цена 44 к.

**М. Званцев.** Нижегородская резьба. 163 стр. Цена 4 р. 80 к.

**Импрессионизм.** Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. Документы. Перевод с французского. 388 стр. Цена 3 р. 28 к.

#### МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Ю. Балтрушайтис.** Дерево в огне. Стихи. Вступительная статья А. Туркова. Вильнюс. «Вага». 537 стр. Цена 1 р. 11 к.

**А. Гордин.** Крылов в Петербурге. Ленинград. 340 стр. Цена 45 к.

**Н. Задонский.** В потоке жизни. Литературные этюды. Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 213 стр. Цена 22 к.

**В. Комов.** Дедушка с рекламациями. Сборник сатирических и юмористических рассказов. Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 199 стр. Цена 34 к.

**М. Луконин.** Топот копыт. Стихи и переводы с казахского. Алма-Ата. «Жазушы». 112 стр. Цена 48 к.

**Е. Николаевская.** Край света. Стихи об Армении и переводы. Ереван. «Айстап». 127 стр. Цена 31 к.

**С. Писахов.** Сказки. Архангельск. Северо-Западное книжное издательство. 191 стр. Цена 32 к.

**Л. Правдин.** Берендеево царство. Роман-хроника. Пермь. Книжное издательство. 382 стр. Цена 96 к.

**М. Сенин.** Интерьеры современных общественных зданий. Киев. «Будівельник». 207 стр. Цена 56 к.

**О. Сулейменов.** Глиняная книга. Стихи. Алма-Ата. «Жазушы». 251 стр. Цена 1 р. 15 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Д. Г. Большов** (первый зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорosh, А. А. Кулешов, А. М. Марьямов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.  
Почтовый адрес: Москва, К-6. Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 29/ХІІ 1969 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 26/ІІІ 1970 г.  
А 01030. Формат бумаги 70×108/16. 27,2 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
Зак. 4487. Тираж 163.000 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., д. 5.

Цена 70 коп.

70636